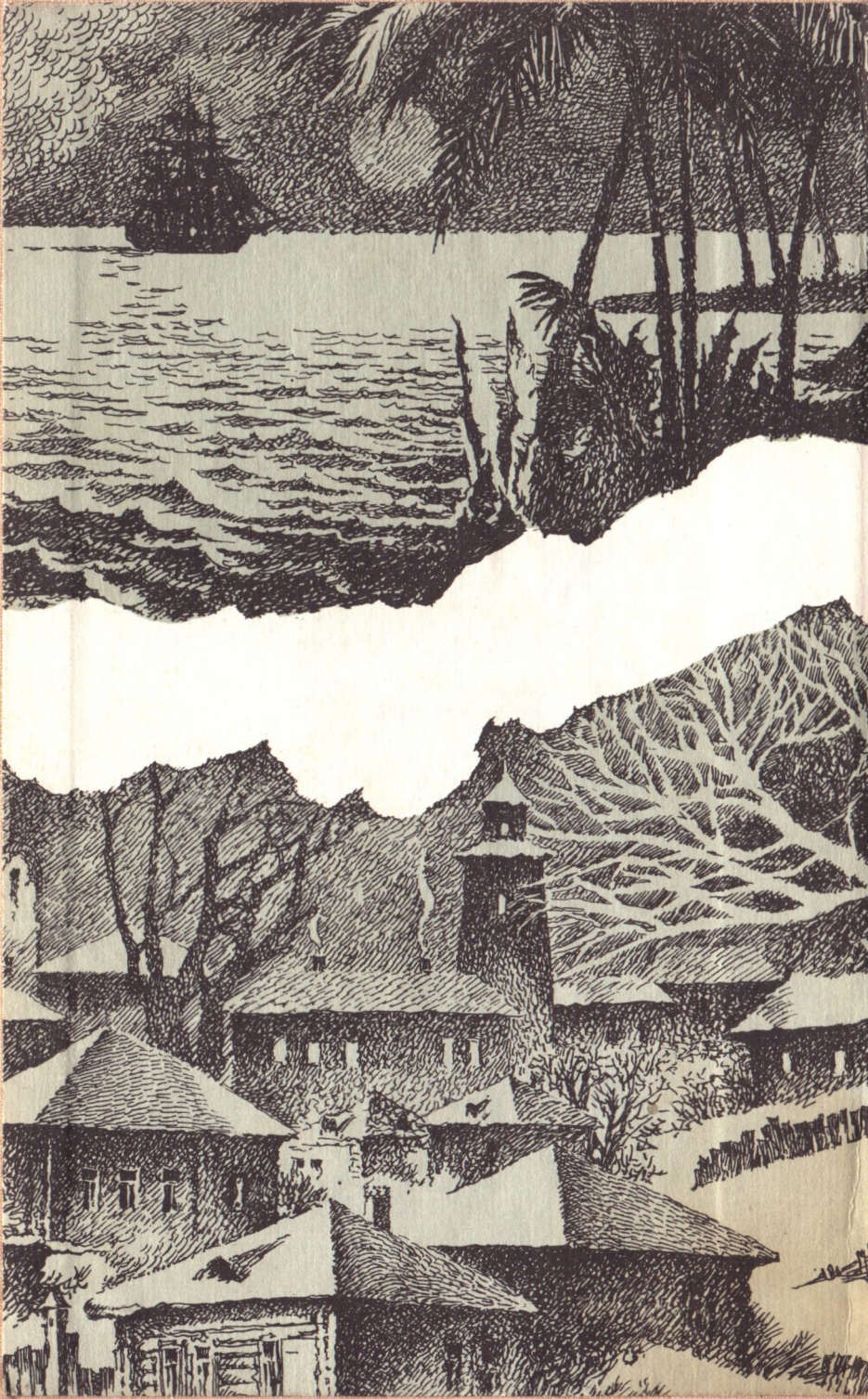
Владислав Крапивин

Острова и капитаны







Владислав
Крапивин

Острова и капитаны

Роман в трех книгах



Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1989

84Р7
К 78

Редактор С. В. Марченко
Художник Е. И. Стерлигова

Крапивин В. П.
К 78 Острова и капитаны: Роман.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.— 496 с., ил.
ISBN 5—7529—0148—0
В пер.: 1 р. 50 к. 75 000 экз.

События романа уводят читателя в историю кругосветного плавания Крузенштерна и Лисянского, в дни боев за Севастополь и возвращают в наше время. Фабула построена на приключениях мальчишек разных эпох — главных героев романа, олицетворяющих идею связи поколений.

В этом томе — две первые книги романа.

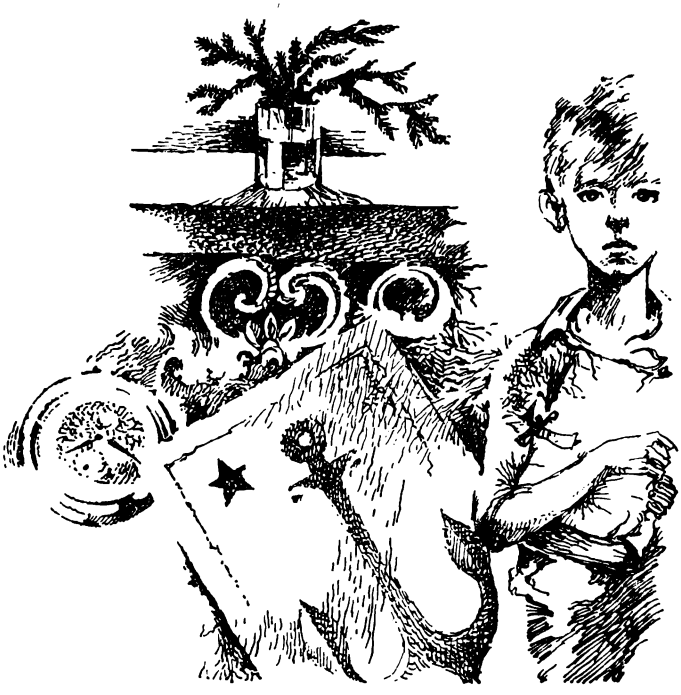
К $\frac{4803010201\text{-}006}{М\ 158(03)\text{-}89}$ 53-89 ББК 84Р7

© Средне-Уральское книжное издательство, 1989.

КНИГА
ПЕРВАЯ

ХРОНОМЕТР

(Остров Святой Елены)





ПРОЛОГ

МЫШОНОК

Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стояла небывалых размеров модель учебного фрегата, двойным ударом, слышным на всех трех этажах, отметил начало первой перемены. Распахивались двери. Солидные гардемарины-выпускники выходили не спеша. Строго поглядывали на кадет, которые по малолетству не обрели еще сдержанности и неслись куда-то с криками и хохотом...

Контр-адмирал неторопливо шагал среди привычного шума и суеты. Впрочем, вблизи от него суета сменялась почтительной тишиной. Гардемарины щелкали каблуками и вытягивались, роняя с гвардейским изяществом в поклоне головы. Вставали в струнку и младшие кадеты. Неукоснительно соблюдалась высочайшая инструкция, которую государь Николай Павлович изволил начертать в марте прошлого года после посещения Морского кадетского корпуса: «...непременно их (то есть воспитанников) выправить и дать им бодрую осанку и молодецкий взгляд».

Осанка была бодрая. Взгляды и вправду могли показаться молодецкими. Но не было в этих взглядах любезной императору бездумной стеклянности и единой

только готовности к молниеносному повиновению. Были веселые искры, иногда озорство мелькало. Живыми, хорошими глазами смотрели мальчики на Ивана Федоровича, который до недавнего времени был помощником директора корпуса, а месяц назад заступил на главную должность.

Крузенштерн знал почти каждого. Как зовут, какие успехи в учении, издалека ли приехал в корпус и кто родители. Только у самых маленьких, появившихся недавно, путал еще имена.

Малыши отдельной стайкой шумели и резвились в середине широкого коридора. Это были воспитанники резервной роты, образованной в прошлом году еще прежним директором, Рожновым. Мальчики десяти — двенадцати лет. Те, что веселы и бойки в своем кругу, но плачут по ночам, вспоминая о родном доме.

Крузенштерн обошел их сторонкой, чтобы не встревожить начальственным появлением.

Он был в десятке шагов от малолеток, и тогда неясное беспокойство остановило его. Что? И память подсказала: несколько секунд назад привычно-цепкий взгляд подсознательно отметил чуть в стороне от шумных кадетиков щуплую, поникшую фигурку.

Крузенштерн вернулся (мальчишки притихли и выжидательно встали прямо), отыскал глазами того, стоявшего отдельно, встретился с ним взглядом. Сказал мягко:

— Подойдите ко мне, голубчик.

Мальчик сделал несколько по-уставному твердых шагов, встал навытяжку. Ростом чуть выше адмиральского пояса. Курносый, с лопухастыми ушами, с рыжеватой короткой стрижкой и бледными редкими веснушками. С тонкой шеей, для которой велик высокий круглый воротник однобортного узкого мундирчика (их недавно ввели вместо двубортных — неуклюжих и старомодных). Поднял, как положено, острый подбородок, но в лицо директору не посмотрел. Серыми глазами, испуганными и горькими, уперся в пуговицу на груди адмирала. Представился по форме, но без положенной бойкости:

— Резервной роты вверенного вам корпуса кадет Алабышев, ваше превосходительство.— И опустил голову.

Крузенштерн двумя пальцами приподнял его подбородок.

— А как зовут кадета Алабышева?

— Егор... ваше превосходительство.— И глаза намокли.

— Ну, а что же случилось с Егором? Пойдем-ка, побеседуем...

Он ладонью прихватил Егора Алабышева за спину, ощутив под сукном острые мальчишечьи лопатки. Отвел к нише узкого глубокого окна. В стеклах отражались желтые масляные лампы. За отражениями мутно серело позднее ноябрьское утро. Нева еще не встала, но о близкой зиме напоминал снег, густо летевший вдоль набережной. Сквозь косые линии снега проступали мачты и такелаж учебного брига «Князь Пожарский», что стоял против корпуса.

Резервной роты кадет Алабышев за окно не смотрел. И на адмирала не смотрел. Голова опять висела ниже плеч.

— Наверно, неуспехи в учении? — спросил Крузенштерн.— Сие поправимо, не надо только отчаиваться. Моряку должно иметь старание и твердость.

Егор всхлипнул и еле заметно качнул головой.

— Тогда знаю,— сказал Иван Федорович ласковее прежнего.— Из дому долго не было писем, да? Но и в этом нет великой беды. Так бывает у каждого, а потом письма приходят целой пачкою. Вы уж мне поверьте... Или не в письмах дело? В чем же?

Егор всхлипнул опять, крупная дрожь тряхнула его.

— Командир роты... господин капитан-лейтенант Фогт... приказал...

— Что же приказал господин капитан-лейтенант?

— После классов... явиться в экзекуторскую.

— Что? — нервно сказал Крузенштерн. И подумал, представивши хлыщеватого, с желтым костистым лицом и залысинами Фогта: «Ах ты, с-сукин сын! Я же предупреждал...»

Но кадета Алабышева спросил с ноткой строгости:

— В чем же вы сумели так провиниться?

— В том случае... когда в кивер дежурному офицеру... мышонка...

Крузенштерн, сдержав улыбку, сказал с удивлением:

— Постойте. Я знаю об этой прискорбной шалости, но виновники сами признались и раскаялись. При чем же здесь вы?

— Я тоже был там... немного после... И меня заметили.

— И решили, что виноваты в сем недостойном поступке вы?

Егор опять вздрогнул плечами и кивнул.

— Но за что же вас хотят наказать сейчас, когда виновные известны?

— За ослушание...— прошептал Егор.

— Не понимаю.

— Когда они еще не признались, господин Фогт... приказывал, чтобы я их назвал, если сам не виноват... Он говорил: «Раз вы были там же, должны их знать...»

— А вы знали?

Егор еще ниже нагнул голову.

Крузенштерн понимал отчаянное положение маленького кадета. Новички с первых дней постигали законы корпусного товарищества. Выдать виновника начальству считалось предательством, жизнь ябедника превращалась в каторгу. К тому прибавлялись и угрызения собственной совести: «Я — нарушитель чести...»

— Господин Фогт говорит... раз я не назвал виновных, значит, не выполнил приказа... и нынче меня накажет...

«Нашел чем пугать ребенка, хлыщ»,— подумал Крузенштерн. Он по себе помнил то жуткое чувство, смесь тоскливого стыда и ужаса, когда звучит такой приговор. И тягостную безнадежность, обморочное замирание перед низкой, плотно сколоченной дверью, за которой э т о должно случиться. Почему-то такие двери выглядели одинаково и здесь, и в бытность корпуса в Кронштадте, когда самого Крузенштерна только зачислили в кадеты...

Слава богу, он своим приказом накрепко закрыл эту дверь, отменивши в корпусе подобные наказания. Сделал это, несмотря на недовольство в Морском министерстве и на скептическое замечание государя.

Но мальчик-то о приказе не знает и сейчас в отчаянье.

— Егор...— негромко сказал Крузенштерн. Тот быстро поднял остренькое лицо. В глазах — и боязнь, и надежда. Бедняга...— Я поговорю с вашим командиром. Уверен, что, проявивши вначале строгость, он будет теперь снисходителен... Но скажите мне: а что вы все-таки делали в дежурной комнате?

Голова кадета Алабышева опять упала. И даже при неярком свете ламп стало видно, как наливаются краской его оттопыренные уши.

— Ну же, Егор,— добродушно поторопил Иван Фе-

дорович.— Давай без утайки. Ежели ты в чем-то и виноват, то на сей раз это останется между нами.

— У мышонка лапки были связаны... Жалко стало, я хотел отпустить... Чтобы никто не знал...

Колокол гулко просигналил о конце перемены.

— Ступай в класс, Егор. Я поговорю с командиром роты.

«Надо и в самом деле поговорить решительно,— думал он, поднимаясь на третий этаж, в рабочий свой кабинет.— Наказать кадета самовольно никакой офицер теперь, конечно, не смеет, но держать воспитанников в ежедневном страхе такие фогты еще не отучились... Где Рожнов откопал эту сухую бестолочь? Разве т а к о й командир нужен малолеткам, кои лишь недавно взяты из дому и с трудом живут без родительской ласки?.. Нужны такие, как Сергей Александрович Шихматов, капитан второго ранга гвардейского экипажа, поэт, ученый, действительный член Российской Академии, а главное — добрейший человек, отлично знающий детскую душу. Он и был до недавнего времени командиром резервной роты, мальчишки почитали его за отца родного. Но месяц назад по важной причине личного свойства ушел князь Сергей Александрович в отставку и со слезами распростился со своими питомцами. Нового командира для малышей сразу не нашлось. Крузенштерн обратился тогда за советом к прежнему директору, Рожнову, и тот предложил: «Можно поставить пока Фогта. Аккуратист... А далее уж сами посмотрите...» Ох, смотреть надо было сразу, да в первые недели заведывания корпусом столько навалилось на адмирала хлопот...

В кабинете уютно несло теплом от сине-белых изразцов голландской печи. Шторы были задернуты. Крузенштерн не любил пасмурного осеннего света, хотя врачи говорили, что именно такой свет более всего полезен для больных глаз. Нет, пусть уж лучше свечи.

Свечи в канделябре с обручем-абажуром из матового стекла горели мягко, но ярко. Отблески лежали на модели «Надежды», на медных кольцах глобуса в углу кабинета.

Матрос Григорий Конобеев выгребал золу из протопленного с вечера мраморного камина с толстощекими амурами наверху (тепла хватало и от печи, но Иван

Федорович, работая по вечерам, любил, чтобы в камине был огонь). Конечно, приборку следовало кончить до прихода адмирала. Однако Крузенштерн не сделал упрека. Григорий был не просто служитель, а старый товарищ по давнему плаванию вокруг света. Сумрачно-добродушный, преданный «нашему капитану» ворчун, ныне причисленный к корпусу.

— Здравствуй, Матвеич.

Григорий неторопливо выпрямился.

— Доброго здоровья, Иван Федорович... Вот опять бумаги пораньше с утра дежурный офицер принес... Говорит, что от господина капитан-лейтенанта Коцебу... Надо же, какой известный теперь Отто Евстафьевич сделались. А на «Надежде»-то совсем мальчонка был, вроде наших нынешних...

— Такой и был, Матвеич. Тоже кадет, только сухопутный. Отец упросил взять в плавание,— поддакнул Крузенштерн старому матросу, хотя беседовать не хотелось.

— Сухопутный, а каким лихим капитаном стал. Вот оно как поворачивается...

Бумаги оказались корректурой новой книги Коцебу — «Путешествие вокруг света, совершенное по повелению государя императора Александра Первого на военном шлюпе «Предприятии» в 1823, 24, 25 и 26 годах».

К этой книге Крузенштерн прямого отношения не имел, послесловия, как к первому плаванию Коцебу, не писал, но к подготовке сей экспедиции приложил немало сил. Потому и прислал благодарный Отто своему старому командиру пробные оттиски отчета о путешествии.

Крузенштерн притянул к себе полосы серой бумаги, радуясь крупным буквам и отчетливой печати.

...Коцебу рассказывал о путешествии сжато, не в пример первой своей книге о плавании на «Рюрике», в которой хватало живых описаний и красот. К тому же многое Иван Федорович знал уже из рассказов Отто, из рапорта его Морскому штабу. Поэтому не стал он читать подряд, а отыскал (с некоторым стеснением в душе и даже робостью) страницу, где были слова:

«После весьма быстрого одиннадцатидневного плавания от мыса Доброй Надежды мы 29 марта пришли к острову Св. Елены...»

Об острове Отто писал пространно. Более всего — о поездке в те места, где жил в ссылке знаменитый

недруг России Наполеон и где была потом его могила

А о другой могиле, русской, не было ни слова...

Трудно поверить, что моряки не побывали на кладбище, где двадцать лет назад похоронен был их земляк и товарищ. Видимо, Коцебу решил, что рассказ об этом не нужен читателям. Или, всего скорее, не захотел бередить память ему, Крузенштерну...

Но разве от этого уйдешь? Разве забудешь?

Крузенштерн читал:

«Путешественник, приближаясь к острову Св. Елены, видит со всех сторон одни черные, высокие, остроконечные скалы, рождающие в душе его самое мрачное и унылое понятие о сем острове, но, находясь на возвышении, видит, что природа сокрыла в безобразной и страшной оболочке очаровательные прелести...»

...Моряки «Надежды» в мае 1806 года увидели этот остров таким же. Сначала — грозное и печальное впечатление, а позже — удивление перед тихой красотою и чувство долгожданного отдыха. Первые три дня, пока не случилось беды, всем казалось, что попали в самый счастливый и уютный уголок Земли. Одно огорчало капитана: в гавани острова не оказалось «Невы», с которой расстались в тумане вблизи меридиана мыса Доброй Надежды.

Тогда еще не знали, что Лисянский, вопреки уговору, сделал решение не заходить к острову Святой Елены, а идти прямо в Европу. Подбивало желание совершить небывало длинное и скорое плавание от Китая до Англии без захода в промежуточные порты. Что же, Юрий Федорович с блеском исполнил сей подвиг, изумивший всех, кто понимал в морском искусстве. И «Нева» пришла в Кронштадт на две недели ранее «Надежды»...

Кто-то пустил потом слухи, что случай этот испортил дружбу двух капитанов. Неправда это!

Да, жизнь как-то развела Крузенштерна и Лисянского, реже стали встречи, короче письма. Но не было между ними вражды и зависти. И ссоры не было ни разу... В тот день, при первой встрече в Кронштадте, когда остались в каюте одни и Лисянский откупоривал бутылку привезенной из Кантона мадеры, Крузенштерн только и сказал:

— Мальчишка ты все-таки, Юрий...

Тот и в самом деле похож был на мальчишку. Курчавый, румяный. Пушистые бакенбарды казались при-

клеенными к детскому пухлогубому лицу. И глазами стрельнул по-мальчишечьи. Проговорил и виновато, и дурашливо, как в бытность еще малым кадетиком:

— Сердишься? Прости, я больше не буду...

— Нет, ну в самом деле, о чем ты думал? А если бы напоролись поодиночке на французских каперов? Война же.

— Ну и напоролись бы. Пушки зачем?

— Но это же тебе не с колюжами на Ситке воевать! Что наши пушки против большого фрегата? У меня их всего двенадцать, несколько оставил на Камчатке по просьбе Кошелева...

Лисянский ответил весело, пряча виноватость:

— Брось! Ты в стольких баталиях порохом прокопчен. Неужели сдался бы какому-то каперу?!

— Не сдался бы, но и гибнуть в конце пути радость невелика. Да и с тобой могло быть то же. Тем более понесло тебя Английским каналом, чуть не в зубы неприятелю.

Юрий тряхнул кудрями. Крузенштерн сказал с досадой:

— Лихой ты капитан, Юра, но твоей лихости еще бы здравого ума поболее...

Лисянский вздохнул. Ответил уже без улыбки:

— Люди домой рвались. Вот и решил я — прямо в Европу. Тебе остров Святой Елены интересен, а мне что? Я его в свое время вдоль и поперек исходил. Чего я там не видел?

«Могилы Головачева ты там не видел»,— сумрачно подумал Крузенштерн. Но о том не сказал.

А хотелось сказать. Потому что сверлила мысль: приди «Нева» на Святую Елену, и, может быть, не случилось бы несчастья. Конечно, прямой связи здесь не было. Мог и тогда лейтенант Головачев совершить свой непоправимый поступок. Но, возможно, что-то и помешало бы. Всякое, даже малое, изменение в обстановке иногда поворачивает события по-другому. Кто знает, может быть, присутствие «Невы» у острова построило бы в другом порядке цепь тогдашних дел, встреч, разговоров. И могло случиться, что Головачев не оказался бы в то утро один в каюте...

...Крузенштерн отодвинул бумаги, прикрыл глаза. Нет, Лисянский не мог предвидеть несчастья, ни в чем он не виноват. Если уж искать виноватых, то смотреть

надо в самое начало. Не окажись в экспедиции Резанова, не случилось бы многих бед. Но сейчас что ему делить с Резановым и кто их рассудит? Ранняя несчастная смерть Николая Петровича в Сибири, а перед тем достойная чувствительных романов любовь его к калифорнийской красавице окружили имя Резанова ореолом...

В нынешние дни о Резанове один Василий Михайлович Головнин решился отозваться нелицеприятно. Вот как написал: «Он был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову более созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предначертания... Мы увидим, что он наделал компании множество вреда...»

Если бы одной компании!

Действительно, создавать фантазии Николай Петрович умел. Иногда — самые нелепые. Это надо же придумать: «На «Надежде» бунт против государя императора!»

Впрочем, следует оставаться справедливым: был Резанов по-своему честен и достаточно смел. Временами... Но порою удивлял всех пустыми страхами и комедиантством.

Однако хватит о нем. Головнин сказал — и того достаточно. Головнин вообще самый прямой в суждениях и смелый среди знаменитых нынче русских капитанов (недаром были разговоры о связях его с теми, кто вышел на Сенатскую площадь). Смелее всех, с документами на руках, доказал, как бесчинствуют на Кадьяке и других островах приказчики Российско-Американской компании. Специально для того ходил на Кадьяк на шлюпе «Камчатка». Проверил досконально и подтвердил сведения Лисянского о жестокостях и алчности компанейских купцов и начальников. Но тому же Лисянскому всыпал в журнале «Сын отечества», а потом и в книге своей за неверно составленную карту Чиниатского залива. Из-за неточности едва не сел шлюп «Камчатка» у Кадьяка на рифы, что могло кончиться полной гибелью. И напрасно писал любезный Юрий Федорович гневную ответную статью. Уж коли виноват, нечего спорить. За храбрость, за мореходное умение и открытия тебе честь, но легкомыслие и ошибки в морском деле могут принести беды немалые...

Мысли замкнули круг и от Лисянского снова пришли

к острову Святой Елены. Крузенштерн тряхнул головой и взялся за оттиски с начала. Надо было все же прочитать их по порядку.

Колокол между тем уже не раз отмечал перемены...

В четыре часа пополудни Иван Федорович из квартиры, что находилась в первом этаже корпуса, снова прошел в кабинет. Мысли были теперь не те, что с утра. Множество планов требовало от нового директора и множества забот. Нужны новые науки и новые профессора. Нужны классы, где лучшие морские офицеры могли бы продолжать обучение... Летняя практика на учебном корабле должна проводиться для гардемаринов ежегодно... Для матросских детей необходима школа. И пора взяться за постройку дома для семейных матросов, что служат при корпусе. А то живут в подвалах с женами и детьми, и даже с внуками, как Матвеич...

Григорий, словно откликнувшись на мысли, опять появился в кабинете. Шаркая ногами, направился к окну, раздернул шторы. Сказал очень хмуро:

— Свечи-то уж можно погасить.

— Погаси,— согласился Иван Федорович. За окном пробилось в облачную щель неожиданное солнце.

Григорий сердито дунул поверх абажура. Стало темнее, но солнечные полосы резко и весело загорелись на стеклах книжных шкафов. Григорий открыл дверцы, начал протирать корешки. Прибираться в книгах разрешалось ему одному.

— Ты что не в духе? — усмехнулся ему в спину Крузенштерн.— Жена небось опять пилила? Или внук не слушает?

— Чего ему не слушать? Я с детишками всегда слова найду, без всякого озверения. Не то что некоторые...

— Да что случилось-то, Матвеич?

— А то, что, конечно, воля ваша, только не дело это, ваше превосходительство...

«Ваше превосходительство» вместо привычного «Иван Федорович» пуще многих слов сказало, как рассержен старый матрос.

— Да объясни ты толком! Какое «не дело»?

А такое... Сами говорили, что не будет больше этого. А теперь мальчонку исхлестали, будто загульного матроса.

— Какого... мальчонку? — От догадки нервным ознобом свело на щеках кожу.

— Будто не знаете... Самого малого из них, Егорку Алабышева. Которого Мышонком кличут... И хотя было бы за что, а то ведь...

«Господи,— подумал Крузенштерн,— это же я виноват! — Он всей душой ощутил отчаянье и боль этого Егорки. Его ужас и слезы. Особенно после того как Мышонок поверил в спасение! — Это я виноват! Не сказал Фогту вовремя!.. Но как я мог подумать, что этот мерзавец осмелится?..»

Григорий, встревожившись долгим молчанием адмирала, оглянулся. Увидел его лицо.

— Да неужто не знали?.. Иван Федорович, простите дурака, Христа ради...

Крузенштерн через силу сказал:

— Матвеич... Пригласи дежурного офицера, голубчик.

Григорий торопливо зашаркал к двери. Крузенштерн сидел, стискивая горячими пальцами щеки.

Бравый мичман возник на пороге.

— Ваше превосходительство! Дежурный офицер вверенного вам корпуса мичман Васнецов по вашему...

Крузенштерн движением ладони остановил его. Помолчал несколько секунд, стараясь унять гнев. И все же не сдержался:

— Бывшего командира резервной роты Фогта ко мне...

Удивление мелькнуло на лице мичмана и, кажется, удовольствие: видимо, сей офицер не жаловал Фогта. Он щелкнул каблуками. Григорий, оказавшись в дверях, посторонился.

— Матвеич,— мягко сказал Крузенштерн,— ты пока ступай. Я тут разберусь... Дверь не закрывай.— Ему не хотелось откликаться на стук.

Фогт шагнул в кабинет.

— Честь имею явиться по приказу вашего превосходительства. Вверенного вам корпуса резервной роты командир капитан-лейтенант Фогт.

Согнувшись над столом и глядя исподлобья, Крузенштерн глухо сказал:

— Как смели вы, сударь, нарушить мое распоряжение...

От этого презрительно-штатского, хлесткого, как

пощечина, «сударь» Фогт дернул щекой и веком. И, помолчав на секунду более, чем дозволено приличием и дисциплиною, произнес:

— Покорнейше прошу ваше превосходительство указать, какое распоряжение я нарушил.

— Следует ли думать, что вам не известен мой приказ воздерживаться от наказаний, подобных тому, какое вы применили к кадету Алабышеву? А если уж возникает прискорбная необходимость, то делать сие только с моего личного разрешения...

— Я считал, ваше превосходительство, что приказ касается запутанных и сложных случаев. Сей же случай был так прост, что я полагал ненужным беспокоить ваше превосходительство. Вина кадета Алабышева была очевидна.

«И вины-то никакой не было,— подумал Крузенштерн.— Да и в этом ли дело?» Но говорить с подлецом о человеческих чувствах, о сострадании — все равно что рассуждать с нукагивским королем Тапегой про Бугерово сочинение о навигации. Бить надо было тем, что ему, Фогту, доступно: параграфами.

— Как вы сказали? — переспросил Крузенштерн.— Вы п о л а г а л и?

Холодное, невидимое собеседнику бешенство вдруг поднялось в нем — со звоном в ушах, с ненавистью, но и с ясностью в мыслях. То, что испытывал он порою, когда сталкивался с тупостью, самодовольством и жестокостью. То, что испытал впервые, неожиданно, в тот давний день на шканцах, у Нукагивы. Тогда в словах Резанова прозвучала нагло-снисходительная интонация, которая только что еле заметно скользнула у Фогта.

Впрочем, сейчас Крузенштерн удержался от вспышки.

— Вы п о л а г а л и...— тяжело повторил он.— А ведомо ли вам, что полагать и принимать свои решения офицеру Российской империи можно тогда, когда он в самостоятельном плавании, в бою или иных обстоятельствах, где требуется его личная ответственность? Находясь же в ежедневной службе под началом старших командиров, он первейшей своей обязанностью имеет выполнение инструкций и приказов, ему отданных.

Фогт опять дернул щекой и сказал, не теряя почтительного достоинства:

— Я учту замечания вашего превосходительства.

Крузенштерн откинулся на стуле. Сжал и расслабил лежавшие на столе кулаки.

— Замечания? Учитывать их вам уже нет надобности, вы более не наставник в корпусе. Но это еще не наказание, а лишь необходимая мера оградить воспитанников от вашего пагубного влияния. Поступок же ваш столь чудовищен, что я не решаюсь дать ему полную оценку и в рапорте Морскому штабу попрошу сделать это высших начальников... Пока же отправляйтесь под домашний арест и ждите решения. Если вам сочтут возможным сохранить офицерское звание, штаб, наверное, подыщет для вас место на корабле.

— Слушаюсь,— отрешенно отозвался Фогт. И добавил неожиданно: — Я и сам имел намерение проситься в эскадру.

— Отменно! — вырвалось у адмирала.— По крайней мере, ваша любовь к употреблению линьков и розог будет там не столь опасна. Взрослые матросы переносят зверства легче детей.

Фогт заговорил опять. То ли было ему уже все равно, то ли он не боялся быть дерзким, имея сильных заступников.

— Смею уверить ваше превосходительство, что в отношении матросов я всегда строго придерживался правил, установленных для русских военных кораблей.

Крузенштерн посмотрел ему в лицо. Они понимали друг друга. Ох как ненавидели и понимали!

— Я вижу ваш намек, господин капитан-лейтенант,— проговорил Крузенштерн, слегка расслабляясь.— Вам угодно сказать, что «Надежда», которой я в свое время командовал, была скорее купеческим, нежели военным кораблем. Но замечу, что на любом судне главная задача командира — не строгость ради строгости, а всемерное попечение об экипаже. Это правило дало мне возможность вернуться из плавания, не потеряв ни одного человека.

Опять дрогнула щека у Фогта, и он переглотнул. Словно загнал в себя чуть не вырвавшиеся слова.

— Говорите, если что-то хотели,— усмехнулся Крузенштерн.— Лишняя ваша мелкая дерзость не усугубит главной вины, не бойтесь.

— Я не хотел сказать ничего дерзкого. Замечу только, что Андрей Иванович Головачев хорошо знаком с нашей семьею. И он помнит судьбу несчастного своего брата...

«От этого и правда никуда не уйдешь»,— подумал Крузенштерн. Помолчав, он медленно встал.

— Ну что же,— сказал он, глядя Фогту поверх головы.— Желая задеть меня, вы добились своего и тронули больное место... Однако, говоря о благополучном возвращении, я имел в виду матросов. Лейтенант же Головачев — блестящий моряк и офицер — стал жертвой тяжких обстоятельств, душевного недуга и собственных острых понятий о чести...— «О которых ты, сукин сын, понятия не имеешь»,— добавил он мысленно. И продолжал: — Совесть наша друг перед другом чиста. А если есть чья-то вина, то теперь нас рассудит только всевышний... Ступайте...

Когда Фогт вышел, Крузенштерн постоял у окна, машинально ощупывая глазами такелаж и рангоут брига. Отметил досадный перекос фор-брам-рея и провисание грот-стень-штага. Ждал, что воспоминания об острове Святой Елены опять неумолимо и тоскливо лягут на душу. Но нет, не случилось. Потому что другая тяжесть — стыд и вина перед маленьким Егором Алабышевым — была сильнее других чувств. Иван Федорович тяжело прошел к порогу.

Григорий маячил неподалеку от двери.

— Матвеич, иди сюда... Что мальчик? Они его... сильно?

— Может, и не так уж сильно попервости. Да обидно же... Съежился в спальне, все еще плачет.

— Приведи... если он может.

Следовало бы пойти самому, но не смог себя заставить: как будут смотреть кадеты на директора, который обещал защиту и предал!

Он сел в кресло — не к столу, а у камина.

Минут через пять вошел Григорий, ведя осторожно за плечи Егора. Тот глядел в пол.

— Подойди ко мне,— тихо сказал Крузенштерн.

Алабышев подошел, сбивчиво ступая по ковру. Встал в двух шагах от кресла. На опущенном лице разглядел Крузенштерн разводы от слез, на ресницах — капли. Он привстал, взял мальчика за локоть, притянул ближе. Локоть затвердел; твердость эта от злого недоверия и обиды.

И тогда Иван Федорович сказал то, что ни в коем случае не должен говорить командир подчиненному, и уж тем более адмирал крохотному кадету:

— Егорушка, ты прости меня. Я же не знал...

Егор взметнул ресницы — так, что слетели с них брызги.

— Я помыслить не мог,— вполголоса говорил Крузенштерн,— что он посмеет так... без моего ведома... Думал — пугает...

Егор шепотом спросил:

— Значит, вы не разрешали?

— Да что ты! Как же я мог?

Егор всхлипнул, но уже как-то размягченно. Сам придвинулся еще на полшага. Лицо его было на одном уровне с адмиральским эполетом. Крузенштерн взял в ладони его маленькие холодные пальцы.

— Я ведь знаю, как это горько... Наверно, сперва хотелось уйти куда глаза глядят, корпус бросить навеки... Так ведь?

Егор кивнул. Но вдруг сказал без жалобы, тихо, но жестко:

— Но теперь не хочу. Я стану офицером.

Крузенштерн печально улыбнулся:

— И думаешь: только получу офицерский чин — и тут же вызову этого Фогта на дуэль...

Егор опять вскинул ресницы, но сразу набычился:

— Да. Вызову.

— Ну, что же, вызови, коли будет охота... Но кажется мне, ты к тому времени поймешь: не стоит он того...— Крузенштерн опять говорил то, чего говорить не следовало по законам дисциплины. Зато ладонь Егорушки теплела.— К тому же сей Фогт и без этого наказан уже порядочно. И к роте более не вернется.

Егор шмыгнул носом. Так же, как после долгих слез, успокаиваясь, шмыгают все дети. «Слава богу»,— подумал Крузенштерн и сказал:

— На дуэлях люди головою рискуют, а это ни к чему. Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это. Хорошо?

Егор посопел опять и ответил шепотом:

— Хорошо...

— Молодец... Тебе худо пришлось нынче, но уж коли так случилось, запомни это не ради одной обиды. Станешь капитаном, будешь командовать многими людьми. Капитан в море — он один царь и бог над всеми, кто на корабле. Не чини тогда людям жестокостей, помни, как горька несправедливость и боль... И на меня не сердись, ладно?

Егор смотрел теперь прямо:

— Я не сержусь, ваше превосходительство. Честное слово.

— Не надо «превосходительства». Мы ведь не по службе тут беседуем. Иван Федорович я... Сколько тебе лет-то, Егор?

— Десять с половиною, ва... Иван Федорович.

— Годы быстро бегут... Ох как быстро, Егор. Будет когда-нибудь у тебя свой корабль, пойдешь вокруг света. И забудешь, как звали тебя Мышонком...— И встревожился адмирал: — А почему так зовут? Уж не обижают ли товарищи?

«Если и обижают, не скажет»,— подумал он.

Но Егор Алабышев улыбнулся по-хорошему. И сказал смущенно, однако без досады:

— Это не для обиды так прозвали. Когда все балуются или гуляют, я с книжкой люблю сидеть. Ребята говорят: «Шуршишь, как мышонок в углу...» А потом просят рассказать, что читаю...

— Про что же читаешь? — улыбнулся и Крузенштерн.

— Про плавания... Вашу книгу тоже читал, «Путешествие вокруг света»...

— Да? А еще про что?

— Еще Василия Михалыча Головнина «В плену у японцев»... И Юрия Федоровича Лисянского, который плавал вместе с вами...

— Лисянский плавал более один, чем со мною, у него особые заслуги... Значит, мечтаешь о море?

— Так точно, в... Иван Федорович. Я очень плавать хочу... Мы этим летом у нас в деревне корабль из плота сделали на пруду. И парус был... Я чуть не потонул один раз...

— А вот тонуть-то не смей,— засмеялся Крузенштерн, вспомнив детские игры в имении под Ревелем.— Тебе плавать и плавать, целую жизнь. Может быть, героем станешь, как многие наши офицеры в недавнем бою под Наварином... Слышал ли?

— Конечно! Михаил Петрович Лазарев на «Азове» разом с пятью кораблями дрался и все потопил!.. А перед тем он два раза ходил вокруг света и с капитаном Беллинсгаузеном новые земли открыл в Южном море... Говорят, про их плавание тоже есть книга. Я слышал, но не читал...

— Нет еще, не напечатали пока. Но немало есть



других сочинений о разных открытиях, что сделали русские капитаны. ...Я скажу новому командиру роты, что завтра ты свободен от классов. Пойдешь в библиотеку, возьмешь какие хочешь книги и читай на здоровье.

— Младших туда в будние дни не пускают, только по воскресеньям.

— Я распоряжусь... А ты за это дай мне одно обещанье. Дашь? Не бойся, оно легкое...

Глаза Егора совсем уже высохли. Он глянул с хитринкой:

— А про что обещанье, Иван Федорович?

— Как станешь знаменитым мореходцем, откроешь новые острова да напишешь про них свою книгу, не забудь прислать в подарок мне, старику... Коли буду жив... Обещаешь?

Офицер Российского флота Егор Алабышев не написал своей книги. У него была иная судьба. Но Крузенштерна он помнил всю жизнь. До последнего дня, до последней вспышки...



Первая
часть

МЕДНЫЙ СТУК ЧАСОВ

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой.
Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот!

Эти стихи 29 декабря сорок седьмого года сочинил ученик четвертого класса «Б» новотуринской начальной школы номер десять Толик Нечаев. Они сами придумались, когда Толик волок с базара елку.

С елкой Толику несказанно повезло. Хотя и не сразу.

Часа два Толик топтался на городском рынке, в огороженном квадрате, который назывался «Елочный базар». Елок хватало, но тоска брала, когда он смотрел на однобокие уродины с редкими ветками. Правда, можно было купить два таких «инвалида» и связать вместе, но душа Толика восставала против подделки. Елка должна быть без всяких обманов и хитрости, одна и настоящая! Какая елка — такой и праздник получится.

Среди покупателей возник было неуверенный слух, что, может быть, еще привезут елки, прямо из лесни-

чества. Но продавщица — тетка в могучем тулупе — развеяла надежду:

— Ишшо чё! Вечер на дворе. Берите эти, завтра и таких не будет.

Толик понимал, что это, скорее всего, правда. Вот балда-то! Надо было раньше покупать. Все тянул, хотел, чтобы свежая была... А может, завтра все-таки привезут?

Толик продрог, в варежках коченели кончики пальцев. Так ничего и не выбрав, побрел Толик с рынка. И уже за воротами увидел красавицу ель.

Она была темная, голубоватая, с чешуйчатыми шишками в тени разлапистых веток. Ее наверняка только что привезли из леса: в хвое светился снежок. Поблескивали сосульки. От оранжевого, очень яркого заката в сосульках дрожали огоньки. Караулил елку низенький краснолицый мужичок в рыжем полушубке. Он притопывал и нерешительно поглядывал на редких прохожих: то ли кого-то ждал, то ли побаивался. Может, милиции?

Толик задрал голову и спросил жалобно и восхищенно:

— Продается?

Мужичок глянул сумрачно и рубанул:

— Тридцать рублей.

Катись, мол, не для тебя товар.

Толика и правда отшатнуло. С точки зрения здравомыслящего человека цена была непомерная.

За эти деньги можно не меньше десяти раз сходить в кино. Можно купить похожий на фотоаппарат фильмоскоп и к нему еще (если добавить сорок копеек) цветную ленту. Например, «Халифа-аиста» или «Оборону Севастополя». А лучше всего — автомат! Ствол и диск у него деревянные, зато приклад от настоящего ППШ. Видно, после войны автоматы в больших количествах стали уже не нужны и оставшиеся на заводах заготовки пустили на игрушки. Такой почти настоящий ППШ с трещоткой стоил как раз тридцатку. Толик не раз думал об этом, когда пересчитывал свои сбережения. Но он не поддался никаким соблазнам. Главное — елка и все волшебные новогодние радости...

Делать сбережения было нелегко. На пирожках в школьном буфете и на кино много не сэкономишь. У мамы тоже лишний рубль не выпросишь. Не потому,

что маме жалко, а потому, что зарплата у машинисток — «кот наплакал»... А еще эта реформа две недели назад! Конечно, здорово, что отменили хлебные карточки, теперь можно есть досыта. И новые деньги — красивые такие, просто удовольствие их разглядывать. Да только меняют-то их на старые один рубль за десять. Толик чуть не заревел, когда узнал про такое. С осени копил, старался, а теперь что?.. Но скоро стало известно, что мелочь обменивать не надо: медяки и «серебрушки» останутся прежними. И Толик обрадованно потряс жестяной копилкой...

В общем, так или иначе, а расплатиться с мужичком в рыжем полушубке Толик мог. Но все-таки он жалобно сказал:

— А может, двадцать пять, а?

Мужичок глянул с интересом. Но ответил непреклонно:

— Я ее по заказу с участка тащил, одному артисту драматическому в театре. А он говорит теперь: не надо. А я зря надрывался, да? Тридцать.

Толик сдернул варежки, подышал на пальцы, расстегнул пальтишко. В пришитом к подкладке кармане лежали его капиталы...

Мужичок пересчитал новые рубли и трешки и стремительно подобрел:

— Вот и ладненько!.. А как потащишь-то?

— Я близко живу,— торопливо соврал Толик. Он испугался, что мужичок передумает.

— Ну, держи... За середину берись, чтоб ловчее нести...

Мужичок навалил ель на Толика, и тот оказался в хвойной чаще. Праздничный запах снежного новогоднего леса вскружил ему голову. Но тяжесть оказалась вовсе не праздничной. Толик пискнул и поволок покупку по Рыночному переулку. Со стороны казалось, наверно, что упавшая набок большущая елка сама семенит куда-то на слабых ножках в подшитых валенках.

Так он добрался до улицы Коммунаров — центральной «магистрали» Новотуринска. Уложил елку на обочину, выбрался из-под веток и понял, что силы свои немыслимо переоценил.

Изредка проезжали автобусы. Но разве залезешь туда с такой громадиной? Даже в открытый, переделанный из полуторки автобус Толика с этим деревом не пустят...

Но правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Неторопливая лошадка протащила мимо Толика розвальни. В них сидел на соломе старый небритый дядька (последний свет заката искрился на его седой щетине). Толика словно толкнуло:

— Дяденька, подвезите меня с елкой! А то я помру, не дотащу! — Он сказал это и весело, и жалостно. Сам удивился своей смелости и не ждал, что «дяденька» отзовется.

— Тпру...— сказал дядька. Оглянулся: — А тебе куда?

— На Запольную! — заволновался Толик.— Это по улице Красина, а потом за Земляной мост...

— Это же в Заовражке! А я в Рыбкооп, на базу.

— Ну, хоть до моста! А там уж я дотащу!

— Вали свою древесину. Вот сюда, ближе втаскивай... Садись... Но-о, голубушка, чтоб тебя черти съели!..

Сразу стало все прекрасно. Даже пальцы в варежках перестали мерзнуть. Замечательная заиндевелая лошадка повезла елку и Толика мимо замечательных, уже освещенных витрин с нарисованными снежинками и цифрами «1948», мимо кинотеатра «Победа» с афишей нового замечательного фильма «Первая перчатка», замечательную песенку из которого пели все мальчишки: «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать!» (Толик, правда, не всегда умел давать сдачи, но песенка ему нравилась.)

Замечательный небритый возчик спросил про елку:

— Куды же ты ее такую волокешь? В школу, что ль?

— Не-е! Домой,— гордо сказал Толик.

— Домо-ой? Дак не влезет же.

— У нас потолок высокий. Нам осенью новую комнату дали, большую... Там раньше эвакуированные жили, целых шесть человек!

— А вас, выходит, меньше? — поинтересовался словоохотливый возчик. И благодарный Толик объяснил!

— Мама да я... Еще сестра, но она сейчас в Среднекамске, в институте учится. На инженера-химика.

— Сестра — это хорошо,— вздохнул дядька и закашлялся.— У моих сынков тоже сестра была... Вот ведь дело какое вышло: два сына ушли на войну и дочка. Парни-то оба вернулись, а сестренку ихнюю убило. В сорок пятом уже, в Германии. Фельдшер она была...

Толик вежливо молчал. Что тут скажешь?

— А ты, выходит, за мужика в доме? Отец-то небось тоже погиб?

— Под Севастополем...

— Помнишь батю-то?

— Маленько,— признался Толик. В армию отца призвали еще до войны, в тридцать девятом, когда Толику не было двух лет. С тех пор отец появлялся дома два-три раза на очень короткие деньки. И Толику запомнились лишь новые коричневые ремни, запах табака и одеколона и звездочка политрука на суконном рукаве гимнастерки...

Дальше ехали молча. Мимо четырехэтажного горсовета, мимо решетки городского сада, мимо старой церкви, где была контора Заготзерно. Потом свернули на улицу Красина... Грустная минутка ушла, и опять вернулось новогоднее настроение.

Закат светился над заснеженными крышами. Жестяные дымники печных труб чернели, будто кружевные теремки. Поверх заката ехал в ту же сторону, что и Толик, месяц с лихо задранным подбородком. Замечательный новогодний месяц.

«Скырлы-скырлы, скырлы-скырлы»,— поскрипывали полозья. Как липовая нога в сказке про медведя. Но сейчас была другая сказка — добрая. И под равномерный скрип в голове у Толика замаршировали веселые слова:

Месяц звонкий и рогатый...
Месяц звонкий и рогатый...

Рогатый — понятно почему. А звонкий... Потому что он серебристый и полупрозрачный, как из льдинки. Щелкни ногтем — и зазвенит...

Скоро пришлось попрощаться с добрым дядькой и тащить елку по Земляному мосту. Толик волок ее, ухватив под мышку комель; елке это было не на пользу, верхушка тащилась по снегу, но что поделаешь? С крутых склонов съезжали в лог на санках и лыжах орущие от восторга мальчишки. Закат быстро догорал над невысокими домами и деревьями Заовражка. Месяц стал ярче. Но звезд по-прежнему не было. Может, месяц решил подурачиться и соскоблил их с неба острым подбородком? Как лопатой!

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой!

Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот!

Толик прошептал это, сопя от усталости и веселой натуги. Почему «все наоборот», он и сам не знал. Так получилось.

А может, и правда наоборот? Не так, как обычно. Ведь дядька не хлестнул кобылу и не проехал мимо, а взял да и подвез Толика.

И по календарю сегодня понедельник, а у ребят — выходной. В школе решили позаниматься в воскресенье, чтобы потом сразу — каникулы. Но и в воскресенье не учились. Вера Николаевна раздала табеля и всех отпустила после первого урока. Ура!

По арифметике у Толика выходил явный трояк, но Вера Николаевна поставила четверку. Сказала: «Ладно уж, гуляй, добрый молодец, без печали». Вот какой веселый «наоборот»!

Только скорей бы добраться до дома...

Толик втащил елку во двор, когда совсем стемнело. Окна их с мамой комнаты на втором этаже светились. Значит, мама уже пришла с работы. Так рано! Тоже хороший «наоборот»!

Но мама встретила Толика неласково:

— Я уже искать собралась! Где тебя носило?

— Елку тащил! Пойдем, покажу! Ну, пойдем, увидишь, какая!

Мама покачала головой, накинула платок и ватник...

Вместе с мамой вышел Султан. Он радостно уставился на елку и заколотил Толика хвостом по валенкам.

— Ой,— сказала мама.— Толька, ты спятил... А как мы эту громадину в сарай затолкаем?

— Вот я и сам думаю...

— Если здесь оставить, могут стащить.

— Ага... Мама! А давай прямо сейчас ее украсим! А? Ну, ведь уже почти праздник! Даже в школе сегодня утренник был, и на площади елка!

— Не выдумывай...

— Ну почему «не выдумывай»?

— До послезавтра она осыпаться начнет.

— Да что ты! Она же только из лесу!.. Согласна? Ура!

Он облапил маму и чуть не уронил в сугроб...

— Дурень сумасшедший,— сказала мама.

Старая подставка из брусков крест-накрест оказалась мала. Пришлось ставить елку в кадушку, укреплять в ней ствол поленьями. Верхушка царапала потолок. Чтобы прицепить к ней серебряную самодельную звезду, Толик поставил на стол тумбочку, на тумбочку табурет. Султан неодобрительно смотрел на эти упражнения, фыркал и поматывал остроухой головой. Он только что обнюхал елку и уколол нос.

Игрушек для такой великанши оказалось маловато.

— Ничего,— сказала мама.— Еще ваты накидаем, будто снежок... Да и незачем такую красавицу чересчур игрушками увешивать, она и так хороша.

Но все же мама хитро посмотрела на Толика и достала из сундука несколько разноцветных шаров с картинками. Вот это сюрприз! Толик заорал «ура» и радостно упал с верхотуры на Султана, который обиженно, по-щенячьи, тявкнул и ушел к двери.

Пришла соседка Эльза Георгиевна. Изумилась:

— Куда же вам такая громадная, двоим-то?

— Почему двоим? Варя приедет, к ней ребята придут, бывшие одноклассники,— весело возразила мама.— И еще гости всякие... Наверно, и вы не откажетесь нас посетить?

— Ох, не знаю. Ко мне должна прийти сестра Вадима Валентиновича с мужем, это традиция... Вадим Валентинович так любил Новый год и елку, просто как ребенок. Сам игрушки делал, особенно солдатиков...— Эльза Георгиевна вдруг поджала губу, кивнула и вышла. Она была ничего, не вредная соседка, но старомодная и со странностями. Одинокая и бездетная...

— А Дмитрий Иванович придет? — спросил Толик.

— Н-не знаю. Едва ли. Он встречает Новый год со своими сотрудниками, в Рыбкоопе. У него там друзья.

— А ты? — ревниво сказал Толик.

— Что я?

— Разве не «друзья»?

Мама и Дмитрий Иванович познакомились в сорок шестом году, они вместе работали в комиссии на избирательном участке. Потом Дмитрий Иванович к ним часто заходил в гости. Про войну Толику рассказывал,

научил вертушки с флюгерами делать, чтобы на крыше прибивать. Осенью помог им с мамой переехать в новую комнату. В кино маму приглашал, в цирк. А недавно они опять дежурили в одном агитпункте, потому что были выборы в местные Советы, и Дмитрий Иванович всегда маму провожал...

В общем, не было здесь для Толика никакой тайны.

Он снова забрался на стол, на тумбочку, на табурет и сказал:

— Поженились бы вы, да и дело с концом.

— Анатолий!

— Ну чего «Анатолий»? Я же понимаю...

— Ты вот спустись, я покажу, где у тебя понимание.

Толик хихикнул на безопасной высоте и сказал деловито:

— Я серьезно говорю. Не маленький.

Мама села на кровать, помолчала.

— Раз не маленький, должен понимать, как все это сложно...

— Чего сложного-то...— буркнул Толик. Но уже не для мамы, а себе под нос.

Когда кончили украшать елку, был уже девятый час. Толик подул на исколотые хвоей руки и украдкой глянул на маму. Сказал осторожно и явно подхалимским голосом:

— Ма-а...

— Не выдумывай!

— Ну, мам...

— Я так и знала! Сперва одно, потом другое...

— Только попробуем. Самую чуточку...

— Ты жулик,— сказала мама.

Толик радостно затанцевал:

— Всего на полминутки!

— Мелкий авантюрист и вымогатель...

Мама достала пачку свечек и связку подсвечников-зажимов.

— На самые маленькие полминутки,— повторил Толик.

— В густоту не ставь, пожар устроим.

Толик укрепил свечки на хвойных лапах подальше от бумажных игрушек. А одну — у самой верхушки, чтобы звезда сверкала.

— Мама, давай зажигать! Я здесь, а ты внизу!

— Подожди...— как-то странно сказала мама.— Спустись.

Толик встревожился и послушно прыгнул на пол.

Мама задумчиво пригладила ему коротенькую прическу «полубокс».

— Если уж зажигать, значит — праздник. Умойся и причешись.

Толик заволновался, послушно и старательно вымыл на кухне, под звякающим умывальником, руки, лицо и шею. Ледяной водой, взятой в сенях из кадки! Мама включила электрочайник. Потом дала мама Толику белую рубашку и черный праздничный костюм, который знакомая портниха тетя Римма сшила из маминой вельветовой юбки. Такие костюмы из вельвета были у многих мальчишек, но Толику они не нравились: куртки висели, как мешки, а застегнутые под коленками штаны раздувались, будто аэростаты. Любой пацан делался похожим на куль с куриными ножками. А костюм для Толика получился ладный, без лишней полноты и складок. Наверно, потому, что материи в юбке было в обрез. Даже на рукава не хватило, вместо куртки вышел жилетик. Ну и ладно, так даже лучше, белую рубашку заметнее.

А военные пуговки горят, как золотые!

В глубине души Толик считал, что в этом наряде он похож на Пятнадцатилетнего капитана или Роберта Гранта.

Из-под кровати Толик вытащил свои легонькие летние сандалии. Свежий воротник ласкал шею. Лицо празднично горело от недавнего умывания. Перед зеркалом Толик продрал гребешком куцую челку. Привычно вздохнул по поводу немужественного курносого отражения, но сейчас и оно настроения не испортило.

Мама за шевелящейся занавеской тоже надевала что-то праздничное. Толик замечал, что в последнее время мама стала его стесняться: всегда одевается за шторкой или в темноте. Толик деликатно отвернулся от занавески. А когда глянул снова, мама уже стояла на свету в зеленом своем платье со стеклянными «искорками» на груди. Молодая, почти как Варя...

Мама оглядела Толика и сказала:

— Теперь — зажигаем.

Толик схватил коробок и опять полез к потолку...

Потом они с мамой отошли в дальний угол. Елка

с потрескивающими огоньками была как целая лесная страна. В ее чаще мерцали неизвестные сказки. Может быть, затерянные и забытые города, живущие неведомой жизнью.

Как неоткрытые острова в океане.

И над ними сверкала сделанная Толиком звезда.

Жаль, что у сказок такое короткое время.

Мама вздохнула и сказала, что свечки надо поберечь. Но волшебство не исчезло совсем. Запах елки теперь смешивался с запахом погасших свечек. А ведь именно при погасших свечах в замках и подземельях происходили удивительные истории...

Мама принесла булькающий чайник, поставила на стол блюдце с карамелью «кофейная подушечка», тарелку с печеньем.

— Приедет Варя, придут ее друзья, Новый год будет шумный. А сейчас давай сделаем тихий праздничный вечерок.

И они стали пить чай у елки. Елка занимала чуть ли не полкомнаты, она была здесь хозяйка, а Толик и мама — у нее в гостях. Ради таких чудесных минут и старался Толик: деньги экономил, игрушки клеил, елку тащил. Теперь все было замечательно... Только... что-то грустные глаза у мамы. И улыбается она слишком уж задумчиво. Вообще-то ничего особенного, в такие вечера грусть иногда подбирается сама собой. Но все полезно в меру. И чтобы сделать маму повеселее, Толик сказал:

— Раз уж получается сегодня праздник, тогда знаешь что? Я тебе подарю подарок, который к Новому году сделал. Ты не бойся, это не весь подарок, потом еще будет.

И он вытащил из тайника, со шкафа, склеенное «Лукоморье».

Это была словно маленькая театральная сцена. Размером с тетрадку. На ней — дуб с золотой цепочкой, черный лохматый кот ростом с полспички, Баба Яга в ступе из наперстка, а в ветвях — русалка с хвостом из фольги. Из-под белых гребешков на волнах торчали шлемы и копья Черноморова войска (правда, не тридцать три, а поменьше). Подвешенный на нитке к облаку бородатый колдун тащил богатыря с длинным мечом из иголки.

Небо над Лукоморьем было из тонкой зеленой бумаги. Прорезанный в ней месяц Толик заклеил ярко-желтой бумажкой — совсем прозрачной. Посмотришь на просвет — небо таинственно светится, месяц горит, силуэты на сцене будто оживают...

Мама и в самом деле повеселела. Хвалила Толика и долго разглядывала сказочный театр. Потом сказала:

— Я тебе тоже сделаю подарок. Тоже предварительный...

И дала мама Толику синюю книжку с быстрым кораблем на твердой корочке. «Русские кругосветные мореплаватели».

— Ух ты-ы...— сказал Толик. Съехал со стула на пол, под елку, и там открыл первую страницу.— Мам, вот спасибо...— Он торопливо пролистал предисловие (известно, что предисловия читать необязательно).— «Крузенштерн и Лисянский, первая экспедиция на Восток»... Мама, они кто? Капитаны?

— Читай, читай, сам узнаешь,— сказала мама.— Кто у нас моряк-путешественник? Ты или я?

И Толик читал под елкой, пока мама не погнала его в постель. Потом еще читал — под одеялом, с фонариком (вернее, с батарейкой, к которой были примотаны самодельный жестяной рефлектор и лампочка). Мама наконец сказала сквозь сон:

— Толька, совесть у тебя есть? Я тебя завтра не подниму.

— Ну и что? Каникулы же.

— Мало ли что каникулы! С утра пойдешь на рынок...

КУРГАНОВ

Уходя на работу, мама растолкала Толика.

— На столе деньги и список: что надо купить.

Толик не стал нежиться в постели. В каникулы для этого почему-то нет настроения. Он выпустил гулять Султана, разогрел на завтрак жареную картошку, полюбовался елкой и отправился за покупками. Ключ оставил в коридоре под половиком. Султану, который шастал по двору, сказал:

— Далеко не бегай. Может быть, Варя появится, а дома никого...

На рынке он купил круг замороженного молока, в овощном подвальчике — квашеную капусту и свеклу для винегрета, в продуктовом магазине на углу — пол-литра подсолнечного масла и душистую буханку хлеба, который теперь без карточек и почти без очереди. А на свои собственные три рубля (которые остались от елки) еще один шарик: ярко-алый, с картинкой «Конек-Горбунок».

Вари дома не оказалось. Да и смешно было надеяться, что ее отпустят из института в учебный день. Зато раньше срока пришла на обед мама. Сказала, что в редакции капризничает машинка и материалы в новогодний номер придется печатать дома.

Она застучала на своем ужасно старом, но еще крепком «ундервуде». Толик опять уселся читать про Крузенштерна и Лисянского. Рядом приткнулся нагулявшийся и пообедавший Султан. Он тихо сопел и в полудреме постукивал хвостом о половицы.

Толик читал быстро. Он вообще был «книгоглотатель», а если про море и про путешествия — он мчался по страницам, как лихой кавалерист. Но мчался — это не значит, что был невнимательным. Он не пропускал даже тех страниц, которые написаны скучновато, словно в учебнике.

Читать — это вообще самое лучшее занятие. А если вот так, под елкой, и когда мама уютно стучит на машинке, и когда за стеной Эльза Георгиевна что-то красиво, ненавязчиво наигрывает на пианино, и когда не колет мысль об уроках — тогда вообще счастье.

И плывут, плывут корабли «Надежда» и «Нева» к Нукагиве и Камчатке, к Русской Америке и Японии, к Китаю и острову Святой Елены...

В Кронштадт «Нева» и «Надежда» вернулись, когда за окнами стемнело, мама перестала печатать, а Султан опять отпросился на улицу. Толик потянулся так, что заскрипели позвонки.

— Вот книжечка! Мама, ты молодчина, что догадалась купить такую.

Мама, укладывая в портфель бумаги, объяснила:

— Здесь интересное совпадение. Недавно я печатала старые документы одному человеку, по заказу. Как раз насчет этих морских путешественников. Печатаю и ду-

маю: «Вот бы книжку про них достать! А то ума не приложу, что ненаглядному сыну подарить на Новый год. Потом иду мимо «Когиза», и нате — стоят на витрине «Русские мореплаватели». Как в сказке.

— Новогодние чудеса... А что за документы ты печатала?

— Да брошюра старая, инструкции всякие.

— А что за человек? Профессор?

— Господи, откуда у нас в Новотуринске профессоры? Так... человек. Заходит иногда в редакцию, заметки пишет... Эту брошюру он в библиотеке отыскал, в архивном фонде, и попросил меня кое-что перепечатать. Видимо, интересуется географией... Ой, Толик, сделай сегодня еще одно доброе дело!

— Опять в магазин,— сказал Толик.— Или свеклу чистить?

— Ничего не чистить. Отвези этому человеку готовую работу. Она дома у меня, а он заходил сегодня в редакцию, спрашивал. Неудобно так... Отвезешь? Он на Ямской живет.

— У-у...

— Ну что «у-у»? Мне на работу надо, и там я застряну, если машинку починили. А тебе прокатиться — одно удовольствие.

Мама угадала. Толик протянул «у-у» для порядка. Читать он устал, сидеть дома одному — радости мало, а прокатиться по вечерним предновогодним улицам в самом деле неплохо.

Мама дала ему плоскую папку.

— Покажи, что за брошюра,— попросил Толик.— Интересно все-таки, морская ведь.

В папке лежала серая тонкая книжица с узором из листьев и маленьких глобусов. Длинное название было оттиснуто старинными буквами:

СОБРАНІЕ ИНСТРУКЦІЙ
данныхъ въ разное время
командирамъ
РУССКИХЪ СУДОВЪ
при отправленіи въ дальніе плаванія

И ниже:

Санктпетербургъ
1853

Толик полистал. Мелькнуло знакомое имя Крузенштерна. Но мама торопила:

— Вот адрес. Вход отдельный, со двора, собаки там нет. Человека этого зовут Арсений Викторович. Он такой, немного хмурый и нелюдимый, но ты не бойся.

— А чего бояться-то? Отдам папку, вот и все.

— Ну... не совсем все. Скажи, что я просила, что, если он может... пусть сразу расплатится за работу. Нам бы деньги к празднику очень пригодились.

Толик поморщился.

— На кино-то небось запросишь,— напомнила мама.

Мама ушла. Толик оделся, выволок из-за вешалки лыжи, снял с гвоздя самодельную сбрую. На крыльце свистнул Султана. Тот вылетел из темноты.

— Хватит без толку носиться, запрягайся.

Султан не спорил.

Они выбрались со двора на укатанную дорогу.

— Ну, вперед! — велел Толик.— Давай!.. Вперед, Султан, кошка! Где у нас кошка?

Султан радостно взвизгнул и рванул Толика.

Это была игра. Еще давно, когда пес был почти щенком, юный хозяин так приучал его мчаться и тащить лыжника. Приходилось выслеживать впереди кошку, чтобы Султан охотнее набирал скорость. А теперь никакой кошки не было, Султан это прекрасно понимал. Да и на кой шут она сдалась? Если догонишь, что дальше? Не душить же ее, в самом деле. Да и по морде можно заработать когтистой лапой (случалось такое в прежние времена). А бежать и без всякой причины весело. Везти легонького хозяина — это не работа, а шуточки.

Толику тоже было весело. Лыжи слушались отлично, тугие запяточные ремни плотно держали их на валенках. Папка — за пазухой, ремень от упряжки — в левой руке, а правая откинута, как у канатоходца,— чтобы сохранять равновесие...

А по сторонам бегут назад желтые уютные окошки. И старый знакомый — новогодний месяц — летит за Толиком.

Пересекли большую улицу Луначарского — с двухэтажными домами, фонарями, магазинами и машинами. И опять вокруг сугробы, палисадники да месяц над заборами... И вот уже Ямская. Раньше редко приходилось бывать здесь: в этих краях — ни друзей, ни зна-

комых. Вроде бы не так уж далеко от Запольной, а все здесь непривычное. Кирпичная часовенка на углу, сад за глухим забором, чужая трехэтажная школа... Даже месяц стал какой-то не такой и притворялся, что незнаком с Толиком.

Ну, ничего, они с Султаном нигде не пропадут.

— А ну, Султан, где здесь кошка?!

Дом номер четырнадцать оказался большой, двухэтажный, с узорчатыми наличниками на высоких окнах второго этажа. А низ — кирпичный. Наверно, раньше жил в доме купец или фабрикант. Калитка открылась мягко, без капризов. Во дворе, у первого крыльца, Толик воткнул в сугроб лыжи.

— Султан, сидеть. Зря не гавкай, лыжи никому не давай.

Султан недовольно двинул ушами: и так знаю. Толик постучал в обитую войлоком дверь. Постучал уверенно: на фанерном почтовом ящике белела при свете месяца надпись: КУРГАНОВ А. В.

Хозяин отпер дверь, не спрашивая, кто и зачем. Встал на пороге, касаясь головой верхнего карниза. В сенях, за спиной у него, горела яркая лампочка.

— Что угодно? — глуховато спросил Курганов.

— От Людмилы Трофимовны...— Толик протянул папку.

— О! — голос Курганова стал яснее и добрее.— Это удивительно и прекрасно.— Он взял папку.— Заходите, прошу вас.

Толик подумал, что заходить вроде бы ни к чему. Но вспомнил про деньги.

Они прошли через длинные морозные сени. Толик видел Курганова со спины. Тот был очень высокий, сутулый. В накинутом ватнике, в старых галифе, в громадных растоптанных валенках на тонких ногах. По дороге он зацепил коромысло на стене, оно с грохотом сорвалось с гвоздя. Толик бросился поднимать, но Курганов, не взглянув, сказал:

— Плюньте.

Они оказались в большой комнате — тоже с яркой голой лампочкой. И первое, что увидел Толик,— это громадная синяя карта. Со всеми частями света. Она занимала полстены. Под ней угадывалась высокая, видимо, заколоченная дверь.

— Проходите,— говорил Курганов,— раздевайтесь,

вот вешалка... Ах, как прекрасно, что Людмила Трофимовна прислала... Но зачем такое беспокойство? Я бы сам завтра... Вы ее сын?

— Сын,— кивнул Толик. Ему впервые говорили «вы», но он не удивлялся. Он знал, что люди, воспитанные по-старинному, всегда очень вежливы. Даже с детьми. Видимо, и Курганов такой. Может, и в самом деле ученый-географ? Специально поселился вдали от столицы, чтобы работать в тишине...

Правда, обстановка в комнате была явно не профессорская. Стол, покрытый газетами, разномастные стулья. Железная кровать. Книг много, но полки самодельные, некрашеные. Лишь камин богатый: большой, узорчатый — кружевное чугунное литье. Толик видел такой всего один раз — у мамы на работе, в кабинете редактора. Потому что редакция находилась в старинном доме бывшей заводской конторы буржуя Крутиса.

Здесь камин, конечно, тоже остался от прежних хозяев. Наверно, раньше в этой комнате был чей-то домашний кабинет, а потом его отгородили и сделали отдельный вход с улицы...

Толик, озираясь, машинально отстегнул пуговицы. Курганов забрал у него куцее, похожее на курточку пальто и шапку.

— Проходите, погрейтесь с дороги. Я сейчас чайку...

— Да нет, спасибо...

— Это вам спасибо, так вовремя привезли. Да проходите же!

Толик начал стаскивать валенки.

— Зачем? Не надо! — всполошился Курганов.

— Я шкуру затопчу.

На полу раскинулась бурая медвежья шкура с кривыми когтями на растопыренных лапах.

— Ну и топчите, я сам ее топчу! Это вовсе не предмет роскоши, а так... случайный подарок одного приятеля.

Но Толик уже стянул валенки.

— Тогда я их к печке...— решил Курганов.

Толик подумал, что Арсений Викторович вовсе не хмурый и не молчаливый. Скорей, наоборот. Суетится чего-то с мальчишкой, как с важным человеком... «А может, просто стесняется? — мелькнула у Толика догадка.— Может, не знает, как разговаривать с детьми? Может, своих никогда не было...»

Курганов, без сомнения, жил один. Единственная

кровать — старая и узкая, вроде солдатской койки. Посуда стоит на тех же полках, что и книги. Вешалка почти пустая, а шкафа для одежды вообще нет. Холостяк. Вроде Дмитрия Ивановича, у которого Толик был несколько раз.

Идти в чулках по упругому медвежьему меху было очень приятно. Толик прошел не торопясь. Присел на скрипнувший стул. Курганов поставил на подоконник плитку, на плитку чайник. Толик думал: не пора ли сказать о деньгах?

Курганов, хотя и был разговорчив, добродушным не казался. Стоило ему замолчать, и лицо делалось невеселым. Это было некрасивое лицо с повисшим над толстыми губами носом. Один угол рта опускался ниже другого. Голубые глазки сидели близко от переносицы и смотрели из-под щетинистых бровей с настороженной виноватостью. Сквозь жидкие бесцветные волосы просвечивала лысина. И все же Курганов был не таким старым, как сперва Толику показалось. Сутулился, но двигался быстро. Он снял ватник, остался в обвисшем черном свитере и сделался еще более тощим и высоким. Длинные руки с большими ладонями торчали из рукавов...

Толик встретился глазами с Курганом и смутился, что так разглядывает его. Стал смотреть на карту. Она была гораздо больше школьной. Все материки покрывал одинаковый серый цвет, а по морям и океанам растекалась голубая краска разных оттенков — от белесоватой до густо-васильковой.

«Наверно, морская карта»,— подумал Толик. Хотел уже спросить о ней Курганова, но заметил картинку — рисунок в деревянной рамке под стеклом. Он висел на карте, левее западных берегов Африки. Толик различил на картинке переплетение корабельных снастей и осторожно подошел.

Рисунок был сделан карандашом на желтоватой ворсистой бумаге. На палубе, у фальшборта, в окружении хохочущих матросов сидел на бочке бородатый дядька в короне и с вилами. Он тоже хохотал или что-то весело кричал. В левой руке его была объемистая кружка. Поодаль стояла группа офицеров в треуголках. Сквозь частые ванты и бакштаги невдалеке был виден еще один корабль. Он шел под полными парусами, с небольшим креном.

Курганов остановился сзади. Толик оглянулся:

— Это встреча с Нептуном, да? Переход через экватор?

— Совершенно правильно. Русские корабли «Надежда» и «Нева» двадцать шестого ноября тысяча восемьсот третьего года.

— На которых Крузенштерн и Лисянский?

— Да, да... Значит, слышал о них?

— Ага! Я про них только сегодня читал.

— Прекрасно! А что именно? Чья книга?

— Моя. Мама подарила.

— Прекрасно,— опять сказал Курганов серьезно.— Но я, собственно, имел в виду, кто автор...

— Ой,— смутился Толик.— Это — кто написал? Я не помню.

— Ну, ничего,— смутился и Курганов.

— Кажется... Новиков.

— Любопытно... А может быть, Нозиков?

— Может быть,— виновато сказал Толик.

— Ну что же. Нозиков так Нозиков,— с непонятной ноткой проговорил Курганов.— Для начала можно и его.

— Вы его тоже читали, да?

— Д-да... По правде говоря, он не пишет ничего нового. У меня еще в детстве была книга об арктических и кругосветных мореплавателях России, в том числе и о Крузенштерне. Некой писательницы Лялиной, весьма популярной в те года. Так вот, у Нозикова кое-где прямо слово в слово списано...

Толик с первого класса знал, что списывать нехорошо. И ему стало неловко за Нозикова. И обидно за книжку — мамин подарок. Толик сказал насупленно:

— Может, он просто похоже написал. Потому что про одно и то же.

— Да? Ну, может быть,— излишне покладисто проговорил Курганов.— Беда не в этом... И Лялина, и Нозиков описывают экспедицию очень гладко. И не касаются подробностей.

Толик нерешительно возразил:

— Почему? Там есть подробности.

— В событиях кое-что есть. А про людей мало... Например, что мы знаем про этого матроса? — Курганов ногтем ткнул в Нептуна.— Ни Лялина, ни Нозиков о нем даже не вспоминают. А любопытный был человек! Веселый, остроумный. Грамотный. А это редкость среди

тогдашних матросов... Правда, и грехи у него были, мог загулять на берегу... В общем, характер... Кстати, мой однофамилец. Я в детстве вообразил даже, что это мой предок...

Толик живо вскинул на Курганова глаза:

— А может, правда?

— Едва ли... Но с него начался мой интерес к этому плаванию.

— А где вы про него прочитали? Про Курганова.

— У самого Крузенштерна, в его книге про путешествие. Очень старая книга, напечатана сто сорок лет назад. Три тома... Я выменял их у своего товарища на пять романов Майн-Рида... Вот тогда и прочитал про матроса Курганова... Кстати, непонятно, как его звали. В списке экипажа у Курганова имя Иван и звание квартирмейстер, то есть унтер-офицер...

— Вроде нынешнего старшины?

— Вроде... А в книге Крузенштерн пишет «матрос Павел Курганов»... Думаю, он ошибся. Список — вещь точная, документ...

— Я сразу понял, что вы про них все изучаете. Еще когда мама сказала про инструкции... Вы ученый, да?

Курганов засмеялся. Он странно смеялся. Вперемешку с мелким кашлем. Лицо измялось, рот искривился: один угол поднялся в широкой улыбке, а второй оказался опущенным. Толику это показалось неприятным — будто Курганов насмехается над собой и над ним. Но тут же он понял, в чем дело: правый угол рта у Курганова соединялся с коротеньким коричневым шрамом, косо идущим вниз. Толик моментально вспомнил одну книжку, ее пересказывала ему мама — «Человек, который смеется». Там бродячие циркачи украли мальчишку, сделали ему операцию на лице, и он всю жизнь ходил с уродливой улыбкой. А здесь — наоборот: из-за шрама казалось, что правый край у рта уныло опущен.

А смеялся Курганов по-доброму, без насмешки. Голубые глазки его стали веселыми и симпатичными.

— Тебя как зовут-то? — Незаметно для себя и для Толика он перешел на «ты».

— Толик... А почему вы смеетесь?

— Извини... Просто меня первый раз в жизни приняли за ученого. За кого меня только не принимали! За кладбищенского сторожа, за ревизора, за клоуна... Даже за шпиона. А за ученого — ты первый... Нет,

брат, до ученого мне как до Луны. У меня и образования-то — одна гимназия, да и то ускоренный выпуск. На войну торопился...

— На войну? — переспросил Толик, пытаясь сообразить: какие же это были годы?

— Да. Пошел вольноопределяющимся, потом в прапорщики произвели...

— Как... в прапорщики? — сказал Толик изумленно и опасливо. Потому что у красных никаких прапорщиков не было.

Курганов опять улыбнулся:

— Это не гражданская война, а с Германией, в четырнадцатом году... Мальчишки мы тогда были. Полегло нашего брата прапорщиков, бывших гимназеров и студентов... На подвиги рвались очертя голову... А меня в пятнадцатом году так трахнуло, что очнулся только через месяц в лазарете. И сказали, что воевать больше не гожусь... Ну, вот и чайник закипел. Садись к столу, погреемся. Ты вон в какую даль топал по морозу.

Чай пили с колотым сахаром и твердыми до деревянности пряниками. Толик — из стакана с подстаканником, Курганов — из фаянсовой кружки с отбитой ручкой. Было тихо, даже слишком тихо, и в этой тишине слышался отчетливый медный стук часового механизма. Толик поискал часы глазами и не увидел. Потом опять глянул на Курганова, встретился с ним взглядом и смутился. Молчать было неловко. Толик спросил, продираясь сквозь смущенье, как через колючки:

— Арсений Викторович, а почему вы тогда решили, что он ваш дедушка... ну или прадедушка... Этот матрос. Только из-за фамилии?

— Конечно! — Курганов, видимо, обрадовался разговору.— И потому еще, что мне очень этого хотелось... Но оказалось, что никаких моряков у нас в роду не было. Или сухопутные военные, или инженеры, математики... Кстати, если уж искать предков, то разумнее было бы считать таковым другого Курганова. Знаменитого профессора Морского шляхетного корпуса, у которого учился Крузенштерн... Но и это, конечно, пустое. Мой отец сказал однажды: «Не выдумывай. Мало ли Кургановых на Руси...» Сам он был инженером на литейном заводе, а из меня почему-то решил сделать адвоката,

отдал в гимназию, а не в реальное училище... Увы, не вышел из меня адвокат.

«А кто вышел?» — чуть не спросил Толик, но не решился.

Однако Курганов понял.

— После ранения поступил в университет, бросил... Время было такое, не до учебы. В девятнадцатом взяли в Красную Армию, но воевать не послали, дохлый я был. Направили в военную типографию... А потом так и стал работать в типографиях. Можно сказать, специалистом сделался, хотя и без диплома.

— Значит, сейчас вы тоже в типографии работаете? — обрадовался Толик.— В газете, где мама?

— Сейчас вот как раз нет... Конторский служащий я, в райпотребсоюзе... Вообще-то мне приходилось не только типографскими делами заниматься. Всякими. И бывать пришлось в разных местах...

«А на фронте?» — чуть не спросил Толик. Он имел в виду последнюю войну, с фашистами. В его понимании все настоящие мужчины должны были участвовать в этой войне.

И опять Курганов понял его без вопроса.

— Перед войной я в Ленинграде жил. Когда финская началась, меня опять призвали. Вернулся уже с лейтенантскими кубиками. А больше воевать не пришлось...

— Признали негодным? — понимающе сказал Толик.

Курганов чуть усмехнулся:

— Признали... Послали работать на Север.

— С экспедицией, да?

— Можно сказать, что с экспедицией... А Ивана Курганова я все-таки считаю немного родственником. Потому что как увидел в старой книге эту фамилию, так и увлекся. Правда, про него самого я узнал немного, но плаванием этим всю жизнь интересуюсь. Пытаюсь кое в чем разобраться. Так, для себя...

— А разве там есть что-то неизученное? Ведь они не так уж давно плавали. Ну, не в древности же...

— Как тебе сказать... Особых тайн нет, и написано про это путешествие много. Но неясностей хватает... В характерах неясностей, в человеческих отношениях. Разные там были люди и разные события. Вот про это бы написать...

Толик поставил стакан. От неожиданной догадки он забыл про смущение. Спросил звонко:

— Значит, вы книгу пишете, да?

Курганов хлебнул, закашлялся, тоже поставил кружку. Коротко засмеялся, оборвал смех и сказал:

— Ну, что скрывать, раз ты догадался...

ШТОРМ В СКАГЕРРАКЕ

Толик смотрел на Курганова, приоткрыв рот. Первый раз в жизни он видел писателя. Ну, пускай не знаменитого, но все равно п и с а т е л я. Человека, который с а м пишет книгу. Потом он тряхнул головой, рот захлопнул и уткнулся в стакан. Глянул исподлобья и сказал с почтеньем и сочувствием:

— Это, наверно, ужасно трудно.

— Ужасно трудно,— очень серьезно, даже печально согласился Курганов.— Сколько раз уже хотел все изодрать в клочки.

— Зачем? Не надо! — испугался Толик.

— Порой кажется, что все так отвратительно написано. Беспомощно... И посоветоваться не с кем. За три года ты первый человек, с кем я про Крузенштерна заговорил. Я и разболтался-то потому, что... как бы сказать... почуял общий интерес.

— Я люблю про море и про путешествия,— тихо сказал Толик.

— Вот и я люблю. И про путешествия, и про моряков... Удивительные они люди. Сам я тоже в детстве о морской службе мечтал, да не вышло.

Толик подумал.

— Арсений Викторович, знаете что? Если человек про моряков книжку пишет, он ведь и сам тоже как моряк.

Голубые глазки Курганова снова добродушно засветились.

— Да? Может быть... Но это, наверно, если хорошо пишет.

— А вы... много уже написали?

— Ну... повесть эта довольно большая получается. Но я ее уже почти кончаю. Сейчас кое-что переделываю, дополняю... Я ведь, Толик, давно с ней вожусь. И когда на Дальнем Востоке был, и там, под Выборгом. И в... на Севере когда работал... Тебе налить еще?

— Ага... то есть пожалуйста.

— Только вот пряники очень уж каменные.

— Ничего, я такие даже больше люблю. У меня зубы крепкие.

— А я свои почти все угробил за последние годы...— усмехнулся Курганов. И вдруг сказал другим голосом: — Толик...

Толик вопросительно вскинул глаза.

Курганов смотрел из-за кружки нерешительно и виновато.

— А если я попрошу тебя об одной услуге... А?

— Ладно...— неуверенно отозвался Толик.— О какой?

— Может быть, послушаешь у меня несколько страниц? Раз уж так получилось... Раз уж мы встретились так удачно. А?

— Конечно! — обрадовался Толик. По правде говоря, он этого немного ждал. Вернее, не ждал, а думал: «Вот хорошо бы...»

Будет еще одно новогоднее чудо! Он сидит у старинного камина (пускай и не горящего), а писатель читает ему свою книгу. Да еще о Крузенштерне! Час назад про такое Толик и мечтать не мог. Нет, в самом деле, последнее время полно сюрпризов...

Курганов сбивчиво объяснил:

— Ты не удивляйся, что я тебе... Я никому в жизни еще не читал, а ты... Тебя будто сама судьба послала...— Он нервно усмехнулся.

Толик хотел пошутить, что послала не судьба, а мама, но постеснялся и сказал:

— Ладно. Только...

— Что? Дома ждут? — огорченно спросил Курганов.

— Нет, мама еще, наверно, на работе. Султан ждет на дворе, я на нем приехал.

— Ездовой пес?! — обрадовался Курганов.— Давай его сюда.

...Султан был воспитанной собакой. Войдя в комнату, он шевельнул хвостом, будто сказал «здрасте». Курганов сел перед ним на корточки.

— Ух, какие мы красавцы... Прекрасное сочетание, помесь овчарки и лайки. И еще кое-чего понемножку, для гарнира. Медали за чистоту кровей нам не дадут, ну и не надо, зато мы сильные и умные...— Он бесстрашно взял голову Султана в большие свои ладони, потрепал по ушам, погладил загривок. А Султан... Толика даже

ревность кольнула: стоит, бродяга, и хвостом машет, будто перед ним старый друг.

Курганов оглянулся на Толика.

— Мне с собаками много пришлось дела иметь, не удивляйся. Они своего сразу чуют... Откуда у тебя такой хороший?

— Сам нашелся, два года назад. Он совсем щенок был, худой, и лапа в крови. На нашу улицу прибежал, а я его домой привел. Мама сперва говорит: «Вот еще! Самим нечего есть, вот выставлю обоих из дома...» Потом лапу ему забинтовала...

— Умница,— опять сказал Курганов Султану, еще раз погладил его и распрямился — голова под потолок. Робко спросил: — Ну, что, Толик, начнем?

Толик заволновался и кивнул. Сел у холодного и чистого внутри камина. Султан прилег рядом. Курганов достал с полки желтую картонную папку.

— А камин у вас действует? — спросил Толик.

— Что?.. Да, конечно. Но тепла от него маловато, я печку топлю. Но можно и камин, возни только много... Разжечь?

— Да нет, я же так просто спросил...

Оглядываясь на Толика, Курганов сел к столу, раскинул папку. Странно замер над бумагами. Стало опять очень тихо, и снова Толик услышал медный стук часов. Зашарил глазами по комнате. Но в это время Курганов шумно вздохнул и сказал:

— Я сперва самое начало прочту, ладно?

Толик опять кивнул. Курганов надел очки, нагнулся над листом и глуховато заговорил:

— Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стоял учебный фрегат, двойным ударом, слышным на трех этажах, отметил начало первой перемены...

Пока Курганов читал, Толик пошевелился всего два раза. Первый, когда осторожно пересел поудобнее: устроился на стуле верхом, щекой лег на спинку. Второй — когда ногой толкнул Султана: тот, забыв о приличии, стал шумно чесаться. Чтобы не сопеть, дышал Толик, приоткрыв рот. От этого обсыхали губы, он водил по ним языком...

— Ну вот...— сказал Курганов и положил на папку вылезшие из обшлагов ладони.— Ну... как? Не понравилось, да?

Толик опять облизал губы.

— Понравилось. Только...

— Что? Ты не стесняйся, критикуй! — вскинулся Курганов.

— Да нет, все хорошо. Только жалко этого... Алабышева.

— Да? — обрадовался Курганов.

— Да,— вздохнул Толик.

— Но это же хорошо, что тебе его жаль! Значит... я как-то сумел это... передать. Показать...

— Сумели, конечно! А Фогту потом что было? Его правда выгнали из корпуса?

— Разумеется! Но не в нем дело. Он тут не главный герой, про него больше и не упоминается... А какие еще замечания?

— Никаких! Только... там немного одно место непонятно. Что случилось с лейтенантом Головановым?

— С Головачевым:.. Это, брат ты мой, самая печальная история. Я про него много пишу. Я ведь тебе только пролог прочитал, а дальше будет про само путешествие.

— Это хорошо. А то я все думал: когда про «Надежду» и «Неву» начнется?

— Будет, будет и про это. Прямо со следующего листа... Можно, я тебе еще пару страниц прочитаю? Это про шторм, в который корабли попали в самом начале плавания.

— Ага! — Толик опять положил подбородок на спинку стула. Шторм — это приключение, это интереснее всего.

«Мрак был не черный, а мутно-зеленый — так, по крайней мере, казалось капитану. Он ревел, этот мрак, выл, свистел картечью морских и дождевых брызг и громоздился всюду исполинскими глыбами воды. Штормовые стаксели почти не давали кораблю скорости. Неуклюже, то носом, то бортом, валился он со склона волны, и казалось, что не будет конца этому падению. Достигнув подножия водяной горы, махина скрипучего парусника силою инерции все еще стремилась в глубину, черпала воду фальшбортом, набирала ее щелями разошедшейся обшивки, утыкалась бушпритом в накатившийся гребень. В это время упругая сила моря выталкивала корабельный корпус из водяной толщи, новая волна задирала «Надежде» нос, а очередной нажим бешеного норд-

веста уваливал корабль под ветер и кренил до такой степени, что левый конец грота-рея вспарывал воду.

Свист воздуха в такелаже — тоскливый и более высокий, чем голос самого шторма,— надрывал душу.

Крузенштерн и второй лейтенант «Надежды», двадцатитрехлетний Петр Головачев, стояли у наветренного ограждения юта... Хотя едва ли можно сказать «стояли» о людях, которые мечутся вместе с растерзанным парусником среди стремительно вырастающих водяных холмов, скользят сапогами по мокрой палубе и то цепляются за планшир, то с маху ударяются спиною об упругий штормовой леер. И слепнут от хлестких клочьев пены.

Впрочем, какая разница, слепнут или нет. Все равно мрак...

Нет, какие-то остатки света все же были заметны в кипящей смеси воды и ветра. То ли пробивался в случайный разрыв облаков луч звезды, то ли сами по себе пенные гребни давали сумрачное свечение. Ревущая темнота была испятнана, исчерчена смутными узорами этой пены.

«Надежда» опять стремительно пошла вниз, а впереди и справа Крузенштерн угадал громадную волну с двумя пятнами пены у гребня. Они мерцали, как белесые глаза.

«А и правда — чудовище»,— мелькнула мысль. Раньше Крузенштерн усмехался, когда встречал у романистов сравнения волн с живыми страшилищами. Он бывал во многих штормах и знал, что волны — это волны и ничто другое. Сейчас же сравнение пришло само собой. И Крузенштерн понял, что это — страх.

«Надежда» снова легла на борт, и пошли секунды ожидания: встанет ли? Со стонами начала «Надежда» выпрямляться.

«Господи, никогда не было такого...»

Не помнил он подобного шторма, хотя обошел на разных кораблях полсвета. Ни у берегов Вест-Индии, ни в Бенгальском заливе, где крейсировал с англичанами на их фрегате, ни в китайских водах, известных своими тайфунами, не приводилось встречаться со столь неудержимой силой стихии...

Палуба опять покатилась в глубину, шквал ударил в правый борт, оторвал от планшира Головачева, толкнул к бизань-мачте. Но через несколько секунд лейтенант снова оказался рядом.

«А ведь ему не в пример страшнее, чем мне,— подумал Крузенштерн.— Мальчишка... Хотя какой же мальчишка? Успел уже поплавать, побывать в кампаниях... Да и сам ты в двадцать три года считал ли себя мальчишкой? В скольких сражениях со шведами обстрелян был, в Англию попал на учебу в числе лучших офицеров... Да, но сейчас иногда вдруг чувствуешь себя ребенком. При расставании в Кронштадте сдавило горло слезами, как в детские годы, когда увозили из Ревеля в корпус...»

Сорвало кожаный капюшон, Крузенштерн опять натянул его.

«...А Головачев? Что я про него знаю? Единственный, с кем не был знаком до плавания. Посоветовали, сказали: искусный и храбрый офицер... А и в самом деле держится молодцом...»

— Петр Иванович, как на руле?! — крикнул Крузенштерн и подавился дождем.

У штурвала были различимы фигуры в штормовых накидках.

— На руле! Дéржитесь там?! — перекричал шторм лейтенант.

— Так точ... ваш-высок-бла-родь! Держ...— долетело до него.

— Кто рулевые?! — отворачиваясь от ветра, крикнул Крузенштерн.

— Иван Курганов и... Григорьев... ваш-сок-родь...

— Круче к ветру держи́те, ребята! Все время круче к ветру!

— Так точ... Держим ваш... родь...

— Крепко привязаны?!

— Так точ...

Опять чудовищный этот крен со стоном рангоута и мучительным скрипом обшивки. Встанем ли? «Ну, вставай, «Надежда», вставай, голубушка... Да выпрямляйся же, черт тебя разнеси!»

Это надо же, как взбесились волны! И не где-нибудь в открытом океане, а в проливе, в Скагерраке, хоженном туда-сюда не единожды... В том-то и беда, что в проливе. Кто знает, где теперь берег? Сто́ит задеть камни — и пиши пропало. До чего же обидно — в самом начале плавания...

— Круче к ветру!

Да что могут сделать рулевые, когда хода у корабля

нет, а вся ярость шторма лишь на то и нацелена, чтобы поставить «Надежду» бортом к ветру, к волне...

Какая-то фигура, цепляясь за леера, взобралась на ют.

— Кто?! — гаркнул Крузенштерн.

— Это граф Толстой! — отозвался Головачев.

Поручик гвардии Федор Толстой оказался рядом.

— Что вам здесь надо?! — Крузенштерну было не до любезностей.

— Наблюдаю разгул стихий,— отплевываясь, изъяснился поручик.— Любопытствую и удивляюсь себе, ибо ощутил в душе чувство, доселе неведомое. А именно — боязнь погибели. До сей поры был уверен, что в части страха обделен природою...

«Правда ли боится? — подумал Крузенштерн.— Или валяет дурака, а настоящей опасности не понимает?»

— Идите философствовать в каюту, граф! Здесь не место!

— Отчего же, капитан?!

— Оттого, что смоет в...— Крузенштерн не сдержал досады и назвал место, куда смоет бестолкового сухопутного поручика. Тот захохотал, кашляя от дождя и ветра. Неожиданно засмеялся и Головачев. И тут опять бортом поехали в тартарары, а сверху рухнул многопудовый пенный гребень.

Когда «Надежда» очередной раз выпрямилась и вскарабкалась на волну, Толстой выкрикнул:

— Кому суждено погибнуть от пули, тот не потонет!

— А вы знаете точно, что вам уготована такая судьба? — сквозь штормовой рев спросил Головачев.

— На войне ли, от противника ли у барьера, но знаю точно — от пули помру! На крайний случай — сам из пистолета в лоб! Не в постели же кончать дни свои офицеру гвардии!

— Завидна столь твердая определенность! — цепляясь за планшир, насмешливо крикнул Головачев.

— Кто же мешает и вам...

— На руле! Два шлага влево, чтобы ход взять! А как волна встанет, снова круто к ветру! — скомандовал Крузенштерн.— Так!.. Все, братцы, на ветер! Прямо руль!

— Разве же эта посудина слушает еще руля? — искренне удивился Толстой.

— Сие не посудина, а корабль Российского флота! — неожиданно взъярился Головачев.— И правда, шли бы в каюту, граф! А то и пуля не понадобится!

— А в каюте что? Та же вода! Хлещет во все щели!

«Коли выберемся благополучно и дойдем до Англии, сколько дней лишних потратим на новую конопатку»,— подумал Крузенштерн. И впервые выругал в душе милого Юрочку Лисянского за то, что не сумел он за границей купить корабли поновее.

Кстати, где он сейчас, Лисянский? «Нева» исчезла за дождем и волнами при первых же шквалах, и теперь лишь гадать можно о ее судьбе... Ну, да если мы пока держимся, бог даст, и она выстоит. Не случилось бы только самого худого: вдруг вырастет над волною силуэт корабля, кинется навстречу...

Экие мысли в голову лезут! Лисянский не новичок, не повернет судно по ветру. А все-таки...

— На руле! Смотреть вперед сколько можно!..

— Есть вашблагородь! Сколько можно, смотрим!..

Это Курганов. Отличный матрос, хотя, по мнению некоторых, языкаст не в меру. Вот и сейчас проскочила насмешка: смотрим, мол, приказ выполняем, да только чего тут рассмотришь-то?

Ну и ладно. Ежели есть в человеке еще сила для насмешек, значит, держится человек...

Толстой крикнул опять:

— Здесь хотя бы на воле, а в каюте совсем тошно! Страхи спутников моих и стенания, кои слышатся там, усугубляют душевное расстройство!..

— По-моему, для борьбы с душевным расстройством вы излишне долго беседовали с бутылкою,— догадался Крузенштерн.— Только, ради бога, без обид, граф! Драться с вами на дуэли я все равно не имею возможности!

...Сумрак стал жиже, появились первые признаки пасмурного рассвета. На ют поднялись Ратманов и Ромберг.

— Иван Федорович, обшивка местами расходится, в трюме может случиться течь,— сказал Ратманов.

— Все может быть, если скоро ветер не ослабнет.

— Идите отдохните, Иван Федорович. И вы, Петр Иванович. Мы заступаем.

Крузенштерн спустился в каюту. Под бимсом — выгнутой потолочной балкой — мотался масляный фонарь. Воды было по щиколотку, она ходила от стенки

к стенке. Фонарь раскидывал по ней желтые зигзаги. Плавала разбухшая книга.

Постель промокла. Крузенштерн повалился на койку, не снимая плаща. Качка сразу сделалась мягче, взяла его в большие темные ладони, вой ветра и плеск за бортами приутихли... И казалось, прошла минута, но, когда вестовой растолкал капитана, за стеклами свистело уже серое утро.

— Ваше высокоблагородие, их благородие Макар Иваныч просят вас наверх.

Качало так же. Свет давал теперь возможность видеть взбесившееся море. Дождя почти не стало, и, когда корабль подымало на гребень, был виден взлохмаченный горизонт.

— Иван Федорович!— крикнул Ратманов.— Не убрать ли стаксели? Они не столько дают нам движение вперед, сколько способствуют дрейфу! Слева вот-вот покажется берег.

— Подождем еще, Макар Иванович! Без стакселей мы совсем будем неуправляемы!

Но в четыре часа пополудни, когда слева открылся берег Ютландии, Крузенштерн приказал убрать штормовые стакселя и намертво закрепить руль. Шторм перестал двигать корабль к опасной суше, но зато «Надежда» совсем потеряла способность к маневру. К счастью, буря стала стихать.

К ночи ветер стал ровнее. Но дул он по-прежнему между вестом и вест-норд-вестом и не давал выйти из Скагеррака, хотя снова поставили стакселя, а также бизань и фор-марсель.

Лишь через сутки неустанной лавировки моряки увидели Дернеус — южный мыс Норвегии. К вечеру ветер стал тише, и тогда через северную половину потемневшего неба перекинулась дуга полярного сияния. Под нею, словно опоры великанского моста, поднялись облачные темные столбы.

Корабль все еще кидало на неуспокоенной после шторма зыби. Матросы завороженно и со страхом смотрели на светлую арку небесного моста. Вздыхали:

— Не к добру...

Не терявший веселости Иван Курганов пробовал пошутить:

— Этим мостиком, братцы, прямехонько в царствие небесное...



Шутку на сей раз приняли без одобрения.

Офицеры и ученые тоже считали, что необычное явление может быть предвестником нового шторма. Но, к счастью, дурные предположения не оправдались. Двадцатого сентября дул сильный, но попутный ветер, затем, когда вышли на Доггер-банку, наступил короткий штиль. Матросы приводили корабль в порядок. Несколько человек, зная рыбную славу здешнего места, закинули сеть, но без успеха. Крузенштерн с учеными испытывал новый прибор — гельсову машину — для определения разницы температуры воды на поверхности и в глубине.

Пассажиры приходили в себя. Появился наконец за обеденным столом бледный и молчаливый Резанов. Он смотрел с укором, словно в недавнем шторме виноват был капитан «Надежды».

Несколько раз Крузенштерн с тревогой и досадой навещал в гардемаринской каюте кадета морского корпуса Бистрема, своего племянника. Измученный непрерывной морской болезнью, племянник не помышлял уже ни о плавании, ни о флотской службе вообще. К счастью, повстречался английский фрегат «Виргиния». Командиром его оказался капитан Бересдорф, знакомый Крузенштерну по службе в английском флоте. Он взялся доставить кадета Бистрема в Лондон, чтобы тот мог вернуться в Россию. Отправились в Лондон на «Виргинии» также астроном Горнер, чтобы купить недостающие инструменты, и его превосходительство камергер Резанов с майором Фридерицием — для обозрения английской столицы. Вернуться на борт «Надежды» обещали в Фальмуте, где корабль должен был чиниться после шторма.

27 сентября «Надежда» благополучно пришла в Фальмут, где и встретилась с «Невою».

Погода сделалась хорошая, но люди еще жили воспоминаниями шторма. Кое-кто из пассажиров говорил между собою:

— Если такое было у берегов Европы, что нас ждет в океане?

Фальмут был последним портом перед выходом в открытый океан. Все писали письма, чтобы с попутными кораблями отправить домой. Ученые делали записи в журналах наблюдений.

Писал свой «Журнал путешествия россиян вокруг света» и главный комиссионер Российско-Американской ком-

пании, верный помощник Резанова купец Федор Шемелин.

Шемелина определили на жительство в констапельскую — глубокую кормовую каюту, где хранилось артиллерийское имущество. Свет сюда не проникал, днем и ночью приходилось жечь свечу в фонаре, да и та горела слабо в спертом воздухе.

При желтом дрожании огня Шемелин описывал шторм. Сообщал будущим читателям, что люди, оказавшись в той буре, вели себя по-разному: одни проявили неустрашимость, другие — малодушие. «Последних боязнь,— писал Федор Иванович,— простиралась до того, что с каждым наклонением судна набок представлялось им, что они погружаются уже на дно морское. Каждый удар волны об корабль считали они последним разрушением оного и прощались со светом. Те, которые являли себя храбрее на берегу, оказали себя на море всех трусливее и малодушнее».

О ком именно идет речь, в «Журнале», напечатанном в 1816 году, не сказано. И мы не станем строить догадок, дело прошлое. Но стоит запомнить мысль Шемелина, что настоящая смелость проявляется именно в суровые часы, а пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелухою.

Впрочем, ни один офицер, ни один матрос робости во время шторма не проявили, каждый службу свою нес честно и умело...»

Курганов закрыл папку и опять глянул на Толика: вопросительно и виновато.

— Здóрово,— сказал Толик.— Даже страшно, когда про крен: встанет ли?.. Вот интересно: знаешь, что ничего с ними не случится, а все равно страшно. Будто сам на палубе...— Толик пошевелил плечами.— Будто даже брызги за шиворот....

— Да? — Курганов стремительно встал, шагнул к Толику, взял его бóльшущими ладонями за плечи (Султан стрелками поставил уши и напружинился).— Ох, спасибо тебе... Прямо бальзам на мою грешную душу.

Толик глянул в высоту — в счастливое (и даже немного красивое) лицо Курганова.

— Арсений Викторович, а какая это будет книга? Детская или взрослая?

— Что?..— Курганов опустил руки.— Я как-то не задумывался. Хочется, чтобы всем интересно было

— Так, наверно, и будет,— успокоил Толик.

Опять наступило молчание. И, услыхав снова медный стук шестеренок, Толик спохватился:

— Ой, а который час?

Курганов поднял на животе обвисший свитер, вытянул из кармашка у пояса большие часы на цепочке.

— Почти девять...

— Мама, наверно, скоро придет домой...

— Бессовестный я человек, задержал тебя.

— Да все в порядке, мы за пять минут домчимся!.. Ой...— Толик засопел и неловко затоптался.— Арсений Викторович, мама просила... если вы, конечно, можете... Может, у вас есть сегодня деньги за перепечатку?

Курганов хлопнул себя по лысому лбу.

— Ну, растяпа я! Ну, субъект! Сейчас, сейчас. Конечно...

Из кармана галифе он извлек потрепанный бумажник.

— Вот, пожалуйста... Ах ты, неприятность какая, десяти рублей не хватает. Как неудобно...

Он сделался виноватый, ну прямо как первоклассник перед завучем. Толик решительно сказал:

— Арсений Викторович, если у вас последние, то не надо.

— Ну что ты, что ты! Я завтра утром получу! И сразу эти десять рублей занесу. Я знаю, где вы живете, однажды заходил. Ты извинись за меня перед Людмилой Трофимовной...

— Да пустяки,— сказал Толик.

— Нет-нет, я завтра же... А эти деньги спрячь, не вытряхни по дороге.

— Не вытряхну.— Толик расстегнул курточку. Это была тесная, еще со второго класса, курточка с потайным карманом — его пришила мама для денег и хлебных карточек, когда Толику приходилось стоять в очередях.

У ГОРЯЩЕГО КАМИНА

Толик проснулся так поздно, что на замороженных окнах уже сияли солнечные искры. Потрескивала печка. Стучала машинка: значит, мама в редакцию не пошла, работает дома.

Не оглядываясь, мама сказала:

— Не вздумай читать в постели. Брысь одеваться.

— Есть, товарищ капитан! — Толик кувыркнулся из-под одеяла на половик и сел по-турецки, любуясь елкой...

В эту минуту краснощекая тетка в полушубке принесла телеграмму. И хорошее утро испортилось. Варя сообщала, что приедет лишь первого числа, потому что перед самым Новым годом у нее зачет. И конечно, что она «поздравляет и целует».

— Целует она,— сумрачно сказал Толик.— Лучше бы зачеты сдавала пораньше...

У мамы тоже упало настроение. Она добавила, что дело, скорее всего, не в зачете. Просто распрекрасной Варваре хочется встретить Новый год в компании однокурсников.

— Конечно,— поддержал Толик.— Там у нее кавалеры со всех сторон. Выбирай какого хочешь жениха.

— Анатолий...

— А чего? Вот подожди, сама увидишь...

Мама взяла себя в руки и сообщила Толику, что он говорит глупости. У Вари действительно важный зачет, это надо понимать. Завтра она приедет, и все будет хорошо и весело. А сегодня, что поделаешь, посидят в новогоднюю ночь вдвоем. Немножко поскучать — это тоже полезно.

Толик осторожно спросил:

— А может быть, Дмитрий Иванович все-таки придет?

— Что ему у нас делать? Я же говорила: он встречает Новый год со знакомыми на работе. У них большая компания.

Толику стало обидно за маму.

— Между прочим, мог бы и тебя пригласить.

— Между прочим, он приглашал...

— Ну и... что? — упавшим голосом спросил Толик.

Мама хлопнула его по носу свернутой телеграммой.

— Дурень. Куда же я из дома? Тем более мы думали, что Варя приедет.

— Но теперь-то знаешь, что не приедет,— пробормотал Толик. Он ужасно не хотел, чтобы мама уходила, но совесть требовала поступать так, чтобы маме было лучше.

— А тебя-то я куда дену?

— Я что, грудной? Посижу у елки, книжку почитаю. По радио концерт будет интересный... К Эльзе Георгиевне схожу...

— Очень ты там нужен...

— А потом спать лягу,— сдерживая скорбь, сказал Толик.

— Нет уж, мне там все равно праздника не будет, я изведусь: как ты один? Небось еще елку запалишь...

Толик прикинул: достаточно ли он поуговаривал маму? Совесть подсказывала, что надо бы продолжить разговор, а здравый смысл предупреждал: так можно и палку перегнуть — мама, чего доброго, возьмет да и поддастся уговорам.

Она посмотрела на Толика и засмеялась:

— Твои терзания у тебя на физиономии напечатаны крупными буквами. Не бойся, никуда я не пойду...

Толик засопел от стыда и облегчения и хотел пробурчать что-нибудь возмущенно-оправдательное. И в этот момент, к счастью, пришел Курганов.

Мама встретила его в коридоре и привела в комнату. Сейчас Курганов показался Толику еще более высоким и худым, чем вчера. Он был в старом, очень длинном демисезонном пальто, из-под которого торчали растоптанные валенки. Меховая шапка тоже была старая, потертая до лысой кожи. Шею обматывал в несколько витков красный порванный шарф.

Покашливая, Арсений Викторович объяснил, что вот такая вчера получилась досада и он очень просит извинить, что не смог расплатиться сразу. А сейчас вот, пожалуйста...

Мама сказала, что не стоило волноваться из-за пустяка. Но все равно она рада, что Арсений Викторович зашел. Пусть он раздевается, сейчас они будут пить чай... Ох, только, пожалуйста, никаких отговорок. Раз уж пришли, будьте добры подчиняться хозяйке. Пусть Толик отнесет на вешалку пальто Арсения Викторовича...

Когда Толик вернулся в комнату, Арсений Викторович сидел у стола и трепал по ушам Султана. Мама весело звякала чашками и блюдцами.

Курганов неловко повозился на стуле, поводил голубыми своими глазками по елке — от пола до макушки — и сказал стеснительно:

— Да, елка у вас... Хоть во дворец такую...

— Толик постарался. Как он бедный ее только дотащил...

— Очень просто дотащил,— бодро сказал Толик.

Курганов на секунду прикрыл глаза, улыбнулся уголком рта.

— Запах. Детство вспоминается. Всегда, если елкой пахнет, детство вспоминается.

— Это, наверно, хорошо...— заметила мама.

— Это хорошо,— серьезно отозвался Курганов.— Без этого нельзя.— Он опять нагнулся и стал гладить Султана.

— А у вас будет елка? — спросил Толик. Мама взглянула на него укоризненно. Однако Курганов не удивился вопросу.

— Где уж мне с елкой возиться. У меня и украшений нет... Правда, две веточки поставил в графин, для запаха. Чтобы повеселее было, когда Новый год наступит... Да еще камин, пожалуй, затоплю для настроения. Толик вчера видел, какой у меня камин. Памятник эпохи...

— Как в сказке,— сказал Толик.

— Вы что же, в одиночестве Новый год встречаете? — с вежливым сочувствием спросила мама.

— А мне не привыкать... Думал было съездить к дочери в Ленинград, да отпуск не дают. Она ко мне тоже не может, обстоятельства всякие...

— Я и не знала, что у вас дочь...

— Да. Взрослая... Жена умерла в эвакуации, а дочь вернулась в Ленинград, замужем теперь.

«А вы почему не в Ленинграде живете?» — чуть не соскочило с языка у Толика, но мама вовремя посмотрела на него. Да он и сам сообразил: мало ли какие бывают причины, нечего соваться. Но уже вырвались слова: «А вы...» И, чтобы как-то закончить фразу, Толик бухнул:

— А вы... приходите к нам Новый год встречать.

Толик тут же испуганно взглянул на маму. Она, кажется, растерялась, но почти сразу сказала:

— А в самом деле... Арсений Викторович, это мысль! Мы с Толиком вдвоем остались, тоже скучать собираемся. Дочь не приехала, застряла в институте... Посидим, свечки зажжем на елке, будет очень уютно...

Курганов помолчал и ответил, не поднимая головы:

— Спасибо вам громадное... Только, знаете, я уж лучше дома. Неподходящий я для праздничных компаний человек, привык все больше сам с собой.

— Ну как же так! — мама, кажется, искренне огорчилась.— В праздник можно посидеть и... как говорится, в кругу.

— Можно, конечно...— Курганов опять повозился на скрипнувшем стуле, осторожно придвинул к себе блюдце с чашкой.— Можно... Да только кругу от такого гостя, как я, всегда одно уныние. Знаете, Людмила Трофимовна, за всю жизнь не научился поддерживать застольные беседы. Очень бывает неудобно...— Он полушутливо развел большущими ладонями, зацепил на краю стола сахарницу, сконфузился и заболтал в чае ложечкой.

— Жаль,— вздохнула мама.— Жаль, что вы не поддаетесь уговорам.

Толик чувствовал себя виноватым за весь этот нескладный разговор. Чтобы загладить перед мамой оплошность, он сказал:

— Я маму уговаривал идти встречать Новый год со знакомыми, а она боится меня оставить. Будто мне три года.

— Да не боюсь я,— серьезно возразила мама.— Просто нехорошо это: собственного сына бросать в праздник...

Курганов задержал у губ чашку, глянул на маму, на Толика. Прихлебнул. Потом торопливо допил чай и заговорил, неловко усмехаясь:

— Вы уж не обижайтесь, Людмила Трофимовна, человек я для застольных бесед в самом деле неприспособленный. А вот с Толиком вчера разговорились. Общая тема нашлась...

— Мы о Крузенштерне...— ввернул Толик.

— Да, это у меня давнее... Я вот подумал... Чтобы никто не скучал в праздник... Вы только не сочтите мое предложение за странность. Если, конечно, Толик согласится... Вы бы пошли в гости, а Толик ко мне. Чтобы вы не волновались, а Толик один не грустил. Мы бы с ним продолжили вчерашнюю беседу...

— Ой... ура,— шепотом сказал Толик.

Удивительно, что мама согласилась. Причем гораздо скорее, чем ожидал Толик. Много времени спустя, когда Толик вспоминал эти дни, он сообразил, что маме очень надо было в ту ночь оказаться там, в гостях. Где Дмит-

рий Иванович. Что-то складывалось (или, наоборот, не складывалось) у нее в отношениях с этим человеком. Но в то утро Толик подумал об этом лишь мельком и без тревоги. Для беспокойства не было причин: Дмитрий Иванович такой хороший человек...

И Арсений Викторович хороший: как он все придумал!

Конечно, мама сначала сказала, что это неудобно. Чего ради Арсений Викторович должен брать на себя такие заботы.

А он, смущенно кашляя, возразил, что забот никаких. И что он зовет Толика «главным образом из чисто корыстных соображений». Толик такой внимательный слушатель, а ему, Арсению Викторовичу, очень хочется почитать кое-что из своей рукописи. Так что это, наоборот, Людмила Трофимовна и Толик сделают ему одолжение... И пусть Людмила Трофимовна не волнуется, у него прекрасная кровать, Толику на ней будет удобно. А сам Арсений Викторович уляжется на стульях, ему не привыкать.

— Ну уж это ни в коем случае,— сказала мама.— На стульях прекрасно устроится Толик.

Толик и подумать не мог, что подкатят эти слезы...

Сначала все было замечательно.

Комната Курганова оказалась прибрана, в ней пахло елкой. Ветки в графине были не просто ветки, а густые лапы, и на них даже блестели три зеркальных шарика. У камина лежали березовые дрова. Арсений Викторович обрадовался Толику, помог раздеться, удивился и смутился, что мама дала ему с собой большой кулек замороженных пельменей, и пошел ставить для них на плитке воду (когда-то закипит!).

Султан по-хозяйски растянулся на шкуре.

Толик сел у стола с еловыми ветками.

Наступила какая-то непонятная минута. Опять стучали невидимые часы. У Курганова «не контачила» плитка, и он смущенно чертыхался вполголоса. Свежие хвойные лапы пахли очень сильно, и Толик вспомнил с в о ю елку. И подумалось: «А почему все т а к?» Он здесь, в чужом, почти незнакомом доме, а елка, с которой он столько мучился и радовался, стоит, никому не нужная, в пустой темной комнате... А мама... она где-то с други-

ми людьми... Нелепость какая-то! Почему они с мамой в этот праздник не дома?

Конечно, сам хотел. Обрадовался, когда Арсений Викторович предложил. Ждал с нетерпением вечера. Весело попрощался с мамой, бодро примчался на лыжах сюда... И вот...

Хорошо, что хоть Султашка рядом.

Толик присел возле Султана на корточки, начал гладить его, крупным глотком загнал внутрь слезы.

— Все! — сказал Курганов.— Включилась окаянная... Толик...

Ответить бы что-нибудь, но в горле будто пробка деревянная.

Курганов подошел, постоял над Толиком. Опустился рядом.

— Взгрустнулось, что ли? — тихо спросил он.— Это бывает, не стесняйся... Я помню, было мне тоже лет одиннадцать, и на рождественские каникулы приехал я на дачу к товарищу. Под Лугу... Все елку наряжают, радуются, а мне вдруг дом вспомнился... Убежал я на кухню, спрятался в углу... А ты не грусти, Толик, ночь-то проскочит незаметно. Завтра прибежишь домой, все будет в порядке... А?

Стыд — хороший тормоз для слез. У Толика затеплели уши, а пробка в горле почти растворилась. Он опять глотнул.

Курганов положил ему руку на плечо.

— Это ведь само по себе праздник, что дом твой рядом и что завтра ты в нем обязательно окажешься. И елка там, и родные люди... Мне приходилось Новый год встречать, когда до дома тыщи верст и неизвестно, когда попадешь в него. И люди кругом... такие, что лучше бы никого. Вот это тоска... Крузенштерн тогда только и спасал.

Толик посопел и спросил сипловато:

— Вы сегодня про него почитаете?

— Договорились же! Про него и про других... А сперва кое о чем расскажу, чтобы тебе все понятно было...

— А камин разожжем?

— В первую очередь!

Камин разгорелся быстро. Дрова застреляли, пламя рванулось к дымоходу, высветило чугунное нутро.

— Ну вот, а теперь сядем,— сказал Курганов.

Толик поставил стул боком к огню, сел верхом, как в прошлый раз. Султан примостился у ног.

— А я так, на дровишках. Мне это привычнее...— Арсений Викторович устроился на поленьях напротив Толика, по-мальчишечьи обнял колени. Помолчал. Свет падал на его лицо сбоку, яркие зайчики дрожали на залысинах. Глаза в тени глубоких впадин казались теперь большими и почти черными.

Толик с вежливым нетерпением качнул ногой. Курганов потер большим пальцем рубчик на уголке рта и попросил:

— Если я очень разговорюсь, ты меня останавливай. А то я могу на эту тему до бесконечности... Значит, о Российско-Американской компании ты уже читал?

— Ага... В той книжке. Но там немного...

— Много и не надо, главное, чтобы ясно было, с чего началось... Основал эту компанию Григорий Иванович Шелехов с товарищами, давно еще, в восемьдесят первом году позапрошлого века. Человек он был энергичный, умный. И мореплаватель, и торговец, и промысловик. Добывали русские люди пушнину на побережье Аляски, на Алеутских островах, а главным образом на большом острове Кадьяке. Там и главное поселение было. Возили добычу через океан, в Петропавловск на Камчатке, а оттуда в Китай, на продажу.

Трудное это было дело, опытных моряков не хватало, суда тамошней постройки были неважные, гибло их немало... Да и вообще промышленным людям жилось там не сладко. Все товары и продукты, всякую мелочь приходилось через всю глухую Сибирь везти на лошадях до Охотска, а оттуда уж морем на Камчатку и в Американские поселения...

Толик кивнул. Все это он уже знал.

— А Крузенштерн решил доказать, что на кораблях прямо из России, через океаны, легче, да?

— Именно... Он ведь был к тому времени опытный мореплаватель, хотя исполнилось ему едва тридцать лет. Успел он отличиться во многих сражениях, потом служил у англичан: был, по-нашему выражаясь, на длительной практике за границей... Там тоже пришлось повоевать, с французами. Побывал он в Америке, в Африке, в Индии, а потом добрался до Китая. Все ему было интересно: как люди живут в дальних странах, какие

у других народов корабли и моряки, как торговля идет. И все время он думал: почему же русские суда в большие плавания не ходят? Разве наши матросы и капитаны хуже других? И почему в России должны люди втридорога платить за товары, которые привозят иностранцы? Разве не можем сами мы вести морскую торговлю?

...И вот, когда Крузенштерн возвращался из Китая в Европу на корабле «Бомбей Кастль» (а было это в тысяча семьсот девяносто девятом году), составил он свой проект кругосветного плавания. Первая часть была о торговле. О том, что российские корабли могут везти нужные товары на русские промыслы в Тихом океане, забирать там пушнину, выгодно продавать ее в китайском городе Кантоне, а там нагружаться товарами, которые нужны в России и Европе. Такие же товары можно было закупать по пути через Индийский океан: в Батавии, в Калькутте...

Но это еще не весь проект. Мне кажется, Крузенштерн считал торговые дела не самыми главными. Просто этой важной причиной он старался убедить начальство в пользе кругосветного плавания. О таком плавании Крузенштерн мечтал с детства. Он ведь был, как говорится, моряк до мозга костей. Человек, самой природой предназначенный для путешествий, для открытий, для изучения всяких морских тайн, а их тогда было видимо-невидимо еще... Можно сказать, вся наша Земля тайнами дышала...

И вот писал Крузенштерн, что русский флот должен стать таким же славным и знаменитым в искусстве дальних плаваний, как самый лучший тогда — английский. И что не должны российские моряки уступать иноземцам в географических открытиях...

Ну, как ты помнишь, сперва этот проект не одобрили. Или просто-напросто затеряли среди канцелярских бумаг.

Крузенштерн разозлился на царских бюрократов и ушел в долгий отпуск, уехал в свою деревню под Таллин (тогда он назывался Ревель). Подумывал уже совсем уйти из флота...

— Как это? А говорите — «моряк до мозга костей».

— Да, он и был таким. Я ведь сказал уже, сколько он морей и стран повидал к тридцати годам... Но тут он решил: раз дальше не получается, нечего зря мор-

ской мундир носить. После всего, что было, не плавать же в Маркизовой луже (так Финский залив прозвали). Вот и подумал: займусь хозяйством или буду учителем географии в той школе, где когда-то сам учился...

Надо сказать, что ребятишек Иван Федорович любил и, видимо, к учительскому делу чувствовал какую-то тягу. Недаром стал потом заведовать Морским корпусом...

Но это потом, спустя много лет. А пока жил он в глуши, и вдруг примчался к нему фельдъегерь: «Вас вызывает адмирал Мордвинов, новый морской министр...»

Прибыл Крузенштерн к министру и слышит: «Господин капитан-лейтенант, ваш проект наконец рассмотрен и принят. Готовьтесь стать во главе экспедиции».

— Вот обрадовался-то! — воскликнул Толик.

— А вот и нисколько...— вздохнул Курганов.

— Почему?

— Потому что все хорошо в свое время... У Нозикова про это, кажется, не написано... Крузенштерн тогда только женился, жена ребенка ждала... Легко ли уезжать в такую пору?

— Но все равно... Он же моряк,— тихо сказал Толик.

— Да. Но ты пойми его... Ты вот на одну ночь из дома ушел, да и то загрустил. А ему-то на три года... А ведь тогда плавания были не те, что сейчас. В наше время где бы ни был корабль, он по радио может связаться с родным портом. А тогда что... Письма шли иногда по полгода, со случайными кораблями или по суше через половину земного шара. Плывешь и думаешь: «А как дома? Нет ли беды какой? Живы ли?..» Знаешь, Толик, не бывает хуже пытки, когда ты далеко от родных, а писем нет и нет...

Толику почему-то стало неловко, и он проговорил поскорее:

— Но ведь Крузенштерн согласился.

— Да, потому что Мордвинов сказал: иначе не будет плавания совсем. Разве мог Крузенштерн это допустить? Ну и... правильно ты говоришь, он был моряк. Как представились ему снова паруса и океан, оказалось, что это сильнее...

Но еще год ушел на подготовку экспедиции. И только седьмого августа тысяча восемьсот третьего года «Надежда» и «Нева» покинули Кронштадтскую гавань...

— Седьмого августа — это по старому стилю? — с пониманием спросил Толик,

— Да нет, по новому... Крузенштерн при описании путешествия использовал в датах стиль, принятый в Европе. Так называемый «грегорианский». То есть тот, который у нас ввели только после революции... В девятнадцатом веке наши числа отставали от европейских на двенадцать суток. Крузенштерн делал астрономические вычисления по английским и французским таблицам и не хотел путаницы...

— Вот и хорошо! Сейчас не надо делать поправки, когда его читаешь, да?

— Да... Скоро корабли пришли в Копенгаген, потом направились в Англию... Какой шторм прихватил корабли в Скагерраке, я тебе вчера читал.

— Да. И про то, как в Фальмут пришли.

— А после Фальмута вышли наши моряки в открытый океан... Потом была стоянка у острова Тенериф. Я про нее лишь мельком упоминаю, об этом и так много написано. А вот про то, как наши корабли перешли экватор, я целую главу сочинил... Может, я почитаю теперь, а? Послушаешь?

ЭКВАТОР

«День двадцать шестого ноября по новому стилю начался ясно, без большой на сей раз жары и при ровном ветре от румбов между зюйдом и зюйд-остом. Обрасопив реи на левый галс, «Надежда» шла, держась к юго-западу. На полмили впереди, высвеченная невысоким еще солнцем, тем же курсом и с той же, около четырех узлов, скоростью скользила «Нева».

Было рассчитано, что в начале одиннадцатого корабли перейдут экватор — равноденственную черту земного шара, которую не пересекало еще ни одно российское судно.

В ожидании знаменательного момента офицеры в парадных мундирах и ученые в праздничном платье вышли на шканцы и стояли группами. Не было пока лишь Резанова. Крузенштерн, астроном Горнер и штурман Филипп Каменщиков, стоя у левого фальшборта, брали высоту солнца. Оно белыми вспышками зажигалось на серебряных лимбах дорогих английских секстанов.

— Охота же десятый раз пересчитывать,— проворчал, глядя на них, лейтенант Ратманов.— И так все ясно по счислению...

Мичман Фаддей Беллинсгаузен сказал со строгой ноткой:

— Течения здешние мешают правильному счислению, а Иван Федорович хочет торжественную минуту определить со всевозможной точностью.

— Минута, она, конечно, торжественная,— не оставил прежнего тона Ратманов,— да уж скорее бы, а то при таком параде и свариться недолго.— Он пальцем оттянул край стоячего под самые уши, расшитого якорями воротника.— Слава богу еще, что нет вчерашней жары...

— Однако и прохлады особой нет,— лейтенант Ромберг тоже тронул воротник.— Обратите внимание, господа, какое теплое у ветра касание.— Он поднял над плечом ладонь.

Беллинсгаузен засмеялся:

— Право же, мы сегодня как дамы в санкт-петербургском салоне: вовсю разговорились о погоде.

— В море погода — не для светской беседы тема, а наиважнейший предмет,— возразил слегка запальчиво Отто Коцебу, который с братом Морицем был в компании офицеров. И смешался, покраснел под насмешливо-добродушным взглядом Ратманова.

— Уж коли сухопутные кадеты начали понимать морские истины, то и впрямь, значит, наше плавание несет великую пользу,— пряча усмешку, сказал Макар Иванович.— А вот когда окрестят наши матросы господ Коцебу по всем Нептуновым правилам, тогда и совсем моряками станете...— Он кивнул на матросов, которые между фок- и грот-мачтами наливали ведрами морскую воду в сооруженную из парусинового тента купальню.

Вода в купальне тяжело колыхалась, распирая брезентовые борта самодельного бассейна. Корабль мягко приподнимали пологие волны. Люди, уже привыкшие к плаванию, не замечали их и лишь иногда, если палуба особенно быстро уходила вниз, покачнувшись, искали опоры.

Так покачнулся и взялся за косяк в двери каюты действительный камергер и чрезвычайный посланник его императорского величества Николай Петрович Резанов.

Ласково пощурившись на солнце, Резанов подошел

к другой группе, составляли которую люди его свиты: майор Фридериций, надворный советник Фосс, доктор Бринкин, живописец из Академии художеств Курляндцев и главный приказчик Шемелин, который, впрочем, держался в стороне. Здесь же был и гвардейский поручик Федор Толстой. Он до недавнего времени больше льнул к дружной компании морских офицеров, но после шумной ссоры с лейтенантом Левенштерном, за которого вступились и другие, вот уже несколько дней не подходил к ним.

По дороге Резанов учтиво кивнул офицерам, которые, щелкнув каблуками, наклонили головы. Когда же отошел он, Ратманов сказал с досадливым зевком:

— Шелковая кукла.

Было в Резанове, невысоком и щуплом, что-то от кавалера екатерининских времен — недавних, но уже отошедших в прошлое. Паричок с буклями над ушами, камергерский мундир, похожий на камзол, шелковые чулки, маленькая придворная шпага со старинной, в хитрых завитках рукоятью. И некоторая плавность и приторность в разговорах, раздражавшая флотских офицеров, воспитанных в суровых правилах Морского корпуса. Салонная манера эта не оставляла Николая Петровича даже во время споров.

Впрочем, споры пока не выходили за рамки светских приличий, хотя начались они давно, еще в Кронштадте. Тогда Крузенштерн взялся за голову, узнав, сколько помещений требуется свите посланника и сколько посольского и компанейского груза сверх расчета надобно уместить в трюмах. О чем думали раньше в дирекции компании, в министерстве и при дворе?

Крупная размолвка случилась и в Копенгагене, когда заново перегружали корабль. Резанов хотя и ласковым голосом, но с полным ощущением власти попытался излагать свои требования.

— Ваше превосходительство,— ответил тогда Крузенштерн.— Взятая нами гамбургская солонина, как сообщает мне в письме тамошний консул, приготовлена прескверно. Выгрузить бочки и пересолить ее — единственное средство. В противном случае неминуема цинга, и одному богу ведомо, сколько наших служителей недосчитаемся мы тогда в долгом нашем плавании. Достаточно нам прискорбного случая на «Неве», когда по недосмотру корабль лишился прекрасного матроса...

Резанов развел руками и поднял к потолку каюты глаза, давая понять, что на все воля божия.

Крузенштерн сухо продолжал:

— Как командир, я считаю своим долгом неизменную заботу о матросах, с тем чтобы каждый из них вернулся в отечество живым и здоровым.

Резанов сказал:

— Мы все, выполняя высочайшую волю, отправились в сие опасное предприятие и не можем теперь знать, вернемся ли. Во славу государя императора и России мы обратили себя на риск равно с рядовыми служителями. Я же замечаю, господин капитан, что о матросах печетесь вы не в пример больше, чем о других участниках экспедиции.

— Это потому, что матросы судьбою и званием своим поставлены в полное нам подчинение. Можем ли мы пользоваться недостатком их прав и забывать о тех, о ком заботиться — наша первая задача?

— Первая задача наша,— напомнил Резанов,— неукоснительное исполнение всех миссий, определенных волею его императорского величества.

— Миссии эти завершить успешно без матросов мы не в состоянии. От них зависит исход экспедиции,— отрезал Крузенштерн. И не сдержал раздражения:— Одно дело ваш повар, коего тяжко больным сочли вы нужным взять в плавание и чья неминучая кончина ляжет только на вашу совесть. Другое дело — матросы, за которых отвечаю я, равно как и за корабли, мне доверенные. Посему, ваше превосходительство, во всех делах, связанных с плаванием, считаю себя единственным командиром...

Первый лейтенант «Надежды», испытанный моряк и кавалер боевого ордена Ратманов, поддерживал капитана во всех спорах. Он бывал даже круче Крузенштерна, таков уж характер Макара Ивановича. И от других офицеров Ратманов суждений своих не скрывал. Вот и сейчас, на шканцах, продолжил он разговор:

— Да и не в том беда, что кукла он, а в том, что при пудреных своих мозгах лезет в морские дела. Здесь не императорский двор и не компанейские торга...

Лейтенант Головачев до того времени в разговоре не участвовал. Стоя у планширa, смотрел, как серебристыми веретенцами прокалывают воздух летучие рыбы. Сейчас он обернулся:

— Право же, Макар Иванович, непонятно, отчего вы так невзлюбили Николая Петровича. Мысли его не всегда совпадают с нашими, да не значит же это, что он дурной человек.

— Для своих друзей придворных, может, он и хорош.

— Да не столь уж он и придворный, и звание камергерское получил недавно. Николай Петрович просвещенный человек, недаром же служил в секретарях у знаменитого нашего стихотворца Державина. Говорят, что был знаком и с Радищевым, который чуть не лишился головы за свою книгу о непосильном рабстве крестьян...

— Знаком-то знаком, да только где сейчас Радищев, а где Резанов. Радищева камергером не жаловали...

— Ну и Николай Петрович камергерство свое не в петербургских палатах проживает,— слегка раскрасневшись, возразил Головачев.— С нами идет вокруг света. А каково ему? Жену похоронил недавно, тоскует. И о детях оставленных тревожится.

Ратманов, однако, не сдался:

— О жене, коли ее нет уже, не все ли равно где тосковать? — грубовато усмехнулся он.— Что на берегу, что в океане... А о детях обещана ему государем великая забота...

— Капитану нашему тоже несладко,— вмешался мичман Беллинсгаузен.— От молодой жены ушел в море, от сына, который только что родился. Легко ли? Небось ночей не спит...

— Да полно, господа,— сказал лейтенант Ромберг.— Что бы ни случилось, государь не оставит наших близких.

— Это уж точно,— усмехнулся Ратманов.— За государем мы как за каменной стеною...

Все неловко замолчали: слова были вроде и правильные, а вот усмешка Макара Ивановича...

— А что это, господа, мы о всяческой суете беседуем! — излишне громко воскликнул Беллинсгаузен. И добавил уже искренне: — О том ли надо думать, когда близится такая минута! Ведь экватор же! Мыслимо ли?

— А и в самом деле, черт подери! — весело согласился Ратманов.— Сколько ни плавал в жизни, а не чаял быть при таком деле. Российские корабли первый раз вступают в другое полушарие Земли! А?

— Да скоро ли уж? — нетерпеливо сказал Отто Коцебу.

В то же время шла беседа и в группе, где стоял Резанов. Глядя на матросов, что возились с парусиновым бассейном, майор Фридериций сказал, пряча под шуткой опасение:

— Как бы капитан наш не распорядился учинить Нептуново крещение всем без различия званий. Право, господа, экватор — великое достижение, но сто́ит ли он насморка?

— Полагаю, господин Крузенштерн пощадит нас,— в тон майору ответил Николай Петрович,— и ограничится лишь малой церемонией. Но совсем противиться обычаю нам сегодня не пристало... По правде же говоря, обычай сей мне кажется ненужным. Подобные игрища устраиваются обычно на кораблях иных наций. Надобно ли россиянам перенимать то, что чуждо русской вере и духу? Господин же Крузенштерн столь долго служил в английском флоте, что готов и у нас завести иноземные порядки.

— Однако же английских служителей на корабли не взял ни одной души,— вставил Толстой.— Адмирал Ханыков ему за то чуть шею не перегрыз, капитан же уперся: лучше русских матросов на свете нету.

— Странно, граф, что вы так заступаетесь за капитана,— кисло усмехнулся надворный советник Фосс — белобрысый молодой человек со скучным лицом.— Господин Крузенштерн вас, кажется, не жалует.

— Да и я его не очень-то жалую! Зато жалую матушку-правду,— весело разъяснил Толстой.— И матросов наших люблю за лихость. И крещение Нептуново с ними приму нынче непременно... Это подумать только, господа! Купание на экваторе! Будет что рассказать в Петербурге. Дамы станут квохтать, как курицы...

— У вас, граф, одна забота: горячительные напитки да женский пол,— вздохнул пожилой доктор Бринкин.— Никто уже не чает услышать от вас иное.

— Я умею обращаться и с мужским полом! — немедленно взвинтился Толстой.— Для этого потребно немногое: десять шагов на палубе и два пистолета!.. Да куда вам! Пистолет — не клистирная трубка...

— А дуэль — не средство решать споры,— заметил Фосс.

— Это почему же, господин надворный советник?

— Да потому, что никто не выигрывает. Одного увозят на кладбище или в лазарет, а другого сажают

в крепость... Закон, как вам известно, запрещает поединки.

— Я слабо знаком с законами,— усмехнулся граф.— В квартальных приставах не служил.

Доктор Бринкин развел руками:

— Я не понимаю, господин поручик: что вам за радость каждого зацепить обидным словом?

— Граф не сказал ничего обидного,— с ленивым спокойствием возразил Федор Фосс.— Я действительно был одно время квартальным приставом в столице. В конце концов, не всем же состоять в гвардии, кто-то должен и делом заниматься.

— Вы хотите сказать, что гвардейцы — бездельники? — сощурился Толстой.

Не меняя выражения лица и тона, Фосс разъяснил:

— Я хочу сказать иное. Когда кто-нибудь меня все же заставит нарушить закон, я сумею показать, что квартальные приставы стреляют не хуже гвардейских поручиков...

Граф подался вперед — с единственной, конечно, целью потребовать, чтобы Фосс показал это в самое ближайшее время.

Но Резанов возвысил голос:

— Господа! Оставьте! Возможны ли такие разговоры в славную минуту!.. Смотрите, «Нева» повернула, идет нам навстречу.

«Нева» и вправду шла теперь правым галсом, на сближение. Матросы стояли на реях и вантах.

По шканцам крупными шагами прошел Крузенштерн, поднялся на ют. Громко сказал оттуда:

— Барон, скомандуйте и нашим: на ванты и реи. Пора!

Не успел Беллинсгаузен, который был на вахте, отдать команду, как с криками «ура» матросы уже бросились вверх по мачтам. Офицеры выстроились в шеренгу. Рядом встали ученые, Фосс, Бринкин, Курляндцев. С краю пристроился Шемелин. Резанов поднялся на ют к Крузенштерну.

В шуме и плеске разрезаемой воды «Нева» пронеслась в полукабельтове от «Надежды».

— Мы в южном полушарии! Слава флоту Российскому! — громко сказал в рупор Лисянский.

«Ура» на обоих кораблях грянуло с новой силой. Офицеры вскинули пальцы к треуголкам...

Через минуту «Нева» сделала поворот и пошла в кильватер за «Надеждой». Матросы быстро опускались с мачт и выстраивались вдоль бортов, впереди орудийных станков. Крузенштерну и Резанову на ют принесли кресла. Посланник сел, а капитан с полушутливой важностью объявил:

— Господа! Из всех нас мне одному пришлось в свое время перейти экватор, было это в дни моей службы у англичан. Я не к тому говорю, чтобы похвастаться преимуществом, а к тому лишь, чтобы объяснить: некому, кроме меня, подвергнуть господ офицеров, ученых и служащих Компании обряду морского крещения согласно древнему обычаю мореходцев всех наций...

Плотницкий десятник Тарас Гледианов поднес капитану медный тазик с морской водой. Крузенштерн продолжал:

— Я надеюсь, что в этот радостный день его превосходительство Николай Петрович первый окажет капитану честь, подошедши под церемонию...

Принужденно улыбаясь, Резанов поднялся и наклонил голову. Крузенштерн опустил в тазик руку и с пальца уронил на паричок Резанова сверкнувшую каплю.

· Поздравляю вас, ваше превосходительство, со вступлением в южное полушарие. Дело сие для россиян воистину славное.

— В этом заслуга нашего обожаемого монарха. Виват Александр! — громко сказал Резанов.

— Виват! — подхватили офицеры.

Матросы то ли спутали это со словом «обливай», то ли была дана им особая команда, но тотчас строй распался. Взлетели широкие струи воды из парусиновых ведер. С шумом и хохотом пожилые матросы хватали тех, кто помоложе и полегче, и, раскачав, кидали в парусиновую купальню. Да и сами с удалыми криками прыгали следом. Сухим из матросов остался лишь рулевой, что стоял у штурвала с нактоузом.

На юте между тем тоже продолжалось морское крещение. С офицерами Крузенштерн не церемонился, как с Резановым, и на каждого вылил по пригоршне. Поднялся на ют поручик Толстой, с него текло.

— Однако, граф, вы преуспели в своих планах,— заметил Фридериций.

— Черти,— отфыркивался поручик.— Даже не дали

сапоги снять. Воистину — усерден русский человек, только попроси...

Взбежал на ют сержант артиллерии Алексей Раевский, что-то шепнул капитану, тот кивнул. Раевский ударил в колокол. Все притихли на корабле. Сержант возгласил:

— Его величество Нептун, государь всех морей и океанов, пожаловал для встречи российских мореплавателей!

С бака по правому шкафуту на шканцы двигалась процессия. Впереди с уморительно-важным видом шествовал квартирмейстер Иван Курганов, завернутый в куски рваной парусины и украшенный бородою из расплетенного сизальского троса. Стукал о палубу древком трезубца, сооруженного из багра и длинных ножей. Следом приплясывала свита — с полдюжины морских чертей,— тоже в лохмотьях, с мочальными хвостами и перемазанными сажей лицами. Слева Нептуну выкатили пустую бочку — трон.

Нептун уселся и грохнул трезубцем крепче прежнего.

Крузенштерн, сохраняя невозмутимый вид, спустился на шканцы и встал перед владыкой морей. Тот пошевелил пальцами босых ног и хрипловато возгласил:

— Сижу я это в своем подводном дворце, в окружении русалок, то есть моих дам придворных, а также всяких генералов и камергеров морских, а мне, значит, докладывают: «Ваше океанское величество, два каких-то корабля едут поверху прямо через линию, екватором называемую. Так что непорядок, ваше величество...» Глянул я — и вправду едут, а флаг на их, какого до сей поры видеть нам не приводилось. Дозвольте узнать, что за корабли, из какой державы и по какому делу екватор переехать изволили без моего царского дозволения?

Крузенштерн, стоя навытяжку, произнес размеренно:

— Корабли государства Российского «Надежда» и «Нева», а идем вокруг света по делам торговым и науки касающимся. На «Неве» командиром капитан-лейтенант Юрий Лисянский, я же командир «Надежды» и начальник экспедиции Иван Крузенштерн.

Нептун солидно покивал:

— Слышали мы о капитане Крузенштерне. И о Российской державе слыхали, славная держава, хотя и далеко отсюда... Гневен я сперва был, что плывете без

спроса, ну да русским мореходцам чинить препятствий не буду...

Морские черти по бокам от Нептуна обеспокоенно запританцовывали, один даже толкнул его величество локтем:

— Про выкуп скажи...

Нептун гневно взметнул бороду:

— Цыц, захребетники! Вам, дармоедам придворным, лишь бы выгоду свою соблюсти! Их высокоблагородие капитан Крузенштерн сами знают обычаи морские и насчет выкупа без вас, бездельников, помнят...

Крузенштерн засмеялся:

— Обычаи русским мореходцам известны. Посему от имени российского государя императора и по распоряжению его превосходительства чрезвычайного посланника жалую вашему морскому величеству и свите вашей, а равно и каждому служителю корабля «Надежда» по гишпанскому серебряному пиастру... Ну, а для веселья в честь праздника приказчик наш Федор Иванович распорядится выдать, что положено...

Мокрая толпа, обступившая Нептуна и Крузенштерна, одобрительно загудела.

— Покорнейше благ... кхм... От нашего подводного величества вашему высокоблагородию наше царское спасибо,— возвестил Нептун.— Плывите в Южное море беспрепятственно. Мы же в благодарность за уважение ваше стараться будем, чтобы ветров супротивных, бурь и шквалов на вашем пути не было... Ну, а ежели где и случится погода неблагоприятная, не обессудьте. Держава моя агромадная, а в большом государстве, сами знаете, за всем не усмотришь. В одном конце только наведешь порядок, а в другом, глядишь, эти черти опять хвостами воду баламутят...— Нептун окинул свиту суровым взглядом и опять обратился к Крузенштерну: — А теперь, ваше благородие, дозвольте откланяться. Дела ждут державные. Счастливого пути.

Крузенштерн поднял пальцы к треуголке. Свита подхватила Нептуна вместе с бочкой-троном...

Когда шли в кают-компанию, майор Фридериций с усмешкой заметил:

— Однако, господа, какой лицедей этот Курганов, а? С такими талантами хоть на столичную сцену.

— Дар импровизации и живость языка отменные,— серьезно отозвался живописец Курляндцев.

— Живость языка эта,— мягко вошел в беседу Резанов,— порождает сомнение: по причине ли простодушия высказался сей матрос о непорядках в великой державе? И что значат слова его о придворных бездельниках...

— Умные люди замечали не единожды,— хладнокровно заговорил надворный советник Фосс,— что смелость языка возрастает по мере удаления от столицы. А тем паче от границ государства Российского...

Крузенштерн, шедший впереди, оглянулся.

— Да полно, господа,— добродушно сказал он.— Разумно ли искать в словах матроса намеки на державную политику?

В кают-компании все было готово для праздничного обеда.

— В честь такого дня не грех устроить краткое отдохновение от трудов праведных,— провозгласил граф Толстой. Он уже переоделся после купания, но гладко зачесанные волосы его были еще мокрыми. Граф раньше всех оказался в кают-компании. Теперь стоял он, прислонясь к основанию бизань-мачты, что могучим столбом торчала посреди низкого помещения. И оглядывал стол.

Во время плавания граф не раз воевал с приказчиком Шемелиным, стараясь правдами и неправдами добыть из корабельных запасов лишнюю бутылку, и всячески ругал «купца» за «несусветную скаредность». Нынче же, однако, Толстой остался доволен:

— Смотрите, наш Федор Иванович расстарался. Простим ему прежнее непонимание томящихся душ наших...

Оглаживая бороду, Шемелин ответил:

— Мне, ваше сиятельство, прощения не надобно. Я свою службу знаю и потому соблюдаю ее неукоснительно. А ежели вам выдавать, что требуете, по первой просьбе, так вскоре в трюмах ни единой бутылки не отыщется.

Толстой проговорил вроде бы добродушно:

— Иными словами, утверждаете вы, господин Шемелин, что я пьяница. Ведомо ли вам, сударь, как отвечают за такие слова, сказанные благородному человеку?

Лейтенант Ромберг весело сказал:

— Я заметил, граф, что в эти дни вы который раз

уже заводите разговор о поединках. Помилосердствуйте. Так еще до кап-Горна не останется на корабле живой души, и превратимся мы в корабль призраков, подобно знаменитому Летучему Голландцу...

Шемелин же невозмутимо возразил Толстому:

— Вы, ваше сиятельство, граф, а я купец, мужицкая кровь. Вам со мной на дуэлях драться не пристойно.

— Так я и по-простому могу!— бойко воскликнул Толстой. Была это все еще шутка, но глаза его уже загорелись нехорошим светом.— На кулаках тоже приходилось.

— И сие не советую,— серьезно отозвался Шемелин.— Я родом из Тобольска, а у нас в Сибири мужички в кости покрепче ваших костромских...

— Так ли? — сощурился Толстой.

Крузенштерн взглядом остановил графа и встал:

— Господа. В сей радостный день, когда наши корабли пронесли российский флаг над равноденственной чертою, вспомним с благодарностью наше отечество и всех, кто способствовал столь славному началу нашей экспедиции... Сержант, пора.

Алексей Раевский ведал корабельной артиллерией. Один из сыновей славной фамилии, он не был еще офицером, но ожидал производства по возвращении из плавания, а то и по приходе на Камчатку. В офицерском кругу он был принят за своего. Сейчас Раевский поднялся и, не выпуская бокала, встал в дверях, упершись плечом в косяк. Отсюда видел он и сидевших в кают-компании, и матросов, которые под командой бомбардиров Жегалина и Карпова приготовили уже орудия к стрельбе.

За столом все встали. Крузенштерн поднял бокал и кивнул Раевскому. Тот махнул платком. Орудия разом рявкнули, откатились и выбросили тугой белый дым. Матросы накатили их и взялись за баники. Через минуту грянул новый залп. И еще! И еще...

Одиннадцать ударов русского салюта впервые разнеслись над водами южного полушария...»

МЕДНЫЙ СТУК ЧАСОВ

— Ну вот...— сказал Курганов.— Коряво, конечно, написано, надо еще работать... Верно ведь?

Несколько раз он во время чтения заходился долгим сухим кашлем. «Бронхит проклятый обострился. Я уж

и курить бросил, а толку никакого»,— говорил Курганов, вытирал глаза, осторожно дышал с полминуты, словно проверял легкие, и читал дальше...

И теперь он смотрел на Толика с вопросом.

— Арсений Викторович,— сказал Толик честно и даже немного жалобно.— Я не знаю, что говорить, но мне очень понравилось. И нисколько не коряво, а, наоборот, замечательно...

— Ну спасибо. Добрый ты человек, Толик.— Курганов переглотнул, подавляя подступивший опять кашель.

Толик подумал: «Что же еще сказать, чтобы он поверил?» И... вскочил!

— Ой!..— Он кинулся к плитке.— Вода-то выкипела!

...Скоро новая порция воды забулькала в кастрюле. Стол был застелен чистыми газетами. Курганов поставил на него тарелку с горкой разноцветной карамели (в бумажках и без), коробку печенья, открыл консервы «Лосось». Потом появились тарелки с солеными огурчиками и капустой. Из-под стола вытащил Курганов трехлитровую банку с прозрачно-красной жидкостью. В ней плавали раздавленные ягоды.

— Это я клюквенный напиток соорудил. За неимением шампанского... которое ты, впрочем, все равно не пьешь, верно?

— Я один раз, когда гости были, попробовал из чьей-то рюмки...— Толик дурашливо поморщился.— Мама увидела, ох и показала мне шампанское... Даже по шее попало.

— Горький жизненный опыт всегда постигается собственной шеей... Подбрось-ка, Толик, в камин дровишек, а то прозеваем огонь, как прозевали воду...

— Новый год не прозевать бы. Наверно, уже скоро двенадцать.

— Что ты! — Курганов ловко выдернул часы на цепочке.— Без трех одиннадцать. Все еще успеем. И пельмени сварятся...

Толик с сомнением посмотрел на крупные часы с треснувшим стеклом.

— А они точно идут? — Он считал, что Новый год полагается встречать из секунды в секунду.

— Эти-то? Они нужны мне только для поправки. На двенадцать секунд у них точности хватит...

Толик непонимающе молчал. Курганов объяснил с важной хитрецой:

— Новый год мы встретим с астрономической точностью. Не хуже, чем кругосветные путешественники на корабле.

Он снял с полки стоявший среди покосившихся книг ящичек орехового цвета, с медными ручками и кнопками. Мягко поставил на край стола. Лампа бросила горячий блик на стеклянную крышку. Толик вытянул шею.

Курганов открыл шкатулку — верхняя часть ее плавно откинулась назад на латунных полосках.

Медное тиканье (которое Толик уже не замечал, потому что привык) с новой громкостью заполнило комнату.

Часы были похожи на будильник — размером, римскими цифрами, желтыми стрелками. Но будильники всегда стоят, а этот лежал в ящичке. Точнее, был подвешен горизонтально внутри медного кольца с зубчатыми колесиками. Ободок вокруг стекла тоже был медный и в мелких зубчиках.

«Динь-так, динь-так, динь-так...»

— А я-то все думал: где это тикает? — сказал Толик.

— Корабельный хронометр,— сказал Курганов.

— Я догадался...— Толик шевельнул рукой — хотел погладить коробку и не посмел.

— Да возьми, возьми,— разрешил Арсений Викторович.— Можешь подержать... Вот так, за ручки... Покачай тихонько... Видишь, несмотря на качку, он остался горизонтальным. Кардановый подвес. Это очень важно для точного хода...

Ящичек был тяжелый, откинутая крышка перекосила его в руках у Толика, но часы и в самом деле остались висеть ровно. Горизонтально. Бодрое их «динь-так» словно говорило: «Смотри, ничего страшного». Толик слегка покачал шкатулку и протянул Арсению Викторовичу. Тот плавно опустил ее на стол.

— Главное, оберегать хронометр от резких толчков. И заводить надо в одно время. Я в восемь утра завожу...

Ключик с головкой в виде медного диска торчал в гнезде, в углу шкатулки.

— Жалко, что утром...— сказал Толик.

— Почему? Посмотреть хочется?

— Ага...

— Ну, смотри...— Курганов плавно перевернул хронометр в кольце. Стал виден медный корпус с круглым,

как у консервной банки, донышком. Курганов ткнул ключиком в неглубокую ямку, надавил в сторону. Донышко повернулось на оси, ключ ушел в гнездо.

— Крути,— разрешил Курганов.— Немного только, один оборот... Нет-нет, в другую сторону, против часовой...

Ключ повернулся легко, с бархатным шорохом. Так приятно было поворачивать его. Жаль, что нельзя больше...

— А точность не сбилась, оттого что не вовремя завели?

— Ничего страшного... Тем более все равно сейчас я буду делать поправку. Новогодняя ночь — самое время для этого... Он у меня за два месяца на двенадцать секунд убежал...

— Всего-то? — изумился Толик.

— Это же хронометр, не ходики...

Курганов выложил на стол карманные часы. Пошевелил над хронометром пальцами и строго сказал:

— А теперь приступим.

Он свинтил и отложил стекло. Втиснул в ящичек, под корпус, ладонь, снова перевернул в кольце хронометр, и... механизм скользнул из медного котелка в руку.

Курганов достал его, повернул к свету, держа в растопыренных пальцах. Незащищенное сердце хронометра доверчиво тикало, шевелило колесиками, искрилось желтыми звездочками. Толик не дыша придвинулся ближе. На широком валике 'он разглядел тончайшую стальную цепочку. Она была похожа на цепь от крошечного велосипедика. А выше всех валиков и шестеренок моталось туда-сюда на оси с чуткой синеватой пружинкой медное кольцо.

— Горизонтальный балансир,— слегка торжественно объяснил Курганов.— Изобретение умнейших мастеров восемнадцатого века. Именно он дает часам такую точность... Видишь грузики на кольце? Среди них есть два с прорезями. Это регуляторы хода. Чтобы изменить ход на секунду в час, надо повернуть их на девяносто градусов. А чтобы на секунду в сутки — это совсем ювелирная работа. Вообще-то ею специальные мастера занимаются, но где их здесь возьмешь?

— Будете сами поворачивать? — испуганно спросил Толик.

— Сейчас не буду. Я его в свое время долго регу-

лировал, а теперь надо только задержать на двенадцать секунд. Тогда пойдет он у нас сегодня из точки в точку... Ну-ка...— Арсений Викторович согнулся над столом, приглядываясь к карманным часам.— Раз...— Он придержал пальцем балансир. Маленькие часы тикали еле слышно и беспомощно, понимали свою маловажность перед хронометром. Толик следил за волоском секундной стрелки. Она проскочила двенадцать черточек, и тогда снова раздалось медное «динь-так».

Курганов с удовольствием распрямился. Ловко уложил стучащий механизм в котелок, навинтил стекло.

— Не убирайте,— попросил Толик.— Пускай здесь тикает.

— Конечно. Даже закрывать не буду... Тащи-ка, Толик, пельмени.

Толик выскочил в сени и вернулся с кульком смерзшихся пельменей — в тепло, где потрескивал камин и звонко щелкали в корабельном хронометре веселые медные секунды.

— Можно радио включить? Интересно, совпадают куранты с хронометром или нет...

— Да не работает радио, будь оно неладно... Иногда включится само собой, а потом заглохнет и молчит, сколько по нему ни колоти... Где-то контакт барахлит.

Толик подошел к репродуктору, висевшему у края большой карты. Щелкнул по тугой черной бумаге.

— ...прошедшего года,— отчетливо сказал улыбчивый женский голос.— Это был славный год — год тридцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции, год восьмисотлетия Москвы. Год новых успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства. Советские люди не только залечивали раны, нанесенные нашей Родине фашистскими варварами, но и шагали к новым рубежам. На заводах, стройках и полях страны...

Курганов послушал и развел руками, уронив в кастрюлю смерзшийся ком пельменей.

— Ну, Толик, ты в самом деле... Ты — человек, приносящий удачу! Есть такие люди.

Толик обрадованно сопел. Радио говорило:

— ...встречают хорошими песнями. С заявкой обратились к нам и моряки крейсера «Молотов», на котором в этом году побывал в гостях товарищ Сталин. Матросы, старшины и офицеры прославленного корабля просят передать кантату о...

Толик спросил:

— А сейчас на кораблях такие же хронометры?

— Разумеется. Он же у меня современный. То есть не совсем современный, довоенный, но еще вполне... Английская фирма «Кук», очень известная.

— А-а...— Толик был слегка разочарован. Он думал, что хронометр старинный, с парусного корабля. Шевелилась даже мысль: «Уж не с «Надежды» ли?»

— Впрочем, разницы никакой нет,— сказал Курганов.— Такими же они были и сто лет назад. И сто пятьдесят... Эта вещь придумана раз и навсегда. На века... Сейчас, конечно, точность проверять легче, радисты ловят сигналы точного времени в эфире. А представляешь, как важен был хронометр в прошлом веке? Без него никуда. Не вычислишь место судна в океане. И остров, который открыли, не нанесешь точно на карту...

— А этот хронометр... он с какого корабля?

— Даже не знаю. Он стоял у моего соседа, капитана Константина Афанасьевича Лукьянова. Старый был капитан, в свое время еще на чайных клиперах ходил матросом... После революции он в морском техникуме преподавал. Мы были, можно сказать, друзьями, хотя я ему в сыновья годился. Книг у него о кругосветных путешествиях и вообще о флоте была уйма... Умер старик в блокаду. Книги его соседи пустили на растопку. Как и мои, кстати. Что поделаешь, людям надо было выжить любой ценой... Все пошло в печку — и Крузенштерн, и Лисянский, и Головнин. И старые лоции... Редкие издания были, начало того века... Одно меня выручило — записи, которые я по этим книгам делал на Севере. То есть уже не по книгам, а по памяти. Память у меня до недавнего времени была крепчайшая, целые страницы наизусть помнил... А то как бы я теперь писал?

Толик сел на шкуру недалеко от камина и смотрел, как догорают поленья... Пусть горят. Дрова на то и есть на свете. А вот когда книги в огне — это значит, у людей горе...

— Хорошо, что хоть хронометр не пропал,— сумрачно сказал Толик.— Могли и его в печку затолкать. Коробка-то деревянная.

— Слава богу, уцелел... Я в сорок шестом году приезжал в Ленинград, нашел его... А подарил мне его Константин Афанасьевич еще в тридцать восьмом году. Двадцать первого марта... Знаешь, что это за число?

— Нет... А! Весенние каникулы начинаются!

— Событие, безусловно, важное... Но, помимо всего, это весеннее равноденствие, день прибывает и становится равен ночи.

— Ой, правильно. Я забыл...

— Ничего... И между прочим, это еще мой день рожденья. В тот год мне стукнуло сорок лет...

— «Значит, нынешней весной будет пятьдесят»,— сообразил Толик.

— Будет пятьдесят,— словно откликнулся Курганов. И надолго замолчал. Присел рядом с Толиком. Султан проснулся и сунулся между ними. Так они сидели и смотрели на огонь.

А хронометр отмерял последние минуты сорок седьмого года.

За две минуты до Нового года местное радио включило Красную площадь. В бумажном круге репродуктора задышал далекий громадный город, стали слышны гудки автомобилей, чьи-то шаги, даже голоса...

Секундная стрелка хронометра бежала по последнему кругу этого года. И, едва она прыгнула на верхнее деление, репродуктор тряхнуло упругим и переливчатым звоном курантов.

«Точно!» — радостно подумал Толик.

Десять часов по московскому времени, двенадцать по местному. То есть двадцать четыре... И вот уже «динь-так, динь-так» — две секунды сорок восьмого года...

— С Новым годом, Толик.

— Ой... С Новым годом, Арсений Викторович!

Свет был выключен, у графина с еловыми лапами горели две свечи. В камине ярко занялось хрустящее полено. Толик держал фаянсовую кружку с клюквенным морсом, Курганов — стакан. Незадолго до этого он, смущаясь и кашляя, налил туда из булькающей четвертинки.

— Я уж так... Ты меня прости, человек я пожилой, с предрассудками. Курить вот бросил, а это... И обычай все-таки, Новый год. Я чуть-чуть.

Толик тоже смутился и глупо сказал:

— Да что вы, не стесняйтесь. Пожалуйста...

Теперь они сдвинули краями кружку и стакан. Кур-

ганов задержал руку, не пил. Толик подумал, что он стесняется, и уткнулся в кружку. Но Курганов вдруг сказал:

— Толик... Подожди. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был счастлив. Всю жизнь. И спасибо тебе...

— За что? — растерялся Толик.

— За то, что ты пришел. Вчера и сегодня... Знаешь, мне кажется, что ты приносишь людям удачу. Правда. Мне, по крайней мере, принес... Но не в этом дело. Просто спасибо за то, что ты есть. И пусть тебе будет хорошо...

«И маме,— подумал Толик.— И Варе. И всем хорошим людям... И Султану...»

— И всем, кого ты любишь,— улыбнулся Курганов.

— И вам... тоже пусть будет хорошо. И главное, чтобы книжку напечатали скорее!

— Вот за это спасибо тысячу раз!

Пельмени Толик любил больше всяких других угощений. К тому же заедать их огурчиками и капустой, запивать клюквенным морсом оказалось просто восхитительно.

Через полчаса Толик осоловел. Освещенная красными углями комната виделась через мутноватую пленку полудремы. Хронометр тикал вкрадчиво, словно бормотал что-то...

— Я смотрю, ты носом клюешь,— сказал Арсений Викторович.— Ложись-ка на кровать.

— Нет, я на стульях,— заупрямился Толик.— Мама же говорила...

— На стульях — это потом. А пока просто отдохни...

Ситцевая плоская подушка пахла табаком — видимо, Курганов бросил курить не так давно. Кровать была жесткая — наверно, с досками под матрацем. Но лежать все равно было хорошо. Так хорошо, что было бы обидно заснуть и уже не чувствовать этого удовольствия. И сон, который обычно наваливается на лежачего, милостиво отпустил Толика.

С прикрытыми глазами, но с ясной головой Толик полежал минут пять. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Арсений Викторович, оглянувшись, быстро налил в стакан из четвертинки и сделал крупный глоток. Потом Курганов часто подышал, словно сдерживая под-

ступивший кашель, пошевелил в камине угли, погладил Султана и сел в ногах у Толика.

Толик открыл глаза:

— Арсений Викторович, а откуда вы все это знаете?

— Что?

— Ну, как тогда было, при Крузенштерне. Кто что говорил, кто что делал... Неужели все это в старых книгах написано?

— Нет конечно... Если бы все было написано, зачем еще одну книжку сочинять?

— Значит, самому догадываться пришлось?

— Что?.. Да! — Курганов оживленно завозился и сел прямо.— Ты правильно сказал. Догадываться... Видишь ли, без фантазии даже самый строгий исторический роман не бывает. А я ведь не историческую книгу пишу, упаси господи. На такое я никогда и не решился бы... Про плавание Крузенштерна и про его открытия и так много написано. А мне хотелось разобраться в некоторых случаях. В частностях, так сказать... У меня и повесть-то называется «Острова в океане». Как бы рассказы про несколько островов.

— Но там не только про острова,— осторожно заметил Толик.— Там и про Скагеррак, и про экватор...

— Я не совсем в том смысле... Острова — это как бы люди. В океане жизни... Наверно, я чересчур непонятно выражаюсь?

— Все понятно...

Камин почти прогорел, свечки едва освещали стол и еловые ветки в графине. Радио снова отключилось. Было тихо и уютно. Толику казалось, что он в этой комнате давным-давно и Курганова знает много лет. Толик сказал совсем по-домашнему и даже слегка разнеженно:

— Арсений Викторович, давайте поставим хронометр поближе. Он так хорошо тикает... будто живой.

— Прекрасная мысль.— Курганов перенес хронометр на табурет, к изголовью кровати.— Я, признаться, тоже люблю, когда он рядом. Особенно если работаю... Он щелкает, я пишу. Иногда в хорошие минуты хочется погладить его, как котенка. Но он нежностей не любит, все-таки морской инструмент, характер строгий. Уважает порядок и точность... Недавно он на меня обиделся...

— Как? — засмеялся Толик.

— Я забыл его завести. На целые сутки опоздал.

— И он остановился?

— К счастью, нет. Завод-то у него рассчитан почти на двое с половиной суток. Видишь, циферблатик вверху? Стрелка показывает, сколько часов прошло с того момента, как завели. Самое большое число — пятьдесят шесть... Правда, у меня он столько не тянет, пружина ослабла. Но двое суток идет...

— А зачем же тогда каждые сутки заводить?

— Для равномерного натяжения пружины, от него точность хода зависит... Закон такой — морские часы следует заводить вовремя. А уж останавливаться они тем более не должны. Ни в коем случае. Пока жив на корабле хоть один человек... Ты это запомни, Толик.

— Запомню...— Толику странной показалась неожиданная строгость в голосе Курганова.— А как он на вас обиделся? Отставать стал, да?

— Нет. Но тикал обиженно... Впрочем, я это, конечно, сам придумал. Потому что кажется иногда, будто и правда он живой... У стариков бывают причуды.

— Никакая это не причуда,— возразил Толик.— И никакой вы не старик.

— Ну-ну...

— Любимые вещи у каждого человека есть.

— Ты прав, как всегда... Но для меня хронометр — исключение. Вообще-то я к вещам спокойно отношусь. Сам видишь, живу не роскошно... Да оно и к лучшему.

Толику показалось, что Курганов стал говорить иначе. Будто настроение у него испортилось. Может, оттого, что глотнул лишнего? Но он же ничуть не пьяный.

Курганов принял, наверно, молчание Толика за вопрос. И хмуро объяснил:

— Чем больше вещей, тем жить хлопотнее... И тем обиднее с ними расставаться.

— А зачем расставаться-то? — Разговор Толику нравился все меньше.

— Так... Когда-то приходится. С собой не унесешь.

— Куда?

Курганов молчал.

«Я понял,— хотел сердито сказать Толик.— Но зачем вы про это? В такую хорошую ночь...» Однако в этот момент Курганов коротко вздохнул и опять надолго закашлялся. А потом сказал слабым, но уже повеселевшим, прежним голосом:

— Прости ты меня. Что меня потянуло на дурацкие разговоры? Обещал рассказы о морях-океанах, а ударился в гнилую философию... Тебе о таких вещах думать рано.

— А о морях-океанах еще спросить можно? — оживился Толик.

— Разумеется! Это самая подходящая беседа, если спать не хочется.

— Не хочется... После экватора Крузенштерн и Лисянский пошли в Бразилию?

— Да. К острову Святой Екатерины. Там они застряли на несколько недель из-за нового ремонта. У «Невы» в мачтах гниль обнаружилась... Ты ведь помнишь, что Лисянский покупал эти корабли в Англии, специально туда ездил?

— Помню... Неужели в России своих кораблей не было?

— Годных для такого плавания тогда не было. Представляешь, до чего довели русский флот доблестные царские адмиралы?

— Но и английские корабли оказались не очень-то...

— Да, с ними хватило хлопот... Но не это было самой большой неприятностью.

— А что?

— Причины всех бед обычно в самих людях...

— А у Нозикова ничего про это не написано.

— Про это пишут вообще неохотно. Особенно в детских книжках. Ссора Резанова с моряками не украсила экспедицию...

— Значит, во всем Резанов виноват, да?

— Ну, Толик... Дело это давнее, кто может сказать точно? Особенно вот так: «Во всем виноват». Это все равно что приговор произнести...

— Но вы же пишете.

— Я потому и пишу целую повесть, что не могу сказать двумя словами, кто виноват. Да и в повести не могу. Книжка — это ведь не суд. Я пытаюсь представить, как это было... Как мне кажется... Другие писали по-иному. В конце прошлого века было много споров, кто прав: Крузенштерн или Резанов? Статьи печатались в журналах... Многие ученые были за Резанова...

— Но вы-то за Крузенштерна, правда?

Курганов улыбнулся:

— Вспоминаю себя в детстве Тоже любил опреде-

ленность: где враги, а где наши... Да, я считаю, что не надо было Резанову лезть в начальники экспедиции.

— А почему он лез?

— Тут и дирекция компании, и морское министерство во многом виновато. И царь. Сперва полным командиром над экспедицией утвердили Крузенштерна. Вручили инструкцию. А потом ему в спутники дали Резанова — назначили посланником в Японию и главным начальником и ревизором всех владений Российско-Американской компании. Резанов-то был один из самых крупных ее акционеров. И у него тоже оказалась инструкция с командирскими полномочиями.

— А кто это такие? Ак... кци...

— Владельцы ценных бумаг. Акция — это... ну, вроде облигации, что ли. Сколько было у компании капиталов, на такую сумму и акции были выпущены. Чем больше их у человека, тем больше у него власти в компании и прибылей от нее... А Резанов женился на дочери Шелехова, который эту компанию основал. Помнишь?

— Помню... Значит, он больше всего о выгоде думал?

— Думал, конечно... Однако не так все просто. У Резанова был характер сложный, непостоянный. Часто он поддавался настроению. Мог из-за раздражения, из-за высокомерия и про выгоду забыть... Мог и вообразить себе бог знает что, и сам верил выдумкам. С одной стороны, вроде бы неглупый человек был и за дело болел. А с другой... В общем, я считаю, что капитан Головнин правильно писал о нем...

— Арсений Викторович! А нельзя, что ли, было, чтобы Крузенштерн командовал морскими делами и научными, а Резанов торговыми и этими еще... посольскими?

— Ты разумно рассуждаешь... Может быть, так же рассуждало начальство и сам царь, когда выдавали инструкции. Мы, мол, никого не обидим, а в пути они сами договорятся.

— Не договорились?

— Нет. Крузенштерн — он тоже ведь был характер непростой. Ну и пошли стычки. Из Бразилии Резанов уже писал царю жалобы на Крузенштерна...

После стоянки у острова Святой Екатерины опять началось плавание в океане. Обошли мыс Горн. Моряки были заняты вахтами, корабельными делами, вместе с учеными ставили разные опыты: океан-то был почти

не изучен... А для посланника и его спутников постоянных занятий не находилось.

Маялся от безделья и граф Толстой. Был он приписан к свите посланника, но с его превосходительством скоро поссорился. Готов был поддержать всякий спор офицеров с Резановым. Однако моряки не любили посланника за его вельможные вмешательства в корабельную жизнь, а граф ссорился из-за вздорности натуры...

Я к тому про графа вспомнил, что не обошлась без него и ссора, когда стояли у острова Нукагивы. В Тихом океане...

ПОЛОСНОЕ ЖЕЛЕЗО

— Когда пишут про стоянку «Надежды» и «Невы» у Нукагивы, чаще всего увлекаются описанием тропической природы, жизни туземцев, разными приключениями. Обязательно рассказывают про англичанина Робертса и француза Кабри, которые неведомыми путями попали на остров, прижились там, обзавелись семьями, но между собой все время враждовали...

— Да! — оживился Толик.— Француза потом случайно увезли на «Надежде»...

— Скорее всего, он сам постарался таким образом исчезнуть с острова, боялся Робертса. Но бог с ним... Ты, конечно, читал, как моряки путешествовали по острову, как потом чуть не поссорились с туземцами, как были в гостях у короля Тапеги. Ученые собрали на Нукагиве богатейший материал о жизни островитян, про это есть даже в книжке Нозикова... Но почти никто не пишет, что именно там произошли события, которые чуть не погубили экспедицию...

— А вы про это написали, да?

— Да... То есть не совсем. Только черновик. Это как раз то, что у меня еще не до конца сделано. Запутанные события, и рассказывают о них по-разному...

— Кто рассказывает? — Толик приподнялся на подушке.

— Прежде всего Шемелин... В его «Журнал путешествия россиян вокруг света», который был напечатан, этот рассказ не вошел. Видимо, из цензурных соображений. Но я до войны видел в Ленинграде рукописный дневник Шемелина.

— Где? У того капитана?

— Нет, что ты... В публичной библиотеке, в отделе рукописей... В дневнике про случай на шканцах «Надежды» написано подробно. И конечно, Шемелин во всем обвиняет Крузенштерна и других офицеров. Надо сказать, убедительно пишет, он был умный человек... Беда только, что Крузенштерна он терпеть не мог, а к Резанову привязан был всей душой.

— Но, может, он и не виноват,— задумчиво сказал Толик.— Если привязан...

— Кто же говорит, что виноват?.. Просто, когда историки разбирают этот случай, они все время ссылаются на Шемелина... Но есть еще один дневник, небольшая тетрадь с неразборчивым почерком. Ее писал Макар Иванович Ратманов...

— Вы ее тоже читали?

— Да... Я тогда старался все, что можно, об этом плавании разыскать... Ратманов пишет совсем иначе.

— А вы кому верите? Ратманову, да?

— Я, Толик, обоим верю, не удивляйся. Они, по-моему, добавляют друг друга. Каждый со своей стороны... Но Ратманов полностью прав в одном: капитан на корабле — полный командир и требует уважения. Резанов же, видимо, считал, что «его превосходительство» всегда выше «его высокоблагородия».

— А еще у него инструкция была, да?

— Из-за нее-то и вышел тот отчаянный спор...

Курганов замолчал, и Толик испугался, что он скажет: «Ну, хватит на сегодня». И попросил жалобно:

— Может быть, вы прочитаете, что там было? Спать все равно не хочется...

— Я же говорю, еще не дописал. Если хочешь, я так расскажу, без черновика... Но близко к тому, как пишу...

— Когда пришли к Нукагиве (сперва «Надежда», а через несколько дней «Нева»), первая задача была запастись свежими продуктами. И Крузенштерн отдал приказ, чтобы ни один человек на корабле ничего у жителей острова для себя не выменивал. Соблазны-то были великие: каждому хотелось привезти домой заморские диковинки — раковины, кораллы, туземную утварь... Представляешь, что началось бы, если каждый кинулся бы торговать с нукагивцами сам по себе, когда еще не

получена провизия? Островитяне моментально взвинтили бы цены, никакого железа не хватило бы для уплаты за кокосы и овощи.

— Железа?

— Ну да... Моряки расплачивались с ними обломками обручей.

Толик растерянно заморгал:

— Это же обман...

— Ну, почему обман? Чем еще было платить? Ассигнациями с портретом Екатерины? Зачем они островитянам? Медными монетами? А они там для чего? На шее носить?.. А железо нукагивцам было необходимо для ножей, для копий... За ценные вещи моряки платили, конечно, другими товарами: топорами, сукном... Ты что морщишься, Толик? Лежать жестко? Или болит что-то?

— Я?.. Ой, нет, что вы! Все в порядке.

Толик и правда морщился, сам того не замечая. Потому что при словах про обломки обручей вспомнилась ему старая боль. Весной Толик с ребятами гонял мяч на пустыре за школой, и ржавый обруч от бочонка попал под ботинок — встал торчком и сквозь штанину и чулок врубился зазубренным краем под колено... С тех пор, когда слышал Толик о полосках железа и обручах, у него кривилось лицо. А под коленом теперь — коричневый рубчик. Он всегда начинает болеть, если у Толика неприятности или какие-то переживания.

— Это я так... Ногу отлежал. Уже прошло.

— Ну, слушай дальше. Приказу Крузенштерна все подчинились. И Резанов был вынужден подчиниться, но оскорбился: опять капитан командует посланником и камергером...

Через два дня Крузенштерн отменил приказ, однако приходилось смотреть, чтобы товары не разбазаривали. А Шемелин в это время все горевал, что коллекция Резанова (он ее для Петербургской кунсткамеры собирал) пополняется медленней, чем у Крузенштерна. И чтобы запастись трофеями получше и побольше, пустил в обмен очень ценный товар — топоры. Крузенштерн этому воспротивился. И вот утром 13 мая такая сцена.

Крузенштерн и Резанов встретились на шканцах. Шканцы — это палуба между грот-мачтой и бизань-мачтой, место, где собираются офицеры. Крузенштерн обратился к посланнику сухо, но вежливо:

— Ваше превосходительство. Все кораллы, что вы-

меняли наши люди у нукагивцев, я приказал закупорить в бочку. В вашей воле взять себе сколько угодно и когда всего удобнее.

Резанов поморщился и заговорил в ответ («начал делать реприманты», как пишет Ратманов):

— Кораллы суть пустяки, сударь. Огорчительно мне иное. А именно то, что вы опять создаете преграды моему приказчику, не давая вести обмен с дикарями. Сие относится не к одной моей личной обиде. Разве не ведомо вам, что собирание редкостей для императорской кунсткамеры, о которой я попечение имею, есть следствие воли государя?..

— Все плавание, ваше превосходительство, ведется с ведома и по воле государя,— возразил Крузенштерн.— Во время путешествия мой долг заботиться не только о покупке редкостей для музеума, но и о всем прочем. О здоровой пище для служителей в том числе. Что будет, если мы легкомысленно потратим обменные товары...

— Забота о товарах лежит не на вас, а на служащих Компании и на мне как начальнике экспедиции.

— На моих плечах лежит попечение о людях... ваше превосходительство. Что же касаемо вашей должности, то еще в Бразилии получили вы мое письменное уведомление, что считать вас своим начальником я не могу...

Резанов не вспылил, хотя этого можно было ожидать. Он сказал с ноткой ленивого превосходства:

— Что касается собственно меня, то я ставлю себя выше всех огорчений, которыми осыпают меня ежедневно. Ваши слова и поступки я почитаю не иначе как за мелочи, недостойные моего внимания. Ранее полагал я, что имею дело с воспитанным человеком и разумным офицером, вам же угодно ребячиться.

На шканцах наступила тишина.

Ни тогда, ни потом Резанов так и не понял до конца, что же произошло. Сила морских уставов и обычаев была ему неведома.

— Я не ослышался? — тихо переспросил Крузенштерн.— Что вы сказали?

— Я сказал: полно ребячиться.

Негромко, но наливаясь гневом, Крузенштерн произнес:

— Господин чрезвычайный посланник. Вы находитесь на шканцах военного корабля, место сие почитает-

ся священным. Любое оскорбление, нанесенное капитану на корабле, вообще есть тяжкое преступление. Если же начальник оскорблен на шканцах, это карается втрое...

— Но вы забываете, что начальник здесь — я, господин капитан-лейтенант.

— Черт знает что! Это нестерпимо! — не сдержался Крузенштерн.— Кончится тем, что я засажу вас под арест, как неких лиц из вашей свиты за чинимые ими беспорядки и пьянство!

— Вы ответите перед государем императором!

— Посмотрим, кто ответит! — Крузенштерн резко обернулся: — Спустить шлюпку, я еду на «Неву»!

...Через полчаса он вернулся с Лисянским. Офицеры опять собрались на шканцах.

— Господа, я не начальник ваш более,— сумрачно начал Крузенштерн.— Господин Резанов утверждает, что...

Его слова заглушили негодующие голоса. Больше всех шумел граф Толстой:

— Это что же! Если господин Резанов общий наш начальник, выходит, я теперь вновь у него в подчинении?

— Да поди ты к черту, граф, со своей персоною! — в сердцах промолвил Ратманов.— В тебе ли вопрос? Тут дело государственное... Господа, пусть Резанов покажет наконец инструкцию, о которой столько говорит!

Граф вспыхнул, стал искать на боку рукоять шпаги. Но тут же понял — теперь не до личной ссоры.

Решено было пригласить Резанова из каюты: пусть предъявит документ. Ходили за ним трижды. Даже Толстой ходил. Шемелин потом записал в «Журнале»:

«Когда ни с чем вернулся граф, послан был лейтенант Ромберг, но Начальник не хотел предстать на совет нечестивых и подвергнуть себя суду их, а паче не дать в поругание и обнаружить высочайших повелений, в которых многие есть секретные пункты...»

— Самозванец! — крикнул на весь корабль Ратманов.

В конце концов Резанов был вынужден выйти. Он появился на шканцах с бумагами в руке. Был бледен, но вид имел гордый.

— Вам, господа, надлежало бы снять шляпы из уважения к документу, пункты из которого я оглашу.

— Снимите шляпы, господа офицеры,— сказал Крузенштерн,— и оставим без внимания то, что господину посланнику, если речь идет об уважении, тоже следовало бы иметь приличный вид.

Резанов стоял перед моряками в домашней фуфайке, в мятых панталонах, без чулок, в туфлях на босу ногу. На замечание капитана он не ответил. Поднял к глазам листы.

— Поддаваясь непомерным требованиям вашим, я прочту некоторые параграфы. Те, что имеют касательство к начальствованию,— глухо проговорил он.

И зачитал строки, из которых следовало, что начальник над всей экспедицией действительно он, Резанов.

— Немыслимо,— сказал мичман Беллинсгаузен.

— Откуда эта инструкция? Кто ее подписал?! — буквально взревел Ратманов.— Почему мы ничего не знали?!

— Господин Крузенштерн знал,— ответил Резанов.

— Я не знал сих пунктов в точности! Почему вы своевременно не объявили их всем офицерам, как того требуют правила? Почему держали этот документ в секрете?

— Ни один из нас не пошел бы в плавание на таких условиях! — воскликнул Ромберг — Мы не желаем знать начальника, кроме Крузенштерна!

— Желания вашего не спрашивают! Ваше дело — повиноваться высочайшей воле! — Резанов судорожно свернул листы.

— Высочайшей?! — по-мальчишечьи воскликнул Лисянский.— А не сами ли вы сочинили сей документ?

— Вы с ума сошли, капитан!

— Настоящая это инструкция или нет, вы все равно обманщик,— отрубил Ратманов. Он был зол более всех.— Вы обманули министров, когда выпросили у них такие полномочия. А они обманули царя, сунув ему бумагу на подпись!

— Речи подобные слышать выше моих сил! — Резанов отступил в кают-компанию, там слышно было, как захлопнулась дверь его каюты.

Сгоряча офицерами решено было, что, прибывши в Камчатку, станут требовать у государя одной милости: чтобы он приказал возвратить их в Петербург берегом. Ни капитан, ни его офицеры служить под начальством

господина Резанова не могут, потому что характер его им теперь известен, да и оскорбление, нанесенное капитану, прощено быть не может...

— Пролез в начальники лисою! — негодовал Ратманов.— Заколотить его в каюту и никуда не выпускать до Камчатки!

Лишь лейтенант Головачев не разделял общего возмущения.

— Николая Петровича тоже можно понять, господа. Каково теперь его положение?

— Я не понимаю вас, господин Головачев,— с досадой отозвался Крузенштерн.— Вчера вы возмущались, что помощник Резанова, купец Шемелин, легкомысленно пускает в обмен топоры. Сами донесли мне о том, будучи на вахте. Из-за того и спор сегодняшний начат. А сейчас защищаете господина посланника...

— Я не о топорах, а о человеке,— тихо возразил Головачев.— Я защищаю Николая Петровича, потому что каждому из нас христианский долг велит быть терпимыми к ближнему...

— Ну вот, уже проповеди! — хохотнул Ратманов.— А мы-то радовались, что на корабле нет попа...

— Это не проповедь, Макар Иванович. Просто мне жаль господина Резанова. Даже посольские кавалеры его избегают...

— Видят, что виноват,— огрызнулся Толстой.

— Кто виноват, судить будут после...

— А вы хотите остаться в стороне? — запальчиво спросил Лисянский.

— Господа! — повысил голос Крузенштерн.— Не хватало еще нам поссориться в такой момент...

Ратманов сердито нахлобучил треуголку и ушел в каюту.

После обеда, когда страсти поулеглись и жизнь, казалось, входит в привычную колею, в каюту Ратманова шагнул поручик гвардии Толстой. Он был в парадном мундире и при шпаге.

— Господин лейтенант! Сегодня утром на шканцах вы сказали мне слова, которые не могут быть терпимы благородным человеком! Угодно вам выбрать оружие?

— Что такое? — Ратманов сел на койке.

— Не притворяйтесь, что вы забыли утреннюю вашу грубость. Хотите увильнуть?

— Вы с ума сошли, граф,— утомленно сказал Ма-

кар Иванович.— Вас мне еще не хватало... Я первый лейтенант корабля, и служба не позволяет мне драться здесь на дуэли.

— А по-моему, вы просто трус!

Макар Иванович вздохнул и встал...

Через минуту вылетела на палубу шляпа с позументом, затем шпага в ножнах, а следом — хозяин шпаги и шляпы граф Федор Толстой с крепким синяком под глазом...

Случай этот позабавил многих и несколько дней служил темой для разговоров и ехидных шуток в кают-компании и на баке, где собирались матросы. Шемелин, сидя у себя в констапельской, не без юмора записывал в «Журнал», что подобный способ выяснять отношения гораздо лучше пистолетов и шпаг. Чем бы ни кончился такой поединок, оба противника останутся живы и могут далее служить на пользу государю и отечеству... Не правда ли, здравая мысль, Толик?

— Ага... А что с Резановым?

— Резанов с той поры заперся в каюте... Давай-ка я тебе лучше прочитаю, что об этом пишет Шемелин. Он про состояние Резанова очень выразительно рассказывает...

Арсений Викторович поднялся, взял со стеллажа папку, поднес к догорающим свечкам, безошибочно отыскал нужный лист. Стал читать, согнувшись над столом:

— «Обстоятельства, случившиеся в заливе Татио-Гое [1] (о которых да позволено будет мне умолчать), к тому жаркий климат и грубая пища довели его до того, что дух его лишился всей бодрости, после того воображались ему одни только ужасы смерти и ежеминутные о том опасения (хотя не было к тому никаких причин). Он при малейшем шуме, стуке, на шканцах или в капитанской каюте происшедших, изменялся в лице, трепетал и трясся; биение сердца было беспрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо и трясущимися руками что-либо изображать на бумаге; здоровье его в продолжение пути до Сандвичевых островов сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойств разного рода, так изну-

[1] Туземное название бухты Анна-Мария у Нукагивы, где стояли «Надежда» и «Нева». Шемелин называет ее также Тоиогай и Таио-Гое.

рилось и изнемогло, что мы опасались лишиться его навеки».

Курганов захлопнул папку (отчего огоньки свеч заметались и едва не погасли).

— Вот так и плыл Резанов и до Сандвичевых островов, и дальше, до самой Камчатки...

Толик почувствовал, что ему жаль Резанова. Но и досадно стало:

— А чего он так трясся-то? Даже Шемелин пишет, что причины не было...

— Мне кажется, Резанов испугался не Крузенштерна, а своей беспомощности. Такой вельможа, такой чин — и вдруг на корабле оказался без власти. Это его потрясло и сломило. Даже те, кто числился в его свите, избегали посланника. Да еще любимый повар его умер от чахотки, когда шли у Сандвичевых островов... В общем, несладко было Николаю Петровичу Резанову.

Зато на Камчатке он отвел душу.

Едва ступив на берег в Петропавловске, Резанов объявил коменданту: «На корабле «Надежда» бунт против государя императора!»

— Ничего себе! — сказал Толик.

— Да... И отправил в Нижнекамчатск гонца за губернатором Кошелевым и ротой солдат для усмирения мятежного капитана...

Крузенштерн в своем «Путешествии вокруг света» ничего не пишет о ссоре с Резановым. Для него главное — плавание и открытия. И все же про этот эпизод в Петропавловске он сделал язвительное примечание: «Кому образ езды в Камчатке известен, тот ясно представить себе может, каких трудностей долженствовал стоить поспешный переезд 60 солдат из Нижнекамчатска в Петропавловск, отстоящий на 700 верст».

Резанов объявил Крузенштерна отрешенным от капитанской должности, поселился в доме коменданта и стал ждать губернатора, чтобы учинить судебное разбирательство.

Крузенштерн делал вид, что его это не касается. Занимался подготовкой «Надежды» к пути в Японию (хотя Резанов отказывался плыть дальше), ремонтом и разгрузкой... И удивлялся беспорядкам и бедности в хозяйстве знаменитой Российско-Американской компании, о богатстве которой в Петербурге ходили легенды. Приказчики воровали. Рядовые промышленники болели цин-

гой, бедствовали и спивались. Людей не хватало. Некому было даже доставить из трюма на склады грузы. Основные товары в конце концов выгрузили, но полосное железо, что лежало в самой глубине, на месте балласта, осталось на корабле.

— Какое железо? Это обломки обручей, что ли? — Толик опять поморщился.

— Нет. Полосы ковкого железа, из которого в кузницах делают разные предметы — для кораблей, для мастерских... Там, в дальнем краю, оно было очень нужно. Однако выгружать оказалось некому. Матросы занимались работами на корабле, на берегу людей не хватало...

— Так и привезли железо обратно в Кронштадт?

— Нет, но выгрузили гораздо позже, при третьем заходе на Камчатку. А сперва свозили в Японию и к Сахалину...

Я знаешь почему про это железо говорю? У меня в голове все время вертится сравнение: как железо лежало в трюме, так на душе у Крузенштерна лежала тяжесть. Чем это кончится? Он собрал все свое мужество и нес свою службу, словно ничего не случилось. С невозмутимым видом расхаживал по палубе, следил за работами, давал поручения офицерам, находил время пошутить с матросами. А ночью писал в большой тетради из грубой синей бумаги скрипучим пером из гусиного крыла свои наблюдения о жизни нукагивцев, о плавании к островам Сандвичевым и о том, как в непрерывных туманах, выполняя поручение министра коммерции графа Румянцева, искал он остров Огива-потто, которого не было на свете... Ни перед кем ни разу не выдал он тревоги. Но он же понимал: обвинение в бунте может стоить не только должности и чина, но и головы...

Наконец прибыл генерал-майор Кошелев с солдатами. Начались разборы. При губернаторе снова Резанов назвал Крузенштерна бунтовщиком. Тот с холодным спокойствием выложил на стол шпагу:

— Отправьте меня в Петербург. Плыть с вами, ваше превосходительство, дальше не считаю возможным.

— Это я не считаю!

— Тем более...

Неделю шло разбирательство. Ух как бушевал Резанов! Снова слышались слова: мятеж, бунт, каторга.

Моряки понимали, что это не пустые угрозы. Сейчас на стороне Резанова была сила, была власть.

Все было... кроме корабля.

Посланник мог лишить Крузенштерна командирской должности (и не раз объявлял об этом), мог устроить суд, мог, наверно, и в кандалы заковать строптивого капитана. Но заставить его вести корабль не мог, если тот не захочет. А плыть-то было надо. Не выполнить волю императора и отказаться от посольской миссии его превосходительство не смел.

И Крузенштерн понимал, что надо плыть. Не ради посольских дел, не ради торговых планов. Для новых открытий, для науки. Для славы России и ее флота. Чтобы никто не сказал потом, что русские так и не сумели обойти вокруг света...

Понимал это и генерал-майор Кошелев.

Положение у губернатора оказалось трудное. Как представитель власти, он обязан был поддерживать посланника, царского вельможу с полномочиями. А по-человечески он сочувствовал Крузенштерну. Целых семь дней он с утра до вечера вел разговоры, стараясь помирить Резанова и офицеров «Надежды». Наконец примирение состоялось.

Резанову дали несколько солдат для личной охраны и большего почета. Кавалерами посольства были зачислены капитан местного гарнизона Федоров и брат губернатора поручик Кошелев. Живописец Курляндцев и доктор Бринкин, утомленные плаванием, отправились через Сибирь домой. Отбыл в Петербург и Федор Толстой. И Крузенштерн, и Резанов одинаково рады были избавиться от скандального графа.

Окончание тяжких споров отпраздновали обедом на борту «Надежды» и салютом из пушек.

Дольше всех непримиримым оставался Ратманов. Требовал отправить его в Петербург, видеть не мог Резанова. Но уступил уговорам Крузенштерна, с которым они были «в совершенном дружестве». Тут, кстати, пришел приказ о производстве Ратманова в капитан-лейтенанты...

Вскоре «Надежда» отправилась с посольством в Японию...

— А «Нева»?

— Да «Невы» и не было в Петропавловске! Она же

еще от Сандвичевых островов ушла своим маршрутом на Кадьяк!

— Ох, правильно. Я и забыл...

— Заговорил я тебя, Толик. Ты уже спишь...

— Нет... А с лейтенантом Головачевым-то что было? Почему он застрелился?

— Это еще долгий разговор... Тут опять многое связано с Резановым. Ты ведь читал у Нозикова о посольстве в Японию? Успеха там Резанов никакого не добился. Японцы жили замкнуто, вели торговлю только с голландцами и корабли других наций видеть у себя не хотели. Тогда Резанов... Э, да ты, кажется, спишь?

«Нисколько,— не то прошептал, не то подумал Толик.— Вы, пожалуйста, рассказывайте...»

Курганов что-то сказал еще, потом стало очень тихо. Только стучал в этой тишине хронометр. Будто на звонкое полосное железо роняли медные гвоздики.

ЗАВЕСТИ ЧАСЫ!

Утром, когда Толик с Султаном примчались домой, оказалось, что Варя тут как тут. Она прямо с новогоднего вечера в институте отправилась на вокзал, удачно купила билет на проходящий поезд Москва — Владивосток и в семь часов была уже дома.

Варя затормошила Толика, расцеловала его, расхвалила елку, а Султан прыгал вокруг и пытался взвалить передние лапы Варе на плечи. На елке вертелись и позванивали шары...

Вечером пришли гости — Варины бывшие одноклассники, мамина подруга тетя Римма. И Дмитрий Иванович пришел. Принес Толику в подарок книжку «800 лет Москвы»... Мама послала Толика к Эльзе Георгиевне, чтобы пригласить и ее.

В комнате Эльзы Георгиевны стояла мебель с завитушками и черное пианино с медными подсвечниками. А на коричневых обоях всюду белели наклеенные бумажные солдатики. Всякие. И старых времен — в ботфортах и треуголках, и красноармейцы в буденовках, и заграничные какие-то — в касках непривычной формы. Были и гладиаторы (как Спартак на коробке с карандашами) и севастопольские матросы прошлого века, и крестоносцы (как в фильме «Александр Невский»).

Моряки понимали, что это не пустые угрозы. Сейчас на стороне Резанова была сила, была власть.

Все было... кроме корабля.

Посланник мог лишить Крузенштерна командирской должности (и не раз объявлял об этом), мог устроить суд, мог, наверно, и в кандалы заковать строптивого капитана. Но заставить его вести корабль не мог, если тот не захочет. А плыть-то было надо. Не выполнить волю императора и отказаться от посольской миссии его превосходительство не смел.

И Крузенштерн понимал, что надо плыть. Не ради посольских дел, не ради торговых планов. Для новых открытий, для науки. Для славы России и ее флота. Чтобы никто не сказал потом, что русские так и не сумели обойти вокруг света...

Понимал это и генерал-майор Кошелев.

Положение у губернатора оказалось трудное. Как представитель власти, он обязан был поддерживать посланника, царского вельможу с полномочиями. А по-человечески он сочувствовал Крузенштерну. Целых семь дней он с утра до вечера вел разговоры, стараясь помирить Резанова и офицеров «Надежды». Наконец примирение состоялось.

Резанову дали несколько солдат для личной охраны и большего почета. Кавалерами посольства были зачислены капитан местного гарнизона Федоров и брат губернатора поручик Кошелев. Живописец Курляндцев и доктор Бринкин, утомленные плаванием, отправились через Сибирь домой. Отбыл в Петербург и Федор Толстой. И Крузенштерн, и Резанов одинаково рады были избавиться от скандального графа.

Окончание тяжких споров отпраздновали обедом на борту «Надежды» и салютом из пушек.

Дольше всех непримиримым оставался Ратманов. Требовал отправить его в Петербург, видеть не мог Резанова. Но уступил уговорам Крузенштерна, с которым они были «в совершенном дружестве». Тут, кстати, пришел приказ о производстве Ратманова в капитан-лейтенанты...

Вскоре «Надежда» отправилась с посольством в Японию...

— А «Нева»?

— Да «Невы» и не было в Петропавловске! Она же

еще от Сандвичевых островов ушла своим маршрутом на Кадьяк!

— Ох, правильно. Я и забыл...

— Заговорил я тебя, Толик. Ты уже спишь...

— Нет... А с лейтенантом Головачевым-то что было? Почему он застрелился?

— Это еще долгий разговор... Тут опять многое связано с Резановым. Ты ведь читал у Нозикова о посольстве в Японию? Успеха там Резанов никакого не добился. Японцы жили замкнуто, вели торговлю только с голландцами и корабли других наций видеть у себя не хотели. Тогда Резанов... Э, да ты, кажется, спишь?

«Нисколько,— не то прошептал, не то подумал Толик.— Вы, пожалуйста, рассказывайте...»

Курганов что-то сказал еще, потом стало очень тихо. Только стучал в этой тишине хронометр. Будто на звонкое полосное железо роняли медные гвоздики.

ЗАВЕСТИ ЧАСЫ!

Утром, когда Толик с Султаном примчались домой, оказалось, что Варя тут как тут. Она прямо с новогоднего вечера в институте отправилась на вокзал, удачно купила билет на проходящий поезд Москва — Владивосток и в семь часов была уже дома.

Варя затормошила Толика, расцеловала его, расхвалила елку, а Султан прыгал вокруг и пытался взвалить передние лапы Варе на плечи. На елке вертелись и позванивали шары...

Вечером пришли гости — Варины бывшие одноклассники, мамина подруга тетя Римма. И Дмитрий Иванович пришел. Принес Толику в подарок книжку «800 лет Москвы»... Мама послала Толика к Эльзе Георгиевне, чтобы пригласить и ее.

В комнате Эльзы Георгиевны стояла мебель с завитушками и черное пианино с медными подсвечниками. А на коричневых обоях всюду белели наклеенные бумажные солдатики. Всякие. И старых времен — в ботфортах и треуголках, и красноармейцы в буденовках, и заграничные какие-то — в касках непривычной формы. Были и гладиаторы (как Спартак на коробке с карандашами) и севастопольские матросы прошлого века, и крестоносцы (как в фильме «Александр Невский»).

Когда Толик с мамой переехали в этот дом и зашли к Эльзе Георгиевне познакомиться, Толик просто глаза вытаращил. Мама тоже с интересом смотрела на солдатиков. А Эльза Георгиевна сказала непонятно:

— Пусть. Мне уже ничего не страшно...

Сейчас Эльза Георгиевна поотказывалась от приглашения, а потом пришла. Патефон сипловато играл «Рио-Риту». Варины друзья танцевали, цепляя плечами елочные ветви. Эльза Георгиевна с Дмитрием Ивановичем и тетей Риммой чокнулась рюмочкой ликера, поулыбалась, потом поднялась и стала разглядывать елку.

— Красавица,— сказала она.— Ах какая красавица... (Будто и не удивлялась недавно, зачем такая.) Вадим Валентинович тоже любил елки. Как ребенок. И всегда делал сам игрушки, особенно солдатиков... Странное увлечение, да? Характер был — мухи не обидит, а увлекался солдатиками...— Она вдруг коротко, со всхлипом рассмеялась: — Ну скажите, кому мог помешать тихий бухгалтер со своими бумажными солдатиками?

Дмитрий Иванович встал и что-то негромко стал ей говорить. Толик смотрел с беспокойством: Эльза Георгиевна могла расплакаться... Но к нему подскочила Галя — Варина подруга:

— Толик! Пошли танцевать! Тоже мне, кавалер, стоит и глазами хлопает! — И завертела его по комнате.

...На следующий день Варя умчалась в свой Среднекамск. А каникулы покатились, как и полагалось каникулам,— беззаботно и до обидного быстро. Днем Толик убегал на городскую площадь, где стояла елка, вертелась под музыку карусель, а на ледяных горах мальчишки катались на фанерках и устраивали игру в «пятьсот веселых». Или с ребятами из своего класса, с Васькой Шумовым и еще с кем-нибудь катался со склонов Земляного моста в логу. Особенно хорошо было кататься при луне. Луна стала уже почти круглая, и снег сверкал под ней голубыми огоньками, а ели и крыши сказочно чернели на зеленом небе...

Один раз Толик зашел к Арсению Викторовичу. Тот сидел за столом и писал. Толику он обрадовался:

— Молодец, что пришел! А я вот тут... Решил немного про детство Ивана Федоровича написать. Как он на «Надежде» вспоминает свои игры с братьями. У него много братьев было...

Толик почувствовал: хотя и рад ему Арсений Викторович, а хочет поскорее остаться один. Видно, не терпится ему опять сесть за рукопись... Но, торопливо прощаясь, Толик все же не удержался от короткого разговора:

— Арсений Викторович, вот эта карта у вас — она морская?

— Вполне... Это меркаторская карта мира. Был такой ученый — Герард Меркатор, он придумал эту картографическую проекцию, когда параллели и меридианы пересекаются под прямым углом. Очень удобно для штурманского дела... Я, наверно, непонятно объясняю?

— Понятно,— соврал Толик.— Она с корабля?

— Едва ли. На судах карты поменьше, а такие висят в пароходных конторах, в кабинетах адмиралов... Я ее добыл случайно в Ленинграде у родственников давнего знакомого. Она была спрятана в старый диван, и ее чудом не сожгли... До войны у меня была такая же, я на ней проложил весь путь Крузенштерна...

— Здесь тоже он начерчен,— заметил Толик.

— Да, только более схематично. Я его по памяти прокладывал... А на той было все точнейшим образом. У Крузенштерна в третьем томе «Путешествия» есть таблицы с ежедневными координатами «Надежды», вот я по ним... Впрочем, это не так уж важно. Главное — основные пункты. Порты, острова...

Толик нашел глазами Нукагиву, потом остров Святой Елены. И подумал, что до сих пор не знает подробностей о лейтенанте Головачеве. Но не время было расспрашивать...

По вечерам Толик с гудящими от дневной беготни ногами и с ощущением сладкой беззаботности устраивался с книжкой под елкой. Елка все еще стояла свежая, не осыпалась. Читал Толик второй раз «Русских кругосветных мореплавателей» (хотя Арсений Викторович и ругал автора Нозикова, но все равно было интересно), читал «800 лет Москвы». А еще — толстую потрепанную книжку, где были разные повести и рассказы: про поиски корабля «Черный принц», про разные смешные случаи, про веселых ребятишек Миньку и Лелю. Правда, мама разрешала эту книгу читать, только если нет посторонних. Потому что о писателе Зощенко было сказано недавно, что он вредный и ошибочный.

Конечно, ничего вредного в веселых рассказах не

было, это мог увидеть любой, кто умел читать. Скорее всего, писатель просто поругался с начальством, как прошлым летом поругалась мама с ответственным секретарем газеты, и тот пообещал «написать куда следует». Хорошо, что вмешался главный редактор. А у писателя, видимо, не нашлось такого редактора...

У мамы, кажется, и сейчас, в январе, что-то не ладилось на работе. А может быть, в отношениях с Дмитрием Ивановичем. Иногда она приходила домой расстроенная и сердитая. Так случилось и в тот день, когда Толик получил обидную, дурацкую двойку.

Давно уже кончились каникулы, и шла «решающая» третья четверть. На уроке истории Васька Шумов спросил Толика, пойдет ли тот сегодня в лог кататься на лыжах. Толик сказал, что у лыжи порвался ремень. Васька сказал: «Долго починить, что ли...»

А Вера Николаевна (у которой, видно, тоже было сегодня неважное настроение) скрестила могучие руки и спросила:

— Нечаев и Шумов! О чем я сейчас говорила?

Ваське откуда знать? Встал и глазами хлопает.

— Как богатые казаки предали Пугачева...— прошептал Толик.

— Нечего подсказывать! — грозно заявила Вера Николаевна.— Умник какой! Сперва отвлекает соседа по парте, а потом еще подсказывает! Давайте оба дневники!

Это было так несправедливо, что хоть волком вой. Но не реветь же при целом классе. Васька и Толик понесли к столу тощие самодельные дневники (настоящих ни у кого в Новотуринске не было, они, говорят, только в больших городах выдавались школьникам).

— Балда,— шепотом сказал Толик Шумову.— Из-за твоих дурацких разговоров...

Васька даже не огрызнулся, только сопел.

Толик не скрывал от мамы своих двоек (в общем-то довольно редких). А про эту тем более молчать не собирался. Наоборот, он вправе был рассчитывать даже на мамино сочувствие. В самом деле, за что двойка? Если бы он урока не знал...

Но мама сообщила Толику, что он балбес, разгиль-

дяй и двоечник. Нормальные ученики не треплют языком на уроках, а слушают учительницу. И будет неудивительно, если Толик схватит по истории двойку за четверть, а потом за год и его не допустят к выпускным экзаменам в начальной школе.

Это была уже совсем чушь непролазная, но ведь маме так не скажешь. И все же Толик не удержался:

— Я не виноват...— начал он и от обиды чуть не брякнул: «...что ты опять с Дмитрием Ивановичем поссорилась». Но, к счастью, удержался. Сказал только: — ...если у тебя какие-то неприятности.

Мама сообщила, что главная ее неприятность — это сын, который растет бестолочью и таскает из школы двойки.

— Не двойки, а двойку! Да и то ни за что!

Мама оделась и ушла, крепко стукнув дверью. То ли в редакцию на сверхурочную работу, то ли по другим делам. Толик не любил, когда мама уходила вот так, не сказав, куда и надолго ли. И страдал целый вечер. А она вернулась поздно. Толик обрадовался, но тут же вспомнил все обиды и молча улегся спать.

Так и случилось, что о важном и тревожном событии узнал он лишь утром.

Когда Толик торопливо глотал жареную картошку, мама сказала:

— Арсения Викторовича положили в больницу, очень обострился бронхит. Он вчера звонил мне оттуда... Просил тебя зайти к нему домой, завести часы, чтобы не остановились. Сказал, что ключ от комнаты под крыльцом, под нижней ступенькой...

Толик уронил вилку.

— А когда положили?

— Еще позавчера. А вчера в обед он позвонил.

— Что же ты вчера не сказала! — взвыл Толик.

— Вчера? Ты мне такой сюрпризик принес...

— Да при чем тут сюрпризик! Часы-то остановятся!

— Ну и что? Заведешь, и опять пойдут...

Тратить время на объяснения не имело смысла. Все решали минуты...

Толик не был примерным учеником. Но и прогуливать уроки ему еще не приходилось. Это вам не двойка, легкой нахлобучкой тут не кончится. И конечно, решил-

ся на такое дело он не без терзаний. Но терзания эти не были слишком велики, и — самое главное — испытывал их Толик на бегу, когда по темным еще улицам мчался не к школе, а к дому Курганова. Потому что сильнее всех мыслей была мысль о хронометре. Лишь бы успеть!

Что он скажет Арсению Викторовичу, если хронометр остановится? Мама виновата?

Не важно, кто виноват, если часы встали. Они не должны стоять, это морской закон.

Это не только Курганова часы, они еще и Толика... немного... Под их живое стучанье он уходил в плавание с Крузенштерном. И если Толик не успеет, он... Будто он не сумел кого-то спасти!

Ключ Толик отыскал сразу. Снял висячий замок, проскочил сени (сшиб при этом коромысло), влетел в комнату.

И сразу понял, что опоздал. Сумрак покинутого хозяином жилья заполняла глухая тишина.

Толик нащупал выключатель. Коричневый ящик со стеклянной крышкой стоял посреди стола. Толик, все еще на что-то надеясь, поднял крышку...

Хронометр остановился совсем недавно, в те минуты, когда Толик выскочил из дома и спешил сюда. Стрелки показывали восемь часов семь минут. И двадцать три секунды... Маленькая стрелка на счетчике завода дошла до числа сорок восемь. Больше двух суток пружина не тянула...

Толик с минуту потерянно смотрел на белый циферблат с римскими цифрами и маркой английской фирмы — слово «СООКЕ» в круге с большой буквой С.

Из-под деревянного футляра выглядывал уголок бумаги. Это была записка.

«Толик!

Довел меня мой бронхит до больницы. Обо мне-то позаботятся, а о хронометре позаботиться некому. Очень тебя прошу, будь его хозяином, пока я не вернусь, возьми его домой, заводи каждое утро в восемь. Мне кажется, я даже поправлюсь скорее, если буду знать, что он тикает исправно.

Большая просьба: уложи хронометр в сумку (она под столом) и неси плавно. Не ставь на стопор, пусть будет, как на корабле во время движения...

Я на тебя надеюсь, Толик. Спасибо тебе заранее.

А. Курганов»

Он надеется... Что делать?

Завести хронометр снова — дело нехитрое. Но как поставить до секунды время?

В девять часов будет по радио сигнал точности. Можно отвинтить стекло, установить стрелки на девять и при сигнале резко крутнуть футляр за ручки. Арсений Викторович говорил, что именно так пускают заведенные хронометры... Да, но секундная-то стрелка не вверху, не в начале круга. А руками эту стрелку не переведешь, она — чуткая и тонкая — намертво связана с механизмом. Можно лишь дождаться, когда она дойдет до ноля, и остановить, задержав балансир. Но для этого надо вынимать механизм. Живой, хрупкий, точнейший... Толик на такое никогда не решится. Он видел только раз, как это делает Арсений Викторович, а чтобы самому — страшно и подумать!

Но как же быть-то?!

Толик не верил в приметы. Он считал глупостью, когда люди суют палец в чернильницу-непроливашку, чтобы не получить двойку за контрольную. Не боялся запинаться левой ногой, проходить под косыми подпорками телеграфных столбов и вовсе не считал, что белая бабочка-капустница приносит беду. Даже к черным кошкам относился без опаски... Правда летом, если накатывала грозовая туча, Толик сцеплял пальцы в замочек и шептал: «Я не твой, я не твой, обойди стороной...» Но это потому, что с грозами не шутят. В позапрошлом году на углу Запольной и Казанской молния в щепки разнесла столетний тополь. Толик с мамой под зонтиком бежали к дому, а тут как шарахнуло!..

Да, в приметы он почти не верил, но сейчас казалось, что замерший хронометр предвещает беду своему хозяину. И чем дольше он стоит, тем хуже Арсению Викторовичу...

Толик беспомощно глянул по сторонам. С рисунка на карте на него смотрел — совсем не весело, укоризненно — бородатый Нептун. Надо было что-то решать.

Толик подумал, что выход один: пусть Арсений Викторович сам заведет и пустит хронометр.

Больницу Толик искал больше двух часов. Он знал, что она где-то на краю города, за фабрикой «Красный обувщик». Но оказалось, что там инфекционная боль-

ница, а больные бронхитом лежат в другой, у стадиона. Толик поехал туда — на тряском зеленом автобусе, который нырял в рытвинах не хуже парусника на волнах (хорошо, что хронометр в карданове подвесе). Потом Толик долго ходил вдоль серого больничного забора и наконец нашел калитку с табличкой «Приемный покой».

Отчаянье прибавило Толику храбрости, и в домике приемного покоя он толково изложил свою просьбу ворчливой тетеньке в пятнистом халате — не то санитарке, не то уборщице. Надо, мол, узнать, в какой палате лежит Арсений Викторович Курганов, и надо повидать этого Арсения Викторовича по дозарезу важному делу.

Фамилию Курганова тетенька в списке нашла. Но пустить Толика отказалась. Не полагается, мол.

— Но почему не полагается? Это же не заразная больница!

— Ишь ты, «не заразная»! Мало ли что! Детей вообще пускать не велено — это раз! К тем, кто недавно поступил, совсем никого так быстро не пускают — это два! И часы неприемные!

Толик уронил слезу. Санитарка смягчилась. Как раз вышел из внутренней двери и стал копаться в списках усатый мужчина в пальто, из-под которого выглядывал белый халат.

— Игорь Семенович, тут вот мальчонка просится к больному в третью палату, дело, говорит, первой важности...

Но мужчина, не отрываясь от бумаг, хмуро сказал:

— Какая третья палата... Сегодня по всему корпусу объявляем карантин.— Выдернул листок и ушел.

— Вот! — сказала тетка.— Хоть плачь, хоть не плачь. Карантин — дело категорическое.

И Толик, хлюпая носом, ушел. Он решился было на отчаянный шаг: отыскать в заборе щель, потом найти корпус с третьей палатой. Может, проскочит. А поймают — не убьют же... И не страх остановил Толика, а неожиданная мысль: Курганову нельзя знать, что хронометр остановился!

Толик — дурак! Надо было сразу сообразить: Арсений Викторович расстроится! Для него непрерывный ход хронометра — это своя важная примета. Не зря же звонил маме, просил Толика... Ему и так не сладко, а когда

он узнает о хронометре, совсем разболеется. А вдруг и... ну, всякое же бывает...

Была оттепель, серый снег оседал у заборов, горланили в больничных тополях вороны. Толик побрел к дому пешком, потому что мелочи на автобус уже не было. Мимо стадиона, мимо рынка, потом по длинному проспекту Коммунаров... Недалеко от почты он увидел синюю вывеску «Часовая мастерская».

И опять отчаянье добавило ему смелости...

В мастерской было тихо, но тишина эта состояла из разного тиканья десятков часов. Они висели на стенах и лежали на прилавке — за стеклянной перегородкой с окошком. Там же, за стеклом, Толик увидел пожилого лысого мужчину с мясистым носом. В глазу мужчины торчала короткая серебристая трубка — он разглядывал через нее часики.

Толик сказал «здрасте», мастер уронил трубку в ладонь и крутнулся на стуле (видно, стул был вертящийся).

— Вам что, молодой человек?

— Скажите, пожалуйста, вы не могли бы завести и пустить хронометр? Только точно, до секунды...

— Хронометр?

— Ага. Морской... Он остановился.

— Лю-бо-пытно...— Мастер вытянул худую шею.— Разреши-ка посмотреть...

Толик, задержав дыханье, вынул ящичек из сумки. Двинул его в окошко по скользкому стеклу прилавка.

— Он исправный, только его не успели завести...

— Так-с, так-с, так-с...— произнес мастер, словно подражая крупным часам. И умело откинул крышку.— Лю-бо-пытно... В самом деле. Откуда у тебя столь интересный прибор?

— Это моего знакомого. Его в больницу положили, а он просил меня заводить, а я не успел.

— Непростительная небрежность.

— Я не виноват, я поздно узнал...

— Что узнал? — Мастер быстро глянул на Толика.

— Ну... что он просил...

— Странно... Ладно.— Мастер придвинул к себе стопку бумажек и карандаш.—Фамилия?

— Чья? Арсения Викторовича?

— Твоя.

— Зачем? — удивился Толик. И встревожился.

— Должен же я заполнить квитанцию.

— А... что, надо деньги платить? — растерялся Толик.

— Не в деньгах дело. Просто мне надо оформить заказ.

— Тут же только стрелки поставить да завести...

— Это неважно. У нас, молодой человек, порядок. Я — не частная лавочка.

— Нечаев моя фамилия,— сказал Толик.— Анатолий... Адрес надо? Запольная, одиннадцать.

— Угу... Школа и класс?

— Это, что ли, тоже для квитанции?

— Тоже.

— Пожалуйста... Десятая, начальная. Четвертый «А».

— Прекрасно... Вечерком зайди.

— Почему вечерком? Тут же пустяк...

— У меня заказы. Не могу я заниматься твоими часами без очереди. К шести приходи. Лучше, если с хозяином хронометра.

— Он же в больнице!

— Тогда с мамой или папой.

— Зачем?

— Ну, подумайте, молодой человек,— ласково произнес мастер и уставился на Толика похожими на коричневых жучков глазами.— Вы приносите мне уникальную вещь. Рассказываете довольно-таки путаную историю...

— Вы что, думаете, я украл? — тонким до звона голосом спросил Толик.

— Я ничего не думаю. Придешь вечером с кем-нибудь из взрослых — все будет ясно...

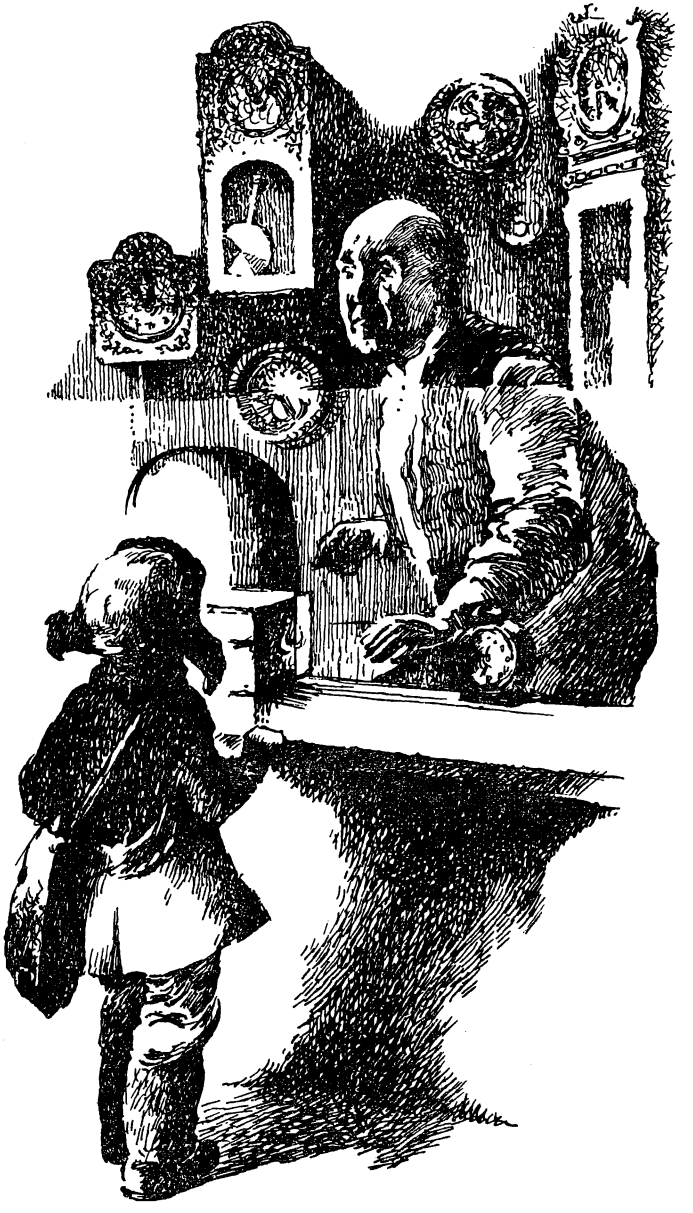
— Тогда... тогда квитанцию-то дайте! Что хронометр у вас...

— Квитанции мы детям не даем. Вот придут мама или папа...

— А зачем тогда писали? — обмирая, спросил Толик. Он понял, что попал в новую беду. В самую большую сегодня.

— Писал, потому что писал... Да свиданья, молодой человек. По-моему, вам в этот час надо быть на уроках...

— Подождите...— Мысли Толика застучали отчетливо, как шестеренки.— А вдруг мама к вам без меня



придет? Я... я со второй смены учусь. А мама вас не знает. Напишите хоть вашу фамилию.

Не нужна ему фамилия мастера. Надо только, чтобы часовщик хоть на две секунды отвлекся. Вот так: он пожимает плечами («Фамилию? Пожалуйста»), берет карандаш, наклоняет голову...

Толик стремительно сунул в окошко руки, захлопнул крышку футляра, быстро — очень быстро, но плавно, без рывка — потянул к себе хронометр. Мастер вздрогнул, рука его шлепнула по тому месту, где только что стоял ящик. Поздно!

Толик ухватил футляр за ручки и спиной толкнул дверь. Услышал за собой крик. Побежал.

Он очень торопился, но даже в этом отчаянном беге помнил, что нельзя делать резких толчков. И старался, чтобы хронометр словно летел перед ним по ровной линии... Брезентовая полевая сумка с учебниками прыгала на боку. Валенки стали тяжелыми, будто сыростью набухли. Несколько раз показалось Толику опять, что сзади кричат, даже милицейский свисток почудился. Но это уже явно с перепугу...

Отдышался он только дома. Сел на кровать, поставил хронометр перед собой на половик. Стал думать с горьким удивлением: что получилось? Почему несчастья цепляются одно за другое?

Может, не стоило бежать?.. Ага, а если бы часовщик вечером сказал: «Какой хронометр? Я этого мальчика первый раз вижу. Квитанция есть?» Не бывает, что ли, жуликов среди часовых мастеров? Эльза Георгиевна рассказывала, как ей до войны подменили золотой корпус часиков позолоченным...

Впрочем, какой смысл гадать, что «было бы»? Хронометр — вот он. И что делать дальше?

Стучали ходики. Неточные, домашние. Но, так или иначе, они показывали половину второго, и это было почти правильно, если не придираться к одной-двум минутам. Странно, что мама еще не пришла на обед... Дребезжаще играло бодрую музыку радио. Через полчаса, в двенадцать по московскому, в два по местному, будет опять поверка времени.

Решайся, Толик...

Казалось, что если хронометр заработает, все не-

приятности — и вчерашняя двойка, и сегодняшний прогул, и то, что за этот прогул будет потом,— сделаются мелкими, не важными. И болезнь Арсения Викторовича окажется неопасной. И повесть «Острова в океане» будет дописана... И все будет правильно, справедливо.

Толик поставил хронометр на стол. Открыл футляр. Повернул влево стекло в медном зубчатом ободке. Ободок пошел по резьбе мягко, легко, это слегка прибавило Толику смелости.

Он свинтил до конца и отложил стекло.

Теперь надо было сделать то, что казалось самым опасным.

Толик положил растопыренные пальцы левой руки на края циферблата. Сердце застукало так, словно где-то в пищеводе запрыгал тугой резиновый мячик. Толик переглотнул. Он понимал, что, если что-то надломит, сорвет, нарушит в тонком организме точнейшего прибора, не будет прощенья. Ни от Арсения Викторовича, ни от мамы, ни от себя. Ни от всего белого света...

Но отступить он уже не мог. Медленно-медленно стал поворачивать котелок хронометра в кольце. Дальше, дальше... Ну, скоро ли? Ой... Механизм тяжело выскользнул из котелка и осел у Толика в пальцах. Секундная стрелка на миг щекочуще коснулась ладони.

Нельзя, чтобы касалась, она такая чуткая, беззащитная...

Вот оно, сердце хронометра. Медные колесики и валики с цепочкой. Вот он — горизонтальный балансир. Оказывается, это не кольцо, а два полукольца.

Толик, стискивая пальцы на краях циферблата, опять повернул механизм стрелками вверх. Задержав дыхание, ногтем толкнул грузик балансира.

«Динь-так, динь-так...» — радостно ожил хронометр. Секундная стрелка побежала по своему кругу. Но через несколько мгновений опять замерла — не было завода...

Толик качнул балансир еще. Еще... Вот уже стрелка рядом с цифрой шестьдесят. Не проскочила бы! Стоп...— Толик придержал медный цилиндрик. Точно!

Теперь положить механизм обратно в котелок (от него пахнет медью, как от старой артиллерийской гильзы, которую Толик выменял у Васьки Шумова на трубку от противогаза). Опускать надо легко, чтобы механизм не вырвался, не стукнул о край... Ой, что-то все же стук-

нуло! Это контрольный шпенек вошел в прорезь на кромке котелка, это ничего...

Теперь — перевести большие стрелки. С ними просто, почти как на ходиках. Главное, чтобы минутная оказалась строго на верхней черте. Вот так. Два часа...

Толик навинтил стекло.

До пуска оставалось еще одно дело — завести пружину. Но это уже легче, Толик это умел. Надо лишь стараться, чтобы хронометр не затикал сам собой, раньше сигнала! Тогда начинай все снова.

Не затикал...

Толик поставил карданное кольцо на стопор и стал ждать.

Как всегда в таких случаях, минуты тянулись, будто разжеванная ириска. И конечно, Толик извелся: то шагал из угла в угол, то на ходики смотрел, то пробовал читать новую «Пионерскую правду». То садился, то вставал... Можно было бы разогреть суп и пообедать, но про это и думать не хотелось... Думалось про сегодняшние приключения. Вспомнилось и то, что сумка от хронометра осталась в мастерской... Ну и пусть. Она старая, порванная, Арсений Викторович не рассердится.

Лишь бы хронометр пошел...

Наконец радио сказало деловитым женским голосом:

— После поверки времени слушайте последние известия. А сейчас, товарищи, проверьте часы. Третий, короткий, сигнал дается в двенадцать часов по московскому времени...

И «щелк-щелк, щелк-щелк» — застучали в репродукторе самые точные часы страны. Когда Толик их слышал, ему представлялась мощеная площадь, строй солдат, а вдоль строя идет отдавать рапорт офицер с саблей наголо. Сухо бьют о камень подошвы блестящих сапог. Солнце дрожит на кончике клинка. И так — целая минута. Потом офицер останавливается...

— Вот он, голубчик! Полюбуйтесь, Вера Николаевна!

Что это? Он и не слышал, как мама вошла! Слышал только щелканье и, сжавши медные ручки футляра, готовился толкнуть хронометр. Но...

— Вот он!.. Где ты был?!

И Вера Николаевна здесь. Она-то зачем?.. Нет, это потом. Все потом!

— Ну, подождите пять секунд! — Он сказал это так отчаянно, что мама и Вера Николаевна замерли.

...Офицер остановился перед генералом. Метнулась сабля — в три приема: вверх, в сторону, вниз! Тонко поет рассекаемый воздух: «Пиу... пиу... пинь!»

Раз! — Толик резко повернул ящик. И обмер: стрелка стояла... Но она стояла лишь очень краткий миг. Просто этот миг показался Толику нестерпимо долгим. И вот: «Динь-так, динь-так...»

Толик обернулся: теперь с ним делайте что хотите.

ПОРТРЕТ

В одну минуту узнал Толик, что человек он конченый. Мало того что хватает двойки и сбегает с уроков, так еще впутался в какую-то скандальную историю с часами! Надо же — в школу звонят из мастерской! Ученик — воришка! Бедная Вера Николаевна! Она бросает все дела и мчится к прогульщику Нечаеву! И встречает маму, которая и не ведает о похождениях милого сына. Мама думала, что он уже взрослый. Что ему можно доверять!..

Толик был не из тех людей, которые упираются в пол глазами и каменно молчат, когда на голову сыплются упреки. А если упреки несправедливые — тем более!

Это он-то воришка? Мастер сам хотел зажилить часы Арсения Викторовича, жулик несчастный!.. Ну и что же, что взрослый? Не бывает, что ли, взрослых жуликов? Обидно стало, что не сумел присвоить хронометр, вот и наябедничал в школу!..

Кто прогульщик? Прогульщики те, кто вместо уроков в кино ходят или на каток! А он больницу искал... А что было делать, если часы встали? Он, что ли, виноват? А кто ему не сказал вовремя про звонок Арсения Викторовича, молчал целые сутки?.. Конечно, как правду скажешь, так сразу «не смей грубить»... Ну и что же, что двойка? Хронометр-то при чем? Да и двойка-то ни за что! Если всем двойки ставить, кто к соседу повернется и два слова скажет, тогда сплошь второгодники будут... Конечно, сразу «нахал»... Ну и пожалуйста, хоть поленом... Ох уж, никогда не лупила! А летом кто его огрел по шее пучком моркови?.. Ага, «шутя»! Ничего себе шуточки...

Что «после школы»? Должен был отсидеть уроки, а

потом идти к Арсению Викторовичу? Ну почему никто не хочет понять: надо было успеть, пока хронометр не остановился!

— Ну а потом-то! — мама возмущенно и беспомощно всплеснула руками.— Когда ты увидел, что он все равно остановился, почему нельзя было пойти на уроки?

— Но когда это случилось, я думал, что ли, об уроках? — в сердцах сказал Толик.

— Вот! — мама устремила в него палец и повернулась к Вере Николаевне.— С этого и начинается, верно? Сначала человек не думает об уроках и хватает двойки, потом болтается по городу, попадает в дурацкие истории. А там, глядишь, и в милицию. И до колонии недалеко...

— Тпру...— вдруг сказала Вера Николаевна. Словно лошадь останавливала. Во время перепалки мамы с Толиком она сидела на стуле, куталась в шаль и молчала — грузная, с большим морщинистым лицом и крупными руками в синих жилках. И вот:

— Тпру...— Так она обычно в классе утихомиривала расшумевшихся своих питомцев.— Давайте-ка, Людмила Трофимовна, передохнем... Чего-то не туда мы поехали, за пять минут человека до колонии довели... А ты перестань реветь, мужик ведь...

Мама удивленно притихла. Толик быстро вытер глаза.

— Давайте-ка разматывать обратно,— решила Вера Николаевна.— Значит, что? Часовщик этот... Ну, с ним ясно, есть такие шибко бдительные... Теперь уроки... Ну, бывает иногда в жизни и такое. Если неожиданное срочное дело, куда денешься-то? Это, как военные люди говорят, «непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства». Муж у меня так говорил... А обстоятельства-то, я смотрю, получились из-за двойки...

— Не болтал бы на уроке — не было бы двойки,— без прежней уверенности сказала мама.

— Вот и я говорю... Да только где лекарство, чтоб они не болтали-то? — Она усмехнулась.— Может, правда связкой моркови по шее?.. Анатолий, запиши задания на завтра, а то настоящих двоек нахватаешь... Любитель приключений...

Толик суетливо выдернул из сумки дневник и ручку. Схватил с подоконника непроливашку.

— Пиши,— сказала Вера Николаевна.— Или лучше

дай сюда, я сама. Знаю, как ты копаешься со своим почерком...

Она записала номера упражнений и задачек, потом вздохнула и крест-накрест перечеркнула вчерашнюю двойку.

Мама быстро взглянула на Толика. Он вместо радости испытал мучительную неловкость. Отвернулся и смотрел в угол. Вера Николаевна грузно поднялась со стула.

— Людмила Трофимовна, пойдемте на кухню, что ли... Пускай он уроки учит, а нам надо еще насчет родительского собрания поговорить...

Толик остался один. Сел. Вот и все, распутался несчастливый узел. Так и должно было случиться — потому что хронометр идет, как прежде... Одно только скребет душу: стыдно перед Верой Николаевной за недавние слезы. Но и это не так уж страшно. Главное, что хронометр —«динь-так, динь-так...».

Толик погладил медную ручку футляра. Она была теплая. Тонкая изогнутая ручка — будто на старинном сундучке. Видно, правду говорил Арсений Викторович, что в прошлом веке хронометры были такие же... В те удивительные времена, когда еще оставались в океанах неоткрытые острова. Когда еще... как это сказал Курганов? Хорошие такие слова, будто стихи: «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Сразу видно, что он писатель...

Когда Земля еще вся тайнами дышала...
И было много неизведанной земли...
Два наших корабля... вокруг земного шара...
Бесстрашно пошли...

Нет, не так... «Сквозь бури и шторма́ на поиски пошли»...

На поиски чего?

Далеких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина...

Ух ты, как здорово получается! Ну-ка, сначала...

...Вера Николаевна, уходя, не заглянула в комнату, не стала прощаться с Толиком. Видимо, понимала, что ему стыдно за слезы. И Толик был ей благодарен. Но мысли о Вере Николаевне скользнули и пропали. Пото-

му что под уверенно-ласковое тиканье выстраивались в строчки слова.

«Два русских корабля вокруг земного шара...»

Толик вспомнил, как однажды держал земной шар в руках. Вера Николаевна попросила принести из учительской в класс глобус. Толик одной рукой сжимал подставку, а другой обнимал все материки и океаны. Шар был теплый, и казалось, что он слегка пульсирует. Словно отзывается на толчки Толькиного сердца...

Вошла мама. Постояла рядом.

— Хватит уж дуться, прогульщик...

Толик сказал, положив на стол локти, а на локти голову:

— Ма-а... Я хочу глобус.

— Да? Очень хорошо.

— Правда? — Толик подскочил на стуле.

— Конечно. А то захотел бы ты, например, паровоз... или луну с неба. Или, скажем, египетскую пирамиду...

— При чем здесь пирамида? — сразу обиделся Толик.

— А глобус? Где его взять-то?

— Может, на толкучке... Там всякие вещи попадаются.

— Ну... если когда увижу, спрошу, сколько стоит... А что вдруг у тебя за фантазия? Ни с того ни с сего...

— Я давно хотел. Просто как-то забывал сказать... Это ведь не игрушка, а для пользы. Учебное пособие.

Мама села на стол напротив Толика.

— Какой ты вдруг прилежный стал... Я напишу Варе, в Среднекамске есть, кажется, магазин учебных пособий. Только не знаю, продают ли там что-то простым покупателям. Скорее всего, он для школ.

— Пусть она попросит как следует!

— А можно с Дмитрием Ивановичем поговорить. У него в Москве есть знакомые. Там, наверно, легче купить...

— Ага, поговори...— Толик опять лег щекой на локоть.— Ма-а... А ты с ним, значит, помирилась, да?

— Анатолий! Сколько раз говорила: не суйся не в свои дела!.. А то будет не глобус, а выволочка.

— Глобус лучше,— мечтательно сказал Толик. И прикрыл глаза. И увидел почти что наяву шар с коричнево-зелеными материками, с голубыми океанами. С четкой синей линией экватора...

— Мама, а почему экватор называют равноденственной чертой?

— Ох, не знаю... не помню.

— А еще большая,— поддел Толик.

— Ну и что? Это ты сейчас географию учишь, а не я.

— Мы про такое еще не проходили... Это как-то с солнцем связано... Мама, а ты знаешь, что у Арсения Викторовича день рожденья в равноденствие?

— «День-день-день»,— сказала мама.— Я смотрю, ты совсем не собираешься садиться за уроки.

— Собираюсь... А как ты думаешь, его выпишут к двадцать первому марта?

— Я надеюсь. Полтора месяца впереди.

— Я ему подарок сделаю...

На следующий день после школы Толик забежал к маме в редакцию и там у маминой знакомой Веры Максимовны попросил лист плотной желтоватой бумаги (из нее делали конверты).

Дома Толик в книжке Нозикова расчертил мелкими клетками портрет Крузенштерна. Лист он разметил крупными квадратами и перенес портрет по клеткам на бумагу. Похоже получилось! Толику даже показалось, что на большом портрете Иван Федорович стал как-то симпатичнее, мужественнее.

Разумеется, это были только основные контуры. Надо нанести тени, тронуть лицо разными карандашами. Конечно, не размалевывать, а лишь чуть-чуть добавить цвета...

Интересно, какие были у Крузенштерна глаза? Наверно, голубые, как у Толика. Он ведь тоже был белобрысый. То есть белокурый...

Толик не торопился. Несколько вечеров сидел над бумагой. Конечно, хотелось кончить поскорее, но он боялся испортить портрет. Надо было рисовать очень осторожно. Лицо человеческое — штука капризная: чуть не так проведешь черту, и все сходство куда-то пропадает... Толик сопел над листом, водил по нему то карандашом, то резинкой, и казалось ему иногда, что зря все это он затеял. Арсений Викторович сам вон как рисует! Посмотрит на Толькино «произведение искусства», вежливо похвалит, а про себя подумает: «Ну и уродину он нарисовал!»

Наверно, и правда ничего не получается. Ничуть не похоже на то, что в книжке...

Но... нет, все-таки похоже. Смотрит с бумаги строго и смело обветренный голубоглазый моряк. Флота капитан-лейтенант Крузенштерн...

Мама растрепала Толику чубчик.

— До чего талантливое у меня дитя, просто ужас. И поэт, и художник...

«Поэт»! Мама вспомнила, видимо, стихи про новогодний месяц. Новые строчки, про корабли, она еще не знала.

Никакой он не поэт и не художник. Стихи придумались сами собой, а за портрет он взялся, чтобы сделать подарок, только и всего. А в будущем он такими делами и не думает заниматься. Кем Толик собирается стать, известно давно. Еще с первого класса, когда он намалевал на руке чернилами громадный якорь и был за то поставлен Верой Николаевной у доски...

Итак, портрет был почти готов. Потому что лицо — это самое главное. Оставалось раскрасить мундир и нарисовать на заднем плане облака и паруса. Толик решил, что эполетами, орденами и корабельной оснасткой займется завтра.

Но... на следующий день мама получила зарплату, дала три рубля, и Толик помчался смотреть старую, но самую лучшую на свете комедию «Веселые ребята». Музыкальную, с песнями.

Черная стрелка проходит циферблат,
Быстро, как белка, колесики стучат...

Словно про хронометр песенка...

Бегут-бегут, бегут-бегут —
И месяц пролетел...

И в самом деле пролетел месяц! Незаметно. Каждый день какие-то дела находились. То катанье на лыжах, то уроков целая куча, то книжка «Таинственный остров» (такая, что не оторвешься, толстенная, а Шумов дал ее всего на пять дней).

И вот уже — капель с крыши и похожие на вату облака, и смотришь — восьмой час вечера, а на дворе светло.

И Восьмое марта на носу...

Толик за три рубля пятьдесят копеек купил в киоске на углу Первомайской пластмассовый гребень с гранеными камушками-стекляшками. Будет маме подарок.

Домой Толик прибежал веселый и голодный. Был уже четвертый час, потому что в школе долго репетировали номера для праздничного утренника. Мама, конечно, давно ушла с перерыва на работу, в комнате было тихо.

Совсем тихо.

Потому что... не тикал хронометр.

Он же не мог остановиться! Толик заводил его каждое утро, в восемь ровно, ни разу не забыл, не опоздал. И хронометр шел точно, только за каждые пять суток набирал лишнюю секунду.

И стучал уверенно, звонко, весело.

А теперь что с ним? Он... его просто не было!

На средней полке этажерки, где всегда стоял хронометр, лежала записка. Мамина.

«Толик! Приходил Арсений Викторович, его наконец выписали. Он взял часы и ключ. Жалел, что не застал тебя, просил зайти. Где тебя носит? Пообедай и садись за уроки. Суп в кухне на подоконнике, картошка на сковородке...»

Толик сел на кровать, не сняв пальто и отсыревших валенок. Грустно стало. И даже обидно.

Привык он к хронометру. Словно к живому, привык. По утрам он вскакивал, радовался медному «динь-так», и настроение становилось таким же звонким... Приходил из школы, и снова: «Динь-так, динь-так, здравствуй...»

Жил хронометр на этажерке, но когда Толик готовил уроки, ставил его перед собой. А если читал, лежа пузом на кровати, хронометр устраивал на подоконнике, поближе к изголовью. И звонкий рогатый месяц заглядывал в окошко и прислушивался к тиканью с интересом и легкой завистью...

Конечно, Толику и в голову не приходило, что хронометр останется у него навсегда. И хорошо, что Арсений Викторович выписался. Но... как-то все не так получилось. Неправильно. Толик думал, что он отнесет хронометр Курганову сам, и Арсений Викторович удивится и обрадуется, как четко и точно работает механизм. И может быть, они опять разожгут камин, и Арсений Викторович спросит: «А что, если я тебе, Толик, почитаю несколько страничек, а? Я там, в больнице, кое-что написал еще...»

Потому что он и в самом деле работал в больнице. Мама говорила. Она несколько раз беседовала с Арсе-

нием Викторовичем по телефону, а однажды отнесла ему передачу: пирожки с капустой, которые сама настряпала.

Каждый раз Курганов передавал Толику приветы и говорил, что очень благодарен ему. «За хронометр и вообще...»

А теперь что?

«А теперь ничего,— подумал Толик, посидев минут пятнадцать и рассердившись на себя.— Ничего особенного. Нытик ты, Толька. Он же не виноват, что не застал тебя дома. Он же просил зайти. Что ты раскис, как манная каша?»

Когда обругаешь себя и словно встряхнешь за шиворот, делается легче. И Толик решил, что все еще будет хорошо. Придет он к Арсению Викторовичу, и будут у них интересные разговоры, и новые страницы повести, и чай с крепкими, как дерево, пряниками. И то, что не назовешь словами,— ощущение, словно ты в каюте и поскрипывает корабельная обшивка, а вверху, невидимые сквозь палубу, но настоящие, тугие, покачивают тяжелый рангоут многоярусные паруса (и надо снять со стопора хронометр, чтобы при качке оставался горизонтальным).

И может быть, Толик в хорошую минуту признается Арсению Викторовичу, как сам пустил хронометр. Теперь можно признаться: ведь все он сделал безошибочно.

Но в тот день Толик не пошел к Арсению Викторовичу. Неудобно. Человек только что из больницы, и тут нате вам — гость...

А назавтра была опять репетиция.

А послезавтра — Восьмое марта.

Затем Толик подумал, что лучше отложить визит до воскресенья. Но в воскресенье началось такое таяние снега, что в валенках на улицу не сунешься, а у ботинка оказалась оторвана подошва, и мама (отругав Толика за то, что не сказал об этом раньше) пошла на рынок, где в будках сидели «срочные» сапожники.

А потом оказалось, что до весенних каникул — всего неделя. И на этой неделе чуть не каждый день контрольные за третью четверть — «предварительные» и «основные».

И среди всех этих многотрудных дел понял Толик: самый подходящий день, чтобы идти к Курганову — двадцать первое марта. И почти каникулы уже, и день рожденья Арсения Викторовича, и воскресенье — значит, он дома будет.

Но сначала надо было дорисовать портрет, и Толик просидел над ним еще два вечера.

Портрет получился размером со страницу «Пионерской правды». В самый раз, чтобы повесить над камином (если, конечно, Арсению Викторовичу понравится). В правом нижнем углу Толик написал стихи. Он решился на это не сразу. Даже маме он свои стихи показывал, продираясь сквозь смущенье, как сквозь колючую проволоку. А тут тем более... И все же он написал. Не пропадать же стихам, которые так подходили для портрета!

Краснея и сопя, закрывая животом портрет от мамы, Толик черным карандашом, старательными печатными буквами выводил:

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Далеких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина,
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна...

Вообще-то Крузенштерн у штурвала, конечно, не стоял, это дело матросов. Капитаны подают команды с мостика. Но ведь можно понимать «штурвал» в переносном смысле...

И буду я всегда завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь...

— Да не сопи ты и не прячь, я не смотрю,— сказала мама.

Толик пробормотал:

— Я допишу и покажу...

И показал, конечно, хотя в глазах щипало от стыда.

Мама похвалила. Даже обняла Толика. И лишь одно замечание сделала: «неизведанный» пишется с двумя «н». Да еще велела после слова «скалы» поставить запятую.

На следующее утро дала мама Толику белую рубашку, натянул он свой парадный вельветовый костюм и отправился к Арсению Викторовичу. Было солнечно и тепло, сразу видно — весеннее равноденствие. Толик рас-

стегнул пальто и хлопал по мелким лужам ботинками в новых калошах В таком радужном настроении он и пришел на Ямскую.

Дверь на крыльце у Курганова была приоткрыта, и Толик вошел в сени без стука. Снял калоши. Поколотил во внутреннюю дверь, обитую рваной клеенкой. Услышал, как отозвался Курганов:

— Входите!

Арсений Викторович сидел за столом. Заулыбался, встал. Покачнулся. На столе увидел Толик пустую четвертинку, тарелку с винегретом, пепельницу с окурками. Пахло табачным дымом, копченой селедкой, кислой капустой.

— Толик, дорогой...— Курганов зажмурился, постоял так, потер сморщенный лоб.— Я вот тут... видишь, один немножко...

Он засуетился, убрал четвертинку под стол, подскочил к кровати, натянул одеяло на неубранную постель. Сел...

— Я вот, понимаешь... думаю, дай отмечу юбилей сам с собой... гостей-то нет... Не знал, что ты придешь...

«Неужели он всю ночь так сидел?» — ахал про себя Толик. И сказал насупленно:

— Зря вы курить начали. Вам же вредно.

— А! — будто обрадовался Курганов.— В пятьдесят лет ничего не вредно...— Он опять покачнулся, будто хотел лечь и раздумал.— А ты... ты раздевайся...

Но Толик понимал, что раздеваться ни к чему. Он нерешительно переступил на шкуре ботинками.

— Я вам принес... вот...

И запоздало подумал: а стоит ли сейчас отдавать портрет?

— Ну-ка... Ну-ка...— Курганов быстро и почти трезво встал. Взял свернутую в трубку бумагу. Шагнул к непокрашенному столу, развернул на нем лист. Толик вздрогнул — угол портрета едва не попал в лужицу винегретного сока.

— Ого...— сказал Курганов.— Да... Весьма... Иван Федорович весь как есть, очень соответствует...

Ладонь его сорвалась со стола, упругая бумага снова скрутилась, упала на шкуру. Толик быстро нагнулся, чтобы поднять. Курганов сел на корточки. Они чуть не стукнулись лбами.

— Ох... извини,— сказал Курганов.— Видишь ли...

Ужасно глупо...— От него пахнуло крепкой смесью водки и табака.— Ты разделся бы, а? Я чайку...

— Нет, я пойду. У меня билет в кино,— беспомощно соврал Толик, поднимаясь.— Я на минутку зашел. Я в другой раз...

— Да! — снова обрадовался Курганов.— Правильно. В другой раз — это обязательно. Я тут кое-что еще написал... Ты на меня не обижайся, ты приходи...

Толик не обиделся. Но было очень грустно. Толик брел домой, и теплый день его не радовал. Было жаль Курганова. Было жаль портрет. Сколько труда потрачено, а теперь что? Арсений Викторович почти и не взглянул. Чего доброго, сметет на портрет селедочные головы и отправит на помойку...

Но главное не это. Главное — ощущение потери. Словно с размаху закрыли перед Толиком дверь. И остались за дверью корабли и острова, синяя морская карта и загадки океана, горящий камин и живой неутомимый хронометр. Остались Крузенштерн и Ратманов, Лисянский и Беллинсгаузен. И матрос Курганов. И лейтенант Головачев со своей горькой и непонятной судьбой... Резанов и Шемелин... Люди, к которым Толик привык. Одних он любил, других нет, но помнил про всех. А теперь они скрылись за старой, обитой рваной клеенкой дверью. Навсегда...

«Ну почему навсегда?— попытался утешить себя Толик, когда прошел несколько кварталов. Все-таки был первый день каникул, весна, и погружаться в уныние с головой не хотелось.— Может быть, все еще наладится. Не всегда же Арсений Викторович такой...»

Может быть, правда наладится? Ведь Курганов сказал: «Заходи...»



Вторая
часть

РОБИНГУДЫ

ПЛЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК ЛИПКИН

«Заходи»,— сказал на прощанье Курганов. Но Толик не заходил больше. То есть он зашел один раз, в конце весенних каникул, но Курганова не оказалось дома, и Толик вместе с досадой испытал и неожиданное облегчение... А потом начался апрель. В апреле дни хотя и длиннее, чем зимой, но бегут стремительно.

После каникул с Толиком подружились одноклассники Юрка Сотин и Стасик Новицкий по прозвищу Назарьян (потому что был похож на худого горбоносого борца Назарьяна, который прошлым летом выступал в приезжем цирке). Раньше они на Толика внимания не обращали, а тут вдруг встретили в кино и говорят: «Айда играть с нами». И пошли они во двор к Сотину, напилили там из березовых жердей коротких чурок и до вечера резались в городки. Игра шла замечательно, потому что двор был мощенный каменными плитами, просохший уже и чистый.

И на следующий день они играли, и потом еще и еще. И сосед Толика по парте Васька Шумов тоже пристроился к их компании.

А потом Толик по пути из школы промочил в луже ноги и несколько дней сидел дома с хрипами в горле.

Когда же он снова пришел в школу, оказалось, что для него и для мамы есть важная работа. Вера Николаевна дала тонкую книжицу с билетами для экзаменов и попросила перепечатать их для всех учеников четвертого «А». Мама печатала, а Толик помогал — перекладывал листы шелестящей тонкой копиркой.

Скоро билеты были готовы, и тут уж стало ясно: пора готовиться к экзаменам. Месяц остался! Ну, в конце апреля Толик готовился еще так себе, а после первомайских праздников взялся всерьез. Потому что первые в жизни экзамены — это всегда страшновато. Правда, арифметики Толик почти не боялся, зато правила по русскому его очень беспокоили. Никак он их не мог запомнить. Непонятно было, зачем вообще эти правила, если диктанты он и без них пишет, почти не делая ошибок.

Конечно, не сидел Толик за учебниками до потери сознания. И в городки случалось играть, и к дружинному сбору «День Победы» надо было стихи выучить, и ежедневные уроки приходилось готовить, а то нахватаешь двоек, и не допустят ни к каким экзаменам...

А в середине мая случилась беда: у мамы начались боли в желудке, и врач велел ей ложиться в больницу. Мама успокоила Толика, что это на недельку, на обследование, но он еле удержался от слез (а по правде говоря, не совсем удержался).

Мама отправилась в больницу, попросив Эльзу Георгиевну присматривать за Толиком, а на другой день примчалась из Среднекамска вызванная телеграммой Варя. Она Толика тоже успокоила, что с мамой ничего страшного, и принялась строго следить, чтобы он не бегал к Сотину и Назарьяну, а «готовился к сессии как следует». Они даже поссорились с Варей два раза...

Через неделю мама и правда вернулась — похудевшая, но здоровая. А Варя жила дома еще три дня. Они с мамой часто сидели рядышком и о чем-то шептались, как подружки. А когда Толик оказывался близко от них, разом говорили:

— Иди, готовься к экзаменам!

Среди этих дел и событий так и не собрался Толик навестить Арсения Викторовича. Если бы дом Курганова стоял по дороге в школу или просто поближе к Запольной улице, Толик бы, конечно, не раз забежал. А шага́ть специально на Ямскую... Ну, правда же не было времени!

Двадцать второго мая, в теплой от утюга рубашке с отглаженным сатиновым галстуком, в своем вельветовом костюме и начищенных ботинках, пошел Толик на первый в жизни выпускной экзамен — писать диктант. Он нес перед собой большущий букет черемухи. С той поры запах черемухи всегда стал казаться Толику праздничнo-тревожным, связанным со словом «экзамены»...

За диктант Толик получил четверку (в слове «каникулы» пропустил букву «а», обидно так!), за устный русский тоже поставили четыре: немного запутался в суффиксах. Зато по обеим арифметикам — письменной и устной — заработал четвероклассник Нечаев добросовестные пятерки.

Через день после экзаменов собрался бывший четвертый «А» на выпускной утренник. Попили чаю со сладкими булочками, попрощались с Верой Николаевной и даже загрустили на несколько минут, но потом повеселели снова и разбежались по домам.

И вот тогда-то наконец полностью Толик осознал, что пришли летние каникулы. И ощутил великое чувство освобождения.

Но скоро радость поулеглась, стала спокойной и даже скучноватой. Что делать со свалившейся на голову громадной свободой? Назарьян тут же укатил в лагерь, Юрка Сотин через несколько дней отправился в деревню Падерино к дедушке. Шумова мать не выпускала из дома, потому что он схватил переэкзаменовку по русскому. Другие одноклассники тоже бесследно растворились среди нахлынувшего лета. Да они уже и не были одноклассниками: в сентябре пойдут в разные школы — семилетки и десятилетки. В доме, где жил с прошлой осени Толик, приятелей-ровесников не водилось. На двух этажах четырехквартирного дома обитали несколько семей, но все бездетные (если не считать грудных и трехлетних младенцев). Неинтересные были соседи. Мама с ними перезнакомилась, а Толик не очень-то и старался.

В том квартале, где стоял этот дом, подходящих по возрасту мальчишек тоже не оказалось.

Несколько раз Толик бегал на Туринку и купался там с полузнакомыми ребятами в теплой желтоватой воде (мама, конечно, вздыхала, но отпускала). Но компания была так себе. В ней, чтобы казаться своим, надо было лихо дымить бычками и в каждую фразу вставлять слова, которые у Толика застревали в горле. И Толик «откололся»...

Он склеил газетного змея и запустил с крыши сарая, но тут подкатила стремительная трескучая гроза, Толик заторопился, нечаянно оборвал нитку, и змей канул в гуще тополей.

Грозы — это единственное, что отравляет человеку летнюю пору. Опасливое их ожидание, страх, что появятся в небе сизые зловещие облака, постоянно сидели на дне сознания у Толика. Такую неуходящую тревогу ощущали, наверно, в старину жители степных селений, которым всегда угрожали кочевые орды...

Но нынешний июнь оказался спокойным: кроме грозы, погубившей змея, была только еще одна, да и та слабенькая...

После змея Толик начал мастерить модель подводной лодки, но летние улицы с горячим солнечным теплом и буйными травами манили к себе, хотя, казалось бы, что́ там делать одному?

И Толик стал бродить без всякой цели.

Скоро он понял, что не такое уж это скучное занятие. Если никуда не торопишься, все разглядываешь как следует, получается множество открытий.

Раньше Толик проскакивал по улицам, почти не глядя по сторонам. А теперь увидел, что у каждого дома свое лицо. Потрескавшаяся от старости резьба наличников была затейливой и очень разной. Деревянные накладные узоры на воротах похожи были то на солнышко из сказок, то на украшения древних теремов. Кружевные дымники над крышами, маленькие жестяные шатры над водосточными трубами, башенки над столбами ворот казались волшебным городком, выросшим над зеленью палисадников, над лопухами, заборами и прогретыми досками тротуаров. В этом городке могли жить и домовые, и гномы, и крылатые человечки, которых на ходу придумал Толик (к вечеру человечки превращались в летучих мышей и, кувыркаясь, носились в теплых сумерках)...

Странно, что в прошлые годы Толик не замечал этой старины и сказочности. Может быть, мал был еще? Или нужны были именно такие вот медленные, беззаботные, полные тихого солнца дни, чтобы внимательней взглянуть на свой город?

Оказывается, Толик и не знал Новотуринска. (Это одно название, что «Ново...», а на самом деле древность.) Столько открылось незнакомых улиц и переулков даже совсем недалеко от дома! Но особенно хорошо было бро-

дить рядом с Ямской улицей, по старой слободке, которая называлась Затуринка.

Раньше в Затуринке жили ямщики, торговцы конной сбруей и лодочные мастера (говорят, в прежние времена Туринка была полноводнее, по ней сплавляли лес и даже ходил пароходик заводчика Крутиса). Здесь было много запутанных переулков со старыми березами и елями, с похожими на терема воротами, горбатыми мостиками через поросшие одуванчиками канавы и рублеными колодцами. Вдруг выглянет из-за выступа забора ступенчатое крыльцо с потемневшей от дождей и времени дверью, с ручкой старинного звонка, с кручеными железными столбиками и кованым узором навеса (а на ступеньках умывается худой черный котенок с хитрыми зелеными глазами). Или смотришь — из-за угла высовывается облупленный кирпичный бок полуразрушенной часовенки с поржавелой витой решеткой на черном окне...

Или вдруг откроется среди полуповаленных заборов тесный проход, и непонятно, куда приведет он: или в чертополохово-репейные заросли, где с голыми руками и ногами не продерешься, или на незнакомую какую-нибудь улочку.

Лишь бы не в тот квартал на Ямской, где живет Курганов.

Проходить рядом с домом Арсения Викторовича Толик опасался: вдруг они повстречаются? Скажет Арсений Викторович: «Что же ты столько времени не появлялся?» Стыд какой... Не объяснишь ведь, что и хотел бы зайти, да теперь неудобно. Хотя и жаль, конечно: были почти друзья и как-то непонятно раззнакомились... Ту последнюю встречу вспоминать неприятно, только все равно жаль...

Может, Арсений Викторович зайдет к маме по какому-нибудь делу? Как зимой. Тогда можно было бы завести разговор, объяснить, что вот, мол, не было времени... Может, попросить маму нарочно подстроить такую встречу? Но пока маме некогда — с утра до вечера на работе, потому что вторая машинистка в отпуске...

Утром Толик подпоясывал широким ремнем новые черные трусы, которые мама сшила из блестящего и твердого, как коленкор, сатина, цеплял к ремню фляжку, совал под майку плоский сверток с куском хлеба («сухой паек»), надевал на руку старенький компас (на всякий случай) и отправлялся в экспедицию — открывать не-

знакомые улицы. Как раньше моряки открывали острова.

На улицах (как и на островах) обитали, конечно, местные жители. Они то и дело встречались Толику даже в самых глухих, полных тишины и стрекота кузнечиков переулках. Обычно они без всякого интереса глядели на незнакомого белобрысого пацана в сшитых на вырост трусах, полинялой футболке, пыльной пилотке и старом командирском ремне. Но среди жителей имелись и мальчишки. А среди них могли встретиться такие, которые назывались неприятным словом «шпана». И поэтому в первые свои походы Толик брал на поводке Султана.

Однако с Султаном было не очень-то удобно: через забор не перелезешь, по кустам он пробираться не хочет. Надо ему то к столбику, то знакомиться со встречной моськой (которая от страха без памяти). И Толик стал ходить один. Во-первых, путешественник должен уметь рисковать. Во-вторых, нехороших встреч не случалось, и Толик осмелел...

Улицы слободки чаще всего приводили на берега Туринки или ее притока — ручья, который назывался Черная речка. (Потом Толик вырос, поездил по свету и убедился, что почти в каждой местности есть своя Черная речка.) А два переулка упирались в забор старого сада, который другим краем выходил на Ямскую. Однажды Толик рядом с этим забором, на краю высокого тротуара, присел, чтобы пожевать «сухой паек» и глотнуть из фляжки. Тут доски под ним часто затолкались, и он услышал твердый деревянный топот.

Прямо на Толика мчался взъерошенный курчавый мальчишка.

Галстук синей матроски отчаянно колотился у мальчишки на груди. Лямки коротеньких парусиновых штанов съехали с плеч. Тюбетейка пружинисто подскакивала на коричневых кудряшках. Толик хотел вскочить, но в трех шагах от него тюбетейка сорвалась с головы бегуна, и тот затормозил. Выхватил тюбетейку из лебеды, сжал в кулаке и глянул на Толика.

Большие мальчишкины глаза сидели широко от переносицы и были зеленовато-желтого цвета. В них мелькали и настоящий испуг, и веселье. Часто дыша, мальчик сказал:

— За мной гонятся. Не выдавай меня, ладно?

Он упал рядом с Толиком в жесткую траву «пастушья сумка» и пополз, извиваясь, под мостки тротуара. Толик растерянно следил, как исчезают под досками тонкие ноги в коричневых чулках и новых твердых ботинках.

Ботинки дернулись и пропали, и почти сразу опять разлетелся по улице частый топот. Это, разумеется, была погоня. Четверо мальчишек. Толик принял равнодушный вид.

Конечно, Толик не знал, игра тут или ссора всерьез и кто прав, а кто виноват. Но кое-какие жизненные правила за одиннадцать лет он усвоил крепко, и одно такое правило говорило: помогать следует тому, кто слабее. Впрочем, теперь помогать было не надо. Сиди и делай вид, что ты ни при чем.

Мальчишки остановились. Двое по бокам у Толика, один за спиной, а один встал прямо перед ним.

Толик быстро глянул назад, направо и налево. А потом опять на того, кто впереди. В нем Толик угадал главного. Нет, мальчишка не был похож на шпану. Стройный такой мальчик, немного выше и старше Толика. Аккуратная ковбойка, брюки, хотя и помятые, но со следами стрелок от утюга. Гладкие светлые волосы по-взрослому зачесаны назад. И лицо такое... Эльза Георгиевна сказала бы: «Удивительно интеллигентное». Однако обратился он к Толику довольно жестко:

— Эй ты! Здесь никто не пробегал?

— Что?

Мальчик со сдержанным нетерпением повторил:

— Тебя спрашивают: здесь никто не пробегал?

— Кто?

— Ты что, издеваешься? — сказал мальчик.

— Я не издеваюсь. Я не понимаю, что вам надо,— объяснил Толик с жалобной ноткой. Притворялся он лишь наполовину, потому что и в самом деле побаивался. Садняще заболел рубчик под коленом.

— Третий раз спрашиваю: ты никого здесь не видел?

— Никого,— сказал Толик и сразу понял, как он сглупил. Надо было сказать, что видел. Что курчавый мальчишка побежал вон туда, в переулок. Пусть мчатся по ложному следу.

Но было поздно.

— Врет,— подал голос тот, кто стоял сзади (Толик

быстро оглянулся). Это был рыхлый парнишка с лицом, похожим на круглую булку, в мешковатых штанах и босой.— Шурка нигде не мог пробежать, кроме как тута.

— Ясно, врет,— печально подтвердил тот, что слева,— мальчишка с тонкой шеей, толстым носом и оттопыренной нижней губой. За ремешком у него торчала красивая отполированная рогатка.

— Врешь,— спокойно сказал Толику главный.

— Не вру я... Чего вы все на одного?

— Ты встань, когда с командиром разговариваешь,— сказал четвертый мальчик. Мягко так сказал, будто посоветовал по-хорошему. Он и сам казался хорошим, самым добрым из всех. Был он, видимо, одногодок Толика. Славный такой, с каштановым чубчиком и длинными, как у девчонки, ресницами. Смотрел совсем не сердито. Но Толик, несмотря на это, огрызнулся:

— Какой командир? Может, он вам командир, а я-то при чем? — И... все-таки встал. Потому что понял: не встанешь сам — «помогут».— Что вам от меня надо? Я сидел, вас не трогал...

Командир терпеливо разъяснил:

— Нам надо узнать про мальчика в белых штанах и синей матроске. Куда он побежал или где спрятался?

— А! — Толик будто лишь сейчас сообразил.— Он вон туда пробежал!

Это получилось так ненатурально, что засмеялись все сразу. А командир кивнул:

— Ясно. Сообщник... Ну-ка, к стенке его...

Толика ухватили за локти, в секунду оттащили от тротуара и плотно придвинули к забору.

— Ну чего...— сказал Толик.

— Пленник, молчать! — перебил командир.— Будешь отвечать, когда спросят.

Толик понимал, что это пока игра. Но именно пока.

Но... не такой уж он трус! И не убьют же, в конце концов... И, глядя поверх голов, Толик с печальной гордостью признес:

— Не буду я отвечать.

— Будешь...— просопел круглолицый, стискивая Толькин локоть. А командир коротко спросил:

— Где беглец?

— Не знаю.

— Лучше скажи сразу,— посоветовал мальчик с девчоночьими ресницами. Он аккуратно придерживал Толика за плечо.

— Сейчас заговорит,— скучным голосом пообещал мальчишка с оттопыренной губой. Вынул из-за пояса, аккуратно размотал и зарядил чем-то рогатку. Далеко вытянул шею из воротника рыжего свитера и прицелился. Прямо Толику в лоб.

— Неужели в человека будешь стрелять? — спросил Толик не столько со страхом, сколько с удивлением. Рогатка щелкнула, доска над головой отозвалась резким стуком, на волосы посыпались мелкие крошки. Видимо, пулей служил сухой глиняный шарик.

Натти Бумпо из романа «Зверобой», когда ирокезы метали в него томагавки, не закрывал глаза. Но у Толика такой выдержки не было. Он зажмурился и со слезинкой проговорил:

— Дурак, выбьешь глаз — отвечать будешь.

— Он не выбьет,— негромко успокоил мальчик с ресницами.— Он снайпер.

— Витя, помолчи,— попросил командир. А над самой головой у Толика опять свистнул и рассыпался глиняный шарик. Толик дернулся и услышал слова командира:

— Мишка, хватит. Это храбрый пленник, он так просто не заговорит. Надо устроить другое испытание.

«Какое еще?» — тоскливо подумал Толик. Стрелок Мишка сматывал рогатку. У командира было задумчиво-деловитое лицо: наверно, он придумывал способ развязать пленнику язык.

«Может, рвануться и удрать? — суетливо думал Толик.— Не успею, догонят... может, зареветь? Тогда, наверно, отпустят. Нет, реветь еще рано... Эх, Султана бы сюда... Вот влип-то. А им сплошная радость: поймали «языка». Наверно, все-таки отлупят... Фляжку бы не отобрали... А если все-таки зареветь?»

В общем, совсем не героические прыгали мысли. Но одной не мелькнуло ни разу: сказать, где беглец, и тем спастись. Это было так невозможно, что бедный Толик даже и забыл про курчавого Шурку. И удивился, когда услышал тонкий голос:

— Подождите! Я здесь!

Показались из-под мостков блестящие ботинки и перемазанные сухой землей чулки. Беглец по-рачьи выбрался на траву, вскочил. Отряхнул штаны и матроску, посадил на пружинистые кудряшки тюбетейку и опустил руки по швам.

— Вот я. А его не трогайте. Олег, он нисколько не виноват!

— Та-ак, ясно,— сказал командир Олег и прошелся по измятому Шурке взглядом. От ботинок до тюбетейки.

— А я тоже не виноват,— поспешно сказал Шурка.— Я по правилам убегал. Рафик и Люся в одну сторону, я в другую...

— Убегал-то ты по правилам,— усмехнулся Олег и аккуратно поправил волосы.— А потом пошел на измену.

— Я?! — Шурка стиснул опущенные кулачки и побледнел так, что почернели его крупные веснушки: две на носу и одна на подбородке.

— Ты,— вздохнул Олег.— Потому что впутал постороннего в наши дела. Воспользовался помощью врага.

— Какой же я враг! — отчаянно проговорил Толик (его все еще прижимали к забору).— Я вам что плохого сделал?

— А почему не сказал, где он прячется? — пропыхтел круглолицый мальчишка и кивнул на Шурку.

— А ты бы сказал, если тебя просят: «Не выдавай»?

— Пленник прав,— решил командир Олег.— Он не обязан нам помогать, он ведь не наш союзник. И ведет он себя смело...

— Тогда я пойду? — обрадовался Толик.

— Не так скоро... Может быть, ты чей-то разведчик! Ты ведь не с нашей улицы. Может, еще где-нибудь такой же отряд, как у нас, есть, и вы решили наши тайны выведать...

— И может, Шурка их уже разболтал ему,— сказал Мишка.

— Я?! — Глаза у Шурки влажно заблестели.

— Ничего он не говорил,— заступился Толик.

— Я ни словечка! — клятвенно добавил Шурка.

— С тобой разберемся потом, ты никуда не денешься,— небрежно решил Олег.— А пленника придется допросить в штабе.

— Пошли! — обрадовался круглолицый и потянул Толика за локоть. Толик уперся:

— Куда еще? Чего пристали?

Витя ласково махнул ресницами и успокоил:

— Да не бойся, мы же играем.

— Ага, «играем»! Из рогатки...

— Мишка больше не будет,— успокоил Олег.— И вообще ничего плохого не будет, если станешь говорить правду.

— Ага! Я — правду, а вы опять скажете, что вру!

— Разберемся,— пообещал Олег.— Ну? Пойдешь или тащить?

— А куда?

— Недалеко, в этом квартале,— успокоил Витя.

— Пойду,— вздохнул Толик. Сопротивляться было глупо. К тому же кроме страха сидело в Толике любопытство: что за отряд, что за игра? И ребята были, кажется, ничего. Ну, Мишка и этот вот, сопящий, так себе, а Олег и Витя — совсем неплохие. Да и Шурка. Честный такой: вылез и заступился...

— Даешь слово, что не убежишь? — спросил Олег.

Это понравилось Толику. Он кивнул.

— Пускай ремень снимет,— потребовал Мишка.

— Зачем? — Толик вцепился в пряжку.

— Потому что с арестантов всегда ремни снимают.

— Не бойся, это ведь не насовсем,— объяснил Витя.

— Все равно не сниму. Это... отцовский.

Ремень был в доме у Нечаевых давным-давно, мама в прежние годы подпоясывала им телогрейку, когда ездила копать картошку или разгружать уголь, если посылали от редакции. Откуда ремень взялся, мама и Варя не помнили. Но Толику нравилось думать, что в давние, может еще довоенные, времена этот широкий кожаный пояс со звездной пряжкой носил отец.

И сейчас у Толика закипели в душе злые слезы, и он понял, что будет биться до конца. И даже страх пропал.

Но биться не пришлось. Олег серьезно спросил:

— А отец кто?

— Он политрук был. Он под Севастополем...

— Ладно, пошли,— сказал Олег.— Ремень не трогать.

Толика привели в длинный заросший двор на Уфимской улице. Во дворе стоял дом с верандой. В дальнем конце поднимался из репейников приземистый сарай. К боковой стене сарая был пристроен самодельный навес. Раму из жердей и палок накрывали старые половики, рваная плащ-палатка и куски толя. Боковым и задним краями эта крыша прилегала к забору и сараю, а свободным углом опиралась на кривой шест. Когда Толик задел шест плечом, весь балдахин качнулся и сверху что-то посыпалось.

— Поосторожнее,— сказал Олег.

На бревенчатой стене сарая висели под навесом разрисованные картонные щиты и деревянные мечи. На утоптанной траве стоял дощатый ящик с круглым клеймом «Коровье масло». Вокруг него — ящики поменьше и перевернутые ведра.

Толику велели остановиться под кромкой навеса.

Витя объяснил чуточку виновато:

— Посторонним вход в штаб запрещен.

Грузный круглолицый парнишка (его, как выяснилось, звали Семен) остался снаружи — то ли просто как часовой штаба, то ли конвоир пленника. Олег, Мишка и Витя сели вокруг «стола», а Шурка поодаль, в уголке. Он тихонько вздыхал. Олег вытащил из-под ящика тетрадку, ручку и непроливашку...

В эту минуту с забора ловко упали в заросли и оказались под навесом еще двое: высокая смуглая девчонка с короткими волосами и гибкий мальчик ростом с Толика. Им шумно обрадовались, но Олег сразу восстановил порядок:

— Тихо! Люська, садись и пиши.— Он уступил девочке место. Она ткнула пером в непроливашку.

— Чего писать?

— Пиши: «Пятнадцатое июня. В отряде была игра в часовых и разведчиков. Часовые были Олег Наклонов, Семен Кудымов, Витя Ярцев и Мишка Гельман. Разведчики были Люся Кудымова, Шурка Ревский и Рафик Габдурахманов...

Светловолосый, синеглазый Рафик весело сообщил:

— А вы нас не поймали!

— Не до того было... Люсь, пиши: «Разведчики разбежались, а часовые...»

— Подожди, я не успеваю...

Пока Олег диктовал, Толик разглядывал щиты. Они были из тонкого картона — видимо, не для боя, а так, для красоты. На каждом акварельными красками нарисована какая-нибудь картинка или знак. «Наверно, гербы, как у рыцарей,— догадался Толик.— У каждого свой».

Рафик глянул на Толика — будто выстрелил синими огоньками:

— Эт кто? Новичок?

— Это пленник...— сказал Олег.— Люська, пиши дальше: «Разведчик Ревский нарушил правила и впутал в наши дела постороннего, который, наверно, вражеский лазутчик...»

— Не впутывал я! — подал голос Шурка.

— Не лазутчик я,— сказал Толик.

— Пленник, тихо. Сейчас допросим, все скажешь... Люсь, пиши прямо здесь же: «Протокол допроса...»

— Щас... П-р... После «рэ» надо «о» или «а» писать?

— «О»,— сказал Толик и не удержался, хихикнул.

— Пленный, ну-ка без глупого смеха,— одернул Олег.— Встань смирно и отвечай: имя и фамилия?

Толик не то чтобы вытянулся в струнку, но встал попрямее и опустил руки. Почему-то была капелька удовольствия в том, чтобы подчиняться симпатичному и строгому Олегу.

Но что отвечать на вопросы? Все как есть?

— Имя и фамилия! — повторил Олег.

У игры свои правила. Раз Толик пленный, он должен и скрывать правду, и водить противника за нос.

— Липкин,— брякнул Толик.— Гришка. То есть Григорий.

— Школа и класс?

— Десятая. Четвертый «Б»... То есть уже пятый. Теперь в другую школу пойду...

Это было правдоподобно. Тем более что в их десятой школе, в четвертом «Б», и в самом деле учился Гришка Липкин.

— Так, хорошо,— кивнул Олег.— Место жительства?

Но Люся вдруг положила ручку.

— Олег! Он врет! Я с Липкиным, с Гришкой, из десятой школы, в лагере была! В прошлом году! Он маленький и черный!

— Ага, и я был,— сказал за спиной у Толика Семен.

Ох и вляпался Толик! Теперь не будет ему пощады.

— Я это... вырос уже,— пробормотал он, и все засмеялись.

Рафик обрадовался, будто приятеля встретил:

— Конечно, он разведчик! Он не с нашей улицы, и снаряжение у него разведчицкое! Фляжка и компас!

«Все...» — подумал Толик. И опять заболел и зачесался под коленом рубчик от полосного железа. Толик согнулся, чтобы почесать, и снова задел плечом шаткую подпорку навеса.

...Потом Толик вспоминал эти секунды с удовольствием. С гордостью за свою находчивость и быстроту! Как он собрал в пружину все свои небогатые силы,

повернулся, дернул за рубаху грузного Кудымова и отправил его на тех, кто сидел у ящика! И рванул в сторону шест!

Уже у калитки Толик на миг оглянулся. Тряпье рухнувшего навеса ходило ходуном, из-под него неслись гневные вопли...

ЭПИГРАФ

Выскочив со двора, Толик решил было, что он спасся. Но те ребята оказались не дураки — в калитку не кинулись, а махнули через забор, и Толик еле успел проскочить мимо Рафика и Мишки. Теперь шла погоня. Бежали за Толиком все, даже Шурка грохал ботинками, не отставая.

Если семеро гонятся за одним, тому ой как плохо. Среди нескольких все равно окажется кто-нибудь быстрее, чем беглец. И пойдет обходить с фланга, на перехват.

Сейчас таким перехватчиком оказался Мишка Гельман. Да и Олег от Мишки почти не отставал. Они выскочили на дорогу и отрезали Толику путь влево. Словно знали, что ему туда и надо: к дому, на свою Запольную!

Теперь ничего не оставалось, как мчаться вдоль забора, по недавнему Шуркиному пути. И деваться некуда, не залезешь ведь, как Шурка, под тротуар...

Толик чувствовал, что все равно поймают. Потому что ноги уже ослабели, сердце колотится не в груди, а где-то в горле и не дает дышать. Да еще ремень сползает и тяжелая фляжка с невыпитой водой молотит по бедру. А в сандалии набились колючие крошки...

Догонят... Может, лучше сдаться сразу, не мучиться? А что дальше? За обман да за развороченный штаб компания, конечно, разозлилась не на шутку, тут уж не игрой пахнет...

Олег и Мишка обогнали, встали на пути. Вот и все... Толик прижался лопатками к забору. Отбиваться руками и ногами или со спокойной гордостью покориться судьбе?

А до чего же обидно! Так лихо удрал, а теперь выходит — зря. Ох и будет ему сейчас!.. Толик вдавился в забор.

Что это?

Судьба изредка бывает милостива к беглецам. Широкая доска за спиной подалась внутрь. Ура!.. Толик развернулся, давануп плечом доску из последних сил и провалился в открывшуюся щель. Кувыркнулся в чертополохе, вскочил, подхватил пилотку. Повисшая на гвозде доска захлопнула в заборе лазейку — прямо перед весело-изумленными глазами Рафика.

Толик промчался через садовые джунгли, умоляя судьбу об одном: чтобы калитка, ведущая на Ямскую, не была заперта. И ему повезло опять — калитка распахнулась от удара ладонями.

Теперь можно было не так спешить. Пока вся погоня соберется вместе, пока они посоветуются, он уже ой-ей-ей где будет!.. Толик перешел на утомленную рысь. До родных мест еще далеко, надо беречь силы. Он уже миновал садовый забор и был на перекрестке. Он совсем успокоился, и...

Прямо на него выскочили Олег, Мишка и Витя!

Значит, они не побежали через сад, а кинулись в обход! Перехитрили...

Толик рванул назад. Ему вдруг стало страшно так, будто все по правде. Будто если попадется, то ему настоящий плен и расстрел!

Был теперь только один путь, одно спасенье. Еще немного... Вот...

Он грудью грянулся о калитку у знакомых ворот...

На крыльце Толик слегка отдышался, оглянулся. Те, кто догоняли его, заглядывали теперь во двор, но здесь была для них чужая территория, незнакомая и, может, опасная. Толик выдернул из-под ремня майку, вытер подолом лицо и постучал в дверь.

Курганов был дома — опять везенье! Он не удивился, увидев Толика. Просто обрадовался:

— Ох какой гость хороший! Молодец, что пришел, входи...

Был Курганов какой-то помолодевший, веселый. В очень белой рубашке с подвернутыми рукавами. Он взял Толика за плечи, ввел в комнату.

— Очень, очень я рад... А почему ты взмокший? Бежал, что ли? И вид у тебя такой... военно-полевой. Ты откуда?

— Я... так. Мы с ребятами в войну играли,— приврал Толик.— А потом я вот... решил зайти.

— Замечательно решил...— Курганов поспешно убрал со стола газеты, задвигал стулья.— Вот сейчас мы и чаек сразу сообразим. После жарких боев чаек полезен. А? Ты не спешишь?

— Да нет...— пробормотал Толик, представив, как топчутся у ворот преследователи.

— Прекрасно... А то мы так давно не виделись. Я... признаться, я думал: уже не обиделся ли ты? В последний раз я, кажется, был как-то не так... не очень гостеприимен... Да?

— Нет, что вы! Это я сам... Ну, сам такой лентяй, никак не собрался зайти. Да еще мама болела, да экзамены потом... Толик согнулся и стал чесать под коленом рубчик.

— А с мамой что? — встревожился Курганов.

— Сейчас уже все в порядке!

Комната Курганова тоже казалась веселой и (если можно так сказать про комнату) помолодевшей. Наверно, потому, что впервые Толик видел ее днем. Солнце рвалось в окна. Марлевая занавеска парусом надувалась у открытой форточки. Шелестела на краю стола открытая книга. Шкуры на полу не было, пахло вымытыми половицами.

Хронометр стоял на подоконнике. Желтые винты, ручки и кольца разбрасывали лучистые блики. Стучал хронометр все так же — словно ронял на стекло медные дробинки. И в дробинках этих, казалось, тоже вспыхивают солнечные звездочки...

Карта на стене, рисунок с Нептуном, некрашеные доски полок — все было светлым, все отражало радостные лучи. Лишь черный камин выглядел сумрачно, он был не нужен лету. Толик пожалел камин и приласкал его глазами: не грусти. Глаза прошлись по чугунным завиткам от пола до узорчатого карниза, скользнули выше... И оттуда, со стены, глянул на Толика Крузенштерн.

Тот самый Крузенштерн с его, Толькиного, портрета.

— Ой,— шепотом сказал Толик.— Значит, повесили портрет...

— А как же! Сразу и повесил, как ты ушел тогда.. Замечательный рисунок. И стихи прекрасные...

Толик застеснялся, подошел к камину, уперся ладо-

нями в холодный чугун. Из каминной пасти дохнуло по ногам неприятным холодком. Толик зябко переступил и, задрав подбородок, уставился на рисунок. Перечитал свои строчки.

Нет, стихи сейчас не казались ему хорошими. Так себе... И рисунок был не такой уж удачный. И Крузенштерн смотрел с него не в синюю даль океана, а прямо на Толика. Укоризненно смотрел: «Что же ты не приходил столько времени?»

Чтобы оправдаться перед Крузенштерном и Курганов ым, а заодно и перед собой немножко, Толик сказал:

— Я заходил в весенние каникулы, а у вас закрыто было... А потом я подумал: приду, а вы, наверно, работаете...

— Сейчас не работаю, отпуск...

— Да я не про эту работу. Я думал, что книгу пишете,— вздохнул Толик.

Арсений Викторович подошел к Толику со спины, положил ему на плечи свои ручищи.

— Видишь ли, с книгой я тоже... кажется, все.

Толик крутнулся у него под ладонями.

— Кончили? Правда?

Голубые глазки Курганова смущенно радовались. Он потрогал рубец у краешка рта, словно хотел придержать неловкую улыбку.

— Видишь ли... самому не верится. Столько лет. А теперь страшно даже... Но делать нечего — кончил.

— А когда напечатают?

— Ну... что ты, дорогой мой. До этого еще... Я и не показывал никому пока. Главное, что дописал... Пойдем-ка за стол.

В углу на табурете уже булькал новый электрочайник. Толик запоздало сдернул пилотку, снял ремень с фляжкой, положил на подоконник рядом с хронометром. Незаметно подмигнул хронометру. Придвинулся с табуреткой к столу.

— Вприкуску будешь?

— Ага... спасибо, вприкуску... Арсений Викторович, а чем кончается повесть?

— Ну, как тебе сказать... Кончается тем же днем, что и начинается. Крузенштерн уже в годах. Размышляет... Может, это и не очень интересно, не приключения, но, как бы это сказать... необходимо для смыслового завершения...

— Почему не интересно? Там все интересно!

— Да? Тогда... может быть, прочитать последнюю главку, а? Ты пей, а я прочитаю... если хочешь, разумеется. А?

— Ну, конечно же! — Толик зажал в зубах алмазно-твердый осколок рафинада, поставил на край стола локти, взял в ладони теплую кружку и прижался к ней щекой.

Арсений Викторович, оглядываясь, вытянул с полки папку.

...Читал Курганов минут десять. Толик слушал с ощущением, словно ничего не кончалось. Словно лишь вчера они сидели у горящего камина, а потом неожиданно наступило летнее утро и за ним очень быстро — день. А повесть будто и не прерывалась...

— Ну вот так, значит...— Курганов закрыл папку и глянул на Толика нерешительно и выжидательно.

— Хорошо,— сказал Толик, застеснявшись этого взгляда.— Правда, Арсений Викторович, хорошо. Немного печально, но наверно, так и надо, да?

— По-моему, да. Значит, ты это почувствовал?

— Ага... Эпилоги всегда немного грустные,— со знанием дела заметил Толик.— Это ведь эпилог?

— Видишь ли... это не совсем эпилог. Он будет дальше, отдельно. А это просто конец последней главы.

— А-а...— Толик почувствовал, будто его слегка обманули. Вернее, он сам сглупил. Арсений Викторович поспешно сказал:

— Впрочем, наверно, ты прав, это эпилог. А дальше — как бы отдельный еще рассказ, окончательное послесловие.

— А там про что? Можно почитать?

Курганов улыбнулся:

— Можно. Только это ведь самый конец. Может, уж лучше все по порядку, а? Своими глазами. Если, конечно, интересно...

— Ой, правда? — Толик даже чай расплескал.— А вы дадите? Все, что написали?

— Я вот что подумал... Может быть, твоя мама согласится перепечатать рукопись? Почерк у меня разборчивый... Мама бы перепечатала, а ты бы прочитал

заодно. По печатному-то легче. И впечатление более правильное... А?

— Ну конечно!— Толик вскочил.— Она согласится!

— Вот и хорошо. Ты спроси, а я...

— Да чего спрашивать! — Толик испугался, что Арсений Викторович передумает.— Я и так знаю! Мама недавно говорила, что хорошо бы дополнительную работу найти, а то денег совсем нет... Ой... Нет, она вам, наверное, и бесплатно...

— Ну-ну, это уж ты не туда поехал,— засмеялся Арсений Викторович.— Ни к чему такое дело. Главное — чтобы не очень долго. Хочется до осени показать свое творение знающим людям, а в издательстве не возьмут, если не на машинке...

— Я прямо сейчас могу отнести,— нетерпеливо сказал Толик.

— Да? А...— Курганов нерешительно замолчал.

— Думаете, я потеряю? Вы не бойтесь, ничего не случится!

— Я не боюсь. В крайнем случае у меня черновики есть...

Курганов посмотрел вдруг серьезно и ласково, сказал тихо:

— Ничего плохого не случится. Ты мне всегда приносишь удачу...

Толик зачесал ногой ногу и засопел. Но Курганов и сам смутился:

— Да, тут еще такое дело... Там сразу на первом листе... Ты знаешь, что такое эпиграф?

— Это... ну, такие строчки в начале книжки, да? Из какого-нибудь другого рассказа или стихов...

— Вот-вот... Ну, и так уж получилось у меня... Видишь ли, ты мой первый читатель. И стихи у тебя очень подходящие. В общем, я, как говорится, взял на себя смелость... сделал их эпиграфом к повести. Если ты не возражаешь.

— Ой...— У Толика щекам стало горячо от радости и благодарности.— Но ведь это еще не такие... не настоящие стихи.

— Как тебе сказать... Они хорошие. Для моей повести — очень хорошие. Самые подходящие. Я так и подписал: «Четвероклассник Толик Нечаев, первый читатель этой повести». Можно?

— Конечно... Только я ведь уже в пятый перешел.

— Это неважно. Когда писал стихи — был четвероклассник. Будешь потом расти, а в стихах останется твое детство... А?

— Ладно,— прошептал Толик.— Но я боюсь немного...

— Чего?

— Вдруг мама не разрешит. Скажет: куда тебе в настоящую книжку... Скажет: не заслужил еще.

Курганов медленно проговорил:

— Во-первых, ты очень заслужил...

Толик нерешительно поднял глаза:

— Чем?

Курганов будто не услышал. Сказал:

— А во-вторых, маму мы уговорим.

Толик совсем не боялся засады. Ему казалось, что он пробыл у Курганова чуть ли не полдня. Кто же станет караулить его столько времени?..

Попался он, когда миновал сад и перекресток.

Мишка, Рафик и Люська прыгнули из-за пустого киоска. Семен выбрался из рассохшейся бочки, что валялась у изгороди (бочка при этом развалилась). Олег и Витя подскочили сзади.

Обступили плотно.

Толик притиснул к животу тяжелую папку.

— Ребята, вы что! Я сейчас не играю!

— Мы тоже не играем,— разъяснил Олег.— Мы в самом деле берем тебя в плен.

— Но я сейчас не могу! У меня важное дело!

— Ай-яй-яй,— медовым голосом сказала длинноногая Люська, и глаза ее были безжалостны.— А нам-то что? Тащите его, робингуды.

Семен влажными ладонями ухватил Толика за локти.

— Но я же правда не могу! Мне домой надо! Вот видите — папка? В ней важные документы, у меня мама машинистка!

— Вот и посмотрим, что это за документы! — обрадовался Рафик. Синие глаза его засияли лучистым любопытством.

— Там, наверно, тайные планы против нас,— выдохнул Семен.

Они не понимали! Им нужны были тайны, охота за

шпионами, чтобы жизнь была интересной! А ему как быть? Если отберут или растреплют рукопись, растеряют листы, что он скажет Арсению Викторовичу?

«Ты мне всегда приносишь удачу...» Принес удачу!

— Вы какие-то совсем глупые,— с тихим отчаянием проговорил Толик.— Сейчас ну нисколько не до игры. Если с папкой что-то случится, знаете что будет? И мне, и вам...

— Ох как страшно,— хихикнула Люська.

Но Олег сказал:

— Нам твоя папка не нужна, если в ней ничего про нас нет. Ты сам нам нужен.

— Да зачем?!

— Как зачем? Протокол-то еще не дописан,— вредным голосом напомнила Люська.

— Мы так и не выяснили, кто ты такой,— махнув ресницами, разъяснил Витя.

— Ну, Толька я! Нечаев Анатолий! На Запольной живу!

— А зачем говорил, что Липкин? — сказал Семен.— Липкина-то мы знаем.

— Я думал, что игра такая: раз попался в плен, надо обхитрить... А теперь же не игра!

— А зачем по нашим улицам ходил, если ты с Запольной? — вмешался Рафик.— И все высматривал.

— Да не высматривал я! Просто гулял!

— Подозрительно это,— решил Олег.— Надо все выяснить до конца и записать. Пойдешь добровольно?

Толик решился на крайний шаг:

— Знаете что? Я папку отнесу и приду! Сам приду, честное слово! Честное пионерское! Вот, за звезду держусь! — Он вырвал у Семена локоть и взялся за звездочку на пилотке. И подумал: будь что будет, лишь бы с рукописью не случилось беды.

Но Олег сказал:

— Не выйдет. Ты уже давал слово и нарушил. Сказал, что не убежишь, а сам драпанул.

— Да еще штаб развалил! — весело добавил Рафик.

Толик искренне возмутился. Так, что даже бояться забыл:

— Вы что врете! Я слово дал, что не убегу, пока вы меня по улице ведете! А больше никакого слова не было!

— Выкрутился,— сказал Олег.— А сейчас опять слово дашь и снова потом причину выдумаешь уважительную.

— Как наш Шурка! — вспомнил Мишка.— Сперва пообещает, а потом: «Мама не пустила. Разве можно не слушаться маму?»

«Шурка-то ваш лучше вас всех»,— подумал Толик, вспомнив честные глаза курчавого мальчишки. И сказал насупленно:

— Он тоже ни в чем не виноват. А вы все на него...

— Виноват или нет, мы сами разберемся, без посторонних,— сказала Люся.

— Конечно,— подтвердил Олег.— Хотя... почему без посторонних? Вместе с ним и разберемся.— Он кивнул на Толика.— Пускай доказывает, что наш милый Шурочка ни в чем не виноват.

— Как? — удивился Толик.

— Он за тебя заступился, когда мы тебя поймали? Заступился. Вот теперь ты заступайся, раз он тебе так нравится.

Толик хотел спросить: откуда они взяли, что совсем незнакомый Шурка ему нравится? Но спросил вместо этого:

— Да как заступаться-то?

— Очень просто. Докажи, что ты не разведчик и он тебе ничего про нас не рассказывал.

— Опять вы одно и то же...— безнадежно проговорил Толик.— Как еще доказывать? Головой о забор, что ли, стукаться?

— Стукаться не надо,— спокойно растолковал Олег, а остальные внимательно слушали командира.— Приходи сегодня в штаб, когда мы с Шуркой будем разбираться. Там все и объяснишь подробно... И никакого слова от тебя не надо. Придешь — хорошо. Не придешь — значит, будет Шурка изменник, а ты трус.

— Во сколько приходить-то? — сердито спросил Толик.

КЛЯТВА ШУРКИ РЕВСКОГО

Выхода не было.

То, что Олег и вся компания могут посчитать его трусом, Толика не очень волновало. Хуже, что и сам

про себя он будет думать так же, если не выполнит обещания. А от себя не спрячешься.

А если пойдет, какие еще испытания устроит пленнику компания, которая называет себя «отряд» и «робингуды»?

Может, взять Султана? Но сразу скажут: испугался один-то идти...

А может, ничего страшного не будет? Вроде бы неплохие пацаны. Конечно, гонялись, в плен брали, допрашивали, но это потому, что он не из их компании.

В том-то и дело, что не из их...

Интересно бродить по незнакомым переулкам и делать открытия, но все один да один... Толик теперь чувствовал, как наскучался он за две недели каникул без друзей-приятелей.

Но откуда он взял, что отряд Олега захочет принять к себе мальчишку с дальней улицы? Пока они его чуть ли не шпионом считают. Допрос готовят... Ну и пусть!

Робость и гордость перепутались в Толькиных чувствах. И жутковато было, и любопытно. От всех переживаний рубчик под коленкой чесался почти беспрерывно. Толик с нетерпением ждал вечера. Олег сказал: «В восемь часов...»

В семь пришла мама.

Вопреки ожиданиям Толика, мама не высказала восторга, когда узнала о рукописи Курганова. Даже известие, что Арсений Викторович сделал стихи Толика эпиграфом, ее не тронуло. Мама сухо спросила, с каких пор Толик стал решать за нее вопросы насчет работы.

Толик упал духом:

— Я думал, ты захочешь. Ты же раньше всегда ему помогала... Он книжку написал, а ты...

— Я, конечно, напечатаю. Но не нравится мне твоя излишняя самостоятельность. Лучше бы ты тратил ее на домашние дела. Пол не метен, посуда не мыта, а я и так кручусь...

— Ма-а, я все сделаю!

— Сделаешь ты... За собой-то последить не можешь. Посмотри на себя: исцарапанный, перемазанный, на майке дыра...

— Ма-а, я зашью!

— Воображаю... И еще имей в виду: будешь мне раскладывать копирку. Сколько экземпляров просил Арсений Викторович?

— Д... три. А ты сегодня начнешь печатать?

— Может быть, мне бросить все дела? У меня в машбюро полно работы, сегодня приду после десяти...

Ну, что же, это было даже хорошо. Не придется объяснять, куда это он вечером «смазал пятки».

...И вот опять Уфимская улица и зеленый двор, где стоит большой дом с застекленной верандой.

Никто не встретил Толика, никто не окликнул, когда он шел через двор. Лишь воробьи шастали в рябинах... Вот и закуток между забором и сараем...

Штабной навес оказался построен заново. И вся компания была здесь. Кроме Шурки...

Невысокое уже солнце светило через забор, и тень от навеса лежала на траве. Толик молча встал на границе этой тени.

— А, пришел все-таки,— добродушно сказал Мишка-стрелок.— А мы думали...

— Ничего мы не думали! — жизнерадостно возразил Рафик.— Я говорил, что придет.

— Я тоже говорил,— серьезно подтвердил Витя.— Почему не прийти, если человек не боится?

До этой минуты ощущал Толик под сердцем замирание, а в желудке холодок. А сейчас отпустило.

— Я же обещал, что приду.

— Ну, ладно,— снисходительно отозвался Олег.— Ты все-таки давай расскажи, что за человек и откуда... Ты садись.

Толик присел на ящик.

— Ну... я с Запольной человек,— начал он и сам улыбнулся такому началу. И ребята улыбнулись. Люся спросила:

— Протокол-то писать?

— Не надо, пусть так рассказывает,— решил Олег.— Ты что в наших краях делал, если сам с Запольной?

И Толик рассказал, как делал для себя открытия.

— Ха! Какие тут открытия, каждый закоулок давно обшарен, все давным-давно знакомо,— сказал Семен.

— Это для вас знакомо... Вот когда Крузенштерн приплывал на дальние острова, их жителям тоже все было знакомо, а для него-то было неизведанное.

— Кто приплывал? — удивился Рафик.

— Крузенштерн,— сказал Олег.— Знаменитый русский мореплаватель.— И обратился к Толику: — А ты что про него знаешь?

— У меня книжка есть....— Про повесть Курганова Толик не сказал. Иначе получилось бы, что болтает о чужих делах.

Но ребята и без того вспомнили о кургановской папке:

— А что это за бумаги ты тогда тащил? — подозрительно спросил Мишка.

— Секретные документы? — подскочил Рафик.

— Да это работа мамина, для перепечатки... Ну, неужели вы по правде думаете, что это про ваш отряд сведения?

Конечно, никто так не думал, и все опять рассмеялись.

— И Шурку вашего я ни про что не расспрашивал,— добавил Толик.— Я и не знал про вас тогда...

— Это понятно,— покладисто сказал Олег. И строго прищурился: — Но с Шуркой мы все равно должны разобраться до конца. Хватит с ним возиться.

— А его опять нет! — вмешалась Люся.— Было ему сказано: к восьми, а он...

— Еще, наверно, нет восьми,— заметил Толик.— Я раньше, чем надо, пришел...

— А вон и Шурик,— сказал Витя.

Шурка вбежал под навес и сразу встал по стойке смирно — запыхавшийся и привычно виноватый.

— Явился красавчик,— усмехнулся Олег.

— Я не опоздал,— быстро сказал Шурка.

Олег усмехнулся снова:

— Раз в жизни... Завтра по такому случаю снег пойдет.— Он утомленно обвел глазами ребят: — Ну, вот что, робингуды. Пора с Шуркой решать окончательно. Возимся, возимся...

— Я же не выдавал никаких тайн...— полушепотом проговорил Шурка. Задергал на груди галстук матроски и тут же испуганно опустил руки.

— Он не выдавал,— подтвердил Толик и подумал: «Сейчас скажут, чтобы не совался...» Но Олег сказал другое:

— Не в тайнах дело. И не в сегодняшнем случае, а вообще... Ты, Шурик, нестойкий человек.

— Почему? Я стойкий...— совсем шепотом отозвался Шурка.

Все, кроме Толика, засмеялись. Но негромко и без веселья. Люся сказала:

— Твои грехи записывать, дак никакой тетрадки не хватит.

«А зачем их записывать?» — подумал Толик. И Шурка еле слышно спросил:

— А зачем записывать?

— Затем, что без этого их не сосчитать,— весело хмыкнул Рафик. А Семен посопел и угрюмо напомнил:

— Вчера, когда мы на Черной речке футбол гоняли, ты посреди игры домой смотался.

Шурка, не глядя на него, сказал:

— Сами же говорили, что от меня никакой пользы...

— Все равно команду в игре не бросают,— проговорил Витя и вздохнул, словно жалея Шурку.

— А если я маме обещал, что к шести часам домой приду...

— Ну и сидел бы с мамой на печке,— зевнув, заметил Мишка.

— А если я обещал, а потом не выполнил, тоже получится, что нестойкий...

— Если обещал, надо выполнять,— рассудил Олег.— Да только, прежде чем обещаешь, думать надо. Зачем было говорить, что придешь к шести?

— Иначе меня совсем бы не пустили...— Шурка нагнул голову так низко, что тюбетейка едва не сорвалась с пружинистых кудряшек. Он схватился за нее и опять встал прямо.

— «Не пустили бы»... Вот она, твоя стойкость,— печально подвел итог Олег.— Нет, ребята, по-моему, хватит. Однажды он так подведет, что всю жизнь беду не расхлебаем...

У Шурки шевельнулись губы:

— Не подведу я...

— Выгнать, да и фиг с ним,— скучно проговорил Мишка.

— А кто фотографировать будет? — напомнил Витя.

— Да он и с фотографированьем со своим всегда волынку тянет,— заметила Люся.

— Зато карточки хорошие,— возразил Витя.

Олег сказал:

— Карточки и правда хорошие, но это не причина, чтобы оставлять в отряде, если человек ненадежный... Ты, Шурка, может, для обыкновенной жизни еще кое-как годишься, но для робингудовской — никак... Я предлагаю Шурку Ревского из отряда «Красные робингуды» исключить.

Шурка вздрогнул так, что тюбетейка над кудряшками подскочила. Он замигал, спросил тоненько и удивленно:

— А я... тогда куда денусь?

Все смотрели мимо Шурки. Олег уже другим голосом проговорил:

— Вот и я думаю: куда ты денешься?

Витя помахал ресницами и нерешительно предложил:

— Может быть, еще одно последнее предупреждение?

Мишка Гельман коротко засмеялся и сплюнул.

— Сколько их было, последних-то,— сказал Олег.— Тут надо другое... Если уж оставлять, пускай даст страшную клятву.

Шурка с готовностью предложил:

— Я могу кровью подписать.

Мишка опять засмеялся. Семен обстоятельно разъяснил:

— Нельзя. Будешь палец колоть — в штаны напустишь.

— Семен! — строго сказала Люся.

— Нет, надо другую клятву,— решил Олег.— Если уж оставлять его, пускай пройдет испытание огнем и водой. И если такую клятву нарушит, не будет ему прощенья... Шурка, ты согласен?

Шурка быстро закивал и наконец уронил тюбетейку.

Семен притащил от колонки ведро с водой. Мишка на лужайке перед навесом развел маленький костер из щепок и газет. Витя и Люся прикатили от поленницы два бревнышка и на них положили концами длинную доску. Получился гибкий мостик. С одной стороны, в метре от мостика, потрескивало пламя, с другой стояло ведро. От забора к навесу протянули ве-

ревку. Через нее перекинули шпагат и подвесили на нем кирпич. Другой конец шпагата привязали внизу к доске...

Все делалось слаженно, и Толику ясно стало, что эта операция придумана заранее. Для Шуркиного перевоспитания. Толик совсем убедился в этом, когда Олег достал из кармана листок:

— Вот тут клятва написана...

Один Шурка ни о чем не догадывался. Покорный и счастливый, что все-таки не исключили, он молча следил за приготовлениями, которые Толику казались жутковатыми.

Толик испытывал замирание, словно у него на глазах готовилась казнь. Но возмущаться и вмешиваться ему в голову не приходило. В этом дворе действовали свои законы. В непреклонности робингудов было что-то привлекательное. Толик чувствовал, что если и его заставят пройти испытание огнем и водой, он не сможет протестовать. Подчинится с ощущением сладковатой покорности, под которой шевелится теплый червячок любопытства...

Из дома принесли темную косынку, завязали Шурке глаза. Поставили его на середине тонкой доски — доска пружинисто прогнулась и задрожала под легоньким Шуркой. Кирпич висел прямо над его головой, почти касался тюбетейки.

Мишка подбросил в костер щепок, пламя взметнулось. Видно, Шурке припекло ноги, он быстро затоптался, доска закачалась. Привязанный к ней шпагат задергал кирпич — тот слегка тюкнул Шурку по макушке. Все засмеялись, но Олег строго сказал:

— Тихо!.. Будешь приплясывать и дрожать от страха — получишь камнем по башке. Или свалишься — не в огонь, так в воду. Стой смирно и повторяй слова клятвы. Если дрогнешь — значит, у тебя в характере нечестность. И клятва будет недействительна.

Шурка прижал к бокам согнутые локти, вцепился в лямки штанов и замер, как парашютист перед прыжком.

Все встали в шеренгу (лишь Толик чуть в стороне). Олег раздельно заговорил:

— Клятва... «Я, Александр Ревский»... Повторяй!

Шурка сипловато и торопливо повторил. И повторял дальше:

— «Клянусь огнем, водой и небесными камнями... что никогда не подведу отряд «Красные робингуды»... Не выдам тайны, не испугаюсь опасности, не нарушу обещания... А если изменю этой клятве, пускай меня сожжет огонь... поглотит вода... раздавит камнепад...»

Шурка повторил последние слова и нерешительно спросил:

— Все?

— Все,— слегка разочарованно сказал Олег. Он мигнул Мишке, и тот с размаху вылил в костер воду.

Взлетел шипящий столб пара и пепла — будто джинн вырвался из кувшина. Шурка вздрогнул, кирпич опять клюнул его углом в тюбетейку. Шурка присел, но с доски не соскочил.

— Ладно,— вздохнул Олег.— Кажется, выдержал...

Косынку сняли. Шурка счастливо размазывал по щекам попавшие на лицо брызги и чешуйки пепла.

Олег посмотрел на Толика, словно говорил: «Вот такая у нас жизнь». И спросил:

— Ну, что? Хочешь в наш отряд?

Толик торопливо кивнул.

Семен сказал недовольно:

— Пускай тогда такую же клятву даст.

— Ему-то зачем? — добродушно отозвался Олег.— Видно ведь и так, что человек надежный.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

С этого дня время полетело неудержимо и весело.

Утром Толик спешил в отряд «Красные робингуды».

Отряд назывался так не оттого, что в нем занимались стрельбой из луков.

— Просто потому, что мы за справедливость,— объяснил Олег.— Робин Гуд всегда за справедливость сражался. А почему «красные», и так ясно. Не разбойники же мы, а пионеры.

Название придумал Олег. Он почти все придумывал сам, потому что был командир. Толику он казался похожим на Тимура. Только Тимур — это все-таки из книжки и кино, а Олег — вот он, рядышком. И может, не такой уж он героический и безупречный, но дела

затевал всегда увлекательные и командовал справедливо.

Дисциплина у «Красных робингудов» была твердая и одинаковая для всех. Подчиняться ей было интересно. И Толик без обиды отсидел на «гауптвахте» час ареста за то, что однажды опоздал в штаб к назначенному сроку. Гауптвахта помещалась недалеко от штаба, у забора. Это была очищенная от лопухов и огороженная колышками с бечевкой площадка. Крошечная. Посреди нее стоял чурбак для арестанта. Справедливый Олег сам один раз сел на него за вспыльчивость: не сдержавшись, он хлопнул по шее бестолкового Шурку, когда тот два раза подряд закинул в чужой двор мячик.

Треснув расстроенного Шурку, Олег вздохнул, сказал ему «извини» и объявил, что садится на полчаса.

Арестованные не очень скучали: им разрешалось разговаривать с остальными робингудами. Но это если простой арест. А если строгий, приходилось молчать и стоять у забора «пятки вместе, носки врозь, руки по швам». Но строгий арест случился только один раз, да и то для Шурки. Шурка обещал сделать снимки для отрядного дневника, но вовремя не напечатал, потому что, балда такая, разлил дома проявитель на бархатное покрывало, которым вздумал зашторивать окно. Конечно, ему влетело от матери, какие уж тут фотографии...

Толику было жаль Шурку, но Олег сказал, что робингуд Ревский виноват сам: нельзя всю жизнь быть растяпой.

Шурка на командира не обиделся. Он считал Олега самым справедливым человеком. Потому что Олег научил Шурку ездить на велосипеде, стрелять из рогатки, сдерживать слезы при ушибах и ссадинах и не очень бояться драки с одинаковым по силе противником. А перед теми, кто сильнее — в школе и на улице,— Олег за Шурку заступался и взамен не требовал никаких услуг. «Только чтобы ты не был такой размазней».

Но Шурка все-таки оставался размазней, хотя и симпатичной. На всех он смотрел своими ясными зеленовато-желтыми глазами честно и бесхитростно. Со всеми был откровенным. Его спросят: «Шурка,



зачем ты таскаешь летом тяжеленные ботинки?» А он: «Мама босиком не разрешает, а от сандалий, она говорит, развивается плоскостопие. А ботинки приучают к дисциплине, потому что их надо чистить и аккуратно шнуровать». Или еще: «Шурка, спорим, что испугаешься пойти по жерди от забора до крыши». А он: «Нет, я пойду, если надо, но я обязательно свалюсь, я еще не выработал иммунитет против боязни высоты». Вот такие фразы он иногда произносил. Видимо, научился у папы. Шуркин папа был адвокат Чтобы защищать в суде преступников, надо уметь говорить умные и хитрые речи.

Толик один раз спросил у мамы: зачем адвокаты защищают преступников, если те все равно виноваты? Мама сказала, что не все, кого судят, преступники — случается, что человека обвинили напрасно. А бывает, что вина есть, но не такая большая, как сперва кажется. Вот адвокат и помогает разобраться.

Толику иногда казалось, что Шуркина вина во всяких происшествиях не такая большая, как говорит Олег. Но стать Шуркиным адвокатом Толик не решался. Во-первых, Олегу виднее, они с Шуркой по соседству с младенчества живут. Во-вторых, в отряде «Красные робингуды» слова командира не обсуждались. Не принято было. Вся компания Олега слушалась, потому что уважала.

Компания была все та же, с которой Толик познакомился в первый день. Кроме Олега и Шурки — Мишка Гельман, Рафик Габдурахманов, Витя Ярцев да Люся и Семен Кудымовы.

Семена все звали полным именем, вид у него был солидный, но характер такой: что скажешь, то и сделает, а сам не догадается. Люся гораздо живее брата была и любила повредничать.

У Рафика было полное имя Рафаэль. Не татарское, а скорее итальянское. Но он был «чистокровный» татарин, он сам так сказал однажды, когда объяснял, почему светловолосый и с синими глазами.

— Мои родители не из здешних татар, они до войны сюда из Казани приехали, а там много таких светлых...

Родителей Рафика Толик несколько раз видел. Они были пожилые, морщинистые, всегда ходили вместе и ласково здоровались с ребятами. Неважно гово-

рили по-русски. А у Рафика лишь иногда проскакивал татарский акцент — при сильном волнении.

Жили Габдурахмановы в приземистом домишке на той же Уфимской улице. Толик однажды зашел к Рафику и буквально глаза вытаращил: всюду на стенах были разноцветные рисунки. Многобашенные дворцы и терема, гномы в пестрых колпаках, всадники в старинных одеждах и диковинные звери.

— Сам рисовал?

Рафик кивнул смущенно, без привычного озорства.

— Наверно, тебя не зря Рафаэлем назвали,— сказал Толик, водя глазами по картинкам.— Был такой знаменитый художник.

— Знаю... Я читал. Только меня не из-за этого, а просто так...

Рафик много читал. И в школе был почти отличником, это Витя Ярцев сказал, он учился с Рафиком в одном классе.

А сам Витя был «окончательный троечник», хотя по виду очень напоминал отличника: вежливый такой и аккуратный. «Ему силы воли не хватает,— сказал как-то Олег.— А так он хороший человек, только чересчур добрый...»

Зато у Мишки Гельмана воля была что надо. Он даже и Олегу-то не слишком подчинялся. Не то чтобы спорил, а просто пожмет плечами, оттопырит губу и делает по-своему. Не всегда, конечно, а если в чем-то крепко не согласен. Впрочем, с Олегом они не ссорились. Потом уже Толик почувствовал, что Олег словно побаивается скучновато-независимого Мишки и поэтому не командует им, как остальными...

В общем, непохожие друг на друга были люди робингуды, но компания составилась дружная. И Толик недолго чувствовал себя новичком.

Дела у робингудов каждый день случались разные. Но всегда интересные. Например, собрали коллекцию минералов и устроили в штабе выставку. Гор и месторождений поблизости не было, но в пяти кварталах от Уфимской, на окраине Новотуринска прокладывали рельсовую ветку и навезли туда кучи камней и щебенки. Лазишь по этим грудам — и будто ты среди настоящих скал и осыпей. Можно набрать осколков разного гранита с искорками слюды, кварца, похожего на мутный хрусталь, разноцветных полевых

шпатов, серых камушков с вкраплениями медного колчедана. И еще всяких пород, названий которых не знаешь (Олег потом определит)...

Были, конечно, и всякие игры: в лапту, в штандер, в разведчиков, в «попá-гоняла».

Один раз отряд организовал настоящую тимуровскую работу. Соседской старушке привезли дрова, и «Красные робингуды» лихо перетаскали их во двор и сложили в сарае. Потому что Олег решил: «Хватит прыгать и бездельничать, надо людям показать, что от нас и польза есть». Правда, тайного дела, как у Тимура, не получилось, бабка находилась тут же и руководила укладкой, а потом одарила работников карамельками. Но Олег сказал:

— Главное не тайна, а результат... Пошли купаться!

Купались на Военке. Так называлось место на Черной речке. В недавние годы войны неподалеку стоял учебный полк, и бойцы построили на речке плотину, получился пруд. На плоской травянистой площадке у берега полк иногда разворачивал громадные бревенчатые палатки для летней бани. От тех времен и осталось у пруда название. Сейчас в нем купались мальчишки с окрестных улиц. На береговой площадке хорошо было гонять мячик. Иногда, правда, мяч (особенно если бил по нему Шурка) летел в воду или в теток, полоскавших на мостках белье. Тетки громко, но не очень сердито кричали на ребят и с рахмаху лупили по воде мокрыми рубахами и полотенцами...

В бесконечно длинном солнечном июле случались и дождливые дни. Тогда робингуды собирались на пустой застекленной веранде Олегова дома. Играли в лото, в домино, а то и в подкидного. Или рассказывали всякие истории. А бывало такое настроение, что пели под шорох дождя песни: «Прощай, любимый город», «В атаку стальными рядами», «Варяга» и печальную песню о пограничнике, который погиб, когда один отбивался от врагов... Собственно говоря, пел один Витька, а остальные просто подтягивали. Голос у Витьки был такой чистый и звонкий, что иногда просто в глазах щипало. Особенно если запоет: «Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить...»

Иногда приходила молчаливая Олегова мама в длинном халате. Улыбалась ребятам, ставила на

табурет чайник, блюдце с сахаром и тарелку с сушками или бутербродами.

В середине дня подкатывала к воротам забрызганная голубая «эмка» — это приезжал на обед старший Наклонов. Он был начальником какого-то треста.

У всех, кроме Мишки Гельмана, были отцы. Толика это удивляло. В классе, где учился Толик, больше чем у половины ребят отцы не вернулись с войны. А здесь, у робингудов, только и слышишь: «отец велел», «папа обещал купить», «это папин фонарик был, он мне его насовсем отдал»... Толик не завидовал. Радоваться надо, что робингудам так в жизни повезло. Но иногда скреб его по душе горький коготок.

Война есть война, от отца осталась только довоенная фотография да воспоминания о скрипучей портупее и шероховатой гимнастерке со звездочкой на рукаве. Но, может быть... может быть, мама и Дмитрий Иванович наконец по-настоящему полюбят друг друга и решат пожениться? Раньше Толика царапала мысль: а не будет ли это изменой отцу? Потом он решил, что не будет. Измена — это если бросают живого. Вот как, например, на той квартире, где они с мамой жили раньше. К соседке тете Клаве вернулся из госпиталя одноногий муж, а она ему: «Куда ты мне такой? У меня другой есть, с руками-ногами...» Если бы отец вернулся хоть какой, хоть совсем искалеченный, для Толика, для мамы, для Вари было бы такое счастье... Но что теперь делать, раз его нет? А Дмитрий Иванович хороший человек. Если бы они с отцом воевали в одном полку, то могли бы стать боевыми друзьями...

Или если бы мама познакомилась получше с Арсением Викторовичем... Но нет, он старый, мама за него не пойдет...

Несколько раз Толик забегал к Арсению Викторовичу. Тот радовался, угощал чаем. Однажды Толик пришел, когда Курганов регулировал хронометр. Отверточкой поворачивал медные цилиндрики на балансире. Он доверил Толику подержать в ладонях тикающий механизм. Сердце хронометра стучало доверчиво и ласково, даже с каким-то мурлыканьем. С такой доверчивостью сидит на руках у знакомого человека соскучившийся котенок.

Толик улыбнулся про себя и не стал пока рассказывать, как сам ставил точное время и запускал хронометр. Нет, он не боялся, что Курганов рассердится или обидится. Просто хронометр и Толик словно договорились сейчас: пусть у них двоих будет своя тайна...

Курганов спросил:

— Ну, а как там... мое творение? Печатается?

— Конечно! Уже больше половины готово!

Мама теперь была в отпуске, поэтому печатала рукопись Курганова каждый день. Утром, прежде чем умчаться к робингудам, Толик прокладывал копиркой чистые листы. Три листа, а между ними две копирки — и так двадцать раз. И, возвращаясь вечером домой — набегавшийся, накупавшийся, обжаренный июльским солнцем, с гудящими ногами и привычно ноющими царапинами, Толик знал, что его сегодня ждет еще одна радость: двадцать новых страниц с рассказом о плавании «Надежды». И, бухнувшись в постель, он читал о приключениях на Нукагиве, о гневных стычках Крузенштерна и Резанова, о страшном тайфуне у берегов Японии, когда матрос Курганов спас двух товарищей, о неудачных переговорах Резанова с японскими чиновниками, о встрече моряков с жителями Сахалина...

Мама печатала иногда и по вечерам. Ей тоже нравилась повесть Курганова, и она говорила, что работает с удовольствием.

Машинка у мамы была старая. Даже старинная. Называлась «Ундервудъ». Мама купила ее перед войной в комиссионном магазине. На машинке были клавиши с буквами, каких теперь и не встретишь. Например, «и» в виде палочки с точкой и «ять», которая похожа на твердый знак, но читается как «е».

От старости звук у клавиш сделался дребезжащий. Когда мама торопилась, машинка словно захлебывалась, и в звонком стрекоте пробивалось какое-то бульканье. Этот голос машинки был знаком Толику с младенчества. Она казалась ему живой. Ну, скажем, такой же, как Султан. Или... как хронометр.

Конечно, Толик любил машинку. И умел печатать на ней, хотя гораздо медленнее, чем мама, и с ошибками.

А один раз Толик даже отремонтировал машинку. Снизу к ней была привинчена плоская деревянная

подставка (наверно, чтобы механизм не рассыпался от древности), и вот случилось, что один винт выкрутился и потерялся. Толик нашел в своих запасах новый болтик и туго ввинтил его в гнездо.

При этом он заметил интересную вещь: подставка, оказывается, не из сплошной доски, а из двух тонких, как фанера, досочек с прокладками из реек по краям. С края подставка рассохлась, Толик подковырнул ногтем и вытянул боковую рейку. Открылась темная щель: подставка была пустая. Можно засунуть, например, тетрадку или тонкую пачку бумаги. Тайник!

Толик сперва хотел сказать про тайник маме, а потом раздумал. Решил, что спрячет туда запас копирки. Однажды копирка у мамы кончится (такое порой случалось), тогда Толик откроет свою тайну. Мама удивится и обрадуется.

Но в эти июльские дни копирки хватало. И случилось так, что удивилась мама по другому поводу. И не обрадовалась, а устроила Толику нахлобучку.

Он прибежал в середине дня, чтобы перекусить. С ходу чмокнул маму в щеку и спросил, нет ли молока, потому что пить и есть хочется одинаково. И наткнулся на нехорошее молчание.

— Ну чего? — сказал он.— Я же все сделал, что ты велела. Копирку разложил, воды принес два ведра. Эльзе Георгиевне за хлебом сбегал...

Глядя поверх Толика, мама проговорила:

— Иду я сегодня с рынка и встречаю Арсения Викторовича. «Здрасте».— «Здрасте».— «Как дела?» — «Прекрасно, скоро закончу печатать...» — «Ах, как замечательно! Пусть тогда Толик первый экземпляр сразу принесет, а второй — когда прочитает...» — «Хорошо. А тре..?» — И тут я прикусила язык. Анатолий, сколько экземпляров просил сделать Арсений Викторович?

Толик немытой пяткой зачесал рубчик под коленом.

— Ну... это...

— То есть третий экземпляр ты решил «заказать» для себя?

— А чего такого...— пробормотал Толик, заполыхав ушами.— Жалко, что ли?

— Объяснять еще надо, «чего такого»? Во-первых, ты мне бессовестно наврал! Во-вторых, я столько лишней бумаги перевела! А в-третьих, ты без разрешения автора хотел присвоить экземпляр произведения!

— Я же не без разрешения! — отчаянно сказал Толик.— Я бы потом спросил! А если нельзя, отдал бы ему все три!

— Это ты сейчас так говоришь.

— Нет! Честное робингудовское!

— Это что еще за новая клятва?

— Ну... это наша, у ребят. Ну, честное пионерское!

— Спрашивать надо было раньше, а не после времени.

— Я думал, что можно и потом...

— Он «думал»,— уже не так строго проговорила мама.— Я вот тоже думаю: всыпать тебе, как я давно собираюсь, или засадить на неделю дома, чтобы поумнел?

— Ма-а... Лучше уж всыпать,— весело сказал Толик, поскольку гроза явно рассеялась.— А сидеть дома — это же с ума сойти! Каникулы такие короткие!

— Ты у меня когда-нибудь в самом деле дотанцуешь... Чтобы сегодня же все рассказал Арсению Викторовичу, ясно?

— Так точно, товарищ командир! — Толик стукнул упругими пятками о половицы и задрал подбородок.

— Иди мыть руки, грязнуля...

К Курганову Толик зашел сразу после обеда, чтобы добросовестно покаяться. Но Арсения Викторовича дома не оказалось. Толик решил, что для очистки совести сделал пока все, что нужно, и помчался к Олегу. Там сперва ремонтировали покосившийся штабной навес, а потом до вечера играли в лунки.

Толику везло. Мячик то и дело вкатывался в его лунку. Толик его ловко хватал и, когда кидал, ни разу не промахнулся. Поэтому он то и дело оказывался то «царем», то «судьей», то в суровой должности «палача». А среди тех, кого за промахи «казнят» мячом, он не оказался ни разу.

Но когда играли последний кон, везение кончилось. «Царем» стал Олег, «судьей» Мишка Гельман, а в «палачи» неожиданно попал Шурка. Он сразу принял грозный вид.

Олег сел на «трон» — ящик из-под масла. Мишке косынкой завязали глаза, он уселся на землю ко всем спиной.

Проигравшие по очереди подходили к «царю».

— Какое наказание справедливый судья назначит этому преступнику? — вопрошал Олег.

Мишка, никого не видя, наобум определял число горячих. От трех до десяти, как придет в голову.

— Наше царское величество утверждает приговор,— каждый раз говорил Олег. Только Люсе, которой досталось от судьи «десятка», он милостиво сократил число мячиков наполовину.

Толику выпало семь горячих. Он поежился. Мячик был тяжелый и твердый — для игры в теннис. Как всадят таким между лопаток — в глазах разноцветные зайчики... Ну да ладно, Шурка сильно кидать не будет, он бросает из-за плеча, как девочка...

Толик первым пошел к забору, встал носом к доскам. Сказал Шурке со вздохом:

— Давай скорее, что ли...

А Шурка, видать, старательно целился, время тянул. У Толика даже позвонки зачесались.

Мячик свистнул и гулко стукнул о доску у плеча. Промах!

Ага, Шурка! Держись теперь...

Если «палач» мазал, он менялся местами с «осужденным».

Шурка, путаясь ботинками в лебеде, пошел к забору. Уперся в доски растопыренными ладонями. Замер...

Целиться в Шурку было удобно: белые лямки перекрещивались точно в середине его голубой спины, пониже матросского воротника. Толик поднял мячик и прищурил левый глаз.

Шурка, видно, ощутил спиною этот миг. Тоненькая шея его задеревенела, пальцы зацарапали доски. Ох, Шурка ты Шурка...

Стесняясь самого себя, Толик вздохнул и сильно пустил мячик в кружок от сучка в полметре над Шуркиной головой. Забор ухнул, Шурка удивленно оглянулся. Все радостно завопили: «Мазила!»

Мишка потер ладони. По правилам теперь Толик опять вставал к забору, непутевого «палача» Шурку прогоняли «в отставку», а дело брал в свои руки «судья». Толик пошевелил плечами: уж Мишка-то не промажет.

И Мишка не промахнулся ни разу. Когда Толик шел домой, спина у него все еще ныла и стонала.

Вдруг догнал Толика Шурка. Молча затопал рядом.

— Ты чего? — удивился Толик.

— Так...— сказал он.

Шурка шел, нагибался, отдирал на ходу от чулок репьи и, замахиваясь по-девчоночьи, кидал их в сидевших у калиток ленивых кошек. Те презрительно щурились.

Шурка бросил последний репей и неожиданно сказал:

— А я в тебя нарочно не попал... Не веришь?

Толик удивился, но сразу поверил. И спросил неловко:

— А зачем?..

— Так... А ты в меня тоже нарочно промазал, да?

— С чего ты взял? — буркнул Толик.

— Я знаю.

— Глупые мы с тобой,— сердито сказал Толик.

Шурка мотнул курчавой головой, подхватил тюбетейку.

— Нет. Я не думаю, что мы такие уж глупые.

Они молча прошли еще с полквартала. Был совсем вечер.

— Мне пора, мама будет волноваться,— сказал Шурка.

— Ага. Беги...

— Спокойной ночи, Толик...

И Шурка побежал, стуча ботинками и держась за тюбетейку.

А Толик шел и думал, что день сегодня был хороший.

На этом радости дня не кончились. Дома оказалось, что приехала на каникулы Варя. Толик заверещал и повис у нее на шее.

— Голову отломишь! — закричала Варя.— Пусти, чертушка!.. Толька, я кому говорю!

Кое-как она освободилась. Проворчала, оглаживая косы:

— Маленький, что ли? Вон какой вымахал... Мама, а правда, смотри, как он вырос. Длинноногий какой и тощий...

— Тощий, потому что носится целыми днями. С такой жизни можно совсем скелетом стать.

— Не! — сказал Толик.— У меня замечательная жизнь!

Скоро Толик убедился, что и в замечательной жизни без тревог не обойтись. Бывают, конечно, совсем беззаботные дни, но потом все равно что-нибудь случится... Все оставалось по-прежнему, только глаза у мамы были теперь невеселые.

Нет, мама не сердилась на Толика, не срывала на нем досаду, как бывало при мелких неприятностях. Наоборот, ласковая была. Но какая-то слишком рассеянная. Даже не спросила ни разу, сказал ли Толик Арсению Викторовичу о фокусе с третьим экземпляром (а он, кстати, все еще не сказал).

Толик всегда чуял, если маме плохо. И сейчас он смотрел на нее с беспокойством, но спросить, что случилось, не решался. Во-первых, мама обязательно скажет: все в порядке, не выдумывай. Во-вторых, Толик чувствовал, что расспросы ее еще больше расстроят, а беде не помогут. Но все-таки, что за беда?

Толик решил взяться за Варю. Ей-то все известно. Недаром они с мамой опять, как весной, шепчутся, будто подружки.

Варя сперва уперлась: ничего не знаю, отвяжись. Но тут уж он вцепился в нее мертвой хваткой. Варя повздыхала, поозиралась, взяла с Толика страшную клятву молчать и рассказала.

Мама ходила такая расстроенная из-за Дмитрия Ивановича. У того нашлись жена и дочка. На Украине. Как нашлись? А вот так. Он думал, что они убиты в Киеве при бомбежке, но они уцелели. Выжили и потом, когда в Киеве были немцы. А в начале сорок пятого, после запроса о Дмитрии Ивановиче, получили извещение, что он пропал без вести... Теперь вот они отыскались и он отыскался. Скоро поедет в Киев.

Конечно, тут радоваться надо. И конечно, мама радуется, что такое у Дмитрия Ивановича счастье. Но...

— В общем, все так в жизни запутано,— вздохнула Варя.— И радость, и печаль... Ты ведь большой уж, понимаешь.

Толик был, конечно, большой, но сейчас приткнулся к Варе, как маленький, чувствуя и грусть и облегчение оттого, что кончилась неизвестность. Жаль, разумеется, что Дмитрий Иванович не будет с ними, но раз уж так вышло, то пусть... Проживут они и втроем: Толик, мама и Варя.

Он прилег Варе на плечо, посчитал на ее подбородке редкие и светлые, как у мамы, веснушки. Сказал шепотом:

— Варь, а ты папу хорошо помнишь?

— Конечно. Я же тебе рассказывала...

— Ага... Варь, а вдруг на него похоронка тоже ошибочная?

Варя молча погладила его по голове. Толик и сам понимал, что на чудо надежды нет. Красноармейцы писали, что политрук Нечаев погиб у них на глазах: мина разорвалась точно в том месте, где за полсекунды до этого видели политрука...

— Варь, а Дмитрий Иванович насовсем уедет?

— Наверно...

— Ну ладно... Ты попроси маму, чтобы так не горевала, нельзя же из-за этого всю жизнь себя изводить.

— Всю жизнь она не будет,— серьезно пообещала Варя.

И правда, через пару дней мама была уже почти такой, как прежде. Вечером она устроила Толику нагоняй за то, что лезет в постель с немытыми ногами, а утром — еще один: за то, что положил между листами копирку не той стороной:

— Разиня! Я могла испортить два десятка страниц!.. Кстати, ты сказал Арсению Викторовичу про третий экземпляр?

— Я заходил, а его дома нет...

— Целыми днями нет дома? Ох, займусь я тобой...

Толик порадовался маминому бодрому настроению и подмигнул Варе. А она ему. Тогда Толик отозвал Варю в коридор и веселым шепотом предложил:

— Знаешь что? Женилась бы ты скорее. То есть это, выходила бы замуж. Вот и будет мужчина в доме.

— Долго думал? — спросила Варя.

— Ага. Вчера целый вечер.

— Хорошо. Иди-ка сюда...— Варя сняла с гвоздя самодельную мухобойку из деревяшки и подошвы. Толик захохотал и ускакал во двор. Там его нашел Витя Ярцев, который появился со срочным известием.

Известие было такое: к Рафику из Казани приехал дядюшка, привез в подарок масляные краски, во-от такую коробку. Рафик на радостях пообещал всем на-

рисовать новые рыцарские гербы, Старые совсем поблиняли, а у Толика и вообще никакого нет.

— Олег велел, чтобы ты придумал скорее, какой тебе надо...

Толик давно уже придумал, но стеснялся спросить Олега, можно ли сделать себе щит с эмблемой.

Щиты с гербами были у всех, кроме Толика. У Олега — скрещенные факел и меч на темно-синем фоне. У Мишки Гельмана — оранжевый щит, а на нем черно-белая мишень с перекрестьем. У Семена — крепостная башня на клетчатом фоне — что-то шахматное, хотя насчет шахмат он был ни в зуб ногой. У Вити: луна и солнце на черно-синем щите. Рафик нарисовал себе почему-то гибкого олененка из цветного мультипликационного фильма «Бэмби». Олененок, выгнувшись, летел над пушистыми деревьями. Это был совсем не грозный герб, но самый красивый. У Люси на черном щите желтела комета с хвостом, похожим на растрепанную косу.

Даже у Шурки был щит — с голубыми и темно-синими полосками наискосок и желтыми буквами А. Р.— Александр Ревский. Шурка хотел что-нибудь боевое, но Олег не разрешил:

— Хватит пока и этого. Ты хотя и Александр, но Ревский, а не Невский...

Толик придумал себе, конечно, щит с якорем. А с чем же еще? Щит — синий, как море, якорь желтый, как начищенная корабельная медь, а в нем — черная буква Т. Она так хорошо врисовывается в якорное тело с перекладинкой.

— А теперь нарисуй звездочку,— попросил Рафика Толик и ткнул в верхний угол щита.— Красной краской. Маленькую...

Он насупился, ожидая, что Рафик спросит: зачем?

Но Рафик молча нарисовал. Маленькую и темно-красную. Как та суконная звездочка на шерстяном рукаве гимнастерки...

Олег сказал:

— Ты не забудь себе и меч сделать. Скоро начнем тренировки по фехтованию. Я книжку достал, там всякие приемы описаны...

— Я уже сделал,— признался Толик.

Новый герб прибили рядом с остальными. Олег похлопал по картону, потом по спине Толика:

— Твой щит на вратах Цареграда...

— Он всего «Вещего Олега» знает наизусть,— гордясь командиром, сказал Шурка.— И вообще все стихи Пушкина.

— Болтун ты, Шурка,— снисходительно отозвался Олег.— Кто же всего Пушкина может выучить?.. Я, конечно, знаю кое-что, но не так уж много. И вообще я больше люблю Лермонтова. Я его «Воздушный корабль» буду на концерте читать.

Оказалось, что, пока Толик выяснял семейные дела, робингуды затеяли новое дело. Решили дать концерт для окрестных жителей. Олег напомнил, что надо не только свистать по улицам, но и о пользе людей думать.

В саду, где ребята много раз играли в партизан и в пряталки, была концертная площадка. В давние годы здесь выступал оркестр, а во время войны сад заглох, и теперь до него еще ни у кого не доходили руки. Часть эстрады и многие скамейки растащили на дрова, но настил сцены чудом сохранился и даже не очень прогнил. Олег сказал, что для робингудовского концерта сгодится, артисты легкие. Главное не сцена, а репертуар.

— Что? — удивился непонятному слову Семен.

— Номера всякие... У тебя ведь есть баян?

— Он умеет на баяне только «Раскинулось море широко» играть,— сказала Люся.

— Ну и сойдет. А Витька споет.

— Лучше уж я без баяна спою,— скромно сказал Витя.— А то он как загудит, я и собьюсь.

— Ладно, Семен отдельно выступит, и ты отдельно... А еще надо пьесу поставить, я в «Затейнике» поищу...

«Затейник» — это журнал, где печатаются всякие игры, стихи, описания танцев и пьесы для школьных спектаклей. У Олега была целая пачка «Затейников». Но подходящей пьесы там не нашлось. Попадались то слишком скучные, без приключений, то длинные и такие, где требовалось много девочек. А у робингудов — одна Люся.

— Ладно, что-нибудь придумаем,— пообещал Олег.

Через два дня собрались на веранде, и Олег вытащил из кармана мятую тетрадку.

— Вот... я сейчас прочитаю. В общем, это пьеса...

Толик впервые увидел, что Олег смущается и, кажется, даже побаивается. Витя сказал Толику уважительным шепотом:

— Это он сам сочинил.

Пьеса называлась «Случай на границе» и была про то, как находчивые мальчишки из пограничного поселка отправились в лес и наткнулись на диверсанта. Пока двое ребят хитростями удерживали нарушителя на месте, третий помчался на заставу. Но опытный шпион догадался о ловушке, и ребятам пришлось вступить в схватку. Пограничники — офицер и солдат — подоспели в последний момент, когда вовсю кипел бой.

Пьеса всем понравилась. Правда, Толику показалось, что где-то он уже читал или слышал по радио что-то похожее. Но что поделаешь, про шпионов полным-полно всяких книжек, спектаклей и кино. Поневоле получаются совпадения. И Олег же не списывал откуда-то, а сочинил своими словами.

Когда стихли похвалы, Олег, розовый от писательского счастья, стал распределять роли. Шпионом он назначил Семена, в ребячью компанию — Рафика, Витю и Толика. Солдатом-пограничником сделал Мишку, а командиром, разумеется, себя. Для этой роли у Олега и костюм подходящий, оказывается, был: гимнастерка, галифе и фуражка. Военную форму ему сшили весной для участия в школьном празднике «День Победы».

Люсе и Шурке ролей не досталось, но Олег сказал, что у Люси и так много забот: объявлять все номера концерта и заведовать театральным имуществом. А Шурке придется отвечать за звуковое оформление. Во время схватки со шпионом он должен уронить груду ящиков — это будет изображать разрыв гранаты. А в самом конце спектакля Шурка включит патефон с пластинкой «Торжественный марш»...

— Если не уронит ящики на патефон или не сядет на пластинку,— заметил Мишка. Олег его одернул и сообщил, что на Шурку он надеется: робингуд Ревский за последнее время заметно подтянулся...

Репетировать начали тут же, на веранде. Слова запомнили быстро, их не так уж много было. Главное — не в словах, а в той сцене, когда мальчишки дерутся

со шпионом, выхватывают у него пистолет, а он швыряет в них гранату. Нужно было отработать все приемы.

Отрабатывали два часа подряд. Мама Олега выглядывала из двери и покачивала головой. Люся держала наготове медную крышку от самовара: чтобы прикладывать к шишкам и синякам. Дважды она мазала йодом на актерах нешуточные ссадины... Шурка изображал гранатные взрывы — вдохновенно швырял на пол фанерный лист.

Рафик наконец сказал:

— Ты поосторожней с фанерой-то. Мне на ней афишу рисовать.

Афишу Рафик лихо намалевал масляными красками: белой, красной и синей. Она сообщала, что 20 июля 1948 года в саду на Ямской улице тимуровский отряд «Красные робингуды» даст для местных жителей пионерский концерт.

Лучше всего на афише получился клоун: с белой смеющейся рожей, с красными волосами, в клетчатых штанах и громадных ботинках. В программе концерта никакого клоуна не было, и Шурка робко заметил, что получается обман. Олег возразил:

— Клоун просто означает, что концерт будет веселый.

И все согласились.

Но, по правде говоря, веселья в концерте не ожидалось. Схватка со шпионом — дело опасное, что же тут смешного? Остальные номера тоже серьезные. Музыка «Раскинулось море широко», Витькины песни про пограничника и крейсер «Варяг», стихи про юного героя Ваню Андрианова, которые взялась прочитать Люся. Шурка тоже вызвался читать героические стихи — про Севастопольский камень. И надо сказать, читал неплохо. Может, слишком тонким голосом, но с выражением.

Но лучше всех декламировал, конечно, Олег:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,

И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Олег читал эти стихи каждый раз в конце репетиции. Робингуды рассаживались по углам пустой веранды, Олег выходил на середину, секунды две стоял молча, потом откидывал волосы, смотрел поверх голов и говорил первую строчку негромко, задумчиво, будто сам с собой разговаривал. Потом голос его звучал крепче, но оставался печальным.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Стихи были длинные, но каждый раз слушали их внимательно, не дышали громко и не ворочались. Лишь однажды Мишка Гельман отсидел ногу и шумно зашевелился. Люся на него цыкнула. Олег оборвал чтение. Толик сказал:

— Ну, тихо вы. Дайте дослушать.

Мишка огрызнулся, потирая колено:

— Чего про него десять раз слушать? Все равно он был враг.

— Кто? — удивился Семен.

— «Кто»! Наполеон!

— Разве это про Наполеона стихи? — не поверил Семен.— Ты чего врешь-то?

Мишка, услыхав такое невежество, невоспитанно плюнул.

— Это же все равно будто сказка,— заступилась за стихи Люся.— Про волшебный корабль.

— А Наполеон тогда уже и не враг был,— сказал Олег.— Он пленный был. Пленные врагами не бывают.

— Ага, «не бывают»! Он Москву сжег,— сказал Мишка.— Может, вы и с Гитлером целоваться стали бы, если война кончилась?

— Дурак ты! — сказала Люся.

Шурка повозил ботинками по полу и неуверенно проговорил:

— Наполеон все-таки не Гитлер. Он, конечно, враг был, но все-таки не такой. Он благородный был...

— Сам ты благородный,— хмыкнул Мишка.— Попал бы ты к нему в лапы...

— Ну и попал бы,— отозвался Шурка.— Тогда пленных не пытали и не расстреливали, потому что война была по правилам.

— Тоже расстреливали, я книжку читал,— сказал Витя.— Но все-таки не так сильно. Тогда фашистов не было.

Рафик вставил свое слово:

— Если бы Наполеон был совсем уж враг, тогда про него стихи не печатали бы...

— Да тут дело не в Наполеоне,— сказал Толик.

— А в чем? — оживился Олег. Ему нужна была поддержка.

Толик засмущался и вздохнул:

— Я не знаю, как объяснить словами... При чем тут Наполеон? Это стихи про одинокое настроение, когда человека все бросили. Потому что остров такой...

— Какой? - спросил Рафик.

— Это же остров Святой Елены. Он вообще печальный... На нем наш моряк, лейтенант Головачев, тоже погиб. Там его могила...

— Разве наши на том острове воевали? — удивился Мишка.

— Да не воевали... Это давно было, когда Крузенштерн плавал.

— А почему он погиб? - спросил Шурка.— Дикари убили?

— Да не было там дикарей, что ты!.. Он сам застрелился...

— Почему? — У Шурки жалобно приоткрылся рот.

— Я еще не знаю точно, я не дочитал. Но, по-моему, тоже от этого... от одиночества.

— А какая это книжка? — спросил Олег.— Дашь почитать?

Толик устоял перед соблазном: не стал рассказывать о Курганове и его повести. Не знал, имеет ли право. Он только объяснил, что мама перепечатывает для редакции одну рукопись и дает ему почитать. Когда он все прочитает — пожалуйста, расскажет подробно. А пока... если, конечно, они хотят... он может прочитать свои стихи про плавание, про Крузенштерна.

Как это у него вырвалось? Отчего? Может, оттого, что вспомнились вечера у камина, тиканье хронометра, карта на стене и ощущение, будто совсем рядом, за окнами, море? Сейчас тоже был хороший вечер и рядом сидели друзья, и Толику захотелось разделить с ними настроение морской таинственности...

Но дело, наверно, не только в этом. Хотелось еще..

нет, не похвастаться, а просто показать, что он не хуже других. Олег пьесу написал, а он, Толик, вот... тоже умеет...

А может, просто бес под язык толкнул. Так или иначе, слова сорвались, не поймаешь. Конечно, у Толика тут же заполыхали уши, да было поздно.

— Давай, выходи на середину,— велел Олег.

— Да нет, я здесь...

— Выходи, выходи. Чтобы как следует.

Ох, зачем он сболтнул? Хоть бы провалиться сквозь веранду. Толик жалобно сказал:

— Но они ведь не как у Лермонтова. Они... самодельные.

— Давай, давай,— сказал Олег.

Толик вышел, помигал, чтобы не так щипало в глазах от смущения, покашлял... ну и ничего, прочитал. Внятно и без торопливости. Потому что раз уж напросился, куда деваться?

Ребята помолчали, посмотрели друг на друга, и Люся неожиданно захлопала. Тогда и другие захлопали. И у Толика опять затеплели уши, а Олег сказал:

— Мы и не знали, что ты поэт.

— Да никакой я не поэт! Это я случайно сочинил.

— И больше никогда ничего не писал? — удивился Олег.

— Никогда! — Про стихи о месяце Толик опасливо умолчал.

У Олега мелькнуло на лице то ли облегчение, то ли удовольствие. Но тут же опять он стал командиром:

— Эти стихи ты обязательно прочитаешь на концерте.

— Я?! — ужаснулся Толик.

— Конечно. Чего им пропадать?

— Но... это же не Лермонтов,— опять жалобно сказал Толик.— Как это будет? По сравнению с ним...

— Зато это твои собственные стихи. У нас так и называется — самодеятельность... В общем, это тебе боевое задание.

Толик успокоился. Если задание — никуда не денешься. Олег — командир, а Толик — рядовой робингуд.

— И еще задание,— сказал Олег.— Попроси маму напечатать для концерта пригласительные билеты. Сто штук.

Мама сказала, что напечатать билеты Толик мог бы

и сам: не маленький, знает, как управляться с машинкой.

— Да-а... А сколько я провожусь!

Мама смилостивилась и напечатала. И оставила два билета — себе и Варе:

— Посмотрим, что вы за артисты.

У Толика от волнения засосало в животе, как в начале первого экзамена. И привычно зачесался рубчик под коленом...

В день концерта мама выгладила Толику галстук и белую рубашку и достала из шкафа полузабытый вельветовый костюм. Лишь тогда Толик понял, что он и правда вырос за эту половину лета. Жилет еле прикрывал пряжку на поясе, а чтобы застегнуть под коленками манжеты штанов, пришлось изо всех сил натягивать их вниз. И тем не менее, глянувши в зеркало, Толик остался доволен. Он, как и раньше, показался себе похожим на юного капитана из жюль-верновской книжки. Тем более что волосы отросли, а лицо покрылось крепким, как густой чай, загаром.

От Дика Сэнда и Жюля Верна мысли скользнули к другим парусам, к Крузенштерну, к острову Святой Елены. К печальным стихам о воздушном корабле... К своим стихам.

Правильно ли, что он согласился их прочитать? Задание заданием, но можно было и упереться. Наверно, Олег не стал бы приказывать по всей строгости... И зачем Олег вообще такое задание дал? О концерте заботился? Или...

Впервые у Толика мелькнуло недоброе подозрение о командире робингудов. Олег пьесу сочинил, значит, считает себя немножко писателем. Его за такой талант стали еще больше уважать. И вдруг появляется еще один «писатель». Вроде как соперник... И не нарочно ли Олег Наклонов Толика с его самодеятельными стихами выставляет рядом с собой? То есть с Лермонтовым, с «Воздушным кораблем»? Может, думает: «Пусть все увидят, что у Толика Нечаева стихи — просто детский лепет...»

Но... разве Олег такой? Разве он когда-нибудь кого-нибудь подводил? И Толик разозлился на себя. Особенно когда вспомнил ясное лицо Олега и то, как он краси-

во подымает голову и откидывает волосы, начиная читать «Воздушный корабль»...

...Он так и читал на концерте. И когда кончил, ему здорово хлопали. Шум стоял по всему саду, потому что на прогнивших скамейках перед эстрадой и прямо на лужайках собралось не меньше ста человек. Это и понятно: билеты робингуды побросали в домашние почтовые ящики на всех ближних улицах. Толик в глубине души это легкомыслие не одобрял. Он побаивался, что могут прийти и такие зрители, которые будут не смотреть и слушать, а свистеть и кукарекать, издеваться над артистами. Особенно если появятся пацаны с Ишимской во главе с известным второгодником и шпаной по кличке Баня... Однако Баня с компанией не явился, а пришли нормальные ребятишки из ближних кварталов. А еще — домохозяйки с мелюзгой-дошколятами. Было несколько тетенек, похожих на инспекторш гороно и два солдата-отпускника. И родственники артистов. В том числе и мама с Варей...

И вот теперь все хлопали Олегу за то, как он здорово прочитал печальные и смелые стихи...

А потом читал Толик.

Он понимал, что его стихам большого успеха ждать нечего, и словно отвечал урок: раз вызвали, надо рассказывать. Правда, когда Толик начал четвертый куплет (он сочинил его позже и на портрете не писал), голос вдруг зазвенел. И увидел Толик острые скалы в сумрачном море, и почему-то представилось, как у стоящих на неспокойном, взволнованном рейде кораблей качаются под реями скрипучие фонари...

Теперь Земля уже почти что вся открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый.
Но, может быть, одна откроется и мне...

Толику тоже хлопали хорошо. Однако он чувствовал: эти аплодисменты не за стихи, а просто за выступление, за старание. Из вежливости. На маму и на Варю он не смотрел. И еще раз порадовался, что нет здесь Курганова.

Мама перед концертом спросила:

— А разве Арсения Викторовича ты не пригласил?

Она и накануне напоминала: надо позвать. Но Толи-

ка холодом продирало по позвоночнику от одной мысли об этом. И тут уже дело не в простой стеснительности. Арсений Викторович мог обидеться: сперва Толик подарил стихи ему, Курганову, а теперь читает всем, направо-налево. Стихи эти стали частичкой книги, а книга-то не Толика, она Арсения Викторовича. Спросить разрешения? Но получится, будто просишь назад подарок.

На мамин вопрос Толик с перепугу ответил отчаянным и потому правдоподобным враньем:

— Ма-а! Я к нему десять раз заходил, а его все дома нету и нету!

После чтения стихов, криво кивнув публике, Толик бежал с подмостков и укрылся в кустах позади эстрады. Там готовились к пьесе участники спектакля. Олег натягивал офицерское обмундирование. Он сказал снисходительно:

— Ничего выступил. Вполне...

Толик не ответил. Он сел в траву и мысленно дал себе честное пионерское, честное робингудовское, честное морское и всякое-всякое честное слово никогда больше не писать стихов. Чтобы не страдать потом... А если стихи придумаются сами собой, никогда никому их не рассказывать.

А эпиграф к «Островам в океане» пускай остается, раз Курганову именно такие стихи нужны — от мальчишки, который мечтает о дальних морях, не от поэта.

Как хорошо, что Курганова не было на концерте!

«Но ведь все-таки тебе хотелось выступить! Что ты вертишься?» — мстительно укорила Толика совесть. И он покраснел.

Впрочем, для переживаний времени не было. Начался спектакль. Он прошел с неожиданным и громовым успехом, который затмил прежние номера, в том числе и стихи об острове Святой Елены. Заключительная схватка со шпионом потрясла зрителей своим драматизмом. Диверсант отбивался как зверь, пистолет его грохнул охотничьим капсюлем, будто настоящий маузер. А когда пришло время взрываться гранате, Шурка за сценой не прозевал и лихо обрушил гору пустых ящиков и ржавых ведер...

После концерта Шурка, посасывая палец (придавило ведром), снял артистов своим «фотокором». И сам сфотографировался вместе со всеми: протянул от спуска нитку и дернул.

— Можно было бы сегодня сделать карточки, да нет проявителя, — пожаловался он.

Люся выдала ему пять рублей из собранных за концерт денег.

...Из-за этих денег у Толика с мамой вышел разговор.

— Концерт хороший,— сказала мама,— все мне там понравилось. Кроме одного. Зачем эта девочка (Люся, кажется?) сидела у входа и собирала с тех, кто пришел, по двадцать копеек? Двугривенный, конечно, не деньги, но как-то некрасиво...

По совести говоря, Толику и самому это не нравилось. Но маме Толик сказал то, что говорил ребятам Олег:

— Мы же трудились? Трудились. Значит, заработали. Эти деньги не на глупости пойдут, а для отряда. На проявитель для Шурки, на подготовку к походу.

— К какому еще походу?— сразу заволновалась мама.

— Да к небольшому, недалеко. На один день...

САМОЛЕТ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Туча была не просто черная, а с жутковатым булатным отливом. Она обложила горизонт с флангов и сейчас неторопливо — очень неторопливо, но уверенно — подтягивалась к середине беспомощно-голубого неба.

Перед тучей кудрявились несколько светло-серых облачных обрывков. Они быстро меняли форму. От этого тяжесть и непроницаемость тучи казалась еще беспощадней.

На фоне тьмы, обступившей края земли, любая травинка, любая головка цветка была видна очень ярко и отчетливо. И кусты у горизонта. И аэродромный домик на дальнем краю поля, и указатель ветра, похожий на полосатый повисший сачок. И два самолетика в траве, издали похожие на присевших кузнечиков. Все это виделось, как сквозь особое, хрустально-чистое стекло. Необычно ярко белели стволы березок на дальней опушке.

В застывшей четкости, в неподвижности воздуха, травы и листьев тоже была угроза.

Солнце уже ушло за тучу, но духота не стала меньше. От дюралевых листов самолета несло металлическим теплом.

Собственно, это был не самолет, а лишь каркас фюзеляжа — без крыльев и наполовину без обшивки. Оставшиеся кое-где листы щетинились рваными краями. В них светились пунктирные швы дырочек от выпавших заклепок. Кое-где заклепки сохранились; когда лист задевали, они звонко дребезжали в гнездах — напоминали, что сделаны из металла. Все в самолете было из металла.

«Неужели они этого не понимают?» — с тоскливой досадой думал Толик о ребятах.

Он сидел ниже всех, в траве, рядом с уцелевшим самолетным колесом (оно было похоже на резиновый бублик). Сквозь дюралевые ребра он видел над собой робингудов, рассевшихся кто где, и край тучи, которая медленно заглатывает голубизну.

— Толик, иди сюда,— сказал сверху Шурка.— Здесь в носу будто шалаш, а там тебя зальет, когда дождь начнется.

— По-моему, лучше пойти домой,— отозвался Толик. Он говорил спокойно, почти лениво, но страх звенел, дрожал в нем частыми струнками.— Если быстро, мы еще успели бы.

— Чего смеяться-то,— отозвался Олег.— И полпути не пробежим, гроза догонит.

— Ну, до навесов на лесопилке успели бы,— возразил Толик.

— А какая разница? — беззаботно сказал Рафик и попрыгал на пружинистом шпангоуте.— Навесы тоже дырявые.

— Они хотя бы деревянные! — вырвалось у Толика.

— Ну и что? — лениво спросил глупый Семен.

— А то, что дерево молнии не притягивает, а здесь для них все равно что магнит! — опять не выдержал Толик.

Мишка Гельман, который сидел выше всех, ядовито хмыкнул и засвистел. А Олег снисходительно сказал Толику:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

«Они и правда не боятся,— с досадливой завистью подумал Толик.— Но они же просто не понимают...»

...А начиналось путешествие хорошо. Вышли рано-рано, тени от заборов были длинные, и в этих тенях

висели на травинках шарики росы (Шуркины ботинки от нее заблестели как лаковые). Было прохладно, пахло тополями, и ноги сами шагали по упругим тротуарам окраины. В поход, в поход!

Одно огорчало Толика: не взял он Султана. Не догадался. А теперь увидел, что с Люсей и Семеном отправилась их рыжая собачонка Пальма, и его грызла совесть перед Султаном.

Но зато в самом начале пути Толик сделал открытие. Там, где строили рельсовую ветку, в грудах камней и щебенки Толик разглядел золотистые кристаллы. Они были впаяны в большие куски грязно-серой породы. Не то пирит, не то колчедан.

— Смотрите!

Командир Наклонов похвалил Толика. И сказал всем:

— Поздравляю, ребята. Найдена новая порода.

Правда, он тут же насупил лоб и неуверенно добавил:

— Хотя нет. У нас уже есть такие образцы.

— Таких нету! — заспорила Люся.— Там зернышки мелкие, а здесь — как самородки.

— Да,— великодушно кивнул Олег.— Это новая разновидность. Молодец, робингуд Нечаев. Зоркий глаз.

Нести в рюкзаке камень с золотистыми кристаллами Олег доверил робингуду Ревскому.

Путь лежал вдоль новой насыпи, потом через луг, мимо МТС с красной башенкой водокачки, затем через березовую рощу. На опушке сделали привал для завтрака.

Расстелили на траве клеенку, выложили на нее всякую снедь.

Чего здесь только не оказалось! Огурцы, вареные яйца, банка с тушенкой, бутерброды со всякой всячиной, печенье, конфеты. Даже свежие помидоры. У Толика запасы были скромные. Мама дала бутерброды с маргарином, пересыпанные сахарным песком, пару огурцов и несколько крупных картофелин. «Вы ведь обязательно будете печь картошку на привале...»

Но Олег сказал, что с картошкой возиться некогда. Маршрут длинный, на долгие привалы и костры времени нет. И он, красиво размахиваясь, запустил картофелины за березы. А бутерброды Толика отдал Пальме. Сказал между прочим:

— Чего маргарин глотать, когда и так всего хватает.

Толика ощутимо царапнула совесть. Мама старалась, собирала ему походный паек, а теперь — картошка в кусты, бутерброды собаке. А кто виноват, что дома с едой совсем не густо? До зарплаты еще неделя, а денег почти не осталось...

Но Олег не виноват, он не знал... В конце концов, собаку тоже надо кормить, и уж лучше отдать ей маргарин, чем тушенку.

У тушенки был такой запах, что слюни просто пузырились во рту. Люся накладывала ее на ломти белой булки, покрытые слоем желтоватого свежего масла. Толик вздохнул и вцепился в кусок зубами. Голод не тетка... И вдруг он услышал:

— Я не буду...

Это Рафик сказал.

— Почему? — удивилась Люся.

— Да не хочу я. Давай без мяса.

Мишка Гельман хмыкнул:

— Тушенка-то свиная. Магомет не велит свинину трескать...

Толик впервые увидел, как Рафик недобро сузил глаза.

— Я с Магометом про это не разговаривал. И ты вообще... Не говори, про что не понимаешь.

— А я понимаю,— крупно жуя, сказал Мишка.— С религиозными заблуждениями надо бороться.

— Сам ты заблуждение! Магомет и рисовать не разрешал — ни людей, ни зверей. А я, что ли, не рисую? Мне мать с отцом никогда не запрещают. А свинину они не едят, и я не буду. Потому что такой обычай! И все.

Витя, сердито махая ресницами на Гельмана, сказал:

— Твоя бабушка ведь тоже не ест свинину. И по субботам дома ничего не делает, говорит, что в этот день бог работать не велит. А над ней разве кто-нибудь смеется?

— Это же бабушка, а не я,— огрызнулся Мишка.

Толик хмуро бросил:

— Вот ее и воспитывай.

Он был чертовски раздосадован. На себя. Почему он не отстоял свой хлеб с маргарином и картошку? Поссориться боялся? А Рафик вот не испугался — не дал в обиду ни себя, ни родителей, ни обычай. Ну, пускай это заблуждение, что нельзя есть свинину, а все равно твердость у Рафика правильная...

Олег молча жевал, почему-то не вмешивался в спор.

Толик сказал ему:

— Зря ты мою картошку покидал. У нас дома продуктов и без того кот наплакал, у мамы зарплата не директорская.— Он встал и пошел искать в траве картофелины.

Олег догнал его через пять шагов.

— Толик, извини, я не подумал.

Олег один умел так извиняться: честно и без смущенья. И человеку становилось приятно, будто ему сделали подарок.

Хотя Олег и говорил, что на долгие привалы нет времени, у озера застряли на два часа.

Озеро было небольшое, неглубокое и чистое. На восточном берегу стоял дом отдыха Рыбкоопа, а с другой стороны подступал молодой лесок. На этом, диком, берегу был пляж с мелким прогретым песком. Когда бултыхаешься в озере, а потом валяешься на песке, кажется, что время замерло — так же, как замерли желтые кучевые облака в безмятежной высоте...

Наконец Олег скомандовал:

— Подъем.

Все поднялись. Кроме Мишки. Он только потянулся.

— Гельман...— сдержанно сказал Олег.

— А, успеется,— зевнул Мишка.— Пока Шурка со своими пуговицами справится, полчаса пройдет.

Шурка всегда после купанья одевался дольше всех. Особенно много возни было у него с бумазейным лифчиком, к которому прицеплялись резинки для чулок. Застегивался лифчик на спине, и Шурка сопел, закидывая назад руки и пытаясь дотянуться до пуговиц. Иногда ему помогали, но Олег не одобрял этого. Говорил, что Ревскому надо приучаться жить без нянек. А Мишка добавлял, что пора уже расстаться с детсадовской сбруей. Толику эти дразнилки не нравились. Когда были помладше, все такую сбрую носили, чего смеяться-то? Шурка не виноват, что дома его до сих пор считают за маленького.

Толик подошел к Шурке сзади.

— Давай застегну.

Пуговицы были большие и твердые, костяные. Толик поморщился от болезненной догадки:

— Ой, Шурка, они же тебе спину под рюкзаком давят!

— Да ничего....— сказал терпеливый Шурка и вздохнул.

— Как ничего? Ну-ка, покажи...— Толик задрал на Шурке майку. На острых позвонках кожа была натерта до кровяных точек. Между лопатками — ссадина. Когда купались, никто этого не заметил, а вблизи сразу видно.

— Сними ты эту лишнюю амуницию,— жалостливо сказал Толик.— Зачем ты в ней жаришься?

— Я сниму. Я просто не догадался.

Толик повернулся к Наклонову:

— Олег, давай Шуркины вещи раскидаем по всем рюкзакам. Он спину натер.

— Отставить,— возразил Олег.— Он клятву давал не стонать. Он сам свой рюкзак собирал, пусть несет.

— Не сам он, ему дома натолкали...

— Будет в другой раз умнее. Научится маме доказывать.

— У него же камень еще! — вспомнил Толик.

— Да ничего, я донесу,— с храброй покорностью сказал Шурка.— Теперь легче.

Ботинки он надел на босу ногу, и от этого они стали казаться еще больше и тяжелее. И чаще цеплялись за траву и корни.

Путь вел теперь через вырубку, потом через поле с овсом и через лесок, за которым лежал учебный аэродром. А от него шла к городу дорога — прямая и потому не длинная.

Но до аэродрома еще надо было дошагать. Жарко стало, донимали оводы. И в каждой жилке гудела усталость. Будто и не отдыхали недавно, и не купались. Наконец вошли в лесок, в тень.

Тропинка привела к заросшему оврагу, через него был перекинут ствол ели — голый и скользкий. Ствол ощетинивался метровыми сучьями (тоже голыми). Сучья только и выручали при переправе. Но Шурку они не спасли. Когда ботинки сорвались, ухватиться за сук «этот бестолковый Ревский» не успел.

Люся, которая шла за Шуркой и несла под мышкой Пальму, тонко завопила.

Шурка не долетел до дна. Лямкой рюкзака он зацепился за короткий горизонтальный сук и повис, как парашютист. Качался, поджимал над зарослями тощие белые ноги и попискивал.

Хватаясь друг за друга, за сучья, за Шуркин рюкзак и за самого Шурку, его вытащили. Лишь панамка, которую Шурке дали в поход вместо тюбетейки, канула в заросшую глубину. Люська охала и хныкала. Пальма тявкала. Олег сказал:

— С этим человеком не заскучаешь.

Но, видимо, он и сам был испуган.

Остальные молчали. Шурка виновато мигал. На ноге его была длинная царапина.

Царапину промокнули подорожником, а Толик сказал:

— Шурка, давай твой рюкзак. И бери мой, он легче.— И добавил, вызывающе глянув на Олега: — Каждый имеет право выбирать рюкзак, какой хочет. Нет, что ли?

Олег пожал плечами. И Шурка подчинился Толику.

Но тащил Шуркин рюкзак Толик недолго. Скоро вышли из леса, прошагали метров сто по кустам и лужайкам и на краю аэродрома наткнулись на разбитый самолет без крыльев. Все забыли про усталость. Побросали рюкзаки и полезли на решетчатый фюзеляж.

Это были останки двухместного самолета. Наверно, учебного. Два сиденья друг за другом, перед каждым — приборная доска с круглыми дырами от снятых циферблатов. Семен сказал, что это По-2. Мишка сказал, что Семен дурак: По-2— биплан, а у этого была одна пара крыльев, вон видны остатки. Спросили Олега. Олег ответил, что неважно, какой это был раньше самолет, а теперь он будет десантный. Себя Олег назначил главным пилотом, Мишку — стрелком-радистом, а остальных (в том числе и Пальму) — десантниками. Велел прыгать в траву — будто с парашютами — и брать с бою ближние кусты.

...Поиграли в десантников. Люська кому понарошке, а кому всерьез перевязала раны (Рафик порезал руку о край обшивки). Потом Шурка вытащил из рюкзака аппарат и штатив и всех сфотографировал на самолете. Нитки не нашлось, и сам он на этот снимок не попал. Чтобы Шурке не было обидно, Толик сказал:

— Теперь ты лезь на самолет, а я сниму.

И вот тогда, глядя поверх фотоаппарата на самолет и ребят, он вдруг почувствовал, что солнечный свет стал немного другим, тревожным. И увидел над горизонтом тучу.

Толик щелкнул спуском аппарата и сказал небрежно:

— Нам бы поторопиться. Вроде гроза подходит.

Все отнеслись к его известию легкомысленно. Семен заявил, что это вовсе не гроза, а просто темная тучка. Мишка добавил, что она пройдет стороной. А Рафик обрадовался:

— Пускай гроза! Мы здесь отсидимся! — Он полез в нос самолета. На капоте обшивка сохранилась почти полностью, и там в самом деле можно было кое-как спрятаться от дождя.

А от молний?

Но не мог же Толик признаться, что с младенческих лет не переносит грозу. Что готов залезть в любую нору от трескучих электрических вспышек.

Сейчас он пересиливал себя, сколько мог. Даже играл вместе со всеми, когда Олег сказал, что теперь самолет — тяжелый бомбардировщик и летит бомбить вражескую эскадру.

Побомбили и расселись на фюзеляже кто где. Просто так. Болтали, будто и не было близко никакой тучи, в которой тысяча молний, и в каждой по миллиону вольт...

Толик наконец снова напомнил, что пора домой. Можно еще успеть! И Олег Толику ответил:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

— А я, что ли, боюсь? — жалобно сказал Толик.— Просто я дома обещал, что к шести часам обязательно вернусь. А здесь до темноты можно застрять.

— Не надо было обещать,— холодно возразил Олег.— Может, нам из-за твоего обещания теперь галопом до города мчаться?

— А может, из-за твоей лени до ночи тут сидеть? — огрызнулся Толик. Это уже очень напоминало ссору. Но Олег ответил спокойно:

— Кто хочет, пусть идет. Силой никого не держат. Дорога известная. Верно, ребята?

Дорога в самом деле была знакомая: мимо лесопилки, потом вдоль насыпи, а там и улицы. Толик встал. Теперь он почти верил, что мама и правда ждет его к шести. Кажется, был утром такой разговор. А раз так, идти просто необходимо.

Глядя в сторону, Толик проговорил сердито:

— Если бы вас ждали дома, вы бы тоже...

— Да ты не стесняйся,— сказал Олег.— У нас же полная добровольность. Каждый идет, куда хочет, каждый несет рюкзак, какой хочет...

Вспомнил! Ну и ладно...

— Шурка, может пойдешь со мной?

— Нет, что ты. Я с ребятами,— испуганно откликнулся Шурка.

— Ну, тогда я твой рюкзак возьму. А завтра принесу. Хорошо?

— Нет, я сам,— так же испуганно сказал Шурка.

— Он сам,— сказал Олег.

А гроза надвигалась, торопила. Молния беззвучно зажглась в глубине тучи.

Толик, не глядя на ребят, бросил на плечо свой рюкзачок.

— Я пошел... Потому что я обещал...

— Не заблудись,— с ехидной лаской пожелала ему Люська. Пальма у нее на руках вдруг тонко тявкнула...

Гроза догнала его за лесопилкой. Пригибаясь под упругими струями, Толик бросился к домику, что стоял рядом с насыпью. Заколотил в дверь, она отошла от толчков. Толик боязливо, но быстро шагнул через порог. Он попал в полутемную комнату с большой печью и непокрытым столом. Высокая неприветливая тетка — то ли стрелочница, то ли сторожиха — молча глянула на мокрого мальчишку.

— Здрасте...— жалобно выдохнул Толик.— Я посижу здесь, пока гроза, ладно?

Тетка опять ничего не сказала и ушла за грязную цветастую занавеску. Толик присел на табурет у двери, рядом с кадушкой, от которой пахло кислой капустой.

За окнами грохотало и вспыхивало — иногда очень сильно (Толик вздрагивал). Но тугое гуденье ливня смягчало грозовые взрывы. Стены и крыша, а за ними плотная завеса дождя — это все-таки защита. Толик передохнул, обнял себя за мокрые плечи. И впервые подумал: «А как же т а м?»

Каково теперь в просвистанном бурею решетчатом фюзеляже за несколькими дрожащими листами дюраля?

«Сами виноваты»,— сказал себе Толик, но легче не стало.

От порога дуло. Толик поджал ноги в раскисших сандалиях, поставил пятки на перекладину табурета. И подумал, что в самолете дует ой-ей-ей насколько сильнее. Тетка вышла из-за ситцевой шторки, глянула



на Толика, будто все про него знала, и сердито скрылась опять. Запах кислой капусты смешивался с запахом гнилой тряпки, что лежала на полу у двери. От этого запаха было муторно и тоскливо.

Гроза шумела недолго. Минут через двадцать в ней послышалось утомление, и почти сразу ливень ослабел, будто в небе наполовину прикрутили краны. Грохотало часто, но уже без вспышек и в отдалении. Дождь стал мелким. И вдруг на залитом окне зажглись солнечные искры.

Неужели кончается? А казалось, что мрак, молнии и ливень — на долгие часы.

Толик приоткрыл дверь. Еще сеял похожий на пыль дождик, но край уходящей тучи горел расплавленной медью. Толик зажмурился и оглянулся. Тетка стояла посреди сумрачной комнаты.

— Я пойду. До свиданья...

Толик думал, что хмурая женщина отмолчится и сейчас. Но она сказала неожиданно звучно:

— Иди, иди. За всю жизнь не отсидишься.

И опять показалось Толику, что она знает, как он ушел с самолета...

Толик забрался на скользкую насыпь и пошел по мокрым шпалам к городу.

На рельсах сияли солнечные зайчики. Трава и кусты сверкали. Воздух был такой, что зажмуривайся от счастья и дыши изо всех сил. Но у Толика к нёбу и горлу словно прилипла кислая гниль из той грязной комнаты. Это был запах трусливого убежища и вины...

Когда Толик вернулся домой, мама сказала:

— Слава богу! Такая гроза... Вы под нее не попали?

Толик был уже сухой.

— Я переждал... мы переждали,— хмуро проговорил он. Запах гнили никак не отвязывался. Толик поморщился и глотнул молока из литровой банки, что стояла на подоконнике.

— Не хватай еду впопыхах. Мой руки и садись за стол. Я котлеты приготовила.

— А откуда мясо? Ты деньги получила? — без особого интереса спросил Толик (думалось совсем о другом).

— Заходил Арсений Викторович, взял то, что я успела напечатать, и сразу расплатился.

— Ты все три экземпляра отдала? Я же не дочитал..

Мама сделалась строгой.

— Отдала два. Но не потому, что ты не дочитал, а потому, что насчет третьего объясняйся сам. Стыдно, что ты до сих пор этого не сделал.

— Я много раз ходил, а его все дома нет...

— По-моему, не е г о дома нет, а совести у тебя нет. Заварил кашу, а расхлебать боишься. Нельзя быть трусом.

БРИГ «МАРИЯ» УХОДИТ

Нельзя быть трусом. Толик это понимал. Но, конечно, мысли его были не о рукописи Курганова. С рукописью — ничего страшного. Отнесет он Арсению Викторовичу третий экземпляр, объяснит, как это получилось — вот и все. Курганов поймет.

А как быть с тем, что он, Толик, ушел с самолета?

Сейчас он уже сто раз пожалел, что не остался с ребятами. Ничего бы не случилось. А если и случилось бы... Все равно, наверно, лучше, чем вот так маяться!

Как теперь посмотрят робингуды, когда он придет в штаб? Да и не придет он. Зачем? Олег все равно не простит...

Мама с Варей куда-то ушли, Толик бухнулся на кровать и разглядывал потолок. Гроза не изменила погоду, было опять душно, в комнате с ноющим звоном летала липкая тяжелая муха.

И мысли были тоскливые, как этот звон, липкие и противные, как эта муха.

...Олег не простит. Он никому ничего не прощает. Потому что справедливость для него сильнее жалости. Вот и Шурке не хотел помочь... «А разве это правильно? — подумал Толик.— Ведь Шурка совсем вымотался! Это уже не справедливость, а издевательство... А еще командир!»

Но тут же Толик одернул себя: «Ну и что? Пускай Олег такой и сякой, а ты... А ты все равно трус!»

Он как бы разделился на двух Толиков. Один хмуро и безжалостно рассуждал про вину другого, а тот, другой, почти не оправдывался, лишь иногда слабо огрызался.

Беспощадный к себе Толик заставил себя встать.

Подмел и без того чистый пол, притащил с колонки почти полное ведро, покормил остатками супа Султана, аккуратно расставил на этажерке книги.

Потом он увидел рядом с машинкой новые листы с повестью Курганова — мама сегодня напечатала. Увидел и... не сразу решился их взять. Испытал боязливую неуверенность, даже стыд: словно после трусливого ухода с самолета он потерял право читать книгу о хороших и смелых людях.

Но все-таки взял. Положил листы перед собой на подушку.

«...Федор Иванович Шемелин был тяжело и привычно озабочен. Разгрузка затягивалась. Не было уже и речи о том, чтобы выгрузить шесть тысяч пудов злополучного железа, которое лежало в трюмах на месте балласта. Но необходимо было свезти на берег сарачинскую крупу, привезенную из Японии, а также и соль, которую упрямые в дипломатии, но любезные при прощании японцы преподнесли в виде подарка всем офицерам и матросам. Надо отдать справедливость господину капитану Крузенштерну: это по его убедительному слову все господа офицеры и все служители «Надежды» порешили не продавать соль для своей выгоды, а передать ее на склады Петропавловска для общей пользы.

Но забота господина Крузенштерна о Компании на сих границах и кончилась. Отдавши распоряжение начать разгрузку, матросов на оное предприятие посылал без охоты, говоря, что опасается, как бы не занесли они на берег оспу, от которой может случиться среди местных жителей великий мор, как то было уже в 1767 году.

В словах господина капитана можно было найти известную справедливость, ежели бы осторожность его не казалась чрезмерною. Заболевший на «Надежде» солдат давно поправился, койка его, белье, платье и все вещи брошены в море, койки служителей да и весь корабль окурены солеными кислотами. Доктор господин Еспенберг твердо уверял, что опасности уже нет. Однако капитан в ответ на замечание Шемелина, что опять страдают интересы Компании, сказал, обращаясь не столько к нему, сколько к окружающим господам офицерам:

— Пришла же охота господину камергеру набирать телохранителей столь поспешно, что не поинтересовался,

была ли у каждого из них прежде оспа. Знал же, что угроза сей болезни в японских и китайских водах весьма велика...

Господин капитан-лейтенант Ратманов, офицер хотя и заслуженный, но на всякие непристойные шутки способный, тут же высказался о Николае Петровиче Резанове, что якобы страх того перед бунтом на борту «Надежды» сильнее был, нежели оспа, и чума, и холера, взятые в совокупности. Господин же лейтенант Головачев, человек совестливый, тихо сказал:

— Право же, Макар Иванович, вы опять за свое... Скоро он оставит нас, к чему вспоминать прошлое...

Господин Крузенштерн с равнодушным лицом стоял у фальшборта и в разговор более не вступал.

Шемелин пожал плечами и съехал на берег, от которого «Надежда», стоя на якоре, была в близости.

В том, что г-н Крузенштерн не имеет желания предпринимать ни малейших подвигов в пользу Компании, Шемелин убеждался все более. «И не последняя тому причина — ссора его с Начальником»,— думал Федор Иванович.

По справедливости говоря, и господин Резанов не раз подавал поводы для взаимных обид. Однако же не его, купца Федора Шемелина, дело судить прямого начальника своего. Тем более что за главное дело экспедиции — интерес Российско-Американской компании — радеет Николай Петрович всей душой.

А господин Крузенштерн последнее время не стесняется даже и открыто говорить о Компании обидные слова. Недавно, увидав на пристани промышленников с компанейского брига «Мария», капитан «Надежды» сказал господам Ромбергу и Ратманову:

— Когда мы слышали в Петербурге о богатствах Компании и благородных ее устремлениях, мыслимо ли было предположить, что увидим здесь сие убожество и небрежение начальства к простым ее служителям?

Лейтенант Ромберг, человек воспитанный и малословный, на речь эту лишь развел руками, а Ратманов громко сообщил, что от здешних комиссионеров иного и не ждал, поскольку известно, что «каков поп, таков и приход». Тут же раздался смех среди матросов. Они хотя и стояли в стороне и к разговору командиров касательства не имели, но острый на слух и на язык квартирмейстер Курганов сказал товарищам что-то о приказчиках здешних явно непристойное.

Промышленные же с «Марии» и правда были частью больны цингою и язвами, а частью грязны и в одних лохмотьях. Но отнести это следовало не Компании, а собственной их нерадивости, а также небрежению со стороны лейтенанта Машкина, коему поручено было всех этих людей отправить на своем бриге в Америку еще осенью. Убоясь несильной течи в трюме и осенних непогод, Машкин зазимовал в Петропавловске, чем причинил Компании великие убытки...

Слыша обидные слова капитана, главный комиссионер Компании Федор Иванович Шемелин осмелился вступить в спор:

— Как можете вы, Иван Федорович, судить о деле всей Компании по виду нескольких несчастных, которые и промыслом-то заняты не были, а волею случая провели здесь зиму в безделии?

Г-н Крузенштерн ответил, что судит не только по сей встрече и что насмотрелся он уже на компанейские порядки достаточно, а слышал от верных людей и того более. Несчастные промышленники, коих приказчики кормят вонючей солониной и сухарями с плесенью, настрадавшись и ожесточившись здесь без меры, столь же бесчеловечно будут мучить потом невинных туземцев. И есть тому тоже немалые доказательства.

Шемелин сказал почтительно, однако же с долею досады:

— Странно, господин капитан, слышать такое от человека, которому Компания доверила командование кораблями и свои интересы. Всем ведомо, что вы сами были среди первых, кто замышлял эту экспедицию.

— Думая о плавании, я не ждал, что главная цель его будет одна лишь выгода акционеров Компании,— резко ответил Крузенштерн.— Кроме того, компанейские интересы теперь всецело в руках господина Резанова, поскольку угодно ему было объявить себя начальником экспедиции, а мне оставить лишь управление парусами.

— Однако же Николай Петрович отправляются в Америку, и мне ли напоминать вам, что ваш долг закончить предприятие с наилучшей пользой для Компании, у которой вы на службе.

Светлые глаза Крузенштерна под глубокой треуголкой нехорошо блеснули.

— Господин главный комиссионер! Офицеру Россий-

ского флота действительно нет нужды выслушивать от купцов напоминания о долге. Смею заверить вас, что я не оставлю экспедицию, как это делает господин Резанов, измыслив для сего пустые причины.

Шемелин сказал, что оговаривать решения его превосходительства Николая Петровича, который поставлен над ними государем императором, возможным не считает. К тому же господин Резанов, как известно, не отдыхать едет, а в нелегкое плавание отправляется для обследования компанейских поселений.

Крузенштерн помолчал и сказал мягко:

— Федор Иванович, мы с вами на одном корабле немало общей каши съели, и я вижу давно, что человек вы умный, просвещенный и обязанности свои исправляете отменно. Жаль только, что ваши должности понуждают вас не видеть ничего далее сугубых выгод компанейских... Но посудите сами, может ли моряк, впервые пошедший кругом Земли, интересы плавания ограничить пользою торговой компании? Новые открытия в науках и описания неизвестных земель — не в пример ли важнее для отечества?

— Так и я, Иван Федорович, пекусь о том же,— нашелся Шемелин.— Коль скорее закончим выгрузку, больше времени останется для плавания около Сахалина.

Крузенштерн добродушно, однако с некоторой неохотою, посмеялся и сказал, что ранее, чем прибудет из Нижнекамчатска губернатор генерал Кошелев, отправляться все равно нельзя, поскольку у капитана с губернатором важные дела.

Это был еще один шаг против Резанова. Тот инструкцией своею торопил капитана «Надежды» с отходом к Сахалину, а Крузенштерн тянул, ожидая встречи с губернатором. Он надеялся, что Кошелев во всем разберется справедливо и доложит в Петербург: Резанов не пожелал идти в Америку на «Надежде» без всякого к тому повода со стороны корабельных офицеров. Без такого свидетельства возвращение в Россию могло быть просто опасным.

...Про все это думал Шемелин в то теплое и пасмурное утро на пристани, глядя, как подходит очередной баркас с «Надежды». Здесь нашел Ивана Федоровича солдат и сообщил, что его превосходительство требует господина Шемелина к себе.

Как и в прошлый приход на Камчатку, Резанов квартировал в доме коменданта порта. Шемелина он встретил в приземистом зальце с тесаными столбиками-колоннами, которые придавали деревянному помещению некоторую европейскую торжественность.

Шемелин поклонился. Резанов встал из-за широкого, крытого зеленым сукном с кистями стола. Он был в мундире и при шпаге.

— Господин Шемелин,— проговорил Резанов с неожиданной ноткой волнения.— Как вам уже известно, дальнейшее пребывание мое на корабле «Надежда» в обществе господина Крузенштерна и других господ офицеров, ему подчиненных, счел я для себя несообразным и посему хотел отказаться от дальнейшего плавания, закончив свою миссию обозрением Камчатской области. Но счастливый случай, доставивший в Петропавловск бриг «Марию», дает мне возможность до конца выполнить высочайшее предначертание и посетить наши американские владения. Вам же надлежит после плавания «Надежды» к Сахалину отправиться с господином Крузенштерном в Кантон с компанейскими мехами, где и произвести коммерцию со всевозможной для Компании выгодой...

Шемелин почтительно молчал, но в молчании пряталось удивление. Зачем его превосходительство повторяет то, что всем уже известно, да еще с такой торжественностью?

Резанов же плавно протянул к столу руку и открыл окованную серебром шкатулку, в которой держал свои важные бумаги.

— Господин Шемелин...— голос его сделался ласковее, но торжественность не пропала.— Судьба велит нам расстаться после того, как мы столько были вместе среди трудов и опасностей. Но прежде чем это случится, я хочу изъявить вам сердечную признательность за поведение ваше и службу и возложить на вас отличие, которое вы заслужили...

После того вынул он из шкатулки золотую медаль, тяжело повисшую на голубой кавалерской ленте ордена Святого Андрея. Однако же на смущенного Шемелина не надел, а положил на край стола. А из шкатулки достал шелестящий лист и начал читать, сам увлекаясь все более высотою слога и важностью минуты:

— Его императорское величество, обращая высокомонаршее внимание к трудам, на пользу отечества подъятым, высочайше уполномочить меня соизволили отличать наградами тех, коих заслуги окажутся оных достойными...

И так далее. Он долго читал, а Шемелин слушал без радости и даже со страхом. Что и говорить, награда высокая, но разве один он ее достоин? Какие бы раздоры ни случались у посланника с моряками, но без умелых офицеров и матросов никакого плавания, никаких открытий и заслуг не было бы вообще. А господа ученые! Разве мало сделали они для пользы науки российской в этой экспедиции? Господин же Резанов наградою отмечает одного главного приказчика, явно показать желая, что у иных участников экспедиции заслуг не видит и не признает.

Конечно, на то воля Начальника. Однако же его превосходительство отбудет скоро к островам американским, а ему, Федору Шемелину, с Крузенштерном и другими моряками плыть вместе до самой России. Как посмотрят спутники на эту медаль?

— Ваше превосходительство...— осторожно начал Шемелин.— Мне и слов не найти, чтобы в полной мере выразить чувствительную благодарность за ваши милости. Потому что одним только вашим милостям я и обязан столь высокою наградою. Ежели взглянуть беспристрастно, то все, что я делал до сих пор, были только самые обыкновенные труды, кои я и без всякой награды исполнять был обязан. Посему, не заслужа, стыжусь принять и носить сие отличие. Не лучше бы, ваше превосходительство, получить мне его, когда экспедиция благополучно положит якори в Кронштадтской гавани? И за особое счастие почел бы я тогда получить награду эту из собственных рук вашего превосходительства. Пока же предприятие сие не закончено...

Говорить Шемелин умел, в жизни немало пришлось иметь дел с высокоучеными господами, да и книг умных прочел он множество. Сейчас, однако, понял, что речь свою затянул чрезмерно.

Резанов смотрел на него с изумлением, с досадою, а потом и с гневом. Лицо посланника пошло малиновыми пятнами.

— Что это говорите вы, сударь! — наконец закричал он.— Предприятие не закончено! Что это значит?

Хотите ли вы сказать, как некоторые, что я экспедицию оставляю раньше сроку и тем долг свой исполняю недостаточно? Не предписано ли мне государем императором выбирать средства к наилучшему завершению дел по своему усмотрению?! От многих людей здесь мог я ожидать неповиновения и непочтения, но от вас... Любой на вашем месте счастлив был бы такой наградою! Скажите, сударь, что стало причиною такой неблагодарности и грубости вашей?!

Он долго кричал еще, гневно топоча тонкими шелковыми ногами и теребя красные обшлага мундира. Парик сбился. В глазах блестели капельки слез.

Навернулись слезы и у Шемелина. Он понял, что далеко зашел в своей щепетильности. Единого слова Резанова достаточно, чтобы обрушить на главного комиссионера Компании великие немилости и несчастья. Но пуще страха была обида. Может, подвигов он и не совершал, но не служил ли разве всей душою Компании? Не был ли Резанову надежным помощником?

Теперь одна оставалась надежда, что при своем переменчивом нраве Резанов гнев изольет быстро и успокоится.

Когда его превосходительство, часто дыша и утирая лицо, замолчал, Шемелин сказал тихо, но с достаточной твердостью:

— Воля ваша, Николай Петрович, как в милости, так и в немилости. Простите, если огорчил вас. Но одно скажу еще: в преданности моей и усердии вам сомневаться не должно.

Резанов скомкал и затолкал за обшлаг кружевной платочек, постоял, наклоня голову, потом поднял лицо и... улыбнулся. И, шмыгнув носом, будто дитя виноватое, сказал негромко:

— Прости и ты меня, Федор Иванович.— Шагнул, встал на цыпочки, поцеловал его, большого и бородатого, в щеку.— Столько досад со мною приключилось, что иногда себя не помню и забываю, кто мне истинный друг...

Шемелин стоял смущенный и растроганный.

Резанов отошел опять на шаг и проговорил потверже, но и здесь не без ласковости:

— Пусть будет по-вашему, Федор Иванович, оставим до Петербурга, хотя не находил я никаких препятствий, чтобы здесь оказать вам справедливость. Вы, господин Шемелин, человек редкий...

Утром 24 июня 1805 года офицеры «Надежды» беседовали на шканцах и смотрели, как вытягивается к выходу из гавани бриг «Мария». Матросы компанейского судна, вразнобой махая веслами, завозили на сотню сажен якорь-верп и бултыхали его со шлюпки. На бриге скрипел на всю гавань шпиль — мотал якорный канат, и судно ползло по серой с проблесками солнечной ряби воде.

— Что ни говорите, господа, а камергер Резанов — человек храбрости небывалой,— заметил Ратманов.— Иначе как решился бы он идти в плавание на судне с такой командою? — И Макар Иванович кивнул на шлюпку.— Ну да от нас, конечно, хоть куда сбежишь...

— Напрасно смеетесь, Макар Иванович,— сказал Крузенштерн.— Здешние жители не виноваты, что среди них недостает искусных моряков. Дело в будущем поправимое, если возьмутся за него умелые люди.

Ратманов хотел возразить, что коли и смеется, то не над командою брига... Но в тот момент с левого борта подошел комендантский баркас и на палубу поднялся гарнизонный офицер.

— Господин капитан! Господа! Поручено мне комендантом сообщить, что его превосходительство Николай Петрович сегодня отбывают. Комендант просит всех пожаловать к обеду, проводить его превосходительство...

Офицеры смотрели на Крузенштерна. Он сказал:

— Я уже имел честь обговорить с господином Резановым все, что касается дальнейшего нашего плавания, и не смею более отнимать его время. Что же касается обеда, то как раз в этот час до́лжно мне быть на корабле по крайней служебной надобности. Принесите господину коменданту мои извинения.

— А... другие господа офицеры? — спросил простодушный пехотный поручик.

— Что до господ офицеров, то сие на их усмотрение.

Офицеры один за другим сослались на неотложные дела. Только лейтенант Головачев молчал. И все в конце концов взглянули на него. Он покраснел и голосом, в котором чуть ли не слезинки перезванивались, но твердо проговорил:

— Ежели господин капитан не укажет мне на твердую необходимость быть по службе на корабле, я не вижу причины не поехать проводить Николая Петровича Резанова.

Всем стало жаль его. Мичман Беллинсгаузен даже закашлялся от неловкости, а Ратманов сказал с непривычной мягкостью:

— Да и мы не видим причины. Что вы в самом деле, Петр Иванович? Езжайте, коли есть желание...

В этой мягкости, однако, опять почудилась Головачеву усмешка, и он, резко отвернувшись, сказал посланцу коменданта:

— Едем, господин поручик.

Головачев ехал на берег с грустью. И с досадою на весь белый свет: на офицеров — товарищей своих по кораблю, на себя (непонятно отчего) и даже на Николая Петровича. Но сильнее досады была затаенная надежда на чудо.

Умом Головачев понимал, что мысли его — вроде тех сказок, которыми утешал он себя в детские годы, в бытность в корпусе, когда подкрадывалась нестерпимая тоска по дому или закипали слезы обиды на бойких и насмешливых товарищей по роте. Ночью, утыкаясь мокрым лицом в казенную подушку, мечтал тогда Петя, что однажды посетит их Морской шляхетный корпус матушка-императрица Екатерина Великая. И проходя перед линией выстроившихся во фрунт воспитанников, заметит небольшого роста, но на диво подтянутого и ясного лицом кадета из младших классов.

— Как твое имя? — ласково спросит государыня.

— Головачев Петр, ваше императорское величество!

— Молодец... А скажи-ка, голубчик,— обратится государыня к директору корпуса Голенищеву-Кутузову.— Каковы успехи Головачева Петра? Радеет ли?

Кутузов — вице-президент адмиралтейств-коллегии и прочая, и прочая,— бывающий в своем корпусе не многим чаще самой императрицы, растерянно смотрит на инспектора классов Николая Гаврилыча Курганова. Тот поспешно делает шаг вперед:

— Успехи отменные, ваше императорское величество! В изучении всех наук показал изрядные способности и прилежание. Поведения также весьма похвального.

— Отрадно сие... Однако же...— Матушка-императрица глядит в лицо замершему от сладкого страха кадету Головачеву.— При таком расположении и душа

должна радоваться. Отчего же глаза у тебя, Петя, невеселые?.. Далеко ли твои родители?

— Так точно, ваше императорское величество,— сипловатым от набежавших слез голосом говорит он.— В Калужской губернии. Батюшка в отставке уже... Я полгода не видел его и маменьку...

Голенищев-Кутузов бледнеет при столь неприличном и дерзком многословии кадета, но государыня кладет Пете на голову мягкую ладонь и кивает ласково. А затем строго спрашивает директора:

— Не чинит ли кто Петру Головачеву обид?

Его высокопревосходительство лепечет, что «никак нет, даже и невозможно сие», но от матушки-императрицы скрыть ничего нельзя, каждого она видит до самой души, и побледневшие Филипп Кушелев и Евлампий Левенгарц, кои вчера отобрали посланные из дому сласти да еще смеялись обидно и обзывали неженкой, опускают в великом смущении головы. Да и братья (старший — Андрей и двоюродный — Петр Головачев-первый), вспомнив, как не хотели заступиться за Петю, чтобы не ссориться с товарищами, теперь белы от страха.

И говорит великая государыня директору:

— С обидчиками учинить разбирательство и всех, кто виновен, наказать примерно...

Тогда Петя вытягивает шею, глядит на матушку-государыню во все глаза и говорит умоляюще:

— Простите их, ваше императорское величество! Вы же такая добрая! А они ведь не со злости, они просто по неразумению. Я им дурного не хочу, только пусть больше не пристают!

— Ну, коли так...— улыбается государыня. А на тех глядит строго: — Но смотрите у меня...

А потом говорит она директору корпуса:

— Ведомо ли тебе, генерал, что есть у меня мысль устроить в Ораниенбауме отдельный класс для особо прилежных и к навигаторскому и военному на море делу способных мальчиков? С тем чтобы из них выходили скорее других славные офицеры для моих кораблей? Вот и решила я, что Петр Головачев будет там среди первых воспитанников. А чтобы беспокойство о родителях не мешало его учению, надлежит им переехать в Санкт-Петербург, для чего жалую я отцу Петра Головачева добавочный пенсион и в столице каменный дом со службами...

...Ох, сказки, сказки. Хоть и понимал всю их несбыточность, а на какое-то время утешали.

Но стоит ли сейчас утешаться пустыми мечтаниями? Не дитя уже. Двадцать пять лет прожил и повидал немало. Пороху успел понюхать в девяносто восьмом году, когда наши корабли вместе с англичанами блокировали берег Голландии. В штормах бывал и ураганах, причем в таких, когда многие не робкого десятка люди прощались с жизнью, а он страха не показывал. И теперь вот обошел полсвета и дело свое исправлял не хуже других, капитан Крузенштерн подтвердить это может по совести.

Хотя и молод лейтенант Головачев, но позавидовать его морскому умению могут старые служаки, которые за всю жизнь не видели ничего, кроме Кронштадта, Ревеля и ближних балтийских берегов. Пора бы лейтенанту и внутри себя обрести твердость. Но до сих пор, когда он в тесной каюте своей не спит после вахты и вспоминает все твердосердечие людей друг к другу, все неясности в жизни и обиды, приходит жалость к себе. И, как в детстве, хочется, чтобы случилось чудо.

Вот и сейчас, под равномерное повизгивание уключин, под ровное покачивание зыби, накатывают мысли о невозможном.

...Резанов улыбнется навстречу ласковой своей улыбкой:

— Петр Иванович, голубчик, после всего, что проплыли мы вместе, зачем же расставаться? Отчего не отправиться вам со мною на Кадьяк и далее к американским берегам, а господин Крузенштерн пусть возьмет вместо вас господина Давыдова или господина Хвостова, коих назначил я вначале своими попутчиками. Тоже офицеры и тоже моряки отменные... Ваше же возвращение в Санкт-Петербург хотя и задержится, но зато польза от совместного нашего вояжа в Америку будет немалая...

Нет, несбыточно это.

А почему несбыточно?

Да потому, что ежели бы хотел того Резанов, то высказал бы такое предложение сразу, как решил плыть на «Марии».

Но, может, сперва недосуг было думать о Головачеве, а сейчас вспомнил? Можно ли помыслить, что совсем не помнит Николай Петрович того доброго, что было между ними в плавании после Нукагивы?

Отчего так тянуло Головачева к Резанову? Может быть, кто-то незнакомый с ними обоими подумает впоследствии, что лестно было молодому лейтенанту дружеское знакомство с близким царю вельможею. Или, чего доброго, придет мысль, что боялся Головачев быть замешанным среди других офицеров в дерзком неповиновении посланнику? Но все, кто знают второго лейтенанта «Надежды», не могут, не покривив душой, обвинить его в трусости или подобострастии начальству. Известно на корабле и в Петропавловске, что в прошлом пребывании на Камчатке, когда Резанов обвинял Крузенштерна в бунте, объявил его лишенным капитанской должности и предлагал всем по очереди офицерам принять начальствование над кораблем, Головачев ответил, как и прочие:

— Ваше превосходительство, кроме господина Крузенштерна, никого представить капитаном на «Надежде» невозможно. В нем одном офицеры и служители видят командира. Не мне судить о его вине перед вами, он капитан мой, и принять ваше предложение для чести офицера флота было бы немыслимо.

Не разгневался тогда Резанов, не кричал, как на других, не укорял, а только сказал печально:

— Ну, что же, Петр Иванович, мне ведомо, что вы всегда поступаете по совести.

И кто знает, может быть, и эта беседа, а не только уговоры губернатора Кошелева повернули Резанова к миру с Крузенштерном. Непрочным, правда, оказался мир, хватило его лишь на плавание в Японию. Сейчас Резанов ушел с «Надежды» окончательно. И забыл лейтенанта, который душевно сочувствовал ему в тяжелые месяцы.

Почему сочувствовал? Потому что казалось ему, Петру Головачеву, что чем-то похожи они с Резановым мыслями и характерами. Похожи, несмотря на разницу в годах и званиях. Чудилось Головачеву, что угадал он в Резанове незащищенную душу, понял его одиночество и тоску по искреннему другу.

А где взять такого друга на маленьком корабле посреди громадного и неведомого океана? Офицеры были врагами, в свите оказались люди пустые и к душевным терзаниям начальника своего равнодушные. Только Шемелин оставался надежен, но в своем звании приказчика был Федор Иванович скорее на положении слуги,

нежели товарища. Вот и потянулся Резанов к Головачеву, видя в нем одном сердечного собеседника и понимающего человека.

А потом, обретя силу и уверенность, утвердивши свое звание начальника, забыл о том, кто не побоялся пойти против товарищей ради его, Резанова, защиты.

Но забыл ли? А может быть, сегодня все-таки скажет: «Господин Головачев, зачем же расставаться нам?»

Резанов ничего не сказал. Ничего, что изменило бы судьбу лейтенанта Головачева. Он улыбался ласково, подержал Петра Ивановича за руки, говоря, что трогательно рад его приезду и дружеской верности. Но... вот и все. После Резанов не выделял уже Головачева из числа провожающих.

С частью из них Резанов чувствительно обнялся и расцеловал на берегу, другие же поехали провожать его на «Марию», которая стояла уже за пределами гавани, в губе. День был тихий и нежаркий, с влажностью в воздухе и горами облаков, из-за которых солнце опускало на зеленоватую воду косые столбы лучей. Со шлюпки поднялись все на палубу «Марии», где его превосходительству рапортовал по форме командир брига лейтенант Машкин — человек малообразованный, со злым землистым лицом, известный тем, что недавно люто наказал своего матроса кошками, и того в беспамятстве свезли на берег. Резанов, однако, кивнул ему с любезностью, а затем опять пошли объятия и поцелуи с провожающими.

— Прощайте, прощайте, друзья мои,— говорил Резанов. Голос его дрожал, и все ощущали искреннюю горечь. У Шемелина в бороде запуталась искристая капелька, остальные тоже вытирали слезы.— Коли судьба разрешит, свидимся в Санкт-Петербурге по окончании всех путешествий наших. Ежели кто не вернется, на то воля божия. Будем же помнить друг друга до конца дней. Прощайте...

Через день Шемелин записал в своем журнале:

«Прощайте»,— твердил он и тогда, когда мы, оставя уже его, были на шлюбе и находились на довольной от судна отдаленности,— отголосок поразительный для сердец, любящих сего Начальника. С полудня в 5 часов



14 числа «Мария», пользуясь попутным ветром, подняла якори и скоро скрылась из глаз наших».

Головачев растроган был при прощании не менее остальных. Он уже не мечтал о чуде и обиды на Резанова не чувствовал. Все заслонила горечь расставания.

Но когда шлюпка подходила к «Надежде», новая, непохожая на прежнюю печаль, тоска сдавила Головачеву грудь.

Это был первый приступ той скручивающей душу тоски, которая потом не раз черной гостьей приходила к Головачеву...»

Тоскливо снова сделалось и Толику. До слез.

Подошел Султан, ткнул Толика носом под локоть: ты чего?

А чего он, в самом деле?

Будто наяву, Толик видит невысокую корму с решетчатыми окнами и надписью «Марія», человека на этой корме. Человек поднял треугольную шляпу и повторяет с горечью: «Прощайте, прощайте...» И печальное эхо разносится над водой. И здесь, сейчас, отдается в комнате. В ушах у Толика отзывается.

Это слово не Резанов говорит друзьям. И не Головачев ему отвечает. Это, видимо, Толик прощается с робингудами.

Он, Толик, тоже оставил экспедицию на полпути...

«Ну, что я такого сделал?! Никаких важных дел там не было, никто из-за моего ухода не пострадал! И я же не начальник был... Я объяснил, что домой надо, и они сказали: «Иди...»

«И ты пошел, потому что боялся. И все это видели».

«Если бы сказали: «Не ходи», я бы остался».

«А они не сказали, хотели испытать тебя. И поняли, что ты трус».

«...А может, все-таки не поняли?» — с горькой надеждой подумал Толик.

ВЫСТРЕЛ

Около восьми часов пришли мама и Варя. Веселые. Похвалили Толика за порядок в комнате, а на хмурый вид его не обратили внимания. Были они заняты разгово-

ром о каком-то своем деле. Что за дело — Толика сейчас не интересовало. Его грызли все те же мысли: о робингудах и о своем дезертирстве.

Грызли и тогда, когда все уже легли спать.

Шторки были задернуты, но светлая июльская ночь сочилась в щели и сквозь тонкую ткань. Мама и Варя тихо дышали во сне, а Толику думалось, думалось... Наконец, чтобы уйти от своих мыслей, Толик опять взялся за «Острова в океане». Сделал из одеяла шатер и включил фонарик.

...И ушел Толик от своей печали и тревог в другое время, к печалям и тревогам других людей, которые жили давным-давно. Но оттого, что людей этих нет уже на свете, их тревоги не казались маленькими и далекими.

Толик прочитал о плавании Крузенштерна вдоль берегов Сахалина и о том, как ошибся капитан «Надежды», решив, что Сахалин — полуостров. О том, как вернулись моряки на Камчатку, исправили корабль, выгрузили наконец злополучное полосное железо и получили долгожданные письма с родины. Как Крузенштерн вздохнул с облегчением, узнав, что жалобы Резанова и обвинения в бунте действия в Петербурге не возымели и можно со спокойной душой плыть в Китай, а затем и домой.

Настроение у моряков было радостное. У всех, кроме лейтенанта Головачева. Лейтенант чувствовал себя нездоровым, и на душе лежала тяжесть. Службу Головачев нес исправно, но в свободные часы был один в своей каюте или рассеянно бродил по кораблю, избегая разговоров.

Однажды, когда шли уже вблизи китайских берегов, зашел Головачев в кают-кампанию, где астроном Горнер на столе раскладывал широкие листы — наброски будущих карт. Оглянувшись на Головачева, Горнер ласково сказал:

— Вот и ваше имя на карте, Петр Иванович. Мыс Головачева на Сахалине. Не правда ли, сие греет душу?

— Теперь, как бы рано ни кончилась моя жизнь, какой-то след на белом свете я оставлю,— серьезно ответил Головачев.

— Зачем же вам думать об окончании жизни? Она у вас еще вся впереди!

Лейтенант покачал головой.

Горнер участливо сказал:

— Петр Иванович, с некоторых пор замечаю я, да и не только я, вашу странную задумчивость. Неужели причина ее те давние прискорбные события, о которых пора забыть?

— Может быть, и пора, да ведь не получается,— тихо сказал Головачев.— Как забыть, если вижу каждый день людей, которые считают меня отступником чести?

— Помилуйте, кто же так считает? — воскликнул Горнер.— Господа офицеры искренне озабочены вашим печальным состоянием.

— Так ли? — усмехнулся Головачев.— А не вернее ли думать, что озабочены они другим? Не исключено, что при возвращении нашем будет разбор того случая в Нукагиве, и господа офицеры опасаются, что я покажу против них...

— Кто же так думает?.. Да и какой может быть разбор, когда государь уже прислал господину Крузенштерну высочайшие рескрипты с наградами? Случай тот давно предан забвению, а о вас товарищи никогда не могли помышлять ничего худого. А если уж вы так мучаетесь, не проще ли все выяснить в честном разговоре с господином Крузенштерном?

Головачев недовольно пожал плечом, отчего эполет его приподнялся, как крылышко. В разговоре с капитаном не было надобности, потому что такая беседа уже состоялась два дня назад.

— Петр Иванович,— напрямик сказал тогда Крузенштерн.— Я догадываюсь о причинах вашего расстроенного состояния. Вам кажется, что несогласие с товарищами в том деле вызывает к вам скрытую нелюбовь и неуважение офицеров. Ну, честное же слово, это не так. Защищая господина Резанова, вы были искренни, и одно это уже оправдывает вас...

— Я не ищу оправданий, господин капитан,— сухо отозвался Головачев, но в сухости этой отчетливо проступила жалоба.

— Петр Иванович... Все считают вас прекрасным моряком и достойным товарищем. И право же, не стоит больше об этом...

— Вы правы, об э т о м не стоит,— отозвался Головачев. Но о другой причине своего удрученного состояния он говорить и вовсе не мог. Причина эта — предательство Резанова.

Много раз приказывал себе Головачев не думать

о Резанове. Но мыслям не прикажешь. Обида не исчезала. Тоска приходила все чаще. «Отчего так устроена жизнь,— думал он,— что люди не могут положиться друг на друга и не ведают ни привязанностей, ни благодарности?»

«...В китайский порт Макао «Надежда» пришла 20 ноября 1805 года. Встали на рейде гавани Тейпу. Ждали теперь «Неву».

Лисянский должен был вернуться от берегов Америки с грузом. Предстояло заняться торговыми делами, дабы исполнены были планы Российско-Американской компании.

Но не все верили, что «Нева» придет. Капитан-лейтенант Крузенштерн не верил. Капитан-лейтенант Ратманов не верил. И другие офицеры не верили. Конечно, они не сомневались в своем товарище Юрии Лисянском, но думали, что Резанов, повстречавши «Неву» в американских гаванях, оставит корабль там для своих нужд. А посему склонялись многие к плану, чтобы, подождав еще немного, отправляться к родным берегам, по которым все стосковались без меры.

Но главный комиссионер Компании Шемелин не мог допустить мысли, что экспедиция вернется, не совершив торгового оборота. Ради чего стоило тогда идти кругом света, подвергать корабли, людей и компанейское имущество всяким опасностям?

Шемелин упорно спорил с офицерами и старался не пропускать ни одного разговора, где можно было бы доказать, что «Неву» следует ждать хоть год, хоть два.

Один разговор такой был утром на палубе «Надежды», когда матросы занимались уборкою, а офицеры вышли из кают, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха.

Но не было свежести. С утра над желтой водой гавани Тейпу, над бамбуковыми парусами джонок, над береговыми крепостями, над изогнутыми по краям крышами Макао растекалась липкая духота. С запахом гнили от воды и чадом береговых таверен.

Ратманов, дергая расстегнутый воротник мундира, помянул всех чертей (морских и сухопутных). Затем, обращаясь к офицерам и более всего к капитану, сказал

— У господ купцов одни прибыли на уме. А мы здесь варимся заживо.

Шемелин, оказавшийся тут же, вздохнул вроде бы спокойно, однако со спрятанной большой тревогой:

— Опять вы, Макар Иванович, купцов поносите. А о чем же купцам думать, как не о прибылях? Что здесь худого?

— Худое то, что ради выгоды вашей множество народу страдает. В Америке — промышленные люди в бедности мрут, а здесь — мы от жары подыхаем и ждем неизвестно чего...

— Подождем еще две недели, как уговаривались,— покладисто сказал Крузенштерн.— Ежели и тогда не будет «Невы», подымем якоря. На «Надежде» товару почти нет, нечего и начинать торговлю.

— Да не будет «Невы», не пустит ее Резанов! — с досадою воскликнул Макар Иванович.— Хотите пари? Любые тысячи готов заложить, да и голову свою заодно!

Осторожно смеясь, Шемелин сказал:

— Вы, Макар Иванович, столь великим закладом всех уверить хотите, что «Нева» не придет. Но как вам о сем знать с точностью? А вдруг случится не по-вашему? И большие деньги, да и голова есть вещи немаловажные, зачем же рисковать... Вот ежели бы пари заключить поменьше да попроще, на то я пошел бы с охотою.

— На какое же? — усмехнулся Ратманов.

— Давайте так. Если придет «Нева», ставите вы дюжину бутылок мадеры, дабы поздравить господина Лисянского с благополучным прибытием. Ну, а не придет — тем же расплачиваюсь я.

— Охотно! А кто еще спорит со мною? — с хмурым каким-то азартом отозвался Ратманов.

Крузенштерн, странно глянув на приказчика, вдруг сказал:

— Я согласен с господином Шемелиным, что «Нева» должна вот-вот быть в Макао. Ставлю на том лисицу. Согласны, Макар Иванович?

Другие офицеры, увлекшись, тоже заключили пари — кто за приход «Невы», кто против. С Ратмановым, с Шемелиным и друг с другом.

— Ну, а вы, Петр Иванович? — оборотился Ратманов к лейтенанту Головачеву.

— Уверен, что «Нева» будет,— негромко отозвался Головачев.— Господин Резанов не тот человек, чтобы ради личных удобств задержать корабль и навредить многим людям...

— Ну, каков господин Резанов, нам ведомо...— начал Макар Иванович, но под взглядом Крузенштерна сменил тон.— Ну, так заключаем пари с вами? Что ставите?

— Что угодно,— равнодушно сказал Головачев.— Хоть все меха, что купил на Камчатке.

— Проиграть не боитесь?

— Ежели и проиграю, что за беда? В том ли богатство?

Поспорили каждый на сшитую из куниц парку и на десяток лисиц.

Шемелин был доволен. Ему казалось, что пари между офицерами заставит их не так настаивать на скором отходе.

...«Нева» пришла в ночь на 3 декабря, через неделю после спора на палубе «Надежды».

Ратманов подошел к Шемелину, поздравил с прибытием долгожданного корабля и подал письмо, которое привезла с подходившей «Невы» лодка португальских купцов. Письмо было от приказчика Коробицына, ходившего в Америку с Лисянским. Шемелин прочитал его на юте при свете гакабортного фонаря.

Из письма ясно стало, что «Нева» в Америке даже и не встречалась с Резановым.

Не скрывая торжества, Шемелин сказал Ратманову:

— Если бы мы не дождались «Неву» несколько дней и ушли бы в Россию, то, признайтесь, Макар Иванович, не послужили бы уверения ваши к великому вреду интересам Компании?

Потом Шемелин записал в своем «Журнале» со смесью удовольствия и досады: «От сих слов хотя заря румяная и показалась на щеках его, но он скоро отверг от себя всякую стыдливость и закрыл громким хохотом с непристойной бранью: «Черт ее знал (то есть «Неву»)! Я так думал!»

Оставим на совести приказчика Шемелина эту сцену. Трудно поверить, что при свете желтого фонаря он смог различить на щеках Макара Ивановича «румяную зарю», если бы такая и появилась. И едва ли Ратманов мог страдать оттого, что едва не причинил убытков комиссионерам, которых терпеть не мог.

— Что касаемо вашей Компании, то я о ее интересах при споре и не помышлял,— сказал он Шемелину.

— Что вы помышляли, а что нет, Макар Иванович, теперь неважно... Чьи ж пари?

— Ваши, ваши! Завтра же расплачусь.

И Ратманов заплатил всем свой проигрыш немедля, только Шемелина просил подождать, поскольку за мадерой надо было ехать на берег. Отдавая кунью парку и десять лисиц-огневок Головачеву, он хмуро сказал:

— Шемелин вне себя от счастья... Дело в том, что Лисянскому просто повезло: не встретил он Резанова. А то, без сомненья, зимовала бы «Нева» на Кадьяке...

Головачев спорить не стал. Выигранные меха ногой отодвинул в угол каюты. Лег на койку. При упоминании о Резанове опять пришла глухая тоска и не отпускала до утра. А утром сделалась тяжелее прежней — липкая, как желтая духота над гаванью Тейпу. Тоска и обида: не на Резанова уже, а скорее, на всю жизнь, в которой есть место измене и равнодушию.

Оставаться на корабле было выше сил. Головачев рад был случаю съехать с другими офицерами на берег. Под предлогом нездоровья отказался он обедать вместе со всеми в богатой португальской таверне и незаметно оставил шумную компанию. Пока шли в таверне разговоры и обмен новостями, пока спорил Шемелин с Крузенштерном и Лисянским о торговых делах, Головачев один бродил по городу.

Полдня ходил он без цели среди больших зданий португальской колониальной постройки и среди кривых лачуг, по набережной и рынку с дымом жаровен и криками торговцев. На диковинки и редкости, что продавались в лавках, смотрел без прежнего интереса, на богатство — без зависти, на нищенство — без сочувствия. Лишь в те минуты, когда видел голых, копошащихся среди мусора и мух ребятишек, просыпалась колющая душу жалость. С детства не выносил, когда страдают маленькие. В корпусе несколько раз шел под розги, взявши на себя вину младших кадетов...

Сейчас дал несколько монет согнувшимся до земли родителям голодных детишек и ушел поскорее из нищего квартала. Бежал со стыдом. Какой монетою откупишься от страданий человеческих?

Любил о сем предмете говорить и Резанов, когда беседовали они вдвоем. Сетовал Николай Петрович на жестокосердие людское, от которого много на свете боли и несправедливостей. Верил тогда ему Головачев... А сейчас? Сделает ли Резанов что доброе для облегчения жизни промышленных людей и жителей островов амери-

канских, как обещал? Или правду говорил Ратманов, что печется его превосходительство лишь о прибылях, потому что сам вложил свои капиталы в дела Компании?

Верилось, что сделает. Николай Петрович — человек добрый и честный. Но... вспоминалось и другое. Как не отпустил Резанов на родину японских рыбаков, принесенных бурею к берегам Камчатки. Не отпустил, несмотря на просьбу Крузенштерна. Объявил, что якобы сделать сего без дозволения государя императора не может... Рыбаки, обманувши сторожей, без пищи и воды, на утлой байдаре уплыли с Камчатки. По слухам, они благополучно добрались до родины, господь был к ним милостив... Но почему не мог быть милостив Резанов? Срывал на бедняках досаду за свое неудачное посольство в Нагасаки?

Ну, в конце концов, что Резанову какие-то незнакомые японцы? Не ощутил он сердцем их несчастий и тоски по дому... Но как он мог бросить Петра Головачева? Оставил, будто случайного надоевшего попутчика... И обиды этой не изжить, потому что нет ничего больнее предательства...

В лавчонке под бамбуковым навесом сидел старый китаец, крутил в руках кусок желтого дерева и кривой нож. Сыпалась из-под ножа мелкая, как пыль, стружка. Полки были установлены деревянными драконами, фигурками неведомых зверей, куклами, идолами всяких размеров и бюстами-портретами, что в отличие от идолов и зверей вид имели человеческий и живой.

Два английских матроса вертели в руках бюст и сдержанно гоготали. Были, видимо, довольны сходством. Сходство с одним из матросов и вправду было явное...

Неясная еще мысль мелькнула у Головачева. Постоял он, криво усмехнулся, спросил у резчика по-английски:

— А меня сделать можешь?

Китаец заулыбался беззубо, закивал, выдернул из-под себя лист картона, макнул в пузырек с тушью бамбуковую палочку. Пристально и твердо, несмотря на улыбку, глянул на офицера глазами-щелками и фантастически быстро набросал на шероховатом листе его черты — анфас и в профиль.

Головачев, узнавши себя как в зеркале, поразился сходству. Испугался даже. И сразу подумал: «Значит, судьба».

Пришептывая, на ломаном английском языке китаец сказал, что господин может прийти вечером, заказ будет готов. Головачев кинул ему в задаток португальский пиастр и до вечера бродил среди разноязычного многолюдья или сидел на берегу, где от воды пахло гнилью и человеческим потом. Зашел в таверну, выпил кислого теплого вина, хотя раньше не пил даже в праздники за обеденным столом.

Ближе к сумеркам пришел он в лавку китайца. Бюст был готов, и Головачев опять вздрогнул, уловивши живое сходство.

«Меня не будет, а он останется...»

«Ну, что же, так и надо. Пусть помнит...»

На этом Толик уснул.

Проснулся он поздно. Тупо болела голова, скребло горло. Но Толик жаловаться не стал и поднялся сразу. Аккуратно застелил постель и стал делать все, что велят мама и Варя: сходил за водой и за хлебом, помыл после завтрака тарелки, помог Варе выжать и развесить на дворе выстиранное белье... Хмурой покорностью он как бы казнил себя за вчерашнее.

Мама печатала. Перед обедом она закончила предпоследнюю главу и сказала, чтобы Толик проложил копиркой новые листы. Последнюю порцию. А сама пошла к знакомой машинистке — просить свежую ленту к своему «Ундервуду».

Варя окликнула Толика из кухни:

— Ты не забыл, что хотел сходить на рынок за картошкой?

— Ужасно хотел. Аж вспотел весь,— буркнул Толик. Но сложил в пачку готовую к работе бумагу и пошел.

Когда он вернулся, дома не было ни мамы, ни Вари.

Толик снова сел читать. Царапанье в горле прошло, голова тоже почти не болела, лишь кружилась немного.

Глава называлась «Выстрел».

Толик прочитал полстраницы и услышал, что в наружную дверь стучат. Так размеренно и аккуратно стучал лишь Витя Ярцев — когда приходил с поручением от Олега. У Толика замерло и часто застреляло сердце. Он выскочил в коридор.

— Здравствуй,— привычно сказал Витя. И сбился. Виновато махнул ресницами и стал смотреть в пол. Он

держал сломанный пополам деревянный меч и разорванный до половины картонный щит. Его, Толика, меч. Его щит.

— Вот,— проговорил Витя.— Олег велел отдать... Потому что мы так решили.

— Что решили? — тихо спросил Толик. Хотя все, конечно, понял. Ох как тошно ему сейчас было...

Витя поднял наконец глаза. И сказал тверже:

— Потому что мы тебя исключаем. Раз ты бросил нас в опасный момент.

Толик молчал. Стоял прямо и спокойно. Этим внешним спокойствием, этим молчанием он только и мог защитить себя от стыда и горя. Хоть чуть-чуть защитить.

— Ну... вот. Все,— опять виновато сказал Витя. И положил картон и обломки к Толькиным сандалиям.— Я пошел...

— Хорошо,— отозвался Толик.

— А может... ты что-то сказать хочешь?

— Нет. Зачем?

Это было для Вити уже непонятно. Кажется, он ждал, что станет Толик оправдываться. Не дождался. Повторил растерянно:

— Тогда я пошел.

— Иди.

Витя неловко двинулся по коридору. Толику очень захотелось заплакать. Он даже подумал, как придет в комнату и уткнется носом в подушку... Но сейчас плакать было еще нельзя. И он смотрел в спину робингуду Ярцеву и вдруг вспомнил, как шли они друг за другом по сучковатому стволу.

— Подожди,— сказал он, и Витя быстро обернулся.

— Что?

— Скажи... вашему командиру...— Толик переглотнул.— Он, конечно, смелый и вообще... И все вы тоже. Но если человек тяжесть несет, ему надо помогать, чтобы не упал.

— Ты не сорвался, а просто сбежал,— тихо возразил Витя.

— Я не про себя, а про Шурку.

Нет, он не стал плакать, когда вернулся в комнату. Сделалось немного легче оттого, что он сумел в чем-то

упрекнуть робингудов. Он, Толик, плохой, но и они тоже виноваты... Это было хотя и чахленькое, но все-таки утешение...

Сломанный меч Толик отправил в печку: все равно не починишь, да и зачем он теперь? Хотел сунуть туда же и порванный щит. Не нужна ему теперь эта рыцарская эмблема.

Но в последний момент он передумал.

Увидел в углу щита звездочку и передумал.

Такая звездочка... Как на рукаве гимнастерки... Если сжечь, значит, он, Толик, совсем уже никто? Хуже всех?

Он всхлипнул наконец и начал с сумрачным упорством искать по ящикам конторский клей. Нашел пузырек. Склеил щит по разрыву, придавил к полу, подождал, когда высохнет. Потом, стискивая зубы, прибил щит к сыпучей штукатурке над своей кроватью. Назло робингудам. Назло себе. Назло слезам.

Затем он снова потянулся к листам с главой «Выстрел».

«...Корабль мягко качало. В ящике стола, царапая дерево, ездил туда-сюда пистолет со свинченным курком. Курок испортился еще на Камчатке, когда были на охоте. Давно следовало отдать в починку слесарю Звягину или заняться самому, да все недоставало времени.

Головачев уже который день подряд писал письма. Родным, капитану и даже государю. Чтобы объяснить, почему же такое случилось с ним, с лейтенантом Петром Головачевым... Вначале слова находились с трудом, а потом словно что-то открылось в душе, и фраза за фразой потекли на бумагу.

Качка не мешала привычной руке. Трудно было только попадать пером в горлышко пузырька с чернилами, а затем перо быстро бежало по бумаге, выводя слова боли и упреков.

В самом деле! Разве не виноват капитан, что затевал ссоры с Резановым? Не будь тех ссор, не ожесточилась бы душа Резанова, не покинул бы он «Надежду», не оставил бы Головачева.

А офицеры? Разве за добрыми словами не прятали они затаенной злости?

А господа ученые? Разве на пути в Зондском архипелаге не ощутил однажды Головачев в своей тарелке едкой горечи, какая бывает в отравленной еде? Кто, кроме доктора Эспенберга, мог подсыпать порошок? Сумасшедшая мысль? Как знать...

Отрывочные воспоминания о случайных словах и непонятных взглядах, о подозрительных фразах теперь складывались в ясную картину. Он, Головачев, был лишний на корабле, его ненавидели и боялись. И дружбы с Резановым простить не могли.

Что же, господа, вы увидите, как поступает в таких случаях человек чести. Пусть будет вам это и упреком и возмездием. И е м у тоже.

Испытывая облегчение, будто кончил тяжелую работу, Головачев подписал конверты, перевязал и положил в ящик с пистолетом. Затем вышел на палубу.

Здесь он увидел Шемелина.

— Слава богу, я все теперь кончил,— сказал он, улыбаясь.

— Что же такое вы кончили? — спросил Шемелин.— Конечно, писали что-нибудь?

— Да, писал. Но теперь уже устал и больше писать не буду...— Головачев опять улыбнулся.

— Как же не будете? — засмеялся Шемелин.— Вот почти перед глазами нашими лежит остров Святой Елены. Там вы, без сомненья, найдете новые предметы, достойные вашего пера.

— Может быть, и так,— вздохнул лейтенант и отошел.

Шемелин смотрел вслед ему с беспокойством. Он помнил вечер, когда корабль находился против мыса Доброй Надежды. Тогда Головачев передал Федору Ивановичу пакет с бумагами и просил сохранить до Кронштадта. Сказал, что здоровье его расстроено и мало надежды вернуться домой.

Шемелин упрекнул его за столь печальные фантазии, но Головачев ответил, что передал пакет лишь на всякий случай.

— А бюст свой мне отдали тоже на всякий случай? Кстати, что за странная приписка на пакете? «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Кому же это?

— А вы не догадались?

— Уж коли вы, не дай бог, в самом деле умерли бы, то кому же его отдать, как не вашим родителям?

Головачев покачал головой. Шемелин высказал еще

несколько догадок, затем недоуменно развел руками.

— Он — для Николая Петровича Резанова,— тихо сказал Головачев.

Шемелин изумился:

— Да ему-то на что? Неужели думаете вы, что записаны в вельможеские друзья?

— Не думаю,— усмехнулся Головачев.— Но он поймет...

Николай Петрович Резанов не узнал об этом разговоре и не получил бюста. Зимой 1807 года, после плаваний и приключений в Русской Америке и Калифорнии, он возвращался в Санкт-Петербург через Сибирь, простудился и умер. Могила его в Красноярске. Далеко-далеко от другой русской могилы, что затерялась на острове Святой Елены.

...Остров встал из моря суровым нагромождением утесов, и среди этих громадных и сумрачных скал городок Сент-Джеймс, лежащий в узкой долине, казался милым и уютным.

Увидев его, Головачев ощутил спокойствие и даже беззаботность. Словно маленький кадет, которому судьба подарила лишний день каникул. Как будто сперва решено было ехать из родного дома в корпус сегодня и вдруг перенесли отъезд на завтра. Вещи уложены, забот никаких, а впереди еще целый день. Можно не спеша побродить по любимым местам, осмотреть все с ласковой грустью, посидеть в гостиной, где громко тикают на камине старые часы с бронзовыми завитушками. Полистать в отцовском кабинете тяжелые, похрустывающие от старости книги...

Так и сейчас.

Съехав на берег, ходил Головачев по тихим улицам один и со спутниками: с офицерами, с Шемелиным, с доктором Эспенбергом (забывши недавнюю ссору с ним и упреки в попытке отравления). Был спокойно весел. С улыбкой рассказал Федору Ивановичу, как видел в окно одного дома молодую мать, которая забавно играла с девочкой-малюткой. Признался, что детей он очень любит. В доме у майора Сайла, где Крузенштерн снял квартиру и офицеры были в гостях, Головачев, как маль-

чик, возился с хозяйскими ребятишками, бегал с ними по комнатам, играл в прятки. Особенно много веселился он с пятилетней девчушкой Джесси: вертел ее на руках, болтал с ней, угощал конфетами...

Следующим утром, в последнем письме, написал он, что именно эта девочка подарила ему еще день жизни...

Когда ясное небо уже было испещрено звездами и теплый ветер мягко трогал деревья, Головачев вернулся на «Надежду». По-прежнему спокойный и ласковый со всеми. С ночи заступил он на вахту и был на ней до восьми утра.

Утром седьмого мая, когда многие уже поднялись на палубу, а Крузенштерн съехал на берег, Головачев весело разговаривал со всеми, кого видел, шутил с Шемелиным, подталкивая его под бока.

— Да полно вам,— добродушно ворчал Федор Иванович.— Иди-те, играйте вон с молодыми.

Головачев смеялся.

В восемь часов он прошел к себе в каюту.

День каникул был окончен, ночь тоже прошла, наступило утро прощания. И тяжелая тоска разом упала на Головачева. Как в давние времена при прощании кадета Пети с домом.

...Остались считанные минуты. Лошади уже поданы к крыльцу, и чтобы сократить неизбежную и давящую до слез печаль, Петя начинает торопить время. Пусть уж скорее все кончится. И тоска эта кончится... Он уныло топчется на крыльце, пока дворня укладывает в бричку баулы. Брат, которому надоела деревня и который рвется в корпус к товарищам, устроился уже в коляске. Пора и ему, Пете. Скорее уж — проглотить комок слез — и в путь...

Он вынул из ящика пистолет.

Тяжелый кремневый пистолет был заряжен еще со времен Камчатки. Так и не выстрелил, когда отвалился курок. Но сейчас курок был не нужен. Фитиль надежнее, не случится осечки».

...«Не надо!» — отчаянно подумал Толик.

Он знал, что э т о случится. Случилось сто сорок два года назад. Но все-таки надеялся на чудо.

«Не надо»...

«Не надо!» — мысленно крикнул себе Головачев. Тот маленький Петя крикнул на крыльце.— «Не хочу уезжать!»

Он качнулся назад, к двери.

Вбежать в родные комнаты, остаться в них навсегда! Вцепиться в столбики перил на лестнице, в шкаф, в кровать. Стиснуть закаменевшие пальцы, чтобы не оторвали, не увели!..

Но все равно уведут. Уговорят, заставят. Скажут: «Надо». Никуда не спрячешься, никуда не уйдешь от этого железного «надо». Он, задержав всхлипы, последний раз обнимает маменьку и отца, на секунду утыкается лицом в грудь старой няньке и деревянным шагом идет к бричке...

Непослушными пальцами Головачев оторвал от платка полоску и скрутил в жгут. Выбил из кремня искру. Фитиль затлел. Головачев помахал им в воздухе. Появилось странное ощущение: будто не он все это делает, а кто-то другой. Он же смотрит на этого другого и снисходительно усмехается.

С этой усмешкою Головачев сел на стул между койкой и комодом. Голова гудела от торопливо выпитой бутылки ликера.

Головачев уперся правым локтем в комод, а ствол поднес к губам. Левой рукой придвинул фитиль к затравке...»

...Толик будто ощутил на губах вкус холодного, пахнувшего пороховым нагаром железа (так пахли стволы у охотничьего ружья Дмитрия Ивановича).

«Не надо! Не...»

Толик полчаса лежал ничком, и в ушах звенело от тишины, как от прогремевшего выстрела.

Потом он сказал лейтенанту Головачеву:

«Зачем ты это сделал?»

Головачев ответить не мог.

«Запутался, да? — зло спросил Толик.— Значит, если человек запутался, сразу пулю себе в глотку?»

Молчал лейтенант, похороненный с воинскими почестями на острове Святой Елены. Не было его. И не было тех, кто его знал и мог хоть что-то объяснить.

«Ну, а я-то при чем?!» — крикнул себе Толик. Но едкое чувство виноватости не прошло.

«Я тоже запутался,— понял Толик.— Этим мы похожи...»

Подошел Султан, вопросительно махнул хвостом.

— Нет,— сказал Толик,— не бойся. Я стреляться не буду. Черта с два...

Но что же все-таки делать? Как снять с души эту ржавую корку вины? С кем посоветоваться?

«С Кургановым,— подумал Толик.— Отнесу ему повесть и заодно все расскажу. Он поймет...»

Стало легче. Толик встал. Поднял с пола молоток и еще раз ударил по гвоздям, которые держали на стене щит с эмблемой. Так ударил, что вдавил картон в штукатурку.

Потом он взял Султана и пошел с ним купаться. Не на Военку, а к другой запруде, у моста. Здесь он повстречал вернувшегося в город Назарьяна. Они долго бултыхались в теплой мутноватой воде.

ФЕНИКС

Вернулся Толик поздно. Получил за это от мамы легкую нахлобучку, подурачился с Варей и почувствовал, что все в жизни встает на свои места. Не такая уж она плохая, жизнь-то...

Но когда он лег, опять подкрались беспокойные мысли. Они боятся подползать, пока человек движется, занимается делами. А как ляжет — опутывают клейкой паутиной...

И пускай бы тревожные, но отчетливые, такие, чтобы можно было разобраться. А то ведь путаница. Про грозу и самолет, про пистолет без курка, про порванный картон с эмблемой. Про Головачева, про Шуркин рюкзак. И весь этот клубок ворочается, как в густом киселе, в ощущении вины и смутного страха.

Сон иногда накрывал Толика, но и во сне было не легче. Толик видел, как вдоль строя английских солдат, опустивших к земле штыки, движется черный бархатный балдахин. Позади идут офицеры «Надежды», держа под мышками треуголки. Лысый, с белыми бакенбардами доктор Эспенберг тихо говорит Крузенштерну:

— Иван Федорович, вы же ни в чем не виноваты.

Он был болен, вот и написал такое письмо. И не вам одному... Можно скорбеть о погибели, но обвинить себя нет никакой причины...

Крузенштерн молчит. Он знает, что причина есть, хотя еще и не разобрался в ней. И оттого, что не разобрался, особенно тяжело. Тот же клубок мыслей, что и у Толика.

Крузенштерн оборачивается к Толику:

— Ладно, я виноват. Но он-то зачем так? Тоже бросил экспедицию. Резанов бросил, он бросил...

Толик сжимается — сейчас Крузенштерн скажет: «И ты!»

Но Иван Федорович ничего не говорит больше, берет его за руку и ведет обратно. Они поднимаются на палубу «Надежды». Паруса неподвижно и туго надуты, хотя корабль стоит у пристани... Но он недолго стоит. Крузенштерн кладет руку на штурвал, и «Надежда» начинает скользить в вечерней тишине.

Она не над водой скользит, а над булыжными мостовыми. Вдоль старых домов, где зажигаются желтые окошки. И Толик видит, что это не Сент-Джеймс, а Новотуринск. Знакомые улицы — Ямская, Уфимская, Запольная. Только желтые акации разрослись в громадные деревья. Мачты и реи цепляются за ветки с перистыми листьями и стручками. Подсохшие стручки лопаются, семена-горошины сыплются дождем и стучат по твердым выпуклым парусам.

...Это мамина машинка стучит. Маме надо как можно скорее допечатать последние листы «Островов в океане».

Мама печатала и утром. Сквозь сон Толик услышал рассыпчатый треск «Ундервуда».

Просыпаться окончательно и вставать не хотелось. Опять скребло в горле, и тупая боль вдавливала голову в подушку. Толик в полудреме томился страхом, что его сейчас заставят подняться и пошлют за водой, или в магазин, или на рынок. Нет, не подняли, не послали. Хорошо-то как...

Лишь в десятом часу, закончив печатать, мама сказала:

— Вставай, все равно уже не спишь. Мы с Варей уходим, у нас масса дел... Картошка на сковороде, молоко в кухне на подоконнике...

— Угу...

— Поешь, а потом разбери и разложи по экземплярам последние листы, я все напечатала.

— Ага...

— Не «угу» и не «ага», а вставай... Отнесешь работу Арсению Викторовичу. Не тяни, он просил поскорее...

Мама с Варей ушли. Толик побрякал умывальником, смочил глаза и нос. Поковырял вилкой жареную картошку. Есть не хотелось, под желудком тяжелым комком шевелилась тошнота.

Толик побрел к столу с машинкой. Здесь лежали последние страницы повести, штук тридцать. Толик брал сложенные вместе три листа, прочитывал верхнюю страницу, убирал копирку и раскладывал листы по трем папкам.

Он зачитался и забыл про боль в горле и тошноту.

...«Надежда» вернулась в Кронштадт, где уже стояла пришедшая двумя неделями раньше «Нева»... Пробежали годы... Вышли книги о первом плавании россиян вокруг земного шара. Вышел знаменитый «Атлас Южного моря», составленный Крузенштерном. Другие русские капитаны уже не единожды совершали кругосветные плавания. Однако первые — всегда первые, им особая слава и честь. Эта слава до конца дней будет с Крузенштерном.

Но слава — она как блеск парадных эполет, более заметна другим, чем самому. А для самого человека важнее славы память.

В памяти же кроме побед и подвигов — горькие ошибки и утраты. Есть ошибки, в которых никто не усмотрит вину капитана. Но не будет и оправдания, потому что он не может оправдать себя сам. Да и надо ли оправдываться? Что было, то было. Он не привык прятаться ни от опасностей, ни от чужих упреков, ни от собственной совести.

А в памяти — острова. Тенериф и Святая Екатерина, Нукагива и легендарный, так и не найденный (но столько раз словно виденный наяву) Огива-потто... Гавайи, Япония, Курилы, Сахалин... И остров Святой Елены, где на маленьком кладбище камень с непривычными для местных жителей русскими буквами. Самая горькая память, самый тяжелый упрек.

Ну, а разве он, капитан Крузенштерн, мог знать, что все так кончится? Разве не пытался утешить и успокоить второго лейтенанта «Надежды»?

«Вы все-таки оправдываетесь, господин капитан-лейтенант... господин контр-адмирал! Зачем?»

«Я не оправдываюсь. Я просто до сих пор не могу понять причину...»

Острова — как люди. Люди — как острова. Мало увидеть остров в океане и обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Надо изучать долго и старательно. Лишь тогда можно сказать: открыл.

А всегда ли есть на это время? Мир велик, путь далек, и ветер гонит корабли мимо новых островов. Зачем? Так ли уж важно обойти вокруг света? Не важнее ли один-единственный остров изучить до конца? А то получится как с Сахалином: до сих пор в глубине души гложет сомнение — есть там песчаный перешеек или нет его?

Это потом узнают в точности другие капитаны. А он? Ему уже не водить корабли. Седеет голова, болят глаза, тяжкими перебоями заходится иногда сердце... Особенно как сегодня... О чем печалиться, разве мало плавал? Но порою приходит тоска по туго надутым парусам — белым с голубыми отблесками от синевы южного моря и неба. И по штурмовому свисту в такелаже.

И, несмотря на все горечи и ошибки, вновь зовут к себе дальние острова — те, что встают из-за горизонта острыми утесами, вырастают на глазах и плывут, плывут навстречу...

Нет, все это позади. Другие теперь заботы. И другой у него «корабль» — вот этот корпус, где полтысячи мальчишек готовится стать новой славой Российского флота. Каждый из них — словно остров неразгаданный. Не пройти бы мимо, не просмотреть, не ошибиться. Чтобы не случилось беды... И чтобы не болела потом душа, как болит сегодня из-за Егора Алабышева, который получил нынче первый горький урок несправедливости и боли.

Малыш... Как он сказал о Фогте: «Да! Вызову».

«Дуэлями фогтов не уничтожишь, Егорушка. Их много... Они крепко напустили себе в штаны два года назад, когда мятежные офицеры вывели на Сенатскую площадь свои полки и гвардейский флотский экипаж, но быстро эти фогты осмелели опять. Повстанцами — храбрыми и чистыми душою людьми — будет потом гордиться Россия, однако они не добились пользы. Кто же добьется? И что надо делать?.. Я не знаю. Может быть, Егор Алабышев будет знать, когда вырастет? Или не он, а только внуки его?

В одном я уверен: вырастет Егор Алабышев смелым и честным человеком. И добрым. Никогда никого не предаст. Будет опорою многим людям и защитником своей стране. Для того я здесь. И на то положу свои силы.

Расти, мальчик. У тебя свои острова...»

Толик закончил главу — это были страницы, которые в июне читал ему Курганов. Но это был еще не конец. На следующем листе увидел Толик слово «Эпилог».

Толик прочитал начало эпилога, удивляясь, что речь идет совсем о других временах и людях. Нетерпеливо отложил прочитанный лист, снял со второго экземпляра копирку... и обомлел.

Бумага была чистой. Зато изнанка отложенного листа чернела отпечатанными строчками! Перевернутыми, как в зеркале... Значит, вчера он разложил копирку не той стороной! О, идиот!

Так уже случилось однажды, но тогда мама это быстро заметила. А сегодня торопилась, и вот...

Ох, что будет! Во-первых, от мамы влетит (и правильно, так ему и надо!). Во-вторых, мама сказала, что придет только вечером; когда же Арсений Викторович получит конец повести? Ведь копирка-то у всех листов перевернута, до самого конца!

Сколько их до конца-то?.. Ой, полтора десятка! Для мамы — почти три часа работы...

Вот уж правда: если пошли несчастья, то одно за другим.

Но ведь он же вчера решил не поддаваться. И щит прибил к стене с такой силой... Пятнадцать страниц перепечатать — это, конечно, нелегкая работа. Он не умеет быстро, как мама. Но... ведь впереди целый день. Лишь бы успеть до маминого прихода и не наделать ошибок...

Нет, он стучал на машинке не так уж медленно. Каждая буква отдавалась в голове болезненным толчком, а в горле словно засел шероховатый кубик (сколько ни глотай — не исчезает), и все же Толик печатал с увлечением: он одновременно и дочитывал повесть. Он специально не разрешил себе читать в обгон пере-

печатанных строчек, чтобы не терять потом интереса. И пальцы, торопясь за словами, метались по трескучим кнопкам все быстрее...

К пяти часам он кончил. Посидел, опустив руки. Исправил карандашом на последней странице ошибки...

Перечитал последние строчки. Было грустно, потому что конец повести оказался суровым. Но в суровости была гордость — оттого, что есть сильные и бесстрашные люди... И в печали у Толика не было тоски, а было упрямство.

Он опять постарался проглотить деревянный кубик. Толчком поднялся со стула. Готовые листы разложил по трем папкам. А испорченные... Улыбнувшись, он отодвинул в подставке «Ундервуда» тугую планку, согнул листы пополам и сунул в щель. Когда-нибудь он достанет их и покажет маме: «Смотри, что получилось. И допечатал я «Острова в океане» сам...»

Сейчас надо отнести конец повести Арсению Викторовичу. Но сначала — полежать. Недолго, минут пятнадцать. Чтобы ноги стали не такие вялые, а в голове так не стреляло. А то прикроешь глаза, и по векам скачут черные мячики и лопаются с оранжевыми вспышками. Словно круглые орудийные бомбы на севастопольских бастионах, только беззвучно, как в немом кино...

Пришла мама, тронула Толькин лоб, ахнула.

— Я сейчас,— пробормотал он.— Я быстро встану...

— Варя, дай градусник!

Ничего страшного не случилось. Ни дифтерита, ни воспаления, ни тифа, ни даже кори... Температура держалась два дня, а потом болезнь пропала, словно и не было ее.

Ольга Сергеевна, знакомый врач из детской поликлиники, приходила дважды. Во второй раз она сказала:

— Перекупался, перегрелся. Такое с мальчишками бывает. А возможно, еще и перенервничал из-за чего-то. Было?

— Кажется, не было,— с сомнением отозвалась мама. И посмотрела на Толика. Он молчал.

Когда Ольга Сергеевна ушла, Толик сказал:

— Ой, а повесть-то надо отнести Арсению Викторовичу!

— Здрасте! Я еще вчера отнесла.

— Три экземпляра?

— Как ты надоел мне с этим третьим экземпляром! Я тебе сказала: разбирайся с ним сам. Вот поправишься — и неси.

— Я уже поправился!

Но мама на всякий случай еще два дня держала его дома.

Нет, не считал Толик большим грехом, что вместо двух экземпляров повести получилось три. И когда шел к Арсению Викторовичу, успокаивал себя: «Что тут плохого? Я же отдам и все объясню...» Но объяснять-то придется про обман. А даже самый маленький обман — все равно свинство. Все равно за него стыдно. Особенно сейчас, когда всякую свою вину Толик почему-то связывает с тем случаем. С проклятым самолетом без крыльев... Будто все, что он, Толик, делает плохого, валится в одну большую черную копилку. И даже то, что никогда не делал. То, что было давным-давно... Думаешь о «Надежде» и острове Святой Елены, а в какие-то щелки лезут мысли о самолете...

И Толик даже не удивился, когда встретил на своем пути, в квартале от дома Курганова, робингудов. Это было как бы продолжение его мыслей.

Робингуды шли шеренгой. По всей ширине крепкого дощатого тротуара. У Толика на секунду радостно затеплело сердце. Будто ничего не случилось! Будто он спешит к с в о и м робингудам и повстречал их так удачно, и все сейчас будет хорошо.

Но тут же увидел он прищуренные глаза Наклонова, ухмылки Мишки и Семена, ехидное лицо Люськи. И Рафика, глядевшего с каким-то охотничьим любопытством (или показалось?).

Витька смотрел виновато и напряженно. А Шурка — тот вообще не глядел на Толика: потупился и водил ботинком по доскам, когда вся шеренга остановилась.

Толик тоже остановился. Не пробиваться же через робингудовский строй! Это будет уже драка. А обходить их по канаве с застоявшейся зеленой жижей или лезть голыми ногами в чертополох у забора — противно и унизительно.

Олег сказал холодно и лениво:

— А, Липкин...

— Почему Липкин? — хмуро спросил Толик.

— А кто же ты? Когда мы тебя первый раз поймали, ты что сказал с перепугу? «Я Липкин...» И сейчас такой же, опять с папочкой идешь.

— А вы опять думаете, что в ней секретные сведения про вас,— не удержался Толик, хотя и понимал: дразнить бывших друзей опасно.

— Нет, не думаем,— сказал Наклонов.— Из тебя даже и шпион не получится. Для этого тоже смелость нужна...

— А из тебя она вся вытекла, когда ты трусы замочил в самолете,— закончил Семен и гоготнул.

У Толика в глазах защипало от стыда и бессильной злости. Но он постарался остаться спокойным. Это все, что он сейчас мог.

— Зато вы храбрые,— сказал Толик.— Шестеро на одного.

— На тебя, что ли? — искренне удивился Олег.— Кому ты нужен? Пожалуйста, гражданин Липкин, идите своей дорогой.— Он сделал плавный жест, и шеренга расступилась. Встали в два ряда по краям тротуара.

И Толик, закусив губу и глядя перед собой, прошел сквозь строй.

Он был уже в пяти шагах от робингудов, когда услышал тонкий Шуркин голос:

— Толик, а ты разве не к нам шел?

— Цыц! — тут же сказала Шурке Люська. Но Толик уже обернулся. Со смесью обиды, стыда и... надежды.

— Я?.. К вам?

Олег с кротким зевком проговорил:

— Вообще-то, если ты придешь, мы можем рассмотреть твой вопрос.

— Ага...— ухмыльнулся Мишка Гельман.— Только пускай клятву даст больше не дрейфить и не подводить. Как Шурка...

— Клятву? Это, что ли, с кирпичом над макушкой? — понимая, что все кончено, сказал Толик.— Много хотите. Я к вам в рабы не записывался.

— Ну и гарцуй отсюда,— подвел итог Олег.

Толик сделал равнодушно-презрительное лицо и пошел, не оглядываясь. И прижимал к боку изо всех сил папку.

Сзади вдруг по-разбойничьи свистнули (видимо, Се-

мен: он только и умел одно делать хорошо — свистеть вот так). Толик вздрогнул в душе, но не оглянулся, не ускорил шага.

Арсений Викторович долго не открывал. Постучав третий раз, Толик с огорчением решил, что Курганова нет дома. И лишь тогда услышал за дверью шаркающие шаги.

Курганов показался Толику больным. Был он в свитере и шлепанцах из обрезанных валенок. С помятым лицом и сумрачно рассеянными глазами.

— А, Толик Нечаев...— сказал Курганов странно, с медленным вздохом.— Заходи. Я недавно про тебя думал.

Толик встревожился. Сперва решил даже, что Курганов опять выпил. Но нет, запаха не ощущалось нисколечко.

Настроение Курганова было непонятное, и Толик не решился сразу говорить о третьем экземпляре. Он оставил его в сенях — незаметно сунул за кадушку у дверей. И сразу подумал, что это глупо: Арсений Викторович мог заметить папку, еще когда отпирал дверь. Теперь спросит: «Что ты мне принес?»

Нет, ничего он не спросил. Кивнул на табурет:

— Садись...— И сам тяжело сел на заскрипевшую кровать.

В непонятно-беспокойном молчании Толик оглядывал комнату. Все было как раньше: солнечно, просторно. Смотрел со стены Крузенштерн, привычно стучал хронометр. И все же чувствовалось что-то неуютно-тревожное. Толик скоро понял что! Пахло остывшими углями и золой. И точно — в камине чернели головешки и светлел серый пепел. Из-под пепла блестело стеклянное донышко. Наверно, Курганов не спал ночь, сидел у огня. Может, не давали покоя всякие мысли? О дочери Лене вспоминал, которая не пишет? Или разные тяжелые случаи из своей жизни? Толик догадывался, что случаев таких было немало.

Словно услыхав мысли Толика, Курганов сказал глуховато:

— Ты на меня не обращай внимания, сегодня я такой... невыспавшийся и хворый. Видно, стариковская бессонница...

— Я понимаю,— кивнул Толик. Догадка его оказалась правильной, и от этого тревога за Курганова сделалась меньше.

— Что ты понимаешь? — ласково и грустно улыбнулся Курганов.

— Ну, когда не спится и мысли разные... Как колючая проволока в голове.

— Господи, а у тебя-то с чего? — тихо сказал Арсений Викторович.

— А из-за всего... Это трудно... Я не знаю, как сказать.

— А ты скажи, как получится. Как думаешь...

— Но... я думаю совсем глупо,— жалобно усмехнулся Толик.

Курганов молчал.

— Ну, совсем глупо,— прошептал Толик.— Мне такое кажется... Будто я виноват, что Головачев застрелился.

Курганов мигнул. Нахмурился. Потискал подбородок.

— Это не глупо. Так бывает... Может быть, ты и в самом деле в чем-то виноват?

— Ну... в чем-то, наверно...— насупленно признался Толик (раз уж пришло время признаваться!) — А Головачев-то при чем?

— Кто знает... Может быть, твоя вина похожа на его вину?

— На его вину? А разве он виноват?

— А разве нет? Ты подумай. И про него, и... про себя.

— Я и так все время думаю,— пробормотал Толик.— Я запутался. Можно, я расскажу?

Курганов кивнул. И Толик рассказал все, что с ним случилось в походе и потом. Иногда он просто давился от стыда и замолкал. Курганов не торопил. И было слышно, как тикает хронометр. От его уверенного стука делалось легче, и Толик продолжал. И проговорил в конце концов:

— Ну вот, видите... до чего я докатился...

Курганов опять потискал желтыми пальцами подбородок.

— Не буду я тебя успокаивать. Ты виноват, сам это знаешь... Но ты скорее перед собой виноват, чем перед ребятами.

— Почему?

— Потому что робингуды твои тебя не удерживали. Никто ведь не говорил: «Оставайся, нам с тобой будет лучше». Верно?

— Олег сказал: «Кто хочет, пусть идет...»

— Ты и ушел...

Толик выдавил, запинаясь от беспощадности к себе:

— Да... Но я же не потому, что он сказал... Я потому что я струсил.

Курганов обошел Толика, встал сзади. Большую ладонь положил ему на темя.

— Не только поэтому... Потому, что ты был один

— Один? — Толик удивленно шевельнулся.

— Конечно. Между ребятами и тобой трещина прошла... Как у Головачева между ним и другими моряками. Видишь, он тоже... ушел. Ты — домой, а он — насовсем.

— Но он же не из-за трусости. Из-за обиды. Вообще... из-за горя своего.

— А другим он своей смертью сколько горя принес! Товарищам своим, родителям, братьям... Ты спрашивал: в чем его вина? Вот в этом. В том, что он сделал непоправимое... Ты, Толик, запомни одно: самая страшная беда, когда человек делает непоправимое. Такое, что уже не исправишь. Этого надо бояться больше всего... Понял?

Толик не знал, понял ли. Насчет непоправимого, кажется, понял. А насчет Головачева и себя?.. Что у них одинакового? Что сделал он такого, чего совсем нельзя исправить? Может, Курганов считает, что он, Толик, законченный трус и дезертир?

Толик так и спросил горьким и стыдливым полушепотом:

— Значит, я... совсем?

Рука Курганова дернулась, он отозвался почти испуганно:

— Да что ты, малыш! У тебя все поправимо.

— Как поправимо? — вздохнул Толик.— Мне к робингудам теперь все равно дороги нет...

— Я не про это. Я про характер. Ты, по-моему, трусить больше никогда не будешь, у тебя теперь зарубка на характере.

— Я не знаю,— опять вздохнул Толик.

— А я знаю,— возразил Курганов и отошел к столу...— Я в тебя, Толик, верю. Недаром ты такие славные стихи написал... Я вот оставил тебе на память...

С верхней полки он взял листок, протянул Толику. Толик встал с табурета. Лист был началом повести — первая страница первого экземпляра.

— А... как же вы без него? Разве вам не надо?

— Мне уже ничего не надо,— глухо сказал Курганов и отвернулся к окну.— Сжег я все к чертям...

— Зачем?! — выдохнул Толик.

Спина Курганова сердито дернулась под обвисшим свитером.

— Потому что прочел перепечатанное свежими глазами. И понял: все чушь и мура... Кроме твоих стихов.. Ну и вот...

Толик посмотрел на камин. На пепел и угли.

— Оба экземпляра сожгли? — шепотом спросил он.

— Да! И черновик!— раздраженно ответил Курганов.— Чтобы больше не мучиться... Зачем оно, беспомощное бумагомарание? Бред!

— Не бред! Это хорошая повесть!

— Чушь...

— Нет, хорошая. Зачем вы...

Курганов сел к столу, охватил голову растопыренными ладонями. Тихо сказал:

— Хорошая, плохая... Теперь, слава богу, никто решать не будет. Нету «Островов в океане».

Толик смотрел сумрачно и строго.

— Вы теперь сами жалеете, что сожгли...

— Да,— неожиданно обмякнув, согласился Курганов.— Жалею. Столько лет потратил. Смысл в этом видел... И вот — ударило в башку. Тоже, безумный гений нашелся! Николай Васильевич Гоголь... Но все равно правильно. Она бы меня не отпустила, эта писанина, измучила бы до смерти. А я уже не могу...

— А без нее... можете? — спросил Толик негромко, но жестко.

Курганов посмотрел на него исподлобья. Блестящие голубые глазки его тонули в морщинистых впадинах. Он сказал с беззащитностью:

— Ты меня будто добить хочешь. Толик, ты зачем так?

— А вы зачем т а к? Сами говорите, что нельзя делать непоправимое! А что сделали? Все равно что в себя выстрелили!.. Как бы вы жили, если б не остался третий экземпляр?

Курганов некрасиво приоткрыл рот и, грудью ложась на стол, весь потянулся к Толику. Молча. А в глазах — тоска и просьба о чуде. Обжегшись этим взглядом, ужаснувшись — «Что же я его мучаю?!» — Толик метнулся в сени и ворвался в комнату с папкой. Курганов потянул к ней похожие на грабли пальцы, и лицо его умоляло: только не обмани... Но Толик отшатнулся.

— Нет! Сначала дайте честное слово, самое страш-

ное... что не сожжете больше. Поклянитесь чем-нибудь...

Курганов с облегчением уронил на стол руки.

— Чем хочешь.

— Жизнью своей,— жалобно попросил Толик.

Курганов сказал, слабо улыбаясь:

— Толик... мне моя жизнь — что! Я т в о е й клянусь, если веришь: н и к о г д а н е с о ж г у.

Толик положил папку на край стола. Курганов дотянулся, оборвал тесемки, стал лихорадочно перекидывать листы. Уронил их, медленно вздохнул, уперся в стол руками. Согнувшись, смотрел на Толика. Лицо Арсения Викторовича, пожалуй, не было счастливым. Оно было серьезно-торжественным:

— Феникс...— проговорил он.

— Что? — растерянно пробормотал Толик.

— Птица Феникс. Она сгорает, а потом возрождается из пепла. Живая. Слышал такую легенду?

— Не...— сказал Толик.— Арсений Викторович, вы теперь берегите повесть. Единственный экземпляр ведь.

— Обещаю... А правду я говорил: Толик Нечаев приносит мне счастье...— Наверно, хотел Курганов улыбнуться, но лицо скомкалось, он закрыл его ладонями и быстро сел.

Толик впервые увидел, как плачет взрослый мужчина.

— Я пойду,— тихонько сказал он.



Третья
часть

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Т. О. Л. И. К.

Пруд был крошечный, размером с отрядную спальню. По краям он зарос камышом и осокой. Чтобы попасть к воде, нужно было пробраться по тропинке в зарослях и по шатким мосткам.

Толик пробрался. Поставил на доски тяжелый акваскоп (мостки вздрогнули). Встал на четвереньки, заглянул в воду. Здесь было неглубоко, но на поверхности дрожала солнечная рябь и прятала под собой дно с нехитрым подводным миром. Без аппарата не разглядишь, что там делается...

Толик опустил с мостков узкий дощатый ящик с застекленным донышком. Упругая сила воды толкнула самодельный прибор назад, вверх, но Толик придержал его. Заглянул внутрь.

Стеклянное дно акваскопа зеленовато мерцало, будто квадратный экранчик. Стала видна путаница мертвых, полузатянутых илом водорослей, блеснул рубчатый краешек пивной пробки, выбрался из-под нее подводный жук неизвестной Толику породы и тут же закопался в ил. Толик его понял: если увидишь, что нависла над тобой стеклянная крыша, а сквозь нее смотрит громадная рожа — еще не так закопаешься...

Несколько пузырьков поднялись со дна и прилипли к стеклу. «Капли воздуха,— подумал Толик.— У нас, на земле, бывают капли воды, а там, в глубине,— воздушные капли».

Внутри одного такого шарика суетливо перебирала волосяными ножками какая-то букашка.

«Тоже живет,— без усмешки подумал Толик.— Наверно, удивляется: куда я попала?.. Не бойся, ничего с тобой не будет».

Нахально проплыла под акваскопом жирная пиявка. Такая неприятная, что у Толика зачесался под коленом рубчик. Потом... Потом Толику повезло! Появились две сверкающие рыбешки длиной в мизинец. Остановились, изумленные. Взглянули на Толика булавочными глазками и — раз! — стрельнули в сторону...

Толик дышал затаенно, как разведчик на границе незнакомого мира...

Сделать акваскоп надоумил Толика Арсений Викторович.

Перед лагерем Толик зашел к нему попрощаться. Курганов его встретил весело, хотя веселость была немного нервной.

— Едешь? Хорошо... А я тоже еду, в Среднекамск. Там областное издательство, там покажу повесть. А что? Пора уже! Что скажут, пусть... Будь что будет... Впрочем, я надеюсь. Да, на лучшее надеюсь. Потому что без этого как? А?

— Да все будет хорошо,— сказал Толик бодро и слегка покровительственно. Потому что в самом деле был уверен.

— Да? Мне бы такую уверенность...

— Вы не бойтесь. Повесть-то хорошая получилась!

— Ох, не знаю... Видишь ли, мне кажется, ты меня просто захваливаешь. Ты мне ни про один недостаток не сказал, а так не бывает, чтобы рукопись без недостатков.

Толик лихорадочно стал думать: какой бы найти недостаток?

— Мне, пожалуй, там одно немножко непонятно,— сказал он.— Эпилог. Он как-то не очень связан с Крузенштерном...

— Да? Жаль, что непонятно. Значит, я намудрил...

Я что пытался показать? Во-первых, как Крузенштерн воспитал будущих моряков. Хотелось мне соединить начало и конец...

— Ну, это-то понятно,— вставил Толик.

— Вот... А еще такая мысль. Хотелось сказать, что люди должны не только жить как следует, но и умирать не по-пустому, не зря. А то обидно, если как Головачев...

— Я в общем-то так и понял,— поспешил успокоить Курганова Толик. И не выдержал, спросил: — Еще одно немного неясно — был все-таки Крузенштерн виноват или нет?

— В гибели Головачева?.. Это нерешенный вопрос. Ни для меня, ни для тебя. Ни для самого Крузенштерна... С одной стороны, в чем он виноват? Не он предал Головачева. Не он ему душу разбередил... К тому же Головачев был явно болен, утомлен... Ты имей в виду, что плавание было тяжелое, у многих здоровье расшаталось. Хладнокровнейший надворный советник Фосс, например, начал страдать нервными припадками. Любимец всей команды Иван Курганов, весельчак и заводила, перед островом Святой Елены слег с непонятной болезнью: жаловался на слабость, на тоску, плакал даже. Это я к тому говорю, что нервы у многих были измотаны. А у Головачева — тем более. Вот он и сорвался... При чем здесь Крузенштерн? Кто посмел бы его обвинить?.. Другое дело, когда он сам себя...

— Что сам себя? — тихо переспросил Толик.

— Сам он, конечно, казнил себя в душе. Так и жил с этой виной. Только другим не показывал. Это нельзя.

— Почему нельзя?

— Как бы тебе объяснить... Одно дело, когда человек виноват перед людьми, другое — когда перед собой. У Крузенштерна была именно в и н а п е р е д с о б о й. Не та, за которую могут наказать, но такая, что грызет душу... Но, Толик, ведь, наверно, каждый человек в чем-то виноват, без ошибок никто не проживет. Надо помнить про свою вину, чтобы не повторить. Но надо и уметь держать ее за горло, иначе пропадешь.

— Почему? — спросил Толик. Ему было зябко и неуютно.

— Ты посуди, что было бы, если бы Крузенштерн только терзался? Не воспитал бы он тысяч моряков, не составил бы знаменитого «Атласа», не написал бы своих книг. Не помог бы новым кругосветным экспеди-

циям... Не боролся бы с тупыми адмиралами, с офицерами-держимордами, с чиновниками. Представляешь, Крузенштерн бы изводил себя и жил с опущенной головой, а они бы радовались и делали, что хотели...

— Но он все равно себя изводил. Когда один оставался...

— Что ж, наверно... Я ведь про это написал.

— Я потому и говорю.

— Были, конечно, горькие мысли. Корил себя, что недосмотрел, не успел, не разобрался... А потом, может, и оправдывал себя: «Как в чужую душу заглянешь?» В самом деле— как? Вроде бы вот он, человек, рядом, а что у него в мыслях?.. Это, знаешь, как поверхность воды. Рябит, блестит, а что там чуть поглубже — не разглядишь без акваскопа...

— Без чего?

— Без акваскопа...— Арсений Викторович улыбнулся. Кажется, обрадовался, что может изменить разговор.— Вспомнил один самодельный прибор, я им в мальчишечьи годы развлекался. Вычитал про него в тогдашнем детском журнале — не то в «Светлячке», не то еще в каком-то... Это простая штука, легко сделать. Тебе интересно?

— Конечно. Я, может быть, в лагере сделаю...

Курганов на листке за минуту набросал чертеж.

— А что это ты так неожиданно в лагерь собрался? Вроде бы речи не было...

— Маминой знакомой сыну путевку дали, а у него что-то с анализами не получилось. Вот маме и сказали, чтобы я ехал.

— Рад?

— Ага...— не очень уверенно сказал Толик.

Еще ни разу в жизни он не покидал надолго свой дом. Ездил к Варе в Среднекамск, но всего на несколько дней и с мамой. В больнице лежал со скарлатиной, но это в двух кварталах от дома, и мама приходила под окно палаты чуть не каждый день... Хочется ли ему в лагерь? Если верить «Пионерской зорьке» и «Пионерской правде», лагерь — это сплошные походы, палатки, костры и приключения. А знакомые ребята рассказывали всякое. В том числе и такое, что вожатые бывают разные, некоторые не пускают купаться, орут на ребят, могут и подзатыльник дать. А еще Толик знал, что иногда в отряде находят тихого, слабого мальчишку и начинают его «до-

водить». Кличка у такого — Лагерный придурок, хотя он вовсе не глупый, а просто боится дать сдачи.

А если и с ним, с Толиком, случится такое?

Ну уж дудки! Если он один раз испугался, теперь, что ли, до старости жить зажмурившись?

Нет, лагерь — это все-таки хорошо. Толик чувствовал, что после разрыва с робингудами в жизни его — какой-то перелом. И впереди ждет его что-то новое. Что именно, пока не понять, но такое, чего еще не было... Может быть, лагерь — начало этого нового?

Да, надо ехать. От жизни не спрячешься. Да и вообще все одно к одному сложилось: мама сказала, что ей и Варе дозарезу нужно дней на десять в Среднекамск. По важным делам, насчет Вариной работы. Варю после института зовут в лабораторию при Сельмаше, надо все заранее прикинуть, посмотреть...

— У тебя же отпуск кончается,— напомнил Толик.

— Редактор разрешил дополнительный, я много работала сверхурочно.

Толик намекнул, что он тоже не прочь съездить в Среднекамск. Но оказалось, что, во-первых, не найти столько денег на билеты, а во-вторых — где жить? Маму Варя устроит в общежитии, а с Толиком на этот раз фокус не пройдет: новая строгая комендантша не пустит его в комнату к девушкам...

— И вообще пора тебе привыкать к самостоятельности.

Толик храбро ответил:

— Я разве против?

Если бы он знал...

Если бы он знал, что в том же лагере «Рассвет» окажутся на третьей смене сразу три робингуда: сам Олег Наклонов, Семен Кудымов и Шурка Ревский.

Ну, Шурку можно не считать, от него никакого вреда. Но Олег и Семен... Особенно Олег!

Олега здесь знали все, он в «Рассвет» каждый год приезжал. Лагерь-то папиного треста. И конечно, сразу Олег оказался в совете дружины. А самая большая беда, что в одном отряде с Толиком, во втором. И Семен тоже (а Шурка в третьем, но все равно ходил за Олегом по пятам).

В первый день, увидев Толика, Олег лишь усмехнулся. Не подошел, ничего не сказал, будто незнакомы. То-

лик даже слегка успокоился: может, и дальше так будет?

Назавтра Олег и Семен тоже не обращали на Толика Нечаева никакого внимания (а Шурка, встретившись, неловко сказал «здравствуй»). Но к концу дня Толик заметил, что мальчишки от него отворачиваются. Те, кто утром еще вели себя как друзья-приятели. И прошелестело гнусное слово «дезертир»...

А на третий день случилось то, чего Толик боялся больше всего.

Отряд собрался в палате, чтобы выбрать редколлегию стенгазеты. Вожатый Геннадий Павлович (он был студент пединститута и проходил сейчас практику) командирским голосом установил тишину:

— Погалдели — и молчок! Всё! Передохнули и задумались... А теперь — какие будут предложения?

И встал Олег:

— Я,— сказал он,— предложил бы Толю Нечаева. Он пишет стихи и вообще... Но я боюсь, что меня не поддержат. У Нечаева нет авторитета: про него известны не очень красивые дела.

— Он чё, в постель прудит?— спросил туповатый, похожий на Семена Юрка Махнев. Гыкнул и примолк под взглядом Геннадия Павловича. А Олег разъяснил:

— Нет, гораздо хуже. Раз уж начался разговор, я скажу. Нечаев бросил товарищей и сбежал в трудный момент.

«Вот и все»,— подумал Толик. И не шевельнулся. Лишь сильнее вцепился в спинку кровати, на которой сидел.

Никто не зашумел: что за момент, кого Нечаев бросил? Видимо, все уже про всё знали. Кроме Геннадия Павловича.

— Когда это случилось?— спросил он очень спокойно.

— Это не здесь, не в лагере. Мы с ребятами были в походе, и нас гроза настигла. Мы спрятались в старом самолете на краю аэродрома, а Нечаев бежал.

Да, Олег умел говорить коротко и четко.

Но в этой четкости была неправда!

— Врешь! Гроза была еще далеко, и я все время говорил, что надо идти домой! Самолет из металла, в нем опасно!

— Так бы и сознался сразу, что струсил. А то «меня мамочка ждет»,— противно сказал Семен.

— Потому что она правда ждала!

— А на фронте ты бы тоже к маме убежал?— спросил Олег.

— На фронте не убежал бы,— ответил Толик ровным от ненависти голосом. Неужели еще недавно Олег ему казался благородным и справедливым?

— Геннадий Павлович, а правда, что вы на фронте были?— спросила веснушчатая Лариска Скворцова.

Молодой, скуластый, темноволосый Геннадий Павлович сказал неохотно:

— Ну, был... Я недолго был, успел в Германии повоевать в сорок пятом... При чем тут это?

Вертлявый Жорка Линютин (он все время липнул к Олегу) тонким голосом разъяснил:

— Как это «при чем»? Вы скажите: разве на фронте прощали, если человек убегает в трудный момент?

— Фронт — дело суровое, я вам такого не пожелаю... Я не понимаю, от какого трудного момента убежал Нечаев?

— Ну, гроза же была! Он сам говорит — опасность!— воскликнул Олег.

Геннадий Павлович прямо глянул на Олега:

— Ну, а зачем она, такая опасность? Кстати, командиров, которые людей под опасность зря подставляют, на фронте по головке не гладили.

Олег порозовел. Проговорил сквозь зубы:

— Это не зря. Это было испытание.

— А матери Нечаева за что такое испытание? Сын обещал вернуться, на улице гроза, а его нет... Вы вообще когда-нибудь о матерях думаете?

Примолкли. А у Толика даже перехватило горло — от благодарности к вожатому, от мысли о маме. Оттого, что сейчас Наклонов потерпел наконец поражение. И Толик добавил Олегу от себя:

— Ты не за то придираешься, что я ушел с самолета! Ты злишься, что я с тобой спорить начал! Что Шурке помог!

Эта догадка раньше была неясной и лишь сейчас превратилась в четкую мысль. Толик бросил ее в Олега как гранату.

— Врешь ты!— крикнул раскрасневшийся Олег.— Больно ты мне нужен! И Шурке!

— А тогда чего тебе надо? Ну, ушел я с самолета, что случилось? Вам-то хуже не стало!

Олег воткнул в него злорадный взгляд:

— Нам-то хуже не стало. Хуже тебе. Ты — дезертир!

Толик сжался. И запах гнилого тряпья опять появился во рту.

— При чем тут дезертир, если ему домой надо было?— сказала веснушчатая Лариска, глядя на Толика с жалобным сочувствием. И остальные смотрели: кто с любопытством, кто вроде бы тоже с жалостью, кто с ехидством.

Толика поднял с кровати толчок злости. Злости на себя, на Олега, на тех, кто слушает и ухмыляется. И на тех, кто смотрит жалостно. Бывают минуты, когда ничего не страшно. Можно тогда и в любую драку кинуться, и сказать все без утайки.

— Да, меня мама ждала, это правда! Но то, что я струсил, тоже правда! Я боялся грозы! Я знаю, что виноват! Но Наклонову-то что теперь от меня надо?

Кажется, все растерялись. Олег мигал удивленно и даже боязливо. Толик сказал звенящим голосом:

— Я ведь не перед тобой виноват, Наклонов, а перед собой. А на тебя мне теперь наплевать, раз ты меня так... тоже бросил! Я знаю, чего ты хочешь!

— Чего?— щуря злые глаза, спросил Олег.

— Чтобы я все время ходил виноватый! А ты будешь командовать всеми!.. И над такими, как Шурка, издеваться... И надо мной, да?! Хочешь меня лагерным придурком сделать?

Никогда не знаешь, где скажешь не то слово. Только что слушали Толика в тишине, а тут вдруг засмеялись, задвигались. Олег по-клоунски развел руками: видите, мол, какой он?

И Толик не выдержал, выскочил из палаты, из дощатой гулкой дачки второго отряда...

Нет, его не «доводили» открыто. И в редколлегию выбрали (он там дважды раскрашивал заголовок стенгазеты), и даже назначили ассистентом к дружинному знамени. Но если, скажем, дежурит Толик по палате и требует, чтобы все заправили койки и подобрали мусор, никто не спорит, старательно кивают, а потом разбегаются — а постели мятые и на полу бумажки, сосновые шишки и грязь с подошв.

Или заходит Толик в палату перед мертвым часом, а на кровати стоит Жорка Линютин и с дурацким видом декламирует:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
И от него я убегаю
Бегом, бегом, бегом, бегом...

Можно сказать, что стихи глупые, как сам Жорка. Но тогда получится, что принял Толик их на свой счет! И все загогочут открыто (а пока хихикают в подушки). Можно сказать, что Жорка гад и все гады (пусть кидаются на Толика, он сейчас готов хоть с тысячей сцепиться). Но... все уже притихли и старательно сопят. А Наклонов заботливо говорит:

— Ложись и ты, Толя. Пионеры должны соблюдать режим.

Толик, сцепив зубы, шагает к кровати, но ложиться сразу нельзя. Он знает, что под простыней могут быть замаскированы колючие шишки или сапожные щетки, а то и прикрытое целлофаном блюдце с водой. И тогда Наклонов скажет:

— Чьи это опять шуточки? Чтобы такого больше не было, а то вызову на совет дружины.

Или собирается тайная компания, чтобы пробраться в соседний лагерь у деревни Падерино и стащить у них мачтовый флаг, и Толик просит записать в «развед-группу» и его. Все отводят глаза, а Семен Кудымов говорит, сопя и хмыкая:

— Тебя возьмем, а ты вдруг к маме сбежишь...

К маме он не сбежит. До города всего двадцать километров, и дорога известна, но мама в Среднекамске. Это — во-первых. А во-вторых... Получится, что он опять струсил?

К тому же не все было плохо. По вечерам на площадке за лагерем раскладывали костер, и тогда ребята словно забывали про дневную вражду и обиды (по крайней мере, Толик забывал). Пели песни про «Варяга», про «дальнюю сторожку на краю пути», про пограничника (ту, что Витька Ярцев любил)... А по утрам Толику нравилось шагать рядом со знаменосцем на линейку. Нравилось, хотя горнист Нинка Сухотина (влюбленная в Наклонова — это все знали), топая позади, назло дудела свой марш Толику прямо в ухо...

И ходить в бор за черникой ему нравилось.

И не все ребята были плохие. Например, с Валеркой Рюхиным у Толика вполне приятельские сложились отношения. И с веснушчатой Лариской, которую тоже выбрали в редколлегию...

Но все же компания Наклонова была в отряде главная. Да пожалуй и во всем лагере — маленьком, состоящем всего-то из трех отрядов. И Валерка Рюхин с этой компанией не спорил, обрадовался, когда его записали в команду «охотников за флагом».

А Геннадия Павловича перевели из вожатых в начальники лагеря, потому что прежняя начальница по какой-то причине уехала в город.

Именно к Геннадию Павловичу поволокла Толика новая вожатая Марина, когда случилась та история с малышом Вовкой. Скверная история, что и говорить...

Восьмилетний Вовка (из третьего отряда) притащил Толику железный прут и, невинно лупая глазами, сказал:

— Вот, ребята велели тебе отдать. Поскорее.

— Зачем?

— Чтобы ты громоотвод сделал. Потому что скоро гроза будет, а кровати железные. Ребята говорят, что...

Ну и не выдержал Толик. Вовка даже на ногах не устоял. И все это на глазах у Марины. Та — в рев и крик, пуще Вовки...

Геннадий Павлович шевельнул острыми скулами.

— Я думал, ты честный парень, а ты... За что ты его? Он же кроха... Знаешь, что за это бывает?

Толик не опустил мокрых глаз.

— Знаю! Хоть что! Выгоняйте к чертям!.. Надоело...— И подумал: «Поживу один, пока мама не вернется, не пропаду».

— Что тебе надоело?— уже спокойнее спросил Геннадий Павлович.

— Всё! Вы тут все заодно...

— Расскажи, что случилось.

— Не буду!

Рассказала Марина — то, что видела и слышала. Геннадий Павлович потемнел лицом. Велел позвать Олега.

— Думаешь, это Нечаев ударил Вовку? Это ты его с ног сбил... Подставил под удар, а сам в кусты.

Олег встал навытяжку. Даже побледнел (или показалось?).

— Геннадий Павлович, извините. Но мы же не хотели, честное пионерское. Это просто шутка была. А Нечаев тоже... Ничего не понял — и руками...

— Почему вы в отряде так относитесь к Нечаеву?

«Сейчас отопрется, гад,— подумал Толик.— Начнет: мы к нему нормально относимся, он сам...»

Наклонов встал еще прямее.

— Я понимаю, что это не по-товарищески, Геннадий Павлович. Мы исправим. Надо Нечаева больше в общественные дела втягивать, чтобы он не оставался в стороне... Вот скоро концерт будет, мы его попросим свои стихи почитать. Хорошо, Толя?

Толик не смог даже разозлиться. Какое-то утомление на него навалилось, на все стало наплевать. Пожалуй, одно чувство у него и осталось: жалость к маленькому Вовке. Может, попросить прощенья? Не мог Толик, не умел, как Наклонов, извиняться с ясными глазами. Стыдно...

Он молча ушел из комнаты начальника лагеря. И с того момента стал жить один.

Нет, он не прятался, маршировал со всеми на линейках, ходил на костры и в лес, но был теперь поодаль от остальных и первый ни с кем не заговаривал. А при удобном случае уходил на луга за лагерем.

Лёжишь в траве, а облака над тобой плывут, плывут. Как паруса, «когда Земля еще вся тайнами дышала»...

Может быть, надолго Толика и не хватило бы для такой жизни, но через два-три дня увидел он на мусорной куче за мастерской ровный кусок стекла размером с тетрадку. Аккуратный такой (наверно, вырезали для форточки, да ошиблись размером и выкинули). И вспомнил Толик про акваскоп Курганова. Даже рисунок его отыскал в глубоченных карманах широких хлопчатобумажных брюк, которые мама купила Толику перед лагерем для защиты от комаров-людоедов. Потом нашел он за мастерской и подходящую доску. Попросил у завхоза ножовку, распилил доску на четыре части и сколотил квадратную трубу — кожух акваскопа.

Швы кожуха Толик замазал смолой, которую собрал на стволах сосен. Стекло тоже прилепил смолой и укрепил по краям гвоздиками. При первых испытаниях вода просачивалась между стеклом и досками. Тогда Толик сбегал на задворки местной МТС, нашел там рваную автомобильную камеру, вырезал из нее кольцо и натянул тугую резину на стык прозрачного экрана и кожуха. И теперь — воды ни капли.

На маленьком, укрытом за старыми деревьями пруду всегда было безлюдно. Купаться и рыбачить ходили на

озеро с чистым песчаным дном. А здесь что? Осока, тина да головастики. И никто не мешал Толику заниматься исследованием глубины.

Глубина была так себе, да и акваскопа хватало всего на полметра. И подводный мир, прямо скажем, был небогат. Но все равно! Когда на стеклянном экране появлялись водоросли, когда срывались с них вверх цепочки пузырьков, проплывали мальки и личинки, Толик задерживал дыхание. Стекло акваскопа было как окошко в «Наутилусе». Или в подводной лодке «Пионер» из книжки «Тайна двух океанов»...

Может, со временем Толик окажется у настоящего иллюминатора в настоящей подводной лодке, которая пойдет на изучение глубин. Потому что если где-то на планете Земля остались тайны, то это прежде всего на дне океанов... И «Пионер» с Толиком до этих тайн доберется... Нет, лучше не «Пионер», а «Крузенштерн». Иван Федорович Крузенштерн ведь тоже изучал океанские глубины. Он опускал в море разные приборы с палубы корабля, потому что подводных лодок тогда еще не строили... А теперь наверняка построят! Специальные научные, глубоководные. Длинные, серебристые, похожие на стремительных акул. Рыбы про такую лодку, наверно, и будут думать, что акула... Но ведь тогда они будут пугаться!

...А если сделать не лодку, а небольшой аппарат, замаскированный под обычную рыбу? Можно управлять им по радио (говорят, ученые уже придумали способ, чтобы управлять по радио разными машинами). В такой аппарат легко вставить кинокамеру... А можно, наверно, и так сделать, чтобы прибор передавал все, что видит, сразу на корабль. Тоже по радиоволнам. Толик читал в «Пионерской правде», что уже изобретены радиоприемники с экранами, на них можно будет видеть дикторов, которые читают последние известия. И даже кино смотреть! Не выходя из дома!.. Если придумали такое для сухопутной жизни, для подводной разведки тоже можно приспособить.

Толик уже ясно представлял себе чудесный подводный аппарат. Плывет такая серебристая рыба, шевелит рулями-плавниками и усиками антенн, поблескивает глазами-объективами. Еле слышно шуршат внутри шестеренки моторов. Мигает лампочка радиосигналов... Рыба осторожно огибает обросшую подводным кустарником скалу, «обнюхивает» крупную раковину (нет ли

жемчужины), заглядывает в иллюминатор давно потонувшего парусника... Потом радиолампочка вспыхивает ярче, рыба устремляется вверх, к зеленоватому пятну солнца, пробивает волнистую поверхность, взлетает над фальшбортом белого корабля с большими буквами названия —«Крузенштерн». И прыгает — мокрая, ловкая, послушная — в ладони Анатолию Нечаеву, своему изобретателю.

Толик поправляет антенны, меняет аккумуляторы, протирает объективы... И опять плывет в глубине открыватель подводных миров — Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

«Лазутчик»— слово не очень удачное. Лучше бы — «разведчик» или «исследователь». Но хочется, чтобы начиналось с «Л». Тогда первые буквы всех слов сливаются в имя — Т. О. Л. И. К.

Скажете, что хвастовство, да? Но ведь многие изобретения носят имена тех, кто их сделал. А здесь даже и не его имя, а Крузенштерна. А «ТОЛИК» получилось почти случайно...

Толик пристроил акваскоп поудобнее и радостно замер: прямо в середине экрана остановился крошечный, как пятак, карасик — уставился на Толика веселым глазом... Но в этот миг запрыгали, захлюпали по воде от твердого топота доски. Вода из щелей длинными языками выплеснулась Толику на брюки.

Толик судорожно толкнул акваскоп на глубину — он забурлил, заглатывая воду. Рывком Толик отправил его под мостик (знал, что сейчас тяжелый деревянный кожух нехотя всплывет и притаится под досками). Потом оглянулся.

Можно было и не пугаться, опасности не было.

А был Шурка Ревский...

ВОЛЧЬЯ ЯМА

Конечно, Шурка из наклоновской компании, даже вроде адъютанта у Олега, но все равно он не такой, чтобы подлости делать. Когда он встречал Толика на лагерных дорожках, то бормотал «здравствуй» и смотрел виновато своими широко рассаженными желто-зелеными (такими Шуркиными) глазами.



Он и сейчас так смотрел. И нетерпеливо переступал на досках кое-как зашнурованными, надетыми на босу ногу ботинками. А на икрах и коленях — тонкие порезы. Видно, не зная тропинки, продирался сюда прямиком через осоку.

Быстро, но очень серьезно Шурка произнес:

— Толик, нам надо поговорить.

— Ну... говори,— небрежно сказал Толик. Не показывать же Шурке, что встревожился. Он усмехнулся с сочувствием:— Исцарапался-то как...

— Толик, это пустяки. Тебе гораздо больше достанется, если ты меня не станешь слушать.

— Я слушаю,— опять усмехнулся Толик, и холодным червячком шевельнулся в нем страх: Шурка зря не прибежал бы.

— Толик, тебе готовят ловушку.

— Кто? Наклонов, что ли? Подумаешь... Он мне и раньше каждый день их подстраивал. Он же у нас самый остроумный...

— Да нет! Они настоящую ловушку готовят! Он, и Семен, и Жорка, и еще несколько человек.

— И Валерка Рюхин?— тихо спросил Толик.

— Да...— понимающе сказал Шурка.

— Ну и пусть...

— Они хотят заманить тебя в волчью яму.

— Многого хотят. Я им не слепой теленок... А что за яма?

— Она в лесу Тайная И такое устройство из волейбольных сеток Ты идешь, ступаешь туда, и трах!— сразу как в большой авоське. И висишь в ней над ямой на перекладине.

— Они что, на тебе испытывали?— догадался Толик

— Да... Это очень неудобно так висеть, весь запутанный. А с тобой что хотят, то и сделают.

— Ничего не сделают. Я не дурак, чтобы на их приманки клевать.

— Но если бы ты не знал про яму, ты бы клюнул

— Фиг!

— Нет, клюнул бы,— вздохнул Шурка.— Они подложат письмо: «Приходи после отбоя в лес, к двойной березе у родника. Есть важный разговор. Докажи, что ты не трус, и приходи...»

— Нашли дурака...

— Я думаю, ты пошел бы...— тихо сказал Шурка

Толик помолчал. С какой стати он должен врать Шурке, который с кровью на ногах примчался предостеречь его?

— Шурка... Я пошел бы.

— Вот. А там западня.

— Ну а потом что? Оставили бы висеть до утра?

— Нет! Потом самое главное. Олег скажет: «Раз ты не испугался и пришел, мы принимаем тебя снова в «Красные робингуды».

— Больно надо!

— Тебе не надо, а они хотят... Он Жорку и других тоже в отряд записал.

— А я-то ему зачем снова?

— Ни за чем... Но он скажет, чтобы ты клятву дал.

— Какую?

— Такую же... как я тогда. Что больше не изменишь отряду.

Толик сцепил зубы. «Больше не изменишь...»

— А если не дам клятву?

— А им этого и надо. Обрежут веревку — и ты в яму.

— Ну и глупо,— искренне сказал Толик.— Если разобьюсь, они же отвечать будут.

— Не разобьешься, там неглубоко. Но там... Они коровьи лепешки навалили. Полным-полно...

Толик передернул плечами.

— Сволочи...

Шурка прошептал, не поднимая головы:

— А если дашь... клятву... все равно обрежут веревку. Они так договорились.

Толик молчал с полминуты. Потом почти простонал:

— Шурка, ну скажи: что я им сделал?

— Они говорят, что ты любимчик Геннадия Павловича. Подлиза.

— Я?!

— Они так говорят... И это будет месть.

— А тебе?

Шурка опять поднял глаза. Честные и печальные:

— Что?

— Тебе ведь тоже будет месть.— От жалости к Шурке и от благодарности у Толика сладко заныло в груди.— Шурик... Если Олег узнает, он же тебя... Ты же тогда клятву давал, тебя не простят.

Шурка сказал со спокойным вздохом:

— Конечно, он узнает... Я про клятву целую ночь

думал. Нарушать нельзя, а с тобой... тоже так нельзя. Как же быть?

— Шурик... А если бы ты Олегу прямо сказал: «Не делайте ловушку, я всем расскажу!» Он бы не стал. И тебе не пришлось бы клятву ломать.

— Я думал. Ничего не вышло бы.

— Почему?

— Они этот план отменили бы, разумеется. И придумали бы другой, без меня. И тогда было бы совсем плохо. Пускай уж лучше мне попадет.

«А ведь здорово попадет»,— со страхом за робингуда Ревского подумал Толик. И даже с нежностью к этому растяпистому, но бесстрашному Шурке. И сказал, поддавшись этой нежности:

— Шурка, я до самой смерти не забуду, как ты из-за меня на такую опасность...

Шурка ответил виновато и прямо:

— Толик, я, наверно, не из-за тебя. Я из-за Олега

— Как... из-за Олега?— остывая, пробормотал Толик.

— Потому что я не хочу, чтобы он так делал. Он всегда честный был, а сейчас не понимает... Он потом поймет...

Уже досадуя на себя за расслабленность, за признание в благодарности, Толик сказал жестко:

— Это ты не понимаешь. Он всегда был такой.

— Нет! Я лучше знаю!

— Я тоже знаю. Насмотрелся... Не командир, а...— И Толик выпалил словечко, какие раньше употреблял крайне редко.

У Шурки заалели уши (да и у самого Толика горели тоже). Шурка произнес, глядя Толику в глаза:

— Ты не смей так говорить.

— Это почему «не смей»?

— Потому что он мой друг, вот почему...

«Не друг, а рабовладелец»,— едва не ответил Толик. Но спохватился: зачем? От этих слов Шурка Олега не разлюбит.

— Друг так друг,— устало сказал Толик.— Его счастье... И твоя беда... Ладно, Шурка, спасибо тебе. Но ты не бойся, Олег про наш разговор не узнает.

— Почему?

— Если они подбросят письмо, думаешь, я не пойду в лес? Чтобы опять говорили, что трус?

— Но там же яма!
— А наплевать...

Конечно, Толик не собирался попадать в ловушку. Он придумает свою хитрость. Ответный боевой прием!

Разговор с Шуркой случился под вечер, после полдника, и до самого отбоя Толик размышлял: как же обмануть Олега и компанию? Как выйти победителем и отомстить?

Можно стащить на кухне похожий на саблю нож-хлеборез и на клочки распластать сетку, когда окажешься в западне. Но... ведь ямы-то все равно тогда не избежать.

А может, подобраться осторожно, ухватить Олега и самого его толкнуть в западню? И потом по веревке — жжик ножом! Пусть летит... в то, что приготовил. А самому — бежать! Но... выходит, опять бежать! К тому же ясно, что Олеговы союзники Толика все равно догонят: одному от многих не уйти.

Или сделать проще? Подойти к Олегу сейчас: «Я про вашу подлость уже знаю! По-честному-то не можете, да? Только целой кучей и в темноте храбрые!»

Но ведь отопрутся. И главное — догадаются про Шурку!

Олег все продумал и рассчитал. Даже то, что не пойдет Толик жаловаться вожатой и начальнику. Не захочет быть ябедой, да и рассказывать, как вляпался в зловонную яму, разве охота? Гордость дороже... Но одного Наклонов не учел! Того, что он, Толик, узнал про яму заранее (спасибо Шурке!). И это преимущество надо использовать!

Но как? Просто голова трещит.

...А может, не будет письма?

После побудки, прыгая в широкие брюки, Толик ощутил в кармане бумагу. Достал сложенный треугольником лист. В письме — все то, что говорил Шурка.

Ну что ж...

Он пойдет! Пускай даже ничего не придумает, все равно пойдет! Там, на месте, видно будет, что делать. Может, достаточно окажется слов: «Эх вы, а еще робингуды!» А может, одному придется кинуться в отчаянный бой (при мысли об этом холодно, но не страшно)... А если окажется все-таки в ловушке — стиснет зубы и будет молчать. Ни на один вопрос не ответит, не застонет даже

Пускай хоть в болоте топят, хоть огнем жгут, хоть щипцами за язык тянут!

Вот тогда они затанцуют! «Что с тобой? Ну, скажи хоть полслова! Ребята, а может, он... может, у него разрыв сердца? Толик! Нечаев! Ну, ты чего? Мы же пошутили!»

Они еще не знают, что такое стальное молчание...

Приняв гордое решение, Толик почувствовал себя сильнее. Скорей бы ночь!

Но день только начинался. И не простой день, а родительский. На свидание с ребятами спешили из города матери и отцы. А также братья, сестры и прочие родственники, хотя они вовсе и не родители. Кого-то привез служебный автобус, кто-то добрался на попутной машине. Несколько старших братьев прикатили на велосипедах. Папу и маму Наклоновых доставила голубая «эмка».

Толику ждать было некого, и он слонялся по лагерю в томительном ожидании вечера.

Потом пришла простая и удачная мысль: пока все (в том числе и наклоновская компания) лопают родительские гостинцы, можно пробраться к двойной березе, разведать: готова ли ловушка, какие к ней подступы? А может, и диверсию устроить! Сетку, если она там, стащить и утопить в пруду!

Толик, оглянувшись, нырнул в репейники, отодвинул в заборе доску, протиснулся... И оказался сразу в другом мире — без разноголосого гвалта, воспитательских окриков, распорядка и постоянного ожидания новых коварств от Наклонова и его дружков.

За лагерем начинался некошеный луг. Было позднее августовское утро, жаркое и тихое. Бабочки неслышно махали крыльями над розовым иван-чаем. В этом солнечном безмолвии Толику стало хорошо и спокойно. Даже волчья яма казалась теперь чепухой. Дурацкая затея. Как Наклонов этого сам не понимает? И страха у Толика нет, лишь досада берет, когда он думает о ловушке. Но думать о ней Толик устал. И на разведку идти не хотелось.

Толик свернул на тропинку, что вела к шоссе (оно проходило в километре от лагеря). Вот так идти бы да идти: по тропинкам среди высокой, до плеча, травы; по обочине тракта, обсаженного вековыми березами (их, говорят, посадили еще ссыльные декабристы); по шпа-

лам узкоколейки через торфяник (шпалы теплые, на них выступает смола и щекочуще липнет к босым ступням); по светлым березнякам, по высокому бору среди золотистых сосен и дремучих папоротников... Чтобы никто не встречался, не мешал, не расспрашивал...

Нет, не получится. Вот кто-то уже идет навстречу Женщина какая-то. Может, свернуть в траву? Не хочется прятаться, будто виноватому... А все-таки кто это? Хорошо, если посторонняя. А если кто-то из лагеря, сразу придерется: «Почему ушел с территории?..» Нет, все работники лагеря сейчас на месте, родителей встречают. А это незнакомая тетенька. Но... нет, кажется, все-таки знакомая. Удивительно знакомая!

Не может быть...

— Ма-ма-а!

Она прижала Толика к ситцевой кофточке, пропахшей травой и дорожной пылью.

— Толька!.. Ты почему здесь, не в лагере?

— Так...— пробормотал он, скользя губами по ситцу.— Гуляю...

— Тебе попадет.

— Не... Я же недалеко. А ты... значит, уже приехала?

— Я там быстро управилась. Варя осталась, а я назад...

Толик счастливо потерся носом о мамин рукав.

Мама смеялась:

— Я тебя не узнала. Сперва решила, что мальчик из деревни. Смотрю... пастушок какой-то шагает...

Толик был босиком, мятые штаны подвернуты до щиколоток, рубашка поверх ремня. И волосы отросли (в лагере сначала ворчали: почему нестриженый приехал, потом отступились).

— Я тебя издалека тоже не узнал. А потом... как-то под сердцем ёкнуло... Ты на чем приехала?

— На попутной машине, в кузове. Очень быстро... А ты здесь как живешь?

«Хорошо»,— чуть не сказал Толик машинально. Однако помолчал секунду и вздохнул:

— Живу По-всякому...

— Что-то случилось?— моментально встревожилась мама.

— Да не случилось. Просто... Ну, не бывает же так,

чтобы все хорошо в жизни...— Врать не хотелось, жаловаться — тоже.

— Это верно. Не бывает.— Мама странно опечалилась.

Тогда встревожился Толик:

— А дома всё в порядке?

— Дома всё...

— Эльза Георгиевна Султана не заморила, пока ты ездила?

— Что ты! Они живут душа в душу... Ну, что мы стоим? Пойдем, покажешь, как тут у вас...

Они зашагали к лагерному забору. Медленно, потому что тропинка была узкая, трава цеплялась за мамино платье и за Толькины брюки. К тому же мама не торопилась, Толик тем более.

— Я пирожков тебе привезла.— Мама качнула авоськой с промасленным свертком.

— Ага... спасибо.

— Вас хорошо кормят?

— Нормально... Только часто вермишель дают, лучше бы картошки побольше...

— А с ребятами как? Подружился?

— Ма-а,— сказал Толик.— Значит, дома все в порядке?

— Что? Дома?.. Дома-то все в порядке, Толик...— Мама взяла его за плечо, и он остановился, проколотый тревогой, как ледяной иглой. Сжался. Не знал еще, что за беда, но приготовился принять ее, как брошенную на плечи тяжесть.

— Печальная весть, Толик. Арсений Викторович. Вчера похоронили.

Вот так... Вот какие волчьи ямы роет людям судьба. Это не ловушка Олега Наклонова. Ответную хитрость здесь не придумаешь. Ничем не поможешь, ничего не сделаешь. Ни-че-го...

— А почему он умер?— спросил Толик насупленно.— Из-за бронхита?

— Видимо, разрыв сердца. Ночью. Утром соседка зашла, а он лежит, словно спит...

— Но ведь...— начал Толик, думая сказать, что на сердце Курганов никогда не жаловался. И замолчал, разом осознав бесполезность слов. Ничего не изменишь,

сколько ни говори. Бессмысленно все. Пусто... Эта пустота начала расти — с такой стремительностью, что в ней уже недоставало воздуха, и пришлось хватануть его остатки широко раскрывшимся ртом.

— Толик... Ты не плачь, не надо.

Что? Он не думает плакать. Только непонятно... Так не бывает! Если закрыть глаза, без всякого усилия можно представить и лицо, и голос, и руки Курганова. Как он касается ладонью Толькиных волос. Вот будто прямо сейчас. А на самом деле этого нет. Совсем нет. Ничего... Пустота...

И Толик понял, что в эту пустоту уходит от него не один Курганов. Уходит все, что было с ним,— паруса, острова... И люди, которые шли под парусами к этим островам. Рассыпается, исчезает синий мир дальних морей и суровых судеб...

Неужели насовсем?

— Мама, но книжку-то его напечатают? Он успел отвезти ее?.. Мама...

— Не знаю, напечатают ли... Ее не приняли.

— Откуда ты знаешь?

— От Арсения Викторовича и знаю. Из Среднекамска мы ехали в одном вагоне... Будто нарочно судьба так устроила, чтобы он успел рассказать...

— А что он рассказал?

— Сначала ему повезло. Обычно рукописи лежат в издательстве подолгу: пока их прочитают, пока ответят автору... А тут у них что-то с планом случилось, нужно было срочно вставить в него какую-нибудь повесть. Вот один редактор и взялся прочитать за двое суток: вдруг, мол, откроется неизвестный талант...

— Ну, а разве не талант?!

— Видишь ли... Арсению Викторовичу не сказали, что повесть плохо написана. Сказали, что не о том...

— О чем «не о том»?

— Сказали: «Вы все вывертываете наизнанку. Знаменитого Резанова превратили в отрицательного героя. Вместо того чтобы писать о героизме русских моряков, копаетесь в нетипичных случайностях, выискиваете мелкие недостатки и нацеливаете на них читателя...» Это, мол, очернительство действительности.

Что-то знакомое почудилось Толику в таких словах.

— Так про Зощенко говорили, да? Похоже...

Мама удивилась:

— А ты откуда про это знаешь?

— Сама же зимой объясняла.

— А, верно... Не знаю, похоже здесь или нет. Но вот так получилось...

— Но он же написал про то, что было! Все правильно! И про подвиги у него есть!

— Толик,— осторожно сказала мама.— Не я же вернула Арсению Викторовичу рукопись.

Толик обмяк. Проговорил тихо:

— Значит, он расстроился. И от этого — сердце...

— Не знаю... В вагоне он не казался очень расстроенным. Скорее, сердитый был. И решительный. Говорил, что в Среднекамском издательстве сидят невежды и он поедет в Ленинград. Отдаст рукопись какому-то профессору для отзыва. Только, говорит, надо перепечатать заново, а то единственный экземпляр, да и тот из-под копирки... Я дала ему новый номер телефона в нашем машбюро, у нас его сменили недавно... А через день соседка и позвонила по этому номеру, нашла его в блокноте на столе. Больше-то некому было звонить...

«Почему ты мне сразу не сообщила?»— хотел спросить Толик и опять почувствовал бесполезность слов.

Мама что-то говорила: может быть, как раз объясняла, почему не приехала к Толику сразу. Он не слышал, на уши давил тяжкий гул «студебеккеров»— они вереницей шли за березами. Лишь тут сообразил Толик, что он и мама идут не к лагерю, а в другую сторону и оказались уже рядом с трактом.

— Куда это ты? Пойдем в лагерь, мама. Надо кладовщицу разыскать, а то уедет в город, выходной ведь...

— Зачем тебе кладовщица?

— Чемодан-то мой на складе. В палате не разрешают держать.

— Постой... Ты что, собрался уезжать?

— А... как еще?— Толик смотрел недоуменно. Неужели можно ему оставаться в лагере, когда так все поломалось, перевернулось? Это было бы... ну, все равно, словно он предал Арсения Викторовича.

Мама не стала уговаривать. Только сказала растерянно:

— А я тебе ножик привезла складной. Помнишь, ты просил купить? Думала, здесь пригодится...

Толик взял ножик на ладонь — тяжелый, с никелированной рукояткой, похожий на рыбку.

— Спасибо. Он везде пригодится... Мама, тебе надо зайти к Геннадию Павловичу, заявление написать, что забираешь меня.

— И тебе не жаль уезжать?

Толику на минуту стало жаль. Война с Наклоновым и вообще все плохое показалось сейчас неважным. А хорошее вспомнилось. Но он решительно помотал головой. И вдруг спохватился:

— Я только одно дело не успел... Но это недолго.

Малыша Вовку он разыскал сразу. Тот сидел на лавочке у дачи третьего отряда. Разговаривал с худым веселым человеком. Они оба смеялись. Левой рукой мужчина обнимал Вовку за острые загорелые плечи. Правый рукав был засунут в карман пиджака.

С полминуты стоял Толик в трех шагах. Наконец позвал:

— Вов... Можно тебя на минутку?

Мужчина отпустил Вовку. Тот нехотя и удивленно подошел.

— Ты на меня не злись,— тихо попросил Толик.— Ладно?

Вовка непонимающе молчал.

— Ну... за то, что я тогда... тебя... Я не нарочно,— выдавил Толик.

Вовка замигал и вдруг улыбнулся:

— Да ладно... Я уж забыл.

Толик проговорил торопливо:

— Я сейчас уеду. Может, мы никогда и не встретимся больше, а ты будешь про меня думать, что я... такой вот..

— Не, я не буду...

Толик вложил ему в ладонь ножик, мамин подарок И побежал к калитке.

ЧАСЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ!

Еще с улицы, сквозь окно, Толик увидел, что в комнате Курганова кто-то есть. Двери оказались незаперты. Толик вошел робко, но не постучавшись. Стучать в дверь дома, где не стало хозяина, было как-то... нет, не страшно, но неловко, будто шуметь во время похорон.

Комната была залита солнцем. Но свет казался неуютным, жестким — наверно, потому, что не было на окнах привычных марлевых занавесок. Кровать стояла голая, даже без матраца. Голыми были и книжные полки, со стены исчезла карта. Лишь портрет Крузенштерна, забытый всеми, висел над камином.

У камина возились с большим чемоданом женщина и мужчина. Женщина была крупная, с большой светлой прической и пухлыми локтями, которые нетерпеливо двигались. Мужчина — невысокий, лысоватый, в потертом кителе железнодорожника с новыми серебряными погонами.

— Здравствуйте,— сказал Толик тихонько.

Они, кажется, не расслышали... Но нет, женщина оглянулась, а мужчина поднял голову. Они посмотрели на Толика без удивления, и женщина ответила:

— Здравствуй.

А мужчина кивнул.

Сейчас спросят: «Ты зачем пришел, мальчик?»

А зачем он пришел? Толик и себе-то не мог объяснить, почему, едва приехав из лагеря, поспешил сюда. Даже маме ничего не сказал, сразу заторопился. Кого хотел увидеть, что узнать? Ведь Арсения Викторовича все равно уже нет...

— Тебе что, мальчик?— спросила женщина. У нее было круглое лицо — усталое и помятое. Это и понятно: горе никому красоты не прибавляет. В глазах ее угадывалось еле уловимое сходство с Кургановым, и Толик понял, что это его дочь, Елена Арсеньевна.

А мужчина, видимо, ее муж.

Он тоже вопросительно смотрел на Толика.

А что мог Толик объяснить? Колючие крошки уже заскребли горло. И, глядя на Крузенштерна, он шепотом произнес:

— Можно, я возьму портрет? Вам он, наверно, не нужен...

Дочь Курганова и ее муж не ответили. Наверно, не поняли. И Толик, насупившись, объяснил:

— Это я подарил Арсению Викторовичу на день рожденья...

Елена Арсеньевна встряхнулась:

— Ох... ты проходи, мальчик... Ты что, был знаком с Арсением Викторовичем?

Толик кивнул. Сделал шаг от порога, не спуская глаз

с портрета. Муж Елены Арсеньевны торопливо поднялся на цыпочки, отколупнул от стены кнопки, подал портрет Толику. У мужчины были светлые, как голубоватое стекло, глаза под выгоревшими бровями. Он смотрел с непонятной виноватостью.

— Вот... Давай свернем в трубку. А потом в газету.. Лена, есть у нас газеты?

— Я все бумаги сожгла.

— Ничего, я так донесу,— прошептал Толик.

Ему вдруг захотелось, чтобы Елена Арсеньевна или этот мужчина спросили: откуда Толик знает Арсения Викторовича, часто ли они встречались, о чем говорили?.. Может, он даже не сдержался бы и заплакал (и растаяли бы в горле сухие комки). Но Елена Арсеньевна опять повернулась к чемодану, а муж подошел к ней. Что-то сказал на ухо. Она двинула плечом...

Ну, вот и все. Надо было уходить. И Толик, прощаясь, еще раз обвел глазами комнату. Зря. Не надо было смотреть на эту сиротскую пустоту, высвеченную беспощадным солнцем. Надо было запомнить комнату прежней — где все на месте и нет жутковатой, непривычной приглушенности.

Да, вот в чем дело! Запустение — не потому, что исчезли многие вещи. А потому, что молчит хронометр.

Глаза Толика метнулись по углам и полкам, по подоконникам. И у левого окошка, на табурете, он увидел знакомый ящик с латунными ручками.

Толик шагнул к хронометру. Секундная стрелка не двигалась — как в то февральское утро, когда он опоздал...

Толик опустился перед табуретом на колени. Открыл ящик. Глотком загнал поглубже слезы и сказал тихо, но решительно:

— Так нельзя.

— Что?— откликнулся муж Елены Арсеньевны.

— Это морской хронометр. Простые часы останавливают, если человек умер, а морские нельзя никогда.

— Но мы и не останавливали,— мягко возразил железнодорожник.— Они, видимо, сами...

Да, конечно. На указателе завода стрелка показывала сорок восемь часов. Как в тот раз... Арсения Викторовича не было уже больше суток, а хронометр все стучал, стучал. Пока полностью не раскрутилась пружина.

— До часов ли тут было...— сказала Елена Арсеньевна.

Муж ее негромко объяснил:

— Я хотел завести, да не знаю как... Вертел, скважину искал, а она закрыта... Крутил, щелкал — стоят.

— Зря щелкали,— сумрачно ответил Толик. Он вспомнил разговор с Арсением Викторовичем. Перед лагерем. Когда все-таки признался, что сам однажды пустил хронометр.

Арсений Викторович не рассердился. Только покачал головой и с полминуты молча смотрел на Толика. Затем сказал:

— Я же говорил: ты везучий человек. Рука у тебя легкая... Ведь цепь-то могла слететь.

Толик не понял.

— Когда пружина расслаблена полностью, а на валике еще остался виток цепи, он может соскочить от толчка, потому что не натянут. Начинаешь заводить — и все запутывается. Тогда уж без генеральной починки не обойтись.

— Значит, я все-таки аккуратно нес хронометр, хотя и быстро,— улыбнулся Толик.— И я же потом вынимал механизм-то. Видел, что цепочка на месте...

А сейчас?

Толик решительно отвинтил стекло. Уже без страха, не то что в прошлый раз, взял механизм в левую ладонь... Слава богу, серебристая цепочка была на валике. Лишь чуть съехала, оставив на латуни темный пунктирный след. Толик сжал зубы и точным нажимом ногтя подвинул ее на место. Затем повернул ключ на один оборот — пока лишь для того, чтобы цепь натянулась...

Толкнул балансир.

«Динь-так, динь-так»,— проснулся механизм, и Толик ощутил короткий толчок радости. Словно он возвратил капельку жизни не только хронометру, но и его хозяину.

«Динь-так, динь-так...»

Когда секундная стрелка встала на числе «60», он придержал балансир. Спросил, не оглядываясь:

— Сейчас сколько времени?

— Скоро два...

Это хорошо, это удачно... Хотя странно: неужели только середина дня? Казалось, несколько суток прошло, как уехали из лагеря... Они с мамой шли по тракту, голосовали попутным грузовикам. Наконец один остановился.

В кузове были пустые ящики, они все время наезжали на Толика и маму, потому что сильно трясло. Он отпихивал ящики ногами... Ехали, казалось, долго-долго... Потом очень долго шли по городу к дому... Султан запрыгал от радости вокруг Толика, а он потрепел его по ушам и сказал: «Да подожди ты, глупый...»

— Скоро два,— ответил Толику муж Елены Арсеньевны.

— Мне надо точно,— резковато сказал Толик.

— Без семи минут.

Толик подошел к репродуктору, щелкнул по краю.

И пробилась в заглохшую комнату неожиданная музыка. Беззаботная такая, из фильма «Первая перчатка». Елена Арсеньевна подняла от чемодана голову.

— Это ненадолго,— сказал Толик.— Это надо.

Она пожала плечами. Муж ее в углу у двери укладывал в обширную авоську свертки. Он глянул на Толика быстро и, кажется, с удивлением. Но тут же опять занялся авоськой.

Толик ждал. Минуты еле ползли.

Музыка была сама по себе, а молчание — само по себе. Это молчание давило. Чтобы разбить его, Толик спросил:

— А рукопись Арсения Викторовича теперь у вас?

Дочь Курганова по-прежнему колдовала над чемоданом. Пухлые локти ее на миг остановились — и опять... Но через несколько секунд Елена Арсеньевна спросила нехотя:

— Какая рукопись?

— Повесть, которую он написал. «Острова в океане». Она не потерялась?— Толик спросил это уже с тревогой.

Муж Елены Арсеньевны распрямился и смотрел на нее из своего угла. Она ответила, не разгибаясь:

— Впервые слышу.

— Арсений Викторович ее столько лет писал!

Елена Арсеньевна сказала со сдержанной досадой — видимо, прежде всего не чужому мальчишке, а мужу:

— Отец всю жизнь что-то писал. И ничего, кроме неприятностей, от этого не было... Здесь у него всякие бумаги хранились, но старые, в беспорядке. Обрывки разные и письма. Я сожгла. А рукопись... не знаю.

«Надо же ее найти!»— хотел сказать Толик. Но не посмел. Ощутил натянутыми нервами недовольство, раз-

дражение женщины. Какое-то внутреннее сопротивление разговору. Почему? Не успел задуматься, из репродуктора донеслось:

— Товарищи, проверьте часы...

На этот раз Толику не представились солдаты в шеренгах и шагающий офицер. Сухое «тик-так» было просто щелчками в пустоте. Но пустил хронометр Толик точно. Крутнул при третьем сигнале ящик, увидел, как шевельнулась стрелка, и распрямился.

И заметил, что муж Елены Арсеньевны стоит рядом. Наклонившись, смотрит на ожившие часы. Он был невысокий, и серебряный погон оказался прямо у лица Толика. И на погоне, повыше капитанских звездочек, Толик разглядел плоский латунный паровозик. Аккуратный такой, каждое колесико видно.

...А в хронометре колесики — динь-так, динь-так...

Глядя на паровозик, Толик сказал:

— Когда повезете хронометр, не снимайте со стопора, качки в поезде не бывает... А заводить надо каждое утро в восемь часов.

— Не получится, наверно, каждое утро,— сказал муж Елены Арсеньевны.— Я на транспорте работаю, все время в поездках. Лена... Она тоже занятой человек.

— Но иначе нельзя!— Толик требовательно вскинул глаза.— Ход собьется. А если хронометр совсем остановится, может упасть цепь. Тогда совсем...

Железнодорожник смотрел пристально и непонятно. Толик отвел глаза. Стал глядеть на циферблат... «Динь-так, динь-так»— стрелка обежала полкруга.

Толик прошептал:

— Здесь пружина ослаблена. Я мог бы подтянуть, я знаю, как... Но тогда надо снова ход регулировать...

Муж Елены Сергеевны спросил негромко:

— Тебя зовут-то как?

— Толик... Анатолий.

— Вы что, друзья были с Арсением Викторовичем?

«Да!»— хотел резко и гордо ответить Толик. Но сумел лишь кивнуть. Еле-еле... И бывает же так, не вовремя — упала на стекло футляра капля, растеклась прозрачной пленкой.

— Вот ты и заводи часы каждое утро,— услышал он. Вскинул лицо — так, что брызги с ресниц.

Невысокий человек в потертом кителе сказал отчетливо и громко, словно уже не одному Толику:

— У нас дорога дальняя. Мы хронометр целым не довезем. А ты все про него знаешь: как заводить, как беречь. Вот и береги. Это т в о е наследство, Толик.

До той минуты Толик не думал, что хронометр может стать е г о. Просто в голову не приходило. Но сейчас он не удивился. Решение было самым правильным. Справедливым Наверно, и сам Арсений Викторович решил бы так же.

...Портрет Крузенштерна Толик свернул вчетверо и засунул под рубашку. А хронометр до самого дома нес, держа футляр перед грудью. Нес, как полную кастрюлю, когда нельзя выплеснуть ни капли. Еле слышное «динь-так» доносилось из-за толстого стекла.

Небольшой, похожий на Вовку из третьего отряда мальчик доверчиво подошел сбоку. Глянул сквозь стекло. Удивился:

— Ой... Я думал, там кто-то живой, как в аквариуме...

— Он и так живой,— строго сказал Толик.

Мальчик не обидел хронометр недоверием. Понимающе кивнул и несколько шагов шел рядом, поглядывая на удивительные часы. Потом убежал, стуча босыми пятками по тротуару.

ПРОЩАНИЕ

Толик не пошел на кладбище. Не потому, что оно было далеко за городом, и не потому, что боялся не найти могилу Курганова. Мог бы с мамой сходить. Мог бы сам расспросить и отыскать. Но душа его сопротивлялась мысли о смерти. Он помнил Арсения Викторовича живым и не хотел представлять, что теперь он, неподвижный, закрытый глухой деревянной крышкой, лежит под глиняной толщей

Все равно то, что зарыли в землю, было уже не Арсением Викторовичем. А настоящий Курганов снова в памяти Толика шелестел исчерканными листами и читал свою повесть хрипловатым от смущения голосом. И трещали в камине дрова. И стучал хронометр...

Он и сейчас стучал размеренно и неутомимо, словно доказывая, что смерти нет, пока его механизм работает, как сердце.

Но все-таки прогнать мысль, что Арсений Викторо-

вич умер, было невозможно. И порой подкатывала такая печаль, словно Толик остался один на свете и ничего хорошего никогда уже не увидит. Он пугался этой печали, встряхивался. Что это такое, в конце концов! Не все же потеряно в жизни. Вот он, Толик Нечаев, живой-здоровый, солнце светит, мама рядом, Назарьян и Юрка Сотин забегают каждый день, зовут купаться. А главное — то, что есть мечта, радость для будущей жизни: Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

Стоило вспомнить о приборе по имени «ТОЛИК», и тоска отступала. Но не совсем. Такое настроение, когда особой горечи нет, но не хочется ни смеяться, ни играть, бывало у Толика подолгу. И однажды вечером взяла мама Толика за плечи и усадила с собой рядом на кровати. Тихо спросила:

— Все печалишься об Арсении Викторовиче?

— Нет...— сказал Толик.

— Но я же вижу.

— Нет,— шепотом повторил Толик.— Я не только о нем. Иногда я про него и не думаю, а все равно как-то... Ну, я не знаю.

Мама погладила его по голове и придвинула к себе поближе. Словно защитить хотела от неведомого.

— Ма-а... я вот еще про что часто думаю. Неужели его повесть совсем никогда не напечатают?

Мама вздохнула:

— Никто даже не знает, где рукопись...

— А может, он ее спрятал?

— Где? И зачем?..

«...А если опять сжег?— подумал Толик.— Нет! Он же поклялся...»

— А если она в издательстве осталась? У того редактора?

— Едва ли. Если рукопись не приняли, какой смысл держать ее в редакции? По-моему, он вез ее с собой. Недаром же просил перепечатать.

— Значит, никакой надежды...

— Может быть, и есть надежда. Но слабая... Чтобы добиваться книжки, надо рукопись искать, потом хлопотать, ходить по редакторам... Мы-то что здесь можем сделать? У нас никаких прав. Этим должны заниматься родственники. Дочь его...

Толик вспомнил Елену Арсеньевну и понял, что она искать и хлопотать не станет.

— Она будто боится чего-то...

— Это немудрено... У отца было столько неприятностей. Ты ведь, неверно, догадываешься.

Толик даже не догадывался, а просто-напросто знал. Кое-что сам сообразил, кое-что проскользнуло в словах Курганова, да и в маминых разговорах еще раньше были намеки. С Курановым случилось то же, что, например, с мужем Эльзы Георгиевны или с отцом Валерки Шумилова — Толькиного соседа по прежней квартире. Кто-то шепнул кому-то, что человек ведет неправильные разговоры, а может, и просто вредитель. Перед войной время было суровое, всюду чудились вредители. И оказался Курганов на Севере вовсе не по своей воле и ни в какой не в экспедиции. Ему повезло — не то что отцу Валерки или мужу Эльзы Георгиевны: наверно, в конце концов разобрались, что никакой Курганов не враг народа. Выпустили. Но след-то за человеком все равно тянется, слухи всякие... Понятно, что дочь боялась: не случилось бы чего-нибудь опять.

— Ну, а сейчас-то чего бояться?— хмуро спросил Толик.

— Мало ли... Я думаю, она могла рукопись просто-напросто сжечь. Вместе с другими бумагами Арсения Викторовича.

— Зачем?

— Может быть, подумала: вдруг там что-нибудь не то написано? Кто-нибудь прочитает, будут и у нее, у дочери Курганова, неприятности!

— У него все хорошо написано,— упрямо сказал Толик.

— Это кому как покажется... Видишь, и редактор ему говорил: «Не на том внимание заостряете...»

— Потому что дурак он, редактор,— сумрачно подвел итог Толик. И приготовился услышать, что о взрослых незнакомых людях судить он не имеет права. Но мама только заметила:

— Не обязательно дурак. Скорее, просто хочет жить спокойно... Как и дочка Арсения Викторовича.

— Но она же родная дочь!.. Отец столько над повестью работал!

— Знаешь, Толик,— сказала мама задумчиво,— я подозреваю, что дочь и не догадывалась о работе Арсения Викторовича. Или не принимала ее всерьез. Скорее всего, посмотрела мельком рукопись и решила: не-

нужная писанина какая-то, ну ее в печку от греха подальше.

«Наверно, так и было»,— понял Толик. И вырвалось у него горько и для себя самого неожиданно:

— Значит, зря жил человек.

— Ну что ты,— осторожно сказала мама и опять придвинула Толика поближе.— Ну, почему же зря? Он много работал. Столько хорошего сделал в жизни...

— А главное дело все равно пропало.

— Нет...— Мама подумала и заговорила тихо, но решительно:— Не пропало и главное. Ты же прочитал его повесть. Это тебе в жизни пригодится. А значит, и другим людям, если будет им от твоей жизни польза. Конечно, жаль, что книгу Арсения Викторовича не напечатали, но след она все же оставила... А может быть, ты вырастешь и сам напишешь повесть про эту экспедицию, а? И посвятишь ее памяти Арсения Викторовича Курганова! А в предисловии расскажешь, что это был за человек. Вот и не забудется его имя.

Толику не хотелось спорить. Но он знал, что писателем не станет. Потому что он уже выбрал дело на всю жизнь... Но вообще-то мама правильно говорит. Если бы не Курганов, не додумался бы Толик до прибора — разведчика подводных тайн. Но он додумался и обязательно построит его. Тайный океанский лазутчик имени... имени Курганова, вот что! Крузенштерн и так знаменитый. А имя Курганова для морского аппарата — в самый раз. Когда конструктора Нечаева будут спрашивать, откуда оно, это имя, он расскажет про Арсения Викторовича. И тогда в самом деле получится, что все было не зря! Разве не так?

«Динь-так, динь-так, динь-так»,— размеренно говорил хронометр.

И все же Толика точила совесть, что он никак не попрощался с Арсением Викторовичем. Он по-прежнему не хотел ехать на кладбище, но чувствовал: надо что-то сделать, чтобы легче стало на душе. И чтобы Арсений Викторович, когда Толик будет представлять его живым, на него не обижался.

С этой мыслью Толик проснулся рано утром двадцатого августа. В шестом часу он пытался вспомнить недавний сон: будто повесть Курганова напечатали, и тот при-

нес книжку в подарок Толику — веселый, молодой (каким Толик наяву и не видел его) и в старинном зеленом мундире. Быстро пожал Толькину руку, растрепал, смеясь, его волосы. «Маме привет передавай. А мне пора...» И как-то получилось, что они уже не в комнате, а на крыльце. Подошел грузовик с открытым задним бортом, Курганов легко прыгнул в кузов, и оказалось, что это не кузов, а корма парусного корабля, который отодвигается, уходит в голубовато-серый туман.

— Арсений Викторович, куда вы?!— закричал Толик.— Мама скоро придет, подождите!

— Мне пора!

— Куда вы?!

— На остров! Меня ждут все наши! Они сейчас все там: и Крузенштерн, и Головачев, и Резанов! И прадедушка Иван Курганов! Мы теперь больше не ссоримся...

— А вы еще приплывете?

Но туман укрыл корабль и Курганова, а из голубых клубов на траву прыгнул Шурка Ревский.

— Тюбетейку мою не видел? Опять улетела, такая неприятность...

...Но все это вспоминалось Толику слабее и слабее, сон уплывал, оставляя ощущение ласковой грусти.

Мама спала, отвернувшись к стене и укутавшись, видны были только завитки волос на затылке. На них искрился ранний утренний лучик. Толик встал, прихватил со стула одежду и на цыпочках вышел из комнаты. На лестнице натянул штаны и майку и босиком выскочил на крыльцо.

Солнце только что встало и глядело из-за ближнего забора, будто веселый глаз в растопыренных золотых ресницах. Утренняя зябкость ухватила Толика в колючие, с мурашками, ладони. Но он не стал ежиться от холода и щуриться на веселое солнце тоже не стал. Настроение у Толика было сразу и задумчивое, и решительное. Он вышел со двора на пустую улицу, прошагал до перекрестка и там на мокрой искрящейся лужайке нарвал мелких городских ромашек и пунцового клевера. Перевязал маленький букет травяным жгутиком. Сунул цветы под майку и побежал. Через двадцать минут он был на Ямской.

Прохожих не встречалось, некого было стесняться. И Толик в этой утренней солнечной пустоте подошел к дому



номер четырнадцать, к тому краю, где смотрели на улицу два окна бывшей комнаты Курганова. В окнах отражалась улица, и что там сейчас за стеклами, не было видно. Да Толик и не стал заглядывать. Он быстро осмотрелся еще раз и встал коленями в траву у кирпичного фундамента. Трава уже высохла от росы. Из нее прыгнул кузнечик и затрещал где-то в стороне. Толик пошарил по фундаменту глазами и почти сразу нашел подходящее место — выемку от выпавшего кирпича.

Тогда Толик медленно вынул букетик, расправил лепестки ромашек и положил цветы в углубление.

Вот так он и попрощался с Арсением Викторовичем. Но, скорее, даже не с ним, а с частью собственной жизни. С теми вечерами, когда под стук хронометра Курганов читал свою рукопись. Таких вечеров в жизни Толика выпало всего два, но теперь казалось, что было их гораздо больше. Он прощался с синей картой на стене, с рисунком, где Нептун встречает на экваторе русских моряков; с разговорами о дальних островах...

Толик встал. Погладил кирпичную кладку. Тряхнул головой и пошел не оглядываясь...

— Где это ты гуляешь ни свет ни заря?— встретила его мама.

В первую секунду решил Толик соврать, что бегал на двор по самому обычному делу. Но тут же понял: мама ждет его давно. Она уже оделась, причесалась, заправила постели — свою и его. Он засопел, запереступал пыльными ногами, затеребил на животе майку. И вдруг сказал, глядя в пол:

— Ма-а... я прощался.

Странно, что мама почти не удивилась. Спросила негромко:

— С кем, Толик?

Присела на табурет у двери, взяла Толика за локти. Ждала.

— Ну...— сказал он.— Я на Ямскую ходил, где Арсений Викторович...— И тут у него вырвалось то, что чувствовал:— Ма-а... Как-то странно все кажется. Будто скоро уеду насовсем отсюда...

Мама вздрогнула. Потом пальцем приподняла его подбородок.

— Ты уже знаешь?

— Что?— удивился и немного испугался Толик.

— Что мы уедем.

— Мы? Я... не знаю! Куда?

— Уедем,— сказала мама. Притянула Толика, прижалась к его плечу теплой щекой.— Там нам всем будет лучше... Варя наша выходит замуж, мы поедем к ней...

Толик с полминуты молчал, переваривая новости. Он чувствовал, что шумно удивляться не стоит, не к месту это. И сказал наконец тихонько:

— Ай да Варюха. Послушалась меня, значит...

Вот что он узнал. Варя давно дружила со студентом Юрой, они на одном курсе. И наконец решили пожениться. Когда Толик был в лагере, мама не просто так ездила в Среднекамск, а чтобы с этим Юрой познакомиться и с его отцом. И очень Юра ей понравился...

— Ну, Варюха наша плохого не выберет,— вставил Толик.

— Да... Варя с Юрой после института останутся работать в Среднекамске, это уже решено, а жить будут в Юрином доме. То есть в доме его родителей. У них свой, большой. И нас туда очень зовут.

Толик беспокойно шевельнулся. Он был не малый ребенок и за свои годы успел наслушаться житейских историй. И подумал, что Юра, наверно, и в самом деле неплохой, но как его родители уживутся с мамой и с ним, с Толиком? Сперва-то зовут, а потом как не сойдутся характерами... Всякое ведь бывает, скажут: въехали тут не на свою жилплощадь...

Мама опять взяла Толика за подбородок, улыбнулась:

— У тебя, как всегда, мысли на носу напечатаны. Ты, наверно, думаешь, что если у человека свой дом, то он обязательно какой-нибудь толстый хозяин, с коровой и огородом... А у них дом еще от дедушки, он был известным врачом. И Юрин папа врач. Хирург Гаймуратов, о нем даже в газетах писали.

— А они что, нерусские?

— Н-не знаю... Почему ты решил?

— Ну, фамилия...

— Может быть, кто-то из дедушек-бабушек был татарин или башкир. По Юре и по отцу незаметно, отец на Чехова похож... А, собственно, какая разница?

— Да никакой,— вздохнул Толик.— Просто вспомнил.— Он вспомнил Рафика Габдурахманова, синеглазого робингуда, веселого художника. И грусть по отряду опять, несмотря ни на что, царапнула его. Но он прогнал эту грусть, только подумал: хорошо, если бы Юра оказался похожим на Рафика...

— Что ты вспомнил?— спросила мама.

— Да так... А мать у Юры кто?

— Мамы у него нет...

«Вот оно что»,— подумал Толик и высказал еще одно опасение:

— А если они это... начнут из тебя домохозяйку делать? Или у Варьки ребенок родится, а тебя нянчиться заставят...

Мама засмеялась:

— Разве ты меня дашь в обиду?.. И домохозяйкой я не сделаюсь, я уже узнавала о работе, там машинистки везде нужны.

— Всё без меня решили,— ворчливо сказал Толик.

Мама ответила серьезно:

— Ничего пока не решили. Давай думать вместе... А Среднекамск — город хороший, в пять раз больше нашего.

— Подумаешь...

— Река громадная, пароходы...

— Да?!

— А ты не знал? Ты же ездил...

— Я забыл,— смутился Толик.— Я зимой ездил, подо льдом реку не видно...

— А у Андрея Владиславовича, у Юриного папы, такая библиотека! Весь дом в книгах. И Жюль Верн есть...

Толик вздохнул:

— Ладно. Считается, что я тоже решил ехать. Недаром я чувствовал... Ой!

— Что?

— А Султан?

Султан, услыхав про себя, выбрался из-под стола, замахал хвостом. Толик обнял пса за шею.

— Как мы его оставим?

— Да никак,— сказала мама.— Куда же мы без него...

Часть вещей решили оставить пока на хранение Эльзе Георгиевне, кое-что из мебели раздали соседям с первого этажа. За громоздким имуществом потом приедут Варя и Юра. Мама же и Толик должны спешить: скоро сентябрь, Толика надо в школу записать...

— Поедем налегке,— сказала мама.

Сказать-то легко.

Ужас как обрастает вещами человек!

Прошлой осенью, когда переезжали в эту комнату, Толик устроил генеральную чистку. А теперь опять вон сколько добра накопилось. И для этого добра мама дала всего-навсего маленький чемодан, с которым он ездил в лагерь.

— Как я сюда все запихаю?

— Все и не надо, возьми только самое необходимое. Всякого барахла в Среднекамске насобираешь снова.

Но он и берет лишь самое необходимое.

Кольцевые подшипники для самоката отдал Назарьяну, незаконченную подводную лодку из соснового полена — Юрке Сотину. Раздал и многое другое: мотки цветной проволоки, всякие инструменты и наковальню из куска рельса, старую велосипедную динамку, руль от «эмки», самодельный проекционный фонарь из ящика от посылки... Даже снарядную гильзу, которую зимой у Васьки Шумова выменял на трубку от противогаза, отдал прежнему хозяину просто так.

Но заслуженную фляжку не оставишь! И конструктор, который мама купила два года назад на толкучке (старый, еще довоенный, без многих деталей, но все равно замечательный)! И фонарик, и коробку с диафильмами, и магнит от разобранного репродуктора... А еще надо краски положить и альбом для рисования, в нем больше половины листов чистые... А что такое в него засунуто? Ой, это же сложенный вчетверо портрет Крузенштерна!

Толик присел на пол у чемодана, развернул портрет на коленях, задумался. Но долго сидеть было некогда. Он опять сложил портрет и заметил, что из альбома торчит угол фотоснимка.

Это была карточка, которую Шурка дал Толику через день после концерта. Накануне похода.

Вот они стоят, «красные робингуды», в то время, когда все еще было хорошо.

Кажется, это было давным-давно... И лучше бы совсем не было! Толик взялся за края снимка, чтобы разодрать его пополам, и еще пополам, и потом на мелкие кусочки. На клочки все, что связано с робингудами!

Но пальцы остановились, не порвали карточку. Потому что понял Толик: он хочет забыть не одних робингудов, но и свою трусость в самолете. А это была бы уже новая трусость. Нельзя забывать то, в чем виноват, нечестно это. Забудешь, а потом где-нибудь опять сдашься страху...

А еще стало жаль того солнечного дня, когда читал Толик с расшатанной дощатой сцены свои стихи, а потом стоял с ребятами вот так, в обнимку, и радовался своей хорошей жизни и друзьям. Где-то в самой глубине души проснулась догадка, что через годы он будет смотреть на этот снимок уже иначе: без большой обиды и, может быть, с грустной улыбкой...

Да и сейчас, по правде говоря, особой обиды не было. Если подумать всерьез, разве робингуды враги? Что они плохого Толику сделали? Мишка Гельман, например? Или Рафик, или Люська! А Витя? Ну, принес тогда порванный герб да сломанный меч, так ведь не сам же хотел этого, поручили.

А Шурка, тот вообще... Вот о ком всегда будет жалеть Толик. Грустно, что не получилась у них дружба. Но все равно хорошо, что Шурка есть на свете...

Но Олегу и Семену Толик никогда ничего не простит... Хотя наплевать на Семена, он тюфяк и делает все, что велит Наклонов. А Олег — тот и в самом деле враг. Лагерные дни и «волчью яму» Толик не забудет.

Одно плохо, уедет Толик и не скажет Олегу Наклонову последнего решительного слова.

Мама попросила:

— Толик, принеси воды. Хоть полведра, надо чайник вскипятить.

Полведра — это же цыплячья доза. Через час опять бежать за два квартала на колонку... Толик налил ведро до верха и поволок перед собой, вцепившись в тонкую дужку двумя руками.

...Ух и помотали ему руки эти ведра, пока он жил

здесь, на Запольной. На пальцах от железной дужки — затвердевшие мозоли. А из плечевых суставов, наверно, все жилы вытянуты. Может, в Среднекамске колонка поближе от дома? А вдруг там прямо в доме водопровод есть? Вот красота-то была бы!..

Ноги стукались о ведро, вода плескалась на штанины, они противно мокли и делались жесткими. Руки вот-вот, казалось, отвалятся. Толик поставил ведро, выпрямился и тихонько застонал от облегчения.

И увидел Шурку Ревского.

Тот шел по другой стороне улицы, задумчиво балансировал на крайней доске тротуара и Толика не замечал... Знакомый такой Шурка в своей вечной тюбетейке, дрожащей на кудряшках...

И Толик сказал:

— Шурик...

Тот остановился, крутнулся на пятке, взмахнув руками. Прыгнул с тротуара и зашагал к Толику через пыльную дорогу.

— Разве вы уже приехали?— неловко спросил Толик.

Шурка смотрел Толику в лицо своими серьезными, широко сидящими глазами. Кивнул:

— Конечно, приехали, раз я здесь.

— А что ты тут делаешь? На нашей улице...

Мелькнула мысль: уж не его ли искал Шурка? Но робингуд Ревский спокойно объяснил:

— Я записку относил папиной знакомой, она здесь живет.

— А я уезжаю... Завтра днем, в Среднекамск. Насовсем.

Шурка подумал. Сказал с прежней сдержанностью:

— Ты что-то все время уезжаешь. То из лагеря, то из города.

— Из лагеря, потому что так получилось... У меня, Шурик, один знакомый умер. Очень хороший...

— Да?— быстро сказал Шурка и опустил глаза.

— Да,— сказал Толик. И стал смотреть на свое отражение в ведре. Лицо в темном круге воды колебалось и морщилось, словно тот отраженный Толик собирался заплакать.

— А мы думали...— начал Шурка.

— Что?— вскинул голову Толик.

— Что ты испугался ямы.— Шурик опять глянул ему в лицо.

— Я?!— взвинтился Толик.— Да я же... Да мне наплевать тогда было на яму и на всех робингудов!

Шурка сказал виновато:

— Мы же не знали, что у тебя такая причина.

— «Не знали...»— хмыкнул Толик. И хотел сказать, что ему совершенно все равно, что думают про него Наклонов, Семен и прочие подлые заговорщики. Нужны они ему, как колючка в пятке... Но вдруг он сообразил:

— Шурка... А кто это «мы»? Олег-то как догадался, что я знаю про яму?

— Я рассказал.— Шурка задергал на матроске галстучек, слегка побледнел, но глаз не опустил.— Я рассказал Олегу, когда ты уехал, что рассказал тебе тогда вечером про яму.

— «Рассказал, рассказал, рассказал...»— повторил Толик насмешливо и сердито, но сразу пожалел несчастного, не умеющего врать Ревского.— Эх ты, Шурка-Шурка. Они же тебя... совсем, наверно, затюкали.

— Нет,— вздохнул он.— Мне ничего не было. Олег только сказал: «Видно, тебя не перевоспитаешь». Меня, значит.

— Лучше бы он сам перевоспитался...— Толик зло прищурился, представив красивое лицо Наклонова.

— Ему не надо,— быстро сказал Шурка.

— Надо. Потому что он гад.

— Нет!— Шурка стиснул кулачки, и Толик опять пожалел его. Но злость была сильнее жалости.

— Он гад, твой Олег, ты сам знаешь. Потому что такие подлые капканы придумывают только гады и предатели.

— Нет! Он так придумал, потому что ты... он думал, что ты изменник и трус.

— Он сам трус! Хотел, чтобы все на одного в темноте! Попробовал бы один на один!

Шурик мигнул удивленно, спросил с ноткой сомненья:

— С тобой?

— Не с тобой же...— усмехнулся Толик. Теперь-то он знал, как поступить.— Слушай, Шурка! Если он не совсем уж полный трус, пусть завтра приходит к Черной речке, на поляну!

Шурка все понял сразу.

— Он же сильнее тебя.

— Там посмотрим,— бесстрашно сказал Толик. И в самом деле он сейчас не боялся.— Ну, так что? Передаешь ему?

Шурик задумчиво согласился:

— Хорошо, я передам ему... А потом вы, может, помиритесь?

— Нет.

— Ну... ладно.— Шурка опять задергал галстучек.— А во сколько приходить?

— В семь утра.

— Рано как...

— Зато никто не помешает,— усмехнулся Толик. И хотел добавить, что настоящие дуэли тоже устраивались на рассвете, чтобы не было посторонних. Но не решился. Не к месту это было. Он только строго сказал:

— И пускай все честно будет, один на один.

— Я скажу, и он придет,— очень твердо пообещал Шурик.— И все будет честно.

Говорить больше было нечего. Толик взялся за дужку ведра. Шурка вдруг предложил:

— Давай я тебе помогу.

Толик, не разгибаясь, прошелся по нему взглядом — по ногам-прутикам, по рукам-лучинкам, по шее-трубочке. Весь он, Шурка,— глаза да кудряшки. И сказал Толик:

— Сломаешься еще.

Получилось зло и глупо, сам почуял.

Толик рывком поднял ведро и понес его в одной руке, отчаянно изогнувшись и страдая. Тяжесть выворачивала руку из плеча, пальцы резало с такой беспощадностью, что выть хотелось, а еще сильнее мучила неловкость: зачем так отшил невиноватого Шурку?

А Шурка шел рядом. Словно хотел сказать что-то и не решался.

И, стыдясь своей вины, Толик сказал еще сердитее:

— Чего мне помогать, барин я, что ли? Помогай своему Олегу.

Шурка ответил не сразу. Но через несколько шагов он проговорил тихо:

— Наверно, хорошо, что ты уезжаешь.

— Почему?— растерялся Толик (а рука болела до одури).

Шурка сказал устало:

— Не могу я разрываться между вами...

Повернулся он и зашагал обратно не оглядываясь. «Туп-так, туп-так»,— стукали подошвы его ботинок. Толик растерянно поставил — почти уронил — ведро. Доска спружинила, вода расплескалась.

Толик вышел из дому в половине седьмого (мама спала, умаявшись накануне со сборами в дорогу). Солнце встало недавно и еще не грело. Босые ноги скользили по мокрой от росы траве. Несколько раз Толик вздрогнул. Может, не от одной лишь утренней зябкости?

Нет, он ничуть не боялся!

Но и бодрости Толик не чувствовал. Было ощущение, что он идет делать неприятную, но неизбежную работу. Никуда не денешься. Без этого боя не освободишься от ощущения вечной виноватости. Всю жизнь будешь вспоминать усмешку Наклонова, который остался победителем. Который считает тебя законченным трусом и беглецом.

И будешь ежиться от такого воспоминания, как сейчас ежишься от холода.

«Ну, а дракой что решишь?»— спросил себя Толик, словно это не он, а кто-то взрослый. Вспомнил, как надворный советник Фосс на палубе «Надежды» объяснял графу Толстому: поединки ничего не решают — одного противника увозят на кладбище или в лазарет, а другого в крепость.

«Но здесь-то не будет ни кладбища, ни крепости,— усмехнулся Толик.— И даже лазарета не будет».

Да, поединок ожидается как раз такой, о каком с насмешкой писал Шемелин: наставят, мол, друг другу синяков и на том разойдутся. Оба живы-здоровы и скоро помирятся...

Но Толик-то с Наклоновым не помирится! Им не договориться друг с другом! Да и времени не будет на это.

Нет, дуэль не такое уж бессмысленное дело. Иногда это просто последний выход. Решающий бой. Пушкин что, глупее других был? А ведь взял пистолеты и поехал драться на Черную речку.

Тоже на Черную речку...

А где еще была Черная речка? Под Севастополем! Толик читал в прошлом году про Нахимова, про Первую Севастопольскую оборону. У русских на Черной речке было последнее большое сражение с англичанами и французами. Неудачное сражение...

Черные речки не принесли счастья ни Пушкину, ни севастопольцам. На что же надеяться Толику?

Да нет, он не верит в приметы и предчувствия, но Олег-то старше и крепче. Это же не на пистолетах бой, где не важно, какие мускулы. В драке сила нужна. И умение!

А какое у Толика умение? Ну, дрался пару раз в классе, да и то растаскивали в самом начале...

«Боишься, что ли?»

«Нет, все равно не боюсь...»

Уж если ямы в лагере он не боялся и готов был идти ночью, теперь тем более не страшно... В конце концов, не важно, кто из противников пострадает больше. Главное, чтобы не сдаться, не прятаться от боя. В дуэли с Пушкиным разве Дантес победитель? А севастопольцев разве можно назвать побежденными?

Так что шагай, Толик, на свою Черную речку, обратного пути нет.

«Но я и не хочу обратно!»

Конечно, Олегу легче. Не только в силе дело, а в том, что кругом будут стоять его друзья. Он ведь наверняка приведет с собой робингудов. Будут сочувствовать, подбадривать, радоваться его ловкости. А кто поддержит Толика? Может быть, Шурка, да и тот тайком...

Ну и пусть! В новой жизни, которая начнется завтра, у Толика будут и хорошие дни, и крепкие друзья. А сейчас он выстоит в одиночку. Другого выхода нет, и потому на душе у него почти спокойно. И сердце стучит ровно, как хронометр: «Динь-так, динь-так...»

«Не опоздать бы, а то опять скажут: испугался». Толик зашагал быстрее. Конечно, они все уже там. Ждут... Ну и пусть их много, а он один! Пусть смотрят! В драку все равно вмешиваться не станут.

Робингуды могли скрутить Толика, когда брали в плен как шпиона, могли устроить ночную засаду в лагере — это, мол, специальная операция, вроде игры, а не нападение с кулаками. Но наброситься толпой на человека, который пришел для честного поединка — значит нарушить все человеческие законы.

Толик спустился по крутому склону к берегу Черной речки на поляну. Здесь были Витя, Рафик, Люся.

— Здравствуй,— сказал Витя.— Олег и Шурка сейчас придут.

Люся на Толика не взглянула, плела что-то из длинных травинок. Рафик смотрел с веселым любопытством и посвистывал.

Молчать было неприятно, и Толик спросил с насмешливым равнодушием:



— А Гельмана и Семена не будет, что ли? Проспали?

— Семен проспал,— с зевком ответила Люся. Витя сказал:

— А Гельмана мы исключили. Он, пока Олег в лагере был, со шпаной связался.

Толик не удивился. Подумал: «А Олег, наверно, рад, Мишки-то он опасался...» И усмехнулся:

— Очень уж легко вы всех исключаете.

— Не легко,— серьезно объяснил Витя.— Мы его предупреждали... Зато у нас теперь есть новички.

— Ой, вон они идут!— обрадовался Рафик.

Толик решил, что идут новички. Но по тропинке спускались Олег и Шурка. Шурка двигался впереди. Ноги у него скользили по глиняным крошкам, и он хватался за верхушки бурьяна. Он был без привычной матроски, в майке. И не в ботинках, а в сандалиях на босу ногу, к тому же незастегнутых. Пряжки на сандалиях болтались и тихо позванивали, словно крошечные шпоры.

Олег обогнал Шурку, остановился перед Толиком. Он был, как и Толик, босиком, в рубашке навыпуск, непричесанный. Словно снисходительно решил не отличаться сегодня от противника.

Улыбнулся. Спросил:

— Значит, решил драться?

Толик понял, что не чувствует ни капли злости. То, что было в лагере, казалось, связано с каким-то другим Наклоновым, а теперь Толик видел прежнего Олега, товарища по летним играм.

— Ну?— сказал Олег. Глаза его смотрели почти ласково.

— Решил,— сказал Толик.— Что же мне еще делать?

— Ну, подеремся, а потом что?

— Потом — всё. Я сегодня уеду. Насовсем,— ответил Толик и заставил себя вспомнить лагерь. Когда уже ночь и за окнами чернота, и ты давишь в подушку слезинки — и от тоски по дому, и от обиды: оттого, что завтра проснешься, и кругом народ, а ты все равно один.

— Я все же не понимаю: зачем тебе эта драка?— снисходительно проговорил Олег.

— А зачем была ловушка в лагере?— ощетинился Толик.

— Чтобы проучить тебя,— доброжелательно сказал Олег.

— За что?

— За боязливость.

— А ты смелый? Вот и проучи сейчас.

— Что ж, придется...— Олег оглядел ребят, словно говоря: я не хотел, он сам просит. И пружинисто встал в боксерскую стойку. Ловко так, красиво.

У Толика противно заныло в животе. «Ты, что ли, правда совсем трус?»— спросил он себя. И, чтобы успокоиться, вспомнил: «А хронометр-то идет...» Это теперь не очень помогло. Но все же Толик поднял к груди кулаки. Встать в настоящую боевую стойку он постеснялся. Мышцы обмякли. Толик понял, что всерьез ударить Олега он просто не в состоянии.

Олег умело выбросил руку, Толик не успел уклониться. Попало по скуле, в глазу вспыхнуло. Толик удивленно опустил руки.

Олег улыбался. Видимо, решил, что вот и всё, кончен бой.

Да?

Злость не злость, гордость не гордость, но какая-то пружина сработала. Пальцы сжались, и Толик махнул кулаком снизу вверх. Сильно! Костяшки прошли по верхней губе и носу Наклонова. Голова у него откачнулась, руки вскинулись.

— Ой-я...— сказал Рафик с веселым испугом.

Олег быстро отошел на два шага, поднял к лицу ладони и замер. Прошло несколько секунд. Все молчали. Толик ждал, часто дыша. Олег стоял, не опуская рук. Толик наконец шагнул к нему. Тогда Витя Ярцев звонко сказал:

— Перестань! Видишь, у него кровь!

Из-под пальцев Олега выползла на подбородок алая струйка. Толик опустил кулаки.

К Олегу быстро подошла Люся.

— Ну-ка, покажи. Сильно он тебя?

Олег послушно развел в стороны ладони и запрокинул лицо. Люся стала вытирать у него кровь под носом сорванным лопухом. Подскочил Витя, дал платок. Аккуратный он, Витя Ярцев.

— Кровь так кровь,— устало сказал Толик.— Разбитых носов не видели?

Ему никто не ответил. Лишь Рафик глянул быстро и будто понимающе.

Толик не чувствовал победной радости.

— Всё, что ли?— спросил он хмуро.

— А тебе чего, еще надо?—сердито откликнулась Люся. Олег с запрокинутой головой сопел распухающим носом.

— Тогда я пошел,— сказал Толик. Радости не было по-прежнему. Но все же дело свое он сделал, как хотел. Даже лучше, чем хотел.

И теперь он уходил. Навсегда... Правда навсегда?

Толик оглянулся. Все робингуды смотрели ему вслед. Даже Олег смотрел. Впереди всех стоял Шурка. Тонкий, обиженный какой-то. Замерший и немигающий.

— Шурка,— вдруг сказал Толик.— Можно, я тебе письмо напишу из Среднекамска?

Шурка мигнул. И лицо его ожило от сумятицы мыслей — словно заметались по нему зайчики и тени от частой листвы. Но почти сразу взгляд Ревского отвердел. И сказал Шурка:

— Вот еще!

«Ну что ж, прощай»,— подумал Толик. И снова пошел от ребят. По берегу Черной речки.

Но почти сразу он услышал топот. Шурка обогнал Толика, потеряв в траве незастегнутые сандалии. И остановился перед ним — босой, растрепанный, решительный.

— Стой! Теперь ты будешь драться со мной!

Вот уж чего Толик не ожидал!

— Шурка, ты что? Зачем?

— А зачем ты его так! До крови!— Шурка задранным подбородком показал за спину Толика, на Олега. В глазах робингуда Ревского дрожали огоньки ясного гнева.

Подошли с двух сторон Витя и Рафик. Витя сказал:

— Шурка, не надо.

— Надо! Зачем он его так!

— Но мы же честно дрались,— сказал Толик.

— А я тоже честно! Я тебе за него отомщу!— Шурка сжал губы и выставил кулачки.

По-взрослому спокойно и ласково Толик проговорил:

— Не надо, Шурик. Пусти. Некогда мне...

Или от ровных этих слов, или сам собой Шуркин запал угас, ушел, как уходит в землю электрический заряд. Рот приоткрылся, кулачки дрогнули. Но все еще упрямо Шурка возразил:

— Ты врешь, что некогда. Ты сам говорил, что поезд уходит днем.

— Не в этом дело...— Толик взял его за плечи и тихонько отодвинул с тропинки.— Скоро восемь, Шурик. Мне пора заводить хронометр.



ЭПИЛОГ

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ АЛАБЫШЕВ

Вот окончание повести Арсения Викторовича Курганова. Оно сохранилось на листах, которые Толик Нечаев спрятал в подставку пишущей машинки.

«Конец 1854 года в Крыму был необычным: пришла зима — не южная, а настоящая, российская. В середине декабря выпал снег, по ночам даже потрескивали морозцы.

Севастопольцы были рады зиме. Холод хотя бы на время сковывал непролазную грязь на бастионах и в траншеях, снег прикрывал тоскливую неуютность растерзанной земли, трупы лошадей, разбитые орудия и ящики, чугунную скорлупу разорвавшихся бомб и камни с засохшими на них кровяными сгустками. Словно природа, всей душой противясь человеческому безумию, старалась укрыть от глаз военный мусор — следы затяжной осады...

Армия осаждавших отчаянно страдала от холодов. Темпераментные зуавы и бравые шотландские стрелки, лихие гренадеры маршала Сент-Арно и розовощекие «томми» лорда Раглана коченели в траншеях и маялись от болезней в палатках и дощатых бараках. На русских бастионах появлялось все больше перебежчиков из лагеря интервентов.

...На третий бастион, именуемый англичанами «Большой Редан», перешел пожилой британский сержант. Сидя на перевернутом лафете, окруженный матросами, он что-то говорил, разводя красными от холода руками. Поворачивал то к одному, то к другому морщинистое, недоуменно-горькое лицо. В светло-голубых глазах англичанина была жалобная просьба понять и оправдать.

Матросы не понимали ни слова и сочувственно кивали, поговаривая: «Оно конечно... Видать, натерпелся... Ихнему брату нынче непривычно...»

— Ваше благородие, о чем он бормочет-то?— спросил скуластый прокопченный комендор у подошедшего офицера.

Молоденький румяный лейтенант — в ладном мундире, щегольской флотской фуражке и безукоризненных перчатках, но в мятой солдатской шинели внакидку — с полминуты слушал сержанта, потом охотно разъяснил:

— Да все о том же... Раньше, мол, не такая была война, когда генерал Каткарт в Индии водил их к славным победам... А здесь, мол, офицеры совсем заморили работой, а после работы обогреться негде и горячей еды нет; поваров не оставляют, провизию выдают натурой, а варить не на чем, дров нет...

— Одно слово — не Индия,— заметил комендор.

Сержант вдруг суетливо расстегнул и стащил с себя красный мундир, сорвал с него эполеты, размахнулся, чтобы бросить, но рука остановилась. Он сжал эполеты в кулаке и заплакал.

— Ишь ты,— запереговаривались матросы.— Несладко, видать, расставаться с эполетами...

— Служил, служил, а теперь что?

— Это понимать надо: совесть-то, небось, тоже есть.

— Присягу давал ихней королеве, а теперь как? Не ваш и не наш...

Молодой матрос — рыжий, с густыми веснушками, проступающими сквозь копоть, с замызганной повязкой под измочаленной бескозыркой — сказал с жалостливым удивлением:

— Как же это он, братцы, своих-то бросил? По мне, чем такое дело, лучше уж сразу смерть.

— А ты ее не кличь,— усмехнулся скуластый комендор.— Она тебя и так зацепит, коли бог не убережет Вон, летает...

Над головами и правда посвистывали штуцерные пули. А одна влетела в амбразуру, зацепила выпуклый обод на стволе карронады и с воем распорола подол шинели у молчаливого низкорослого матроса. Тот лениво выругался: пришивай теперь.

Лейтенант сказал, кивнув на англичанина:

— Он ведь не смерти испугался. Раньше-то воевал, не боялся; смотрите, и награды у него... А здесь невмоготу стало: холод, да грязь, да работы невпроворот. Не война — каторга.

— У нас вроде тоже не царство небесное на земле,— сказал веснушчатый.

— Да мы-то знаем, за что терпим,— возразил лейтенант.— За свою землю бьемся. А они?

— А и то верно,— согласился матрос.— Их сюда не звали...

На английской батарее ухнуло орудие. Нарастающий свист заставил всех примолкнуть. Но сигнальщик лениво крикнул:

— Перелетит, не наша!..

Бомба лопнула далеко за бастионом, среди домиков Корабельной слободы.

— Без толку рушат город, ироды,— ругнулся скуластый комендор.

Англичанин бросил эполеты и мелко дрожал. Из круга матросов послышалось:

— Надевай мундир-то, совсем закоченеешь... Дайте ему, братцы, шинель, что от Матвея Горушкина осталась...

Шинель упала на колени перебежчику.

— Надевай, вояка... А может, как раз он бомбу-то и пустил, что Матвея положила, а, братцы?.. Ваше благородие, вы его спросите: он не из батарейных?

— Да ну его к черту...— Лейтенант поправил на плечах шинель, из-под лацкана которой блеснул новенький «Владимир» четвертой степени.— Пойду я, счастливо оставаться, братцы.

— С богом, Петр Иваныч. Счастливо и вам,— заговорили матросы.— Не забывайте бастион, ваше благородие, заходите... А как доставите памятник, не сомневайтесь — разом все сделаем...

Лейтенант миновал горжу бастиона и через несколько минут шел уже по улицам Корабельной слободы. Бли-

же к бастиону многие дома были разрушены и обгорели, в крышах чернели провалы, но очень скоро лейтенант оказался среди переулков, где жизнь текла, как в довоенные времена, хотя и здесь заметны были следы обстрела. Шагая по тропинкам и скользким каменным лестницам, лейтенант не первый раз подивился, как приспосабливаются мирные люди жить под боком у смерти. Каждый день падают сюда ядра и бомбы!..

Утреннее солнце — невысокое, желтое — тоже напоминало ядро, летело среди быстрых косматых облаков. Снег то покрывался тенью, то нестерпимо искрился.

Лейтенант не спешил, он был сегодня свободен от службы и шел не на батарею, а на свою квартиру. Точнее же, на корабль, где обитали офицеры и матросы флотского батальона. А на третий бастион приходил он, чтобы повидаться с сослуживцами старшего брата, погибшего пятого октября, при первой бомбардировке Севастополя. Повидаться и поговорить о деле. Давние друзья брата, с которыми служил он когда-то на пароходе «Владимир», заказали в память Евгения чугунную плиту и крест. Задача теперь уложить плиту и поставить крест на могиле. Командиры и матросы бастиона охотно взялись помочь, но дело было непростое, требовалась для него темнота. Днем-то на снегу каждый человек — будто муха на фарфоровой тарелке. А могила — за бруствером, на открытой площадке перед бастионом.

Хотя, если по правде говорить, какая там могила? Одно обозначение... Что могло остаться от человека, который был рядом с пороховым погребом, когда в погреб этот врезалось раскаленное английское ядро? Взрыв видели и слышали на всех бастионах...

Мысли о брате полны были горечи, но горечи уже привычной. За два с половиной месяца ощущение непоправимой беды притупилось, да и жизнерадостный нрав лейтенанта брал свое. К тому же мысль, что в любой день и час он может разделить судьбу брата, приносила Петру вместе со страхом и какое-то утешение...

День был хорош, и лейтенант отвлекся от размышлений о смерти. Снег поскрипывал, напоминая зиму в родной Смоленщине. Кругом все казалось отгороженным от войны, хотя английские пушки ухали регулярно, и перелетевшая оборонительную линию бомба звонко лопнула где-то на краю слободы.

Жители не обращали внимания на нечастые выст-

релы. Бойкие матроски, перекликаясь, несли на коромыслах ведра и поглядывали на молодого офицера. Проворный старик тащил вверх по улице вязанку дров на непривычном для здешних мест устройстве — наспех сколоченных санях. И неподалеку слышался веселый гвалт ребятишек.

Лейтенант вышел на пустырь, где сходились, как на площади, неколько улочек. И здесь увидел он картину, которую нашел презабавной. Толпа мальчишек построила из снега укрепление, и сейчас разгорелся бой. Одни обороняли бастион, другие храбро шли на приступ. Круглые поленья, торчавшие из амбразур, стрелять, конечно, не могли, но снежные гранаты и ядра тучами летели из-за высоких стен. Они лихо разрывались, ударяясь о мятые капелюхи и старые матросские фуражки, наползавшие на красные оттопыренные уши атакующих.

Совсем еще недавнее детство закипело в двадцатидвухлетнем лейтенанте, и он едва удержался, чтобы не кинуться на помощь осаждавшим. Не кинулся, правда, но хохотал как сумасшедший, видя, что атака захлебнулась под встречными залпами. И громко подавал отступившим мальчишкам советы-команды. Так увлекся, что не заметил подошедшего и ставшего рядом пожилого капитан-лейтенанта в новой флотской шинели.

А когда заметил, покраснел до слез, перебил крик ненатуральным кашлем, а потом сказал, стараясь быть непринужденным:

— Право же, так наскучаешься на позиции, что везде готов искать развлечений... Не правда ли, уморительный вид сражения?

Капитан-лейтенант кивнул, добродушно улыбаясь.

Обрадованный, что не увидел насмешки, лейтенант продолжал:

— Если только дело дойдет до рукопашной, домой очень много вернется раненых, с синяками... Не научить ли их правильной осаде? Преинтересно будет смотреть, как они начнут производить работы под кучею ядер из укрепления...

— Согласен, что преинтересно,— вздохнул капитан-лейтенант.— И пригласить бы сюда господ политиков, чтобы убедились в преимуществах такой войны перед той, которую мы ведем по их милости.

— Боюсь, что господа политики не усмотрят выго-

ды в снежных ядрах перед чугунными,— уже без смеха возразил лейтенант.— Снежком пороховой погреб не взорвешь.

— Увы,— согласился капитан-лейтенант.

Офицеры встретились глазами, и младший вспомнил, что следует представиться.

— Флота лейтенант Лесли Петр Иванович. Флотский батальон по обслуживанию четвертой дистанции.

— Флота капитан-лейтенант Алабышев Егор Афанасьевич... Позвольте, уж не брат ли вы Евгения Ивановича Лесли?

— Точно так... Вы знали брата?

— Не был знаком, к моему огорчению. Но слышал о нем от моряков немало. О его храбрости и неунывающем духе.

Лесли смутился, будто похвалили не покойного брата, а его самого. А капитан-лейтенант Алабышев сказал просто и строго:

— Думаю, что именно таким людям, как ваш брат, обязан Севастополь тем, что выстоял в первые дни осады... Жаль, что многих уже нет.

— А вы, видимо, не так давно в Севастополе?— догадался Лесли, поглядывая на новую шинель Алабышева.

— Вторую неделю. До сего времени я и не бывал на Черном море, служил на Балтике. Потом несколько лет был в отставке... С началом кампании подал прошение о новом зачислении, но чиновники наши в штабах... Короче, лишь в ноябре опять надел форму.

Капитан-лейтенанту было под сорок, и по возрасту вроде бы полагалось перешагнуть уже первый штабофицерский чин. «Видимо, отставка помешала»,— подумал Лесли. Алабышев понравился лейтенанту. Имя Егор Афанасьевич, вздернутый нос, рыжеватые волосы производили в первую минуту впечатление простоватости. Но военная жизнь обостряет зрение даже у самых молодых, и Лесли наметанным глазом разглядел в пожилом капитан-лейтенанте человека спокойной храбрости и немалого ума. А внешность что? Незнакомым людям и Павел Степанович Нахимов кажется порою мешковатым и недалеким. Лесли сказал с еле заметным превосходством бастионного ветерана, но и с искренним желанием уберечь Алабышева:

— Если позволите совет, шинель вам лучше сменить.

Наша черная форма для английских штуцерников — преудобнейшая цель.

— Знаю,— улыбнулся Алабышев.— Не обзавелся еще солдатской... Да сейчас что серое, что черное — одинаково на таком снегу. А кроме того, у нас не в пример спокойнее, чем на вашей четвертой дистанции. Я ведь с шестого бастиона. А сейчас ходил на Малахов, где есть, оказывается, мой знакомый офицер. Вместе оканчивали корпус, еще при Иване Федоровиче Крузенштерне.

Лесли, для которого Крузенштерн был почти такой же историей, как Петр Великий, вежливо наклонил голову. И в эту голову, в висок пониже фуражки, влепился крепкий снежок. Лейтенант по-ребячьи взвизгнул, запрыгал, наклонясь и вытряхивая из-за ворота снежные крошки. Потом закричал мальчишкам:

— Сорванцы! Мало нам разве французов да англичан? Еще и от вас подарочки!

Из толпы осаждавших бесстрашно откликнулся один — тонкошеий, белоголовый, без шапки, в порыжелом и рваном матросском бушлате до пят:

— Это не мы, дяденька! Это с баксиона!

«Дяденьки» отошли подальше, посмеялись, скрутили по папиросе — бумага нашлась в карманах у Лесли, а табак Алабышев предложил из своей табакерки.

Табакерка заинтересовала Лесли — круглая, плоская, из желтого, словно кость, дерева, с узорчатой готической буквой «В» на крышке. Алабышев улыбнулся:

— Я купил ее в Фальмуте семнадцать лет назад, когда шел в кругосветное плавание на корвете «Николае». Продавал ее в своей лавчонке старый англичанин, отставной матрос. Веселый и полупьяный. Он, кстати, убеждал меня, что эта штучка вырезана из обгорелого шпангоута фрегата «Баунти», знаменитого в прошлом веке своим мятежом. Будто бы сам он вывез ее с острова Питкерна, где живут внуки мятежников... История эта; скорее всего, плод его фантазии. Но мне табакерка дорога как память о плавании и тех годах...

Они докурили и распрощались, подавши друг другу руки, причем Лесли ухитрился на утоптанном снегу щелкнуть каблуками. Далее каждый пошел своей дорогой.

Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде, и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий ба-

стион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в Корабельной слободе. Лишь о встрече с Алабышевым не упомянул, потому что не видел в ней примечательного. Да и фамилию пожилого капитан-лейтенанта он, по правде говоря, почти сразу забыл.

...Алабышев же, простившись с лейтенантом, зашагал в центр города, поскольку среди офицеров появились слухи, что вновь стала принимать посетителей Морская библиотека, закрывшаяся в начале осады. День, свободный от дежурства на бастионе, было бы чудесно провести среди книг. Тем более что еще в Петербурге Алабышев слышал, будто вышла недавно в свет книга профессора Веселаго «Очерк истории Морского кадетского корпуса». В ней, без сомнения, найдутся страницы и об Иване Федоровиче...

Слух о библиотеке, однако, оказался неверным, и Алабышев с минуту досадливо рассматривал запертые двери. Затем полез в карман за табакеркой, чтобы хоть чем-то утешить себя... Но табакерки не было.

Это огорчило Егора Афанасьевича гораздо сильнее, чем закрытая библиотека. Табакерку он любил. Талисманом ее он не считал, потому что в приметы не верил, но, как одинокие и уже немолодые люди, он крепко привязывался к старым вещам, заменяя, быть может, этой привязанностью недостаток друзей и родных... Было ясно, что табакерку обронил он, когда курил с молодым лейтенантом.

Чертыхнувшись, но нимало не колеблясь, Алабышев пустился в обратный путь. А путь был не близкий — вдоль почти всей Южной бухты, мимо батарей Сталя и Перекомского, затем по переулкам и каменным трапам Корабельной слободы, где почему-то все в гору да в гору... Впрочем, скоро при быстрой ходьбе Егор Афанасьевич достаточно успокоился и даже стал посмеиваться над собой, поминая Тараса Бульбу, спешащего за оброненной люлькой.

В отличие от Тараса, Егору Афанасьевичу вражеская опасность не грозила. Господа англичане и французы мерзли в траншеях и о штурме не помышляли. Только лихие мальчишки атаковали игрушечную крепость. «Они, скорее всего, и подобрали табакерку,— подумал Егор Афанасьевич.— Расспрошу...»

Мысли перешли от табакерки к плаванию, в начале которого она была куплена. Плавание оказалось длинным, интересным, не без приключений, но книгу о нем мичман Алабышев (произведенный к концу путешествия в лейтенанты) писать не стал. К тому времени сочинений о таких путешествиях накопилось немало: по проложенному Крузенштерном и Лисянским пути русские корабли шли теперь ежегодно.

О другой книге были мысли, появилась дерзкая мечта: собрать воедино истории о всех русских мореходцах — знаменитых и не очень знаменитых, рассказать и о подвигах простых матросов (без которых, как и без капитанов, не было бы славных для России открытий) и написать такое сочинение, возможно, не в одной, а в двух или трех частях.

Помня себя мальчиком-кадетом, «мышонком», понимал Алабышев, что немалая польза была бы от такой книги для тех, кто растет и учится. И мысли о важной работе грели душу.

Замах, конечно, большой, но разве без замаха и смелости исполнишь многотрудное дело? Шестнадцатилетний мичман Веревкин, наверно, тоже сомневался и страх испытывал, когда около ста лет назад взялся за свое «Сказание о мореплавании», где излагал историю морских путешествий во всем свете и от самой древности. Правда, он не столько сам писал, сколько переслагал с французского и английского. Но тогда и времена были не те, многому еще приходилось учиться у иностранцев...

Мичмана Веревкина подтолкнул к большому труду Алексей Иванович Нагаев, первый русский картограф, будущий знаменитый адмирал. Егора Алабышева побудили к мыслям о книге беседы с Крузенштерном, сочинения его и постоянный пример адмирала-труженика, хотя сам Иван Федорович о том, конечно, не догадывался...

Корпус окончил Алабышев в числе лучших, офицером был знающим, с товарищами ладил, хотя они порой и посмеивались, что многие часы проводит он в каюте, обложившись книгами и в книжные же лавки спешит прежде всего в любом порту. Алабышев отшучивался без обиды, потому что характер имел ровный.

И всех, знавших его характер, несказанно удивила

хлесткая пощечина, которую Егор Афанасьевич Алабышев, неделю назад произведенный в капитан-лейтенанты, влепил другому капитан-лейтенанту, барону фон Розену, в кают-компании линейного корабля «Великий князь Михаил». А влепил, помня, как полчаса назад плюгавый барон расчетливо тыкал в окровавленные губы старому матросу свой аристократический, украшенный фамильным перстнем кулак.

Может, до пощечины бы и не дошло, но в ответ на жесткие слова Алабышева, что матрос этот воевал еще под Навариным, когда барон сосал титьку у сытой наемной кормилицы с остзейского хутора, фон Розен изумленно открыл глаза. Он, не желая ссориться, разъяснил «Жоржу», что свинья останется свиньей, несмотря на возраст, и свинство из русского матроса иначе как кулаком не вышибешь. Ну и схлопотал...

Случилось это на Кронштадтском рейде в 1846 году, через месяц после горькой вести о кончине адмирала Крузенштерна.

...Какие все-таки разные люди рождаются в одних и тех же местах! Крузенштерн, как и все эти «розены» и «фогты», был уроженцем Эстляндии, но ни разу не мелькнуло в нем даже капельки остзейского чванства и холодности. Выше всех почитал и ценил он русского матроса.

...Фон Розен пискнул, ухватившись за щеку, и что-то пролепетал о секундантах. Однако дуэли не произошло. Назавтра барон отговорился неожиданной болезнью и скрылся в кронштадтском госпитале, а вскоре подал в отставку. Но то же пришлось сделать и Алабышеву, потому что командир «Михаила» капитан первого ранга Нефедьев по-отечески предупредил Егора Афанасьевича: близкие ко двору фон Розены начинают хлопотать о расследовании, где речь пойдет не столько о пощечине, сколько о причинах ее: вольнодумстве новоиспеченного капитан-лейтенанта, идущем от множества книг (в том числе, видимо, и запретных).

При внешней ровности характера Алабышев не лишен был внутренней запальчивости и рапорт об отставке написал без задержки. Казалось в первый момент, что и без особого сожаления. Вскоре, однако, начались черные дни, полные горечи об оставленной службе, с которою была связана вся жизнь. Горечь оказалась такой, что несколько раз сама собой возни-

кала мысль о пистолете. Но слава богу, возникала и уходила. Воспоминание о судьбе второго лейтенанта «Надежды», про которого не раз говорили между собой взрослеющие гардемарины, словно предупреждало: «А что дальше-то?»

«У Головачева не было того, что пересилило бы горести его и обиду на предательство,— подумал наконец Алабышев.— Не было дела, которое казалось в жизни важнее всего. Не было *своей книги*».

А у Егора Алабышева была...

К тому же он помнил слова Крузенштерна: «Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это...»

Защищать штатскому человеку было вроде бы некого, но и мысли о пистолете больше не приходили.

Вскоре отставной капитан-лейтенант оказался в родной деревне. Мечты о патриархальной жизни, коими сначала тешил себя, быстро развеялись. Дочка соседа, с которой возник было чувствительный роман, кончать дело свадьбой не захотела, трезво рассудив, что у владельца зачуханной Вартеньевки — ни капиталов, ни выдающейся внешности. Оставшееся от родителей именьице стремительно разорялось. Была еще возможность сохранить хоть какие-то средства: один из соседей искренне сочувствовал Алабышеву и предлагал за Вартеньевку приличную цену. Алабышев отказался.

Он не считал себя вольнодумцем, но мысль, что придется торговать людьми, с которыми в детстве бегал по окрестным лесам и строил из плотов парусный корабль, была тошнотворна. Чем он тогда оказался бы лучше фон Розена?

И Егор Афанасьевич окончательно уронил себя в глазах местного дворянства: отпустил последние десять семей Вартеньевки на волю и сдал им землю в почти безденежную, чисто символическую аренду (за которую так ничего никогда и не получил).

Затем Алабышев уехал в Москву, где поступил к некоему графу Бессонову заведовать его богатейшей библиотекой. Это были два года спокойной жизни. Тосковал, правда, по морю, но работа над рукописью о плаваниях смягчала тоску. Но граф умер, а наследники библиотеку продали по частям. И Егор Афанасьевич, зажегшись новой мыслью, решил ехать через

всю страну на Камчатку, ибо знал, что Российско-Американской компании всегда нужны люди, понимающие в морском деле.

Судьба, однако, распорядилась, что неожиданная встреча в пути послужила началом нового романа — увы, тоже неудачного. Следствием же было то, что Алабышев на несколько лет застрял на Урале и служил под Екатеринбургом на Каменском пушечном заводе. Он ведал испытаниями орудий, которые завод поставлял флоту. Служба шла отменно, и предвиделось повышение. Но в местных библиотеках, хотя и недурных, не было материалов, нужных для его морского сочинения, и рукопись пылилась, не доведенная и до половины.

И море было далеко...

Здесь, на заводе, и застало Алабышева известие о Синопском сражении. Стало ясно, что наступают новые времена и развитие большой компании с участием флота неизбежно. А значит, и офицеры понадобятся.

Алабышев кинулся в столицу...

На пустыре, где стоял ребячий бастион, прежнего шума уже не было: видно, противники заключили перемирие. И народу стало теперь меньше. Несколько мальчишек, подпрыгивая, поправляли гребень снежной стены. Среди них Алабышев увидел белоголового мальчика без шапки — того, что недавно перекликался с Лесли. Рядом с мальчиком стояла тощая девочка того же роста, она держала за руку закутанного в платок карапуза.

Девочка тонким и вредным голосом повторяла:

— Ох, Васька, ты только приди, только приди домой, маменька тебя взгреет, ух и взгреет хворостиной маменька тебя, Васька, ты только приди...

Мальчик подскакивал, стараясь дотянуться до гребня. И отвечал при каждом прыжке:

— Ну и приду!.. Ну и врешь!.. Это тебя взгреет!.. А не меня!..

Прыгая, он поскользнулся, встал на четвереньки и встретился глазами с Алабышевым.

— Эй, дружок, подойди-ка,— сказал Егор Афанасьевич.

Мальчик безбоязненно подошел. Следом двинулась сестренка, увлекая за руку падающего карапуза.



— Я табакерку тут обронил. Не находили?

— Находили! — обрадовался мальчик.— Ее Петька Боцман подобрал, он там, в баксионе... Говорит, их высокоблагородие придут если, я с них двугривенный спрошу за находку!

— Ну, пойдем в ваш «баксион»... А ты что же без шапки-то?

— У него шапку маменька спрятала, чтобы из дому не бегал,— ехидно сообщила девочка.— А он все равно, неслух...

— И врешь! Шапка сама потерялась. А мамка говорит: сиди дома, если потерялась! А матросы разве сидят, когда война?

— Но матросы-то все в шапках, по форме,— усмехнулся Алабышев.— А у тебя голова с холоду отсохнет.

— Не отсохнет! Если сильно холодно, я вот так! — Мальчик накинул на свои вихры широкий ворот рваного бушлата. Но тут же сбросил его, завертев круглой головой на тоненькой шее. И Алабышеву, не чуждому литературных сравнений, пришла мысль о выросшем на мусорной куче одуванчике.

— Ну, идем. Будет твоему Петьке двугривенный, а тебе полтинник на шапку... Вот, держи.

Но мальчик спрятал руки за спину.

— Не... Мамка не велит брать у незнакомых. Мы не бедные.

— Ну... а разве мы не знакомые? Ты — Васька. Я — Егор Афанасьевич. Вот и познакомились. Бери, не бойся...

Васька нерешительно протянул покрасневшую ладошку. Глянул на сестру:

— Дашка, ты гляди не соври, что я просил. Их высокоблагородие сами дали... Благодарствую, Егор Афанасьич...

Дашка завистливо сопела.

Васька повел Алабышева в ребячий бастион. Внутрь укрепления можно было попасть лишь через узкий проход, прорезанный в толще тыльной стены — горжи. Ребятишки проскользнули легко, а капитан-лейтенант еле протиснулся. И остановился у входа.

Здесь копошились со снежными «кирпичами» несколько мальчишек лет от семи и до двенадцати.

— Вот он, Петька-то...— начал Васька и примолк, подняв лицо и приоткрыв рот. И остальные ребята

замерли — с тем же тревожным ожиданием, что и Васька. И Алабышев уловил далекий еще, но нарастающий, нарастающий свист.

Он усилился, этот свист, ввинтился в голову, в душу, вырос до нестерпимого визга и оборвал себя тугим, встряхнувшим снежный бастион ударом.

Пущенная с английской батареи граната шипела и вертелась в облаке пара посреди квадратной игрушечной крепости. Черный, небольшой — дюймов пять в поперечнике — шар с дымящимся хвостиком фитиля.

Только граната и была в движении, остальное все застыло. Ребятишки оцепенело смотрели на вертящуюся смерть. Тренированный мозг испытателя орудий стремительно подсчитал оставшуюся длину фитиля и время горения. Можно толкнуть к проходу девочку и малыша. А остальные?

Взрыв, замкнутый плотной снеговой кладкой укрепления, сплющит, скомкает, искорежит мальчишек.

Если в отчаянном броске ухватить снаряд и кинуть через стену, он ахнет, не перелетев, и свистящий веер осколков врубится во все живое...

Всадить фитильную трубку в снег? Но огонь в ней уже глубоко...

...И все это думал капитан-лейтенант Алабышев, падая, падая, падая грудью на шипящий снаряд, и падение было медленным, как во сне. Словно воздух стал густым киселем, и его приходилось расталкивать тяжестью тела. А упасть надо было быстро, сильно, чтобы ударом поглубже загнать гранату в талую снежную кашу...

«Не написал я книгу, Иван Федорович...»

Тугой черный взрыв швырнул тело Алабышева вверх на сажень и перебросил к стене. Стена посыпалась и завалила капитан-лейтенанта целиком.

Мальчишки запоздало валились в снег, не понимая еще, живы ли. Одна Дашка осталась неподвижной и прижимала к животу закутанного малыша. Платок с нее слетел.

Васька пришел в себя первым. Он встал на четвереньки, вытряхнул из волос снежные крошки и увидел неподалеку ноги в сапогах со сбитыми каблуками. Сапоги торчали из-под снега.

— Егор Афанасьич,— шепотом сказал Васька.— Дяденька...

Ему показалось, что сапог шевельнулся, но это просто осел под мертвой ногой комок снега.

Флота капитан-лейтенант Егор Афанасьевич Алабышев приехал в Севастополь, чтобы защищать этот русский город от нашествия.

Он не успел принять участия ни в одном сражении и не убил ни одного врага.

Он сделал не в пример больше: отнял у этой войны, у смерти десять ребятишек. Тех, кому еще жить да жить».

КНИГА
ВТОРАЯ

ГРАНАТА

(Остров капитана Гая)







Первая
часть

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ У МОРЯ

ПУЛЕМЕТЧИК

Солнце пылало. Оно обрушивало на развалины и плоские курганы лавину сухого жара. Словно кто-то сыпал с громадного, как Сахара, противня потоки горячего песка. Его тугие бесшумные струи прижимали Гая к земле.

Гай сумел упасть удачно: голова оказалась в тени высокого камня с козырьком (может быть, карнизом древнего дома). Но тело осталось в полной власти солнца. И солнце (ага, попался!) навалилось на распластанного среди колючей травы мальчишку.

Но что оно могло сделать с Гаем? Сотый раз прожарить насквозь? Добавить еще один слой к матово-кофейному загару? И Гай снисходительно, даже с удовольствием принимал на себя сквозь пыльную сетчатую майку лучи безоблачного августовского полдня. К тому же он знал: стоит шевельнуться, приподняться, и прокаленная кожа ощутит движение воздуха, в котором всегда есть прохлада близкого моря.

Но шевелиться было нельзя. И Гай ощущал, что тело его растворяется в солнечном жаре. Это было приятно и в то же время опасно: наваливалась дремли-

вая беззаботность. И негромкий стук пулемета казался таким же мирным, как кузнечики, как шорох волн под обрывами...

Гай видел рыжий от ржавчины пулеметный ствол в щели между серыми глыбами — то ли остатками старинной башни, то ли развалинами бетонного дота. Ствол неутомимо дергался в такт частым выстрелам. Гай подумал, что если это пулемет с диском, то диск для таких очередей должен быть размером с парковое колесо смеха. А если система с лентой, то лента — как эскалатор на Ленинских горах. Но сейчас боезапас противника зависел не от дисков и лент, а от воздуха в легких. Легкие у засевшего в камнях пулеметчика были, видимо, прекрасные, и он сыпал в горячую полуденную тишину бесконечную скороговорку:

— Та-та-та-та-та-та-та-та-та...

Нет, не совсем бесконечную. Порой скороговорка сбивалась на редкие «тых, тых, тых», похожие на выхлопы глохнущего мотора. Иногда наступала тишина. Однако стоило кому-то из атакующих поднять голову, как пулемет взрывался новой очередью...

Обойти его с тыла казалось невозможным. За пулеметным гнездом поднималась двухметровая стена — видимо, остатки цитадели или казармы древнего Херсонеса. С флангов мешали минные ловушки. Три человека уже зацепили проволоку и выбыли из строя под злорадное звяканье консервных банок с насыпанной в них галькой. И под радостные вопли «убитых» солдат противника, которые теперь следили за боем с ближнего бугра. Эти наблюдатели не дадут схитрить и обмануть военную судьбу, если зацепишь мину-жестянку или откроешься перед пулеметом.

Да никто и не пытался хитрить. И Гай не станет. В здешней компании это не принято. Вот в Среднекамске, если игра в войну, только и слышишь: «Куда лезешь, я тебя уже убил!.. А вы вообще не по правилам, с той стороны договорились не нападать!.. Кто не по правилам? Вы сами хлыздите!»

Здесь такого нет. Может, в этих краях у ребят другие характеры, а может, просто удачная подобралась компания.

Гай познакомился со здешними мальчишками через неделю после приезда.

...В первый выходной, когда Толику не надо было идти в лабораторию, они отправились в Херсонес. Бродили среди серых стен и башен, среди засыпанных и заросших древних кварталов, среди колонн разрушенных храмов, по желтым скалистым обрывам и каменистым пляжам, где волны перекатывали крупную гальку.

Толик то хватал Гая за рубашку, когда он пытался нырнуть в черный лаз подземелья или вскарабкаться по отвесу башни, то поторапливал, если он замирал надолго над притаившимся крабом или плоским камнем с полустертыми непонятными буквами.

...Где-то в этих местах двадцать пять лет назад тяжелая мина разнесла в пыль, перемешала с землей и горячей щебенкой старшего политрука Сергея Васильевича Нечаева, который был отцом Толика. И дедом Гая. И в самые озорные минуты веселость Гая была словно припорошена пепельной пыльцой.

А Толик, видимо, не замечал этого.

Впрочем, печали Гай не чувствовал. И стесненности в душе, какая возникает на кладбище или просто при мысли о смерти, тоже не было. Было другое чувство, хорошее. Тайная ласковость к этой земле.

Удивительная была земля — с загадками, кладами, легендами. С теплыми камнями старинных стен, с запахом спелых трав и моря... И оттого, что частью здешней кремнистой почвы, травы и песка стал когда-то его дед, Гай ощутил эту землю своей.

Вдохнул воздух Херсонеса и с облегчением понял, что он не гость.

А до той минуты чувствовал себя приезжим.

Севастополь ошеломил Гая блеском нестерпимо синей воды, режущей глаза белизной домов и корабельных рубок, буйной зеленью незнакомых деревьев, излишне ярким своим сверканьем. Гай ходил по улицам с Толиком и один, смотрел во все глаза, удивлялся и радовался, но робел в душе. Подавив робость, он лихо взбегал по каменным трапам к памятникам, с размаха запрыгивал верхом на горячие от солнца пушки старых бастионов, храбро гладил местных лохматых псов и лихо подскакивал под разлапистыми ветками, срывая на бегу каштаны.

Так в фойе кинотеатра притворяется независимым и беззаботным пацан, проскользнувший без билета.

Казалось бы, откуда у Гая эта неуверенность? Ведь приезжего люда в городе было, пожалуй, не меньше, чем коренных жителей. К тому же Гай ничем не отличался от местных мальчишек. За два летних месяца он дома успел загореть получше многих южан, а волосы выцвели до льняной белизны. С пирсов и камней нырял он не хуже здешних ребят (а плавать в соленой воде было не в пример легче, чем в речной). Однако в глубине души у Гая гнездилось боязливое отчуждение: город был н е е г о.

И лишь в Херсонесе Гай вздохнул, словно сбросил тесную, не свою, надетую по ошибке куртку. Или словно из дальней поездки вернулся к себе, на знакомую улицу. Хотя родную улицу Гая ничто здесь не напоминало. Была солнечная тишина древних берегов и необъятность увиденного с обрывов моря...

На следующее утро Гай отпросился у Толика сюда один. Поклялся, что не будет «соваться куда не надо», а искупается только один раз, и обязательно рядом со взрослыми («или нет, два, но недолго, ладно?»).

В середине дня он, порядком уставший от лазанья по развалинам и орудийным гнездам, от солнца и купанья, сидел у воды. Надевал на травинку дырявые камешки, которые считаются амулетами. И здесь подошли к нему трое мальчишек.

— Здравствуй. Пойдешь с нами? Не хватает человека.

В Среднекамске так не знакомились. Привыкший к обычаям Староречeнской улицы и ее окрестностей, Гай прикинул (на всякий случай) путь к отступлению. Сдержанно ощетинился:

— Куда еще идти?

Все трое глянули удивленно. Старший — ровесник Гая, высокий щуплый парнишка со спокойными глазами — объяснил:

— В футбол играть... Ты не бойся, это недалеко.

— А кто боится? — напружиненно сказал Гай.

Лопоухий пацаненок — самый маленький и похожий на ушастого воробья (если бывают такие) посмотрел на Гая и на товарищей, смешно пожал колючими плечами. А третий — пухлогубый, в новенькой синей испанке с белым кантом — проговорил виновато:

— Ну, если не можешь, не надо... Как хочешь.

— Мы же только спросили,— добавил старший, пройдясь по Гаю снисходительным взглядом.

Эта снисходительность обидно царапнула Гая. Но, когда ребята пошли от него, Гаю вдруг вспомнился речной обрыв, большой тополь и мальчишка в ковбойке (тогда еще незнакомый). Да, что-то одинаковое было в интонациях у здешних мальчишек и у Юрки. И Гай ощутил быстрое раскаяние и едкую досаду на себя.

Окутанные ленивым зноем скалы и развалины сразу наскучили. И даже искупаться нельзя — два раза уже залазил в море.

Гай догнал ребят среди колонн разрушенной базилики.

— А где играть-то? Камни кругом...

Но среди засыпанных тысячелетней землей и поросших пыльной зеленью кварталов лежали широкие лужайки. На одной — вогнутой — ребята и гоняли мяч. Конечно, здесь был не стадион и даже не дворовая площадка. Камни подворачивались под ноги, шипастые головки здешнего чертополоха без снисхождения лупили по коленям, но игра шла на полном накале: мяч —такой же коричневый и поцарапанный, как игроки,— бомбой летал над колючками и сурепкой.

При счете восемнадцать — двадцать два команды обессиленно полегли. Игореша — пухлогубый пацан в испанке,— постанывая, сходил домой на недалекую улицу Древнюю и принес бидон квасу. Похожий на копченую скумбрию Славка выпросил у студентов-археологов, что работали неподалеку, батон и несколько помидоров. Сжевали, запили, и Артур (тот, что первый заговорил с Гаем) предложил:

— Купаться!

Гай с грустью сказал, что пора домой.

— А завтра приедешь? — спросил Игореша.

— Ага...

...Компания была большая, человек пятнадцать. И кстати, не все местные. Славка, например, был сыном ленинградского профессора, приехавшего со студентами на раскопки. Близнецы Денис и Вадька — москвичи, жившие здесь летом у бабушки. Да и среди севастопольских ребят не все были с ближних улиц. Кое-кто, подобно Гаю, бродил по Херсонесскому заповеднику и познакомился с компанией случайно.

Конечно, здесь не было крепких дружеских связей. Так, ниточки приятельских отношений, вроде тех, что

возникают в короткой лагерной жизни или в дачном поселке, где съехались незнакомые люди. Но все равно было хорошо. Была вольница. Этой вольнице повезло — не оказалось там ни одного нытика, завистника или такого, кто хотел сделаться атаманом. И жила она без обмана в играх, без больших обид и без ссор. Силой своей никто не хвастался, маленьких из игры не прогоняли.

Если совсем без командира было нельзя, выбирали Артура. Он спокойный и справедливый и знает здесь все закоулки. Но и он не был постоянным вожаком. Наверно, и не хотел.

Иногда кто-то из ребят на день-два пропадал, порой появлялись новые. Никто не знакомился специально. И Гай до сих пор у кого-то не помнил, а у кого-то путал имена. Многие были похожи друг на друга, как похожи люди на фотонегативах — все темнолицые и с очень светлыми волосами. Почти у всех (кроме жгучего брюнета Славки и рыжего кудлатого Руслана) волосы выцвели, тело — под многослойным загаром. Загар этот уже не блестел, а был словно припудрен. Проведешь по ноге помусоленным пальцем — она блестит, как протертая от пыли скрипка. А высохнет — и опять на ней тонкая пыльца. Это мельчайшие чешуйки кожи шелушатся от жгучего ультрафиолета... И только следы от ссадин и заросших порезов долго розовеют, не загорают. А царапин всяких ой-ей-ей сколько, если вот так, по-пластунски, пробираться в камнях и колючках.

...— Миш...— прошелестел сзади жаркий шепот.— Ми-ша...

Пятиклассник Гаймуратов не любил свое имя. Оно казалось ему неуклюжим, как толстолапые медвежата, что рядами сидят на полках «Детского мира». Даже буквы этого имени представлялись Мишке выложенными из коричневых плюшевых колбас — вроде тех, которыми перекрывают проходы в театрах и музеях...

В школе судьба подарила Мишке новое имя. Она, эта судьба, выступила в лице драчливого и жуликоватого Витьки Дуняева, который в первом классе всех и сразу оделил прозвищами. Мишке Гаймуратову досталась обидная кличка Гайморит. Не только из-за

фамилии, а еще и потому, что дедушка — известный врач. Но это слово оказалось длинным и для многих первоклассников непонятным. Скоро оно сократилось до короткого и более приличного — Гайма. После зимних каникул грозного Дуняева перевели в другую школу, и некому стало следить за строгим соблюдением прозвищ. Многие из них забылись (как забылся вскоре и сам Дуняев), а Мишка Гайма быстро превратился в Гая.

Гай — это хорошо. Некоторые даже думали, что он — Гай Муратов. Короткое имя было словно клич лихих конников. Недаром дедушка говорил, что один из давних его предков воевал в армии Шамиля. Вроде бы закончил этот предок в Петербурге кадетский корпус, был послан на Кавказ, а там перешел на сторону соплеменников, которых считал борцами за вольность. Когда Шамиль сдался, бывшего прапорщика Гаймуратова взяли в плен и хотели казнить, но царь вроде бы помиловал: не то за храбрость, не то за княжеский титул. Пленного отправили на поселение в Вятскую губернию, где он женился на дочке местного лекаря и дал нескольким поколениям русских медиков свою фамилию.

Бабушка — мамина мама — иногда поддразнивала деда:

— Как же, Вячеслав Игоревич, этот князь мог жениться на русской? Он был мусульманин, а она христианка! Это запрещалось.

— Н-ну, не знаю,— защищался дедушка.— Наверно, принял христианство.

— Вот тебе и раз! Воевал за ислам, под знаменем пророка Шамиля, а потом — в христиане?

— Я думаю, он воевал не столько за ислам, сколько за свои понятия свободы,— не сдавался дед. И добавлял с лукавством: — К тому же, любезная Людмила Трофимовна, любовь бывает посильнее всяких религий. Мир знает тому немало примеров. А?

Впрочем, рассказывая семейную легенду, дед и сам посмеивался. И добавлял:

— Больше никого из кавказцев у нас в роду не было. Но иногда чувствуется в крови что-то такое: хочется схватить шашку и на коня...

Мама считала, что «такое» есть в крови и у Мишки. Иначе в кого он? Папа — сосредоточенный, весь в

своих научных делах, спокойный и в очень толстых очках — в молодости его даже на фронт из-за близорукости не пустили. Мама — тоже с ровным характером и бывшая отличница... Когда мама пудрила Мишкины синяки или разглядывала его дневник, она качала головой и говорила со вздохами:

— Черкес ты непутевый у меня, Мишка...

Мама одна умела говорить «Мишка» так, что имя не казалось неуклюжим. Она мягко растягивала слог «ми», а тяжелый плюшевый звук «ш» почти исчезал в мамином вздохе. Но и мама иногда называла сына школьно-уличным именем: «Опять за стол с немытыми руками? Ох, Гай, получишь ты у меня трепку!»

Никакой трепки от мамы он никогда не получал. Разве что хлопнет она его по затылку, заросшему светлыми, совсем не черкесскими волосами, так это со смехом...

А иногда мама называла его Гаем и по-другому, ласково: «Ох, Гай ты мой Гай, в кого у тебя глазищи такие?» («Какие?» — буркал Гай. Мама смеялась: «Как купорос».) Или строго: «Гай, где тебя черти носили до темноты?»

Струйка теплого воздуха шевельнула на затылке волосы, а показалось — будто мамина ладонь. «Ох, Гай, где ты у меня, а?»

А он здесь. Далеко-далеко от родного Среднекамска. Лежит, прижатый к твердой кремнистой земле потоками сухого зноя и бесконечными «та-та-та» засевшего в камнях пулеметчика.

— Ми-шка...

...Он постеснялся здесь назвать себя Гаем. А на «Мишку» до сих пор отзывается с замедлением — с непривычки и от внутреннего упрямства.

— Миш...— его дернули за ступню. Гай оглянулся. Сзади — взмокший, в сдвинутой на затылок испанке — лежал Игореша.— Артур сказал, чтобы ты закидал пулемет гранатами.

— Да у меня всего одна! — Гай сжимал в правой ладони бумажный, перевязанный нитками пакет с сухой землей. Такие гранаты они понаделали с утра. Теперь их осталось совсем мало.

— У меня есть две... Но мне их не добросить,— самокритично выдохнул Игореша.

— Давай...

Одну Игорешину гранату он взял в левую руку, вместе с рейкой, изображавшей автомат. Вторую с натугой запихал в задний карман на шортах. Карман, и без того уже надорванный, затрещал. Гай мужественно чертыхнулся. Затем толчком ввинтил себя в ломкие заросли подсохшей травы (похожей на полынь, но с другим запахом) и прополз до края каменистой открытой площадки на пологом склоне.

До пулемета было теперь метров десять.

Отсюда Гай разглядел, что пулеметное гнездо — вовсе не остатки дота и не древние развалины. Это просто два больших камня, приваленные плоскими верхушками друг к другу. Между ними темнела треугольная щель. Из нее и торчал тонкий ствол с наконечником, похожим на ржавую воронку.

Воронка все так же неутомимо дергалась. Частое «та-та-та» стало теперь отчетливей и громче. И кажется, злее. И Гай вдруг ощутил сильное раздражение против упрямого пулеметчика: засел там в тени, а ты тут жарься и царапайся из-за него! И вообще...

Что «вообще», Гай объяснить не смог бы, но все вокруг сделалось жестче и серьезнее. Будто хищная воронка ствола могла и в самом деле ожечь Гая хлесткой болью.

Гай приподнялся на левом локте и швырнул гранату. Она полетела по крутой дуге. Земля посыпалась из порванной бумаги и оставила в воздухе пыльный след. Пакет лопнул от удара на внешнем скате камня в полутора метрах от амбразуры. Пулеметчик, видимо, даже не заметил «взрыва». Гай с горькой злостью на себя понял, что, будь граната настоящей, ни осколки, ни взрывная волна не зацепили бы пулемет.

Гай часто и сердито подышал, заставил себя успокоиться и хладнокровно бросил вторую гранату. Хладнокровие не помогло. Тугой бумажный кулек упал далеко в стороне от амбразуры и безобидно застрял среди мелких камней.

Все, конечно, это видели, какая он размазня!

«Та-та-та-та-та...» — злорадно выводил неуязвимый

пулеметчик. Гай встал на колени и дернул из кармана последнюю гранату. Дернул яростно — карман опять затрещал, бумага лопнула. Понимая, что все уже зря, что разорванный пакет не долетит, Гай не сдержал гневной обиды на себя и на весь белый свет — метнул гранату просто так, не целясь. Будто врагов впереди было множество. Пыльная начинка рассыпалась в воздухе, драный пустой кулек обессиленно спланировал, не пролетев полпути. А Гай упал ничком. От беспомощной злости и стыда.

— Миш, ну ты чего? — зашелестел позади Игорешин полушепот.— Мишка, давай...

Что «давай»? Будто глупый Игорешка не знает, что гранат больше нет... Или...

— Миша, ты ближе всех...

Вот, значит, что! Ясно, чего ждут от Гая все, кто залег среди колючек и ракушечника. Пять скачков вверх по наклонной каменной площадке и — грудью на ствол!

Про это столько раз читали. В кино видели...

Это просто и быстро. Давай, Гай!

Ну, что же ты, Гай...

Потом он не раз будет ломать голову: почему не бросился? Просто потрошить себя станет, чтобы докопаться до самой начальной причины. Может, показалось, что это не игра, а все по правде? Может, Гай просто и понятно испугался? Но если и так, то это лишь на дольку секунды. А лежал он сколько?

Лежал, пока не увидел, как со стены позади пулеметного гнезда прыгнули Артур и Славка. Значит, все же пробрались через мины, зашли с тыла!

Они скакнули с двухметровой высоты на камни и легли на них плашмя. Славка махнул белой веревкой, набросил на торчащий ствол петлю и вместе с Артуром сильно дернул аркан. Трехногий голенастый пулемет с тонким стволом и приржавевшим сверху диском вылетел из амбразуры. Конец ствола обломился. Пулемет запрыгал вниз по склону и опрокинулся, нелепо задрав треногу. Он был похож на дохлого великанского кузнечика.

Все-все теперь мчались вверх с победными криками.

И Гай бежал. Правда, чуть позади остальных.

Кто-то лягнул пулемет, и он опять покатился, подпрыгивая. Гай перескочил через него. Казалось бы, надо остановиться и разглядеть. Не каждый день видишь пулеметы, хотя и ржавые. Но инерция толкнула Гая вперед. Да и... не только инерция. Еще и стыдливое опасение — словно старый пулемет мог усмехнуться: «Сперва испугался, а теперь любопытствуешь?»

Вся компания — и атакующие, и «убитые» из обеих армий — запаленно дыша, встали перед амбразурой. Гай увидел несколько ребят и девочку — такую же загорелую, как мальчишки, курносую, с прямыми желтобелыми волосами до плеч. Девочка-то явно была не из воюющих. На плече она держала брезентовую мужскую куртку, в руке — пустую сумку из клеенки. Видимо, подошла из любопытства.

Впрочем, Гай подумал о ней лишь мельком, потому что Игореша удивленным шепотом спросил:

— Ты почему не побежал на пулемет? Раз гранат не осталось, надо было вперед...

Шепот был громкий, и на Гая сразу глянули несколько человек. Гай проклял в душе Игорешу и сказал с явной интонацией старожила среднекамской окраины:

— Чё зря выхваляться-то? Если бы по правде герой...

Тут сунулся «ушастый воробышек» Вовка:

— А по правде пошел бы?

— А ты? — огрызнулся Гай.

— Ой, я нет, наверно...— вздохнул простодушный Воробышек, и Гаю стало полегче. Тем более что на него уже и не смотрели. Смотрели на каменное укрытие пулеметчика.

Славка сказал в треугольную амбразуру:

— Эй, ты чего? Вылазь, сдавайся.

В гнезде было тихо.

— Ну, хватит уж,— сказал Артур. Без победного хвастовства и даже чуть виновато.— Все равно ты один остался и без пулемета. Все равно наша победа.

Незнакомый Гаю пулеметчик вылез на свет.

Он появился не из амбразуры, а из щели у стены. И поднялся, расставив перемазанные сухой землей ноги.

Гай сразу подумал, что мальчишка похож на свой пулемет. Костлявый, ломкий в суставах, с пятнами ржавчины на порванных шортах и на серой от пыли

майке. Он был весь припорошен этой пылью. А в растрепанных волосах застряли комки земли и раковина улитки.

Гай ощутил стыдливую хмурую враждебность к мальчишке — такую же, как к его пулемету.

Казалось бы, чего злиться? Пулеметчик был младше Гая года на два. Беззащитный, пленный... Но нет, он не казался беззащитным. Он глянул на всех из-под пыльных ресниц, и во взгляде его был чистый синевато-стальной блеск. Тонко и непримиримо пулеметчик сказал:

— А почему ваша победа?

Все молчали, смотрели на гранату.

Граната висела на груди у пулеметчика. Она была не старая, не ржавая — не то что пулемет. Лаково-черная лимонка с медной трубкой запала и блестящим проволочным кольцом. Она цеплялась рычажком за вырез ворота и сильно оттягивала майку.

— А почему ваша победа?! — Пулеметчик вскочил на верхушки двух камней над амбразурой. Секунды три он смотрел сверху — на одинаково удивленных противников и союзников. Потом втянул сквозь сжатые зубы воздух и рванул у лимонки кольцо. И взметнул гранату над головой. Упала тишина, и Гай услышал в этой тишине звонкое шипенье. А потом — чей-то неразборчивый тонкий вскрик. Не страх, а похожая на сильный холод тоска приморозила Гая к месту. И он смотрел на зажатое в грязных пальцах мальчишки овальное ядро лимонки неотрывно. И копошилась под тоской пустая, ненужная мысль, что квадратики, на которые разделен корпус гранаты, похожи на шоколадные дольки. На одном квадратике горела солнечная искра.

А шипенье стало тише, и пулеметчик опустил руку.

— Ну? — сказал он.

— Тьфу, дурак,— выдохнул Артур.— Я уж подумал: настоящая...

— Я тоже,— часто дыша, признался Игореша.— Как заору. А упасть не догадался.

«Я ведь тоже решил, что настоящая»,— понял Гай. И разозлился на пулеметчика еще больше.

— Чего зря падать-то,— усмехнулся кудлатый Руслан.— У такой разлет осколков двести метров... Сёржик, покажи.

Но пулеметчик Сержик, упрямо блестя взглядом, ответил:

— Вашей победы — нету! Теперь все убиты.

— И ты,— сказал воробышек Вовка.

— И я и вы. Все равно вашей победы нет.

— Ну нет, нет,— нетерпеливо согласился Артур.— Ничья. Прыгай сюда. Покажи игрушку-то...

И мальчишка прыгнул с камней. Рукою с гранатой вытер под носом, размазав по щекам пыль, улыбнулся. И стал не пулеметчик, а просто поцарапанный и усталый Сержик.

— Ох и перемазался. Просто чучело,— сказала девочка.

Артур взял гранату:

— Как зашипит... Будто по правде запал горит... Где раздобыл такую? Или сам сделал?

— Не...— Сержик вытряхивал из волос землю.— Это Андрей, наш сосед. Он ее нашел, вычистил, а потом запал приладил... Там пружинка тонкая — как дернешь кольцо, она дребезжит, будто огонь шипит... Андрей, когда в армию пошел этой весной, мне на память оставил. А бабушка спрятала. Говорит: что за игрушка, страсть такая!

— Ну и правильно говорит,— негромко, но безбоязненно заметила девочка.— Все мальчишки безголовые...

— Андрей же пустую нашел, он понимает... А бабушка ее — за сундук. Я сегодня все равно отыскал...

Граната пошла по рукам. Каждый качал ее, тяжелую, рубчатую, в ладони, выдергивал кольцо, и жидкая пружинка в медной трубке запала отзывалась тревожным шелестом.

Гай тоже подержал и дернул (и это, надо сказать, было приятно: в руке ощутилась грозная сила). Но он без задержки передал гранату Руслану. А сам отошел.

Стыдливая досада на себя не оставляла Гая. И усиливала раздражение против пулеметчика. Конечно, Гай и виду не показывал. Не то что от ребят, он и от себя-то был бы рад спрятать все эти едкие перепутанные чувства. Но от себя ничего не спрячешь.

Гай делал вид, что озабочен полуоторванным карманом, и со скрытой ревностью поглядывал со стороны, как толкутся ребята вокруг Сержика. Видно, они считали бывшего пулеметчика героем.

А что он, в самом деле герой, что ли? Прыгнул, дёрнул кольцо... Попробовал бы так по правде...

Но почему-то пулеметчика никто не спросил, как Вовка спросил Гая: «А по правде пошел бы?» Видно, поверили, что Сержик и в самом деле смог бы.

«Просто дело в том, что граната как настоящая,— подумал Гай.— Увидели ее, вот и показалось, что он сам такой же... настоящий. А если бы бумажная, фиг бы кто поверил...» Но вспомнил Гай взгляд пулеметчика и понял, что все не так просто.

И все же он повторил про себя хмуро: «Потому что граната настоящая...»

Гранату все еще разглядывали. Потом Сержик засмеялся, что-то сказал и, будто объясняя, дернул опять кольцо и кинул гранату. Кинул не очень умело. Лимонка — тяжелая, а силенок-то у него... Граната упала недалеко, за кубическим пористым камнем на границе голой площадки. Пистолетно щелкнула по обломку ракушечника и тяжело покатилась сквозь стебли сурепки вниз по склону. Путь ее был заметен по быстрому шевеленью мелких желтых цветов на верхушках травы. Потом шевеленье затихло.

Все побежали вниз. И Гай пошел торопливо. Лишь у кубического камня (наверно, цоколя старинной колонны) чуть притормозил, толкнул ступней в сторону широкую черепичную плитку.

Искали гранату долго. Вырвали всю траву, осмотрели места широко вокруг. Она как сквозь землю провалилась. То есть могла, конечно, и провалиться, здесь хватало древних колодцев и подземелий. Но поблизости ни одной отдушины или щели не нашли. Просто фокус какой-то. Не превратилась же лимонка в один из камней-кругляков, что валялись в траве!

Пулеметчик сник, все его жалели. Даже виноватыми себя чувствовали. А кого винить-то? Сам кидал.

Нет, но куда она могла деваться?

Простодушный воробышек Вовка даже сказал:

— Может, кто прихватил, а? Лучше признавайтесь.

Все невесело рассмеялись: если бы кто-то и пошел на такое свинство, куда бы спрятал свою добычу? Любой карман оттопырится, любая майка отвиснет.

Ушастый Воробышек неосторожно посмотрел на сум-



ку и брезентовую куртку девочки. Девочка легко уронила куртку, а сумкой деловито хлопнула Вовку по пыльной спине. И вздохнула:

— Дурак...

А Вадька — один из близнецов — ехидно спросил

— Ну что, Вова? Есть там граната?

Все опять виновато посмеялись. Пулеметчик Сержик вдруг вскинул голову и решительно сказал:

— Ну ее, ребята. Пропала так пропала. Пошли купаться.

Все повеселели. Только Артур проговорил с недоумением:

— Но все-таки где она?..

— Что теперь, бригаду с раскопок звать? — недовольно бросил Славка.

Сержик махнул рукой:

— Может, потом еще поищем... А может, и не надо. Мне из-за нее от бабки два раза уже ой как влетало! — Он смешно дернул лопатками — показал, что влетало крепко и что сейчас он не так уж расстроен потерей.— Пошли на пляж под колокол!

Он первый запрыгал к обрыву, и все за ним.

Только девочка осталась на месте. И Гай.

Артур вернулся:

— А вы чего?

— Мне в ларек надо,— сказала девочка.

— А ты, Мишка? Не будешь купаться, что ли?

— Я думаю...

— А чего думать? Окунемся — и обедать!

— Я не об этом думаю...

Он думал: «Сказать или не сказать?»

— Да пошли! — дернул его за руку Артур.

Толик, зная, что Гай теперь не один, больше не требовал никаких обещаний. Гай каждый день купался, сколько хотел.

В жару даже самая теплая вода кажется прохладной. Гай с разбега бултыхнулся в глубину. Йодисто-соленая, щиплющая накаленную кожу свежесть смыла с Гая тревогу и сомнения. Гай открыл глаза. Увидел в просвеченной солнцем зелени стайку метнувшихся ставридок, бесцветное пятно медузы и коричнево-золотистые гибкие тела приятелей. Выгнулся и рванулся вверх...

И все же легкий осадок на душе остался. Когда ребята одевались, Гай сидел и молчал.

— Пойдем к нам,— предложили близнецы.— Бабушка блинчики с вареньем обещала сделать. Поедим — и в кино.

— Не, у меня дела...

Впервые за эти дни Гай хотел быть один.

СОМНЕНИЯ

Компания разбрелась — до завтра. Гай остался на берегу.

Он посидел минут десять, пересыпая камешки. В мокрой разноцветной гальке, в обкатанных осколках черепицы, сахарного мрамора и бутылочных стекол встречались белые кусочки костей. Чьих? Греческих, скифских, русских, немецких? Море все смешало в полосе прибоя... Гай уже не первый раз подумал, что, может быть, скользнул между пальцев гладкий осколочек дедушкиной кости. Но подумал без страха и грусти, а лишь с оттенком привычного уважения. И снова стал думать о другом.

Вернее, ни о чем он не думал. Сидел, слушая шорох воды, и машинально отрывал от своих облупленных ушей пластики кожи. Уши от солнца шелушились все лето, ничего с этим нельзя было поделать...

Наконец он встряхнулся: надо одеваться. Правый карман сзади на шортах был оторван почти наполовину. Гай задумчиво оторвал его совсем. На выгоревшей материи остался ярко-синий квадрат. Гай усмехнулся и оторвал левый карман — для симметрии. Получилось ничего, даже красиво. А карманов хватит и боковых. Что в них, в карманах-то? Мятый забытый платок, ключ, несколько пятаков да бумажный рубль — Толик дал на обед.

По зигзагам бетонной лесенки Гай поднялся на обрыв недалеко от морского колокола, колокол был подвешен меж столбов, похожих на квадратные башни. Говорят, еще недавно в колоколе висел могучий чугунный «язык», и от него шел к недалекому белому домику трос. Во время штормов и туманов колокол тревожно гудел, предупреждал моряков о близких скалах. Но теперь другие сигналы, современные, а он так, пенсио-

нер. Одна работа — побренчать для туристов, когда бросят камешком.

Гай миновал разрушенный желтый собор. Мальчишки рассказывали, что в первый час войны на купол собора упала немецкая парашютная мина — одна из тех, которыми фашисты пытались загородить выход из Северной бухты (фиг им, не вышло!).

Если бы не честное слово «не соваться», Гай давно бы побывал внутри, несмотря на грозные надписи «Опасно для жизни!». А сейчас приходится лишь разглядывать через проломы тускло-золотистую мозаику в полумраке таинственных развалин.

Гай прошел мимо переднего знака Лукуллъского маячного створа. Знак был похож на вздыбившийся у обрыва рельсовый путь с черно-белыми шпалами. Гай привычно взбежал глазами по лесенке шпал. Красный фонарь створа светил, несмотря на яркое солнце.

Солнце все погружало в дрему. Сонным был храм, замерли острые кипарисы, заколдованными воинами казались пыльно-белые колонны на древней площади Херсонеса. Не шевелилась сероватая сладко-пахучая трава. Дремали даже сизые катера на гладкой воде Карантинной бухты. И старушка в дверях будки у главного входа в Херсонес дремала, не взглянула на мальчишку.

Гай дождался автобуса — «пятерки» — и доехал до проспекта Гагарина. Там пересел на троллейбус и скоро вышел у кинотеатра «Мир». Напротив стояло кафе-стекляшка с названием «Тюльпан».

Гай был голодный. Но в кафе солнце жарило даже сквозь зашторенные стекла, и от пластиковых столов пахло кислой капустой. При мысли о горячем супе замутило. Гай взял шницель с макаронами, но и его сжевал лишь наполовину. Запил теплым компотом. Столовской еды больше не хотелось, но в желудке все равно сосало от голода. И даже голова слегка кружилась.

Гай пошел к троллейбусной остановке. Троллейбус как раз подкатил и зашипел дверьми. Если побежать, можно успеть. Гай не побежал. Зато другие спешили Его обогнала женщина с полными сумками. Из сумки выскочили на асфальт два алых мячика.

— Тетенька, помидоры потеряли! — лениво крикнул Гай.

Та, не оглянувшись, втиснулась в троллейбус, он уехал.

Гай подобрал помидоры. Если судьба что-то подбрасывает, зачем отказываться?

Гай ополоснул помидоры в мойке газировочного автомата, вернулся в «Тюльпан», обмакнул их в солонку и вышел опять.

Помидоры были спелые и прохладные. Откусывая от каждого по очереди, Гай перешел горячий от солнца проспект и нырнул в тень на улице Гавена. Он решил вернуться в Херсонес пешком.

Улица вывела его к школе, стоявшей на бугре. Школа была безлюдна. Но через две недели здесь все будет по-другому... А Гай будет дома, далеко-далеко отсюда. Это, конечно, хорошо, но ребятам, что учатся в этой вот школе, рядом с морем, рядом с древним таинственным городом, Гай от души позавидовал.

От школы тропинки вели через пологую ложбину: одни к плоскому берегу Песочной бухты, другие — снова вверх, к остаткам крепостной стены и на мыс, к развалинам сторожевой башни. Развалины торчали над обрывом, как двойной зуб исполинского чудища.

Гай оттер с ладоней о майку помидорный сок и вприпрыжку припустил через ложбину к башне. Напрямик, без тропинок. Через солнечное, полное тишины и кузнечиков безлюдье.

Плети ползучих трав хватали за щиколотки, но не сильно, шутя. Подсохшие листья и колючки царапались, но не больно, а так, для порядка. Солнце горячими ладонями весело подталкивало Гая в спину и затылок Он без отдышки взбежал к башне. Вот что значит два случайных прохладных помидора!

У башни Гай остановился. Море под обрывом слегка опускалось и подымалось. Со звоном, но почти без пены вода накатывалась на камни. Потом она отступала, и тогда из маленьких гротов и расселин вырывались минутные водопады. Вдали море было ровно-синее, а под обрывом — разноцветное. Сквозь пологую, почти незаметную зыбь солнце высвечивало дно, как сквозь бутылочное стекло. Видны были зеленовато-желтые плиты песчаника со змеистыми проблесками от ряби и быстрыми тенями от рыбешек, красно-бурые мохнатые водоросли и черно-изумрудные провалы глубин. В глубинах качались размытые пятна медуз...

С моря тянул неторопливый ветерок. Из-под обрыва, как медленные вздохи, долетала прохлада. Кружили чайки.

Гай прислонился к неровным камням башни и глянул на горизонт. Синева моря отделялась от выцветшей безоблачной голубизны четкой, как фиолетовая струна, чертой. У этой черты маячили полупрозрачные силуэты сторожевиков. Их мог разглядеть каждый, у кого хорошее зрение.

Но Гай видел то, чего не увидят другие. Над струной горизонта вставал похожий на сизое плоское облако остров. Если приглядеться, можно было разглядеть сквозь дымку желтоватые обрывы и такие же, под цвет скал, башни и зубчатые стены. Кубики домов, пальмы, длинные лестницы на откосах. Шпили и флюгера. Синюю цепочку лесистых гор позади крепости и домов...

Остров приближался, наплывал. Послушная командам Гая шлюпка с дружными гребцами шла к острову под равномерный весельный скрип. И вот захрустел под тяжелым килем песок.

— Подождите меня здесь,— сказал Гай матросам.

— Да, капитан. Есть, капитан...

Капитаны бывают не только взрослые. Был, например, пятнадцатилетний капитан. Почему не быть такому, которому двенадцать? В своей сказке ты сам хозяин.

Гай придумал эту сказку-игру не здесь и не сейчас. Об острове, где всюду тайны, где в любом переулке можно наткнуться на приключение и где, если повезет, встретишь самых понимающих и надежных друзей, он мечтал лет с девяти. Иногда забывал, а иногда сказка захватывала все мысли. Даже снилась.

Гай стеснялся своей игры. Правда, однажды, этой весной, он рассказал об острове Юрке Веденееву. Тот слушал внимательно и без всякой насмешки. Но и без большого интереса. Видимо, считал, что от придуманных приключений жизнь интереснее не сделается. А друзей на острове искать ни к чему, если есть рядом Гай, а у Гая есть рядом он, Юрка. Плохо, что ли?

Это было совсем не плохо, Юрка — человек что надо. Он доказал это еще зимой, когда в Парке судостроителей им повстречался полузабытый Дуняев с дружками. Дуняев узнал Гая:

— Гайморит! Какая встреча! Старый друг!..

Гай себя трусом не считал, но сейчас сразу понял, на чьей стороне перевес, и, хотя было противно, слабо улыбнулся. Будто не обижается и все это так, шутка.

— Ты куда, Гайморит! Давай поговорим! — За рукав схватил.— Ты чего такой невежливый?

— Ну чё...— сказал Гай, а Юрка повел себя как надо. И дружки даже не посмели вмешаться, когда, скуля и держась за глаз, Дуняев пошел прочь. Гай запоздало лягнул на прощанье одного из робких дуняевских спутников. А Юрке сказал:

— Знаешь, я как-то растерялся...— Иногда лучший способ избавиться от неловкости — это сразу признаться.

— Бывает,— рассеянно кивнул Веденеев. Будто ничего не случилось. Он был понимающий человек. Гай заметил это еще при первом знакомстве, в сентябре...

Но про остров Юрка не понял, и Гай об этом больше с ним не говорил. В конце концов, с Юркой и без всяких сказок было хорошо...

...Но порой сказка так тянет к себе, забирает в плен.

...Гребцы остаются в лодке, а Гай идет по тропинке к бугристой крепостной стене. Он ясно видит и камни, из которых сложена цитадель, и даже крапинки слюды в камнях — они поблескивают под вечерним солнцем, которое светит в спину. И неровную глинистую тропинку видит...

Стена как бы разрезана щелью. В щели — узкая лестница. Она стиснута высокими гранитными постройками без окон. Ступени — крутые и стертые, того и гляди, ногу свихнешь. Когда Гай начинает уже уставать, слева он замечает в стене сводчатую нишу и дверь из тяжелых досок. Дверь приоткрыта.

Гай входит в извилистый прохладный коридор. Пусто. В полумраке горят над головой фонари — то ли со свечами, то ли с газом. Коридор тянется, тянется и приводит Гая в комнату с полукруглым окном. Солнце наклонными широкими лучами упирается в полки с кожаными старинными книгами. Блестит бронзовое кольцо на громадном глобусе. Рядом с глобусом, на низком дубовом столе, лежат свитки и желтые разлохмаченные листы.

Гай чувствует, что на много шагов вокруг нет сейчас ни одного человека — ни в комнатах, ни в коридорах. А еще он знает, что в каждой книге, в каждом свитке



со старыми морскими картами — какая-то загадка. Выбирай, Гай. Любую...

Он тянет со стола свиток.

Свиток тяжелый! Почему?

Гай тянет сильнее. Бумажная труба раскручивается. К ногам Гая падает черная круглая граната.

Гай вздрогнул. Такого еще не было в сказке... Но и гранаты в его жизни до нынешнего дня не было! А сейчас она о себе напомнила. Гай повел плечами — стесненно, стыдливо и... нетерпеливо. Остров исчез. Быстро, уже без остановок, Гай добрался до бугра с пулеметным гнездом.

Похожий на дохлого кузнечика пулемет по-прежнему валялся среди камней. Гай глянул на него искоса. Прошел выше, к кубическому камню.

Оглянулся. Поодаль бродили одинокие туристы, но близко не было ни души.

Гай ощутил толчки сердца, сел на корточки, отодвинул от камня кусок черепицы. В открывшуюся щель упал прямой луч. Яма под камнем была неглубокая, с полметра. Луч загорелся колючим огоньком на черной грани гранаты.

Когда пулеметчик бросил гранату, Гай стоял в стороне. Он видел то, чего не заметили остальные. Граната, упав за камень, выбила из земли серый, похожий на черепашку голыш. Он и покатился сквозь траву, обманув мальчишек. А лимонка рикошетом ушла в норку под большим камнем — словно решила перехитрить хозяина.

«Стойте, она там!» — хотел крикнуть Гай, когда все бежали вниз. Но ребята промчались очень быстро. Ладно, пусть поищут, а он потом хитро посмеется и скажет. И Гай пошел следом. На пути попалась широкая черепичная плитка. Прямо под ногу. И Гай, еще не думая (или почти не думая), пяткой отшвырнул ее к камню. Он виноват разве, что плитка так ловко, будто нарочно, прикрыла узкую черную нору?

Сначала, когда искали, Гай все ждал момента, чтобы сказать: «Прошляпили гранату? Эх вы! Да она совсем в другом месте!» Ждал, ждал.. Сказать лучше

всего было, когда пулеметчик совсем сникнет и, может быть, даже пустит слезинку. Гай сразу пожалел бы его.

Но пулеметчик сперва запечалился, а после махнул рукой: «Ну ее, ребята. Пропала так пропала...»

Едкая досада снова укусила Гая.

«Ну ее? Тогда ищи сам, если захочешь...»

Он понимал, что искать гранату выше по склону никому не придет в голову. «Не будешь в другой раз хвастаться и строить из себя героя»,— добавил он, старательно ожесточаясь в душе.

И если так получилось, пускай лежит граната в тайнике под камнем, никому не известная. И, значит... уже ничья.

А что, разве зря все так вышло? И камень-кругляш, и незаметная норка, и то, что Гай лишь один все это видел? И кусок черепицы под ногой... Будто сама судьба хотела...

По дороге в кафе Гай вдруг встревожился: а если под камнем глубокое подземелье? Но теперь оказалось — просто выемка. То ли какой-то зверек вырыл, то ли дождевая вода размыла рыхлую землю... Гай вынул гранату. Покачал ее в руках — увесистую, рубчатую. В ней, хотя и в пустой, чудилась боевая мощь. Как в тяжелом пистолете «макарове», который однажды показал ребятам отец Витьки Лаврентьева, офицер. Дал Гаю, Витьке и Юрке подержать и разрешил даже по разику щелкнуть курком...

«С такой-то можно себя хоть кем вообразить»,— опять шевельнулась мысль. Но додумывать ее Гай не стал. Потому что пришлось бы представить и то, как среди врагов ты рвешь кольцо и... и тогда опять, как перед пулеметом...

И все же Гай дернул кольцо. Но уже с другой мыслью — с той, что шевелилась позади обиды на пулеметчика. С мыслью, как здорово будет притащить эту штуку в класс. «Гай, ух ты! Гай, она раньше была настоящая? Дай подержать! Гай, где взял?» — «Нашел там, у моря. В тех краях этого добра хватает, война ведь была...» — «Гай, давай меняться!» — «Нет, я же ее на себе... Я Веденееву привез...» И, тая от собственной щедрости, он скажет: «Юрка, держи, это тебе...»

Гай дослушал, как шипит в запальной трубке чут-

кая пружинка, и вставил на место чеку с кольцом... и услышал шаги! Дернулся, уронил гранату, обморочно съежился.

Шаги были легкие. Несомненно, кто-то из мальчишек вышел из-за каменной стенки.

Не сразу и через силу Гай повернул голову.

В траве шел серый тощий кот.

— У, бандюга...— чуть не со слезами сказал Гай. Кинул в кота улиточной ракушкой. Тот не ускорил шага, только презрительно дернул поцарапанным ухом. Это презренье Гай полностью отнес к себе. Облегченья он не чувствовал. Стыд, хлынувший на Гая, был тяжелым, вязким и липким, словно сверху опрокинули цистерну холодной смолы.

Такой стыд Гай до этого испытал, пожалуй, лишь однажды. Два года назад он пробрался в кабинет деда и в толстых медицинских книгах разглядывал картинки — те, что совершенно не для детского глаза. Гай понимал, что, скорее всего, помрет на месте, если его увидят за таким занятием. Но какое-то особое, «замирательное» любопытство было сильнее запрета и страха. К тому же Гай знал, что дома он один.

Он увлекся настолько, что не услышал, как вернулась бабушка. И обмер, когда она вошла в кабинет.

Бабушка не сказала ни слова. Взяла у Гая книгу и поставила на полку. Потом ухватила его за ухо и повела в другую комнату. Обмякший от позора и ужаса, Гай не пикнул и не оказал сопротивления. Он был готов к самой жуткой каре. Но бабушка оставила его одного и молча прикрыла дверь.

До вечера Гай тяжко томился в ожидании последствий. Но ничего не происходило. Только мама спросила, почему Гай такой присмиревший. Не заболел ли?

После ужина Гай носил на кухню чашки и не смотрел на бабушку, которая хлопотала у раковины. Бабушка вдруг сказала, будто продолжая разговор:

— Самое скверное даже не то, что ты совал нос, куда не следует. Любопытство можно, в конце концов, понять. Но ты о б е щ а л дедушке не трогать без спроса его книги. Значит, тебе нельзя верить?

Гай сопел, снова увязая в стыде, как в жидком студне.

— Иди сюда...

Он, волоча ноги, подошел (ох как было тошно).

Бабушка вытерла белую, без цветочков и полосок, чашку — любимую пиалу деда.

— Смотри,— она поднесла чашку к виноватому носу Гая.— Совесть у человека должна быть такой же, без пятнышек. Иначе будешь всю жизнь маяться, как сегодня. Понял?

Гай, краснея, но с облегчением выдохнул, что понял. И с той поры обещаний старался не нарушать. А то себе дороже.

...Но сейчас-то он никакого обещания не давал! И никому ничего не врал! Если бы спросили: не знаешь, где граната? — сказал бы сразу. А так что? Обязан он, что ли, докладывать?

Драный серый кот опять прошел в пяти шагах и глянул ехидно: «А чего же ты так обмер?»

«Потому что ребята могли подумать, что я нарочно стащил»,— сказал Гай. Себе, конечно, а не коту.

«А ты не стащил?»

«Я?! — старательно возмутился Гай. Он уложил гранату в нору.— Вот! Пусть ее ищет, кто хочет! Пожалуйста!.. Смотрите, я даже черепицу выкинул, пускай будет все, как само собой случилось, я здесь вообще ни при чем... Пусть граната лежит хоть сколько... хоть целую неделю. А если не найдут и забудут, тогда... ну, тогда не все ли равно: здесь она останется, никому не нужная, или окажется... у того, кто про нее знает? Все будет законно...»

Гай выпрямился, шуганул кота и побежал к обрыву.

КАРЕТТА

Ему опять хотелось искупаться. Избавиться от жары, смыть усталость и... ну, и мысли всякие тоже пускай смоются.

Но когда Гай спустился с обрыва, сонливое утомление окутало его неодолимо. Гай только сбросил кеды и сел на ячеистый желтый камень. Небольшие волны перекатывали гальку, подбирались, заливали ступни. Гай привычно брал мокрые камешки, перебрасывал лениво, сыпал на колени... Потом глянул на горизонт и опять попытался представить остров.

Не получилось.

Остров появлялся лишь в такие минуты, когда не

было на душе тревоги. А сейчас Гая все еще точило сомнение. Насчет гранаты. Уже не сильно точило, но полного покоя не было.

Опять закружилась голова. Наверно, от ровного набега воды... Гай встал, встряхнулся. Скользя по камням, вошел в воду по колено. Плеснул в лицо полную пригоршню, фыркнул, выпрямился и... Что случилось?!

Он никогда не испытывал такой боли!

Ядовитая игла вошла в середину ступни, прошила Гая до затылка! Боль скрутила Гая, швырнула на берег, скрючила на гальке. Все стало едко-желтым — небо, море, камни, мысли...

Хотя нет, мыслей не было. Только нестерпимая игла в ступне и ощущение яда в каждой клеточке тела! Гай заорал бы во всю силу, но горло перехватило, воздух стал твердым, Гай корчился и выгибался, не понимая, почему еще не умер.

И никого не было рядом. Лишь в полусотне метров бултыхались несколько ныряльщиков с масками. Никто, конечно, не смотрел на скрюченного, задыхающегося мальчишку...

...Потом в боли появились как бы окошечки. Короткие послабления. В один из таких моментов Гай сел. Вытаращив глаза, стиснув ступню, он дышал разинутым ртом и с ужасом ждал, что игла вгонит в него новую порцию яда...

— Ты что?

В размытом желтом пространстве (которое тоже было болью) возникла девочка. Кажется, та самая, что была с мальчишками на бугре. Не все ли равно? Ой!.. Ну когда кончится эта мука?!!

— Ну-ка, дай...— она оторвала от ступни его руки. Взяла ее в свои ладони. Холодные.— Ну-ка, ляг...

Он откинулся на гальку.

Руки, маленькие, мягкие и решительные, сдавили ступню раз, другой. Сильнее. Словно выдавливали иглу. Прошлись быстрыми пальцами от щиколотки до колена. Опять сжали ступню упругим кольцом. Прохладные ладони будто втягивали боль в себя, яд нехотя уходил из Гая. К небу, к морю медленно возвращались голубые тона. Гай со стоном приподнялся на локте. Боль все еще была отчаянная, но уже из тех болей, которые можно кое-как терпеть. И к тому же она все смягчалась.

— Лежи, лежи,— сказала девочка.— Ты, наверно, на дракончика наступил.

— На кого? — спросил Гай со всхлипом.

— На рыбу такую, ядовитую. Не знаешь разве?

— Я не здешний...

— А... Ну, лежи. Ты не сильно наступил, это ничего.

Гай опять упал на спину. Ладони девочки снова прошлись по ноге, убирая еще один слой боли. И Гай, который всегда смертельно боялся щекотки, сейчас лишь благодарно улыбнулся.

Девочка опять сказала, глядя на свои руки:

— Ты не сильно наступил... У дракончика в плавнике такой шип ядовитый. Если глубоко воткнется, тогда всякое бывает. Даже больница... А у тебя поболит и пройдет...

Болело уже совсем обыкновенно. Гай сел. Девочка подняла лицо. Оно было загорелое. Нос вздернутый и веселый, глаза серые и серьезные. Она смотрела сквозь длинные пряди волос. Потом, кажется, смутилась. Опять взялась за его ногу. И маленькие решительные ладони приказали боли стать еще мягче и глуше.

Гай мигнул мокрыми ресницами и спросил вполне серьезно:

— Ты колдунья?

Она сказала без улыбки:

— Я внучка колдуна. Он вон там...— и кивнула на море.

Метрах в двухстах от берега стояли вехи рыбачьих сетей. Маячило несколько лодок. Стрекотал мотобот.

— Значит, твой дедушка — рыбак?

— Да, он в бригаде. Ставриду ловят... Был механик на траулере, а как на пенсии оказался, пошел в артель. Чего, говорит, дома сидеть. В море, говорит, и помру...— Девочка вздохнула и поправила волосы.

— Ты же сказала, что он колдун,— слабо улыбнулся Гай.— Колдуны не умирают.

— Так это он сам говорит... Но он еще крепкий.

— А почему колдун?

— Потому что все про море знает. Про ветры, про рыб... И меня маленько научил разбираться.

— Ничего себе «маленько»,— опять улыбнулся Гай.— Нога уже почти не болит... То есть болит, но так... по-человечески.

— И еще поболит. Но не сильно. А завтра совсем пройдет... Если будет больно ходить, ты не бойся, все равно ступай. Дедушка говорит, это полезно... Ты далеко живешь?

— Ох, далеко,— огорчился Гай.— На ГРЭС.

— У-у...

— А ты здесь?

— Нет, я в городе... Я дедушке поесть приносила, а потом он попросил за папиросами сбегать.

— Разве колдуны курят? — опять улыбнулся Гай.

— Да. «Беломор»... А еще велел робу домой отнести, зашить.— Девочка шевельнула на песке брезентовую куртку.

— Тебе, наверно, домой надо,— виновато сказал Гай.— А ты со мной возишься...

— Я не тороплюсь. Когда сможешь, вместе пойдем. Я тебя до Графской пристани провожу.

— Да ну...— с неуверенной бодростью отозвался Гай.— Я сам дойду.— Он поднялся.— Вот, уже можно ступать. Ой...

— Нам все равно по пути до Графской,— сказала девочка.

— Тогда ладно.

Гай не ощущал скованности, какая бывала раньше при знакомстве с девчонками. С этой девочкой ему было хорошо и спокойно. Ну, почти как с Галкой. Только сестра старше Гая на шесть лет, а эта — ровесница. Одного с Гаем роста, тоненькая, в бело-синем выгоревшем платьице, с облупленными мальчишечьими коленками и в старых полукедах... Она заметила скользящий взгляд Гая, а Гай понял это и смутился. Но смущение было легкое, даже приятное.

И Гай опустил глаза, посопел и спросил:

— Тебя как зовут?

— Ася.

Гай вздохнул удивленно — так подходило ей имя. Почему-то представился тростник с белым волокном головок и спокойный посвист ветра в стеблях.

— А меня... Мишка...— Он поморщился от досады на себя и сказал решительно: — А чаще меня зовут Гай. Из-за фамилии.

Ася кивнула без улыбки:

— Гай — это хорошо. Похоже на Гайдара, да?

— Ну... не знаю...— Сравнивать себя с Гайдаром было

бы большим нахальством. Но стало все-таки приятно.

— Тебе у Гайдара какая книжка больше нравится? — спросила Ася.

— Не знаю...— Гай никогда об этом не думал и теперь старался сообразить.— Может быть, «Школа»...

— А мне «Судьба барабанщика»... Книжка и кино. Ты смотрел этот фильм?

Гай кивнул. Ася наконец улыбнулась. Неожиданно.

— Я когда в первом классе была, думала, что байдарка называется «гайдарка». Лодка для пионерских походов. Пела: «На гайдарке, на гайдарке по реке наш путь далек...»

Гай обрадованно сказал:

— А я раньше думал, что «пиро́га» от слова «пирог». Потому что бабушка такие острые пирожки стряпает, как лодочки... Смотри, Ася, я уже ступаю.

Они ехали в город в полупустой «пятерке», что ходит от Херсонеса до площади Нахимова. Автобус неторопливо подвывал на подъемах. Гай держал на коленях твердую брезентовую куртку. От нее пахло рыбой и табаком.

— Ты откуда приехал? — спросила Ася.

— Из Среднекамска. Слышала?

— Конечно, слышала... Далеко-то как.

— Всего три часа на самолете.

— Я на самолете только в Москву летала. Один раз... У меня там тетя. А у тебя здесь кто?

— У меня?.. Мы так приехали, ни к кому. С Толиком...

— С братом?

— Ага... То есть это мой дядя, но он все равно что брат. Я его раньше «дядя Толя» звал, а потом он сказал: «Какой я тебе «дядя»! Не старь меня перед девушками».

— Значит, молодой еще...

— Он с виду будто студент. А вообще-то уже тридцать лет... Ты думаешь, он отдыхать сюда приехал? Он подводный аппарат испытывает. Такого робота-разведчика... Ася, этот аппарат может и рыбные косяки в море искать! Толик рассказывал...

— Рассказывал? — слегка удивилась Ася.— Значит, это не секретный аппарат?

— Ну... не знаю. По-моему, нет. С чего ты взяла?

— Я «Судьбу барабанщика» вспомнила. Там мальчик Славка отца-инженера спросил про новое изобретение. Отец стал объяснять, а Славка как закричит: «Ты же мне про сепаратор рассказываешь, который у бабки в деревне!» Помнишь?

— Ага...— соврал Гай.— Но Толик не про сепаратор... Он сперва сказал: «Представь, что океаны — это космос. Так вот, наша штука — это то же, что спутник в космосе».

Ася осторожно возразила:

— Спутники в космосе всего десять лет летают. А в морях подводные лодки уже давным-давно. И аппараты всякие...

— Я Толику так же сказал. А он говорит: «У нас совсем другое дело. Системы не те, и задачи другие. И объяснял про всякую автоматику. Я тогда вроде бы все понял, а сейчас в голове перепуталось... У них теперь в лаборатории последняя подготовка, Толик там с утра до вечера. А я, видишь, гуляю...— Гай виновато посопел: — На дракончиков наступаю...— Нога ныла ровной несильной болью.

Ася сказала с шутливой назидательностью:

— Маленьких мальчиков нельзя оставлять без присмотра.

— Ага,— подыграл ей Гай.— Но выхода не было. Отец с зимы в Алжире, там химический завод строят, он специалист. Маму к себе в отпуск вызвал, а про меня сказали, что нельзя. Галка, это сестра моя, в студенческом отряде, они Ташкент восстанавливают. А бабушке наконец-то путевку дали в Ессентуки... А с дедушкой ни мама, ни бабушка меня ни за что на свете оставить не решились бы. Говорят: все равно что двух младенцев со спичками дома запереть... А тут как раз Толик приехал. Он вообще-то в Москве живет...

— Повезло тебе, да?

— Ага... Мама говорит: «Толик, спаси, а?» Он спрашивает: «А ты не боишься этого пирата со мной отпускать?» Это меня то есть... А она: «Боюсь, конечно. Но все-таки ты серьезный человек, кандидат наук...» Ну вот, приехали, а здесь все не так, как думали: Толик по уши в работе, а я шастаю... Мне-то даже лучше, только он переживает...

— Тебе у нас нравится?

— Еще бы,— вздохнул Гай.— Первые дни я как-то ошалел. От моря, от всего... А сейчас будто давным-давно здесь живу... У меня дедушка почти севастополец.

Это вырвалось у Гая неожиданно, хвастаться дедом он не собирался, просто захотелось показать, что он, Гай, здесь не совсем чужой.

— Он что, раньше в этих местах жил? — спросила Ася.

— Он не жил... Он здесь воевал и погиб... Это не тот дед, который в Среднекамске, а мамин отец. И Толика...

Автобус потряхивало. Ася сбоку молча смотрела на Гая. Волосы ее качались над плечами. Гай сказал тихо:

— Он в этих местах погиб, у Херсонеса. От мины...

Дед — политрук Нечаев — всегда казался Гаю похожим на командира с известного фотоснимка «Комбат». Как он с пистолетом поднимается из окопа и зовет бойцов в атаку. Но сейчас дед представился другим. Лежащим в земле. Вроде каменного великана, вросшего в глубинные толщи херсонесских берегов, спаявшегося с глыбами древней разрушенной цитадели. И с бетонными блоками дотов и орудийных гнезд. Он — сама эта земля. Громадный, просто километровый, лежит он, сложив на груди каменные руки... И... сверху через черную нору скатывается ему на руку тяжелая лимонка.

«Что это»? — спрашивает дед, не поднимая бетонных век.

«Это... так. Дедушка, это случайно. Я потом уберу...»

«Уберешь? Куда? И зачем?..»

«Ну... это вроде трофея...»

«А! Значит, ты добыл его в бою?..»

Что за подлая штука — непрошеные мысли! Гай с досадой трахнул пяткой о стойку сиденья. И выгнулся, охнул: ядовитая игла опять прошла от ступни до колена.

— Что? — испугалась Ася.— Опять?

— Да нет, я сам, нечаянно...— Боль милостиво отступила. Гай вытер лоб.

— Все-таки ты молодец,— сказала Ася.— Другие знаешь как орут от дракончика.— А ты и не пикнул. Там, на берегу...

— Думаешь, почему не пикнул? — усмехнулся Гай.— Дух перехватило. А то знаешь как орал бы...

— Другие все равно орут, хоть и перехватывает...

Они сошли на площади Нахимова.

— Ну, как? Ступаешь?

— Нормально,— прихрамывая, сказал Гай.— Плохо только, что рано приехали. Мы с Толиком должны в полвосьмого на причале встретиться, а еще шесть.

— Ничего, подождем...

Не торопясь, дошагали они до пристани. Ниже колоннады и лестницы, на дощатом широком настиле, толпились экскурсанты, и морской патруль вежливо требовал у растерянного дядьки вынуть из аппарата пленку: незачем снимать на рейде то, что не положено, город военный. Синели в бухтах боевые корабли, сновали катера. От них разбегались волны и звонко хлюпали под досками.

Рядом с начищенными медными кнехтами сидели мальчишки-краболовы. Спускали на шнурах круглые сетки с наживкой и ждали, когда простодушные крабы сами заберутся в ловушку.

— Не люблю, когда крабов ловят,— сказала Ася.— Жалко их...

Гай кивнул:

— Если рыбу, это понятно. А их-то зачем?

— Их тоже едят... А еще чучела делают или сувениры — клешни на цепочке. Все равно жалко. Они пользу приносят, дно очищают... Гай, ты был в нашем аквариуме?

— Нет... В Панораме был, в Музее флота, на Малаховом кургане. А в аквариум пошли с Толиком, да там очередища...

— А хочешь?

— Сейчас? Билеты не купим.

— Если шагать можешь, пойдем...

Очередь была в самом деле большущая. И у кассы, и у входа. Но Ася решительно подвела Гая к дверям и что-то шепнула контролерше — дородной загорелой тете. Та заулыбалась и кивнула.

Внутри обняла Гая благостная прохлада с резкими морскими запахами. В застекленных шкафах он увидел чучела рыб, кораллы, раковины. Со стен скалились чучела акул. Гай вздохнул и стал оглядываться. Но Ася сказала:

— Да здесь все мертвое. Пойдем...

В следующем зале морской запах был еще сильнее. В круглом бассейне ходили осетры и похожие на куски черной клеенки морские коты. Из «клеенки» торчали острые, как шипы, хвосты, и у Гая опять сильно кольнуло ступню...

Стены состояли из громадных аквариумов, просвеченных солнцем. Ася и Гай медленно пошли вдоль стекол. За стеклами проплывали стаи серебряных и разноцветных рыб — узких и круглых, больших и мелких; юрких, как пацаны, и солидных, как пенсионеры. Пронеслись морские ласточки, важно глянул на Гая пестрый морской петух... Шелестели среди водорослей пузырчатые струйки воздуха, ходили по камням замшелые старые крабы.

— А вот дракончик,— сказала Ася.

Гай увидел невзрачную рыбку с коротким, словно подрубленным хвостом.

— Да ну его,— поморщился он.

— Все-таки запомни. Знать-то надо... Ой, Гай, иди сюда, смотри.

Сверху в пустой, без рыб, аквариум тихо вплыла исполинская ластоногая черепаха. Больше метра в поперечнике.

— Средиземноморская,— прошептала Ася.

Черепаха глянула на Гая печальными, совершенно человеческими глазами. Ему даже неловко сделалось: он на воле, а она здесь. Наверно, грустит по Средиземному морю.

— Я читал, что такие черепахи очень умные.

— Конечно, умные... Этой больше ста лет... Знаешь, как такую породу зовут? Каретта.

— Карета?

— Да, только с двумя «т»... На ней и правда можно кататься, как на катере, на облучке. Я видела в кино, как ребята катаются. Эти черепахи добрые, они даже моряков спасают, если корабль потонет...

Гай сказал со вздохом:

— Гы меня сегодня тоже спасла, как каретта...

Ася рассмеялась так звонко, что на нее оглянулись, а черепаха обиженно отвернулась.

— Каретта скорой помощи,— сказала Ася.

— Ага,— засмеялся и Гай.

В половине восьмого Толика на пристани не оказалось. Это не встревожило Гая. Утром Толик сказал:



«Если меня не будет, значит, я уехал раньше. Добирайся один, а я за это время ужин приготовлю... В четверть девятого дома будь как штык».

Что же, Гай так и будет, успеет. Вот и катер подошел...

При прощании с Асей возникла грустная заминка.

— До свиданья,— сказала Ася.

— Пока...— вздохнул Гай. Что еще сказать? Он набрался смелости и спросил: — А завтра дедушке обед понесешь?

— Не знаю... Мне завтра с утра на рынок надо...

— Мы утром с Толиком тоже на рынок заходим иногда,— неловко сказал Гай.

— Вы каким катером приезжаете?

Гай повеселел:

— Обычно в восемь сорок пять.

Ася укладывала в сумку дедушкину куртку. Не разгибаясь, быстро глянула на Гая. Сказала серьезно:

— Я запомню.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ «ЛЕТАЮЩИХ «П»

Катера ходили на Инкерман по-разному. Одни резво бежали сразу до мыса Голландия, где стоит большущее здание морского училища. Другие не спеша чертили бухту зигзагами — на Северную сторону, потом на Аполлоновку, затем опять на Северную...

«Румб» оказался таким вот неторопливым. Гай сидел на корме, на стопке твердых спасательных нагрудников, и нетерпеливо поколачивал по ним ногой. Правой, конечно. Левая все еще ныла.

Солнце уже потускнело и сваливалось к горизонту. Загорались перистые облака. Небо стало желтовато-серым, вода — перламутровой, по ней бежали золотистые зигзаги. От этих зигзагов на черных корпусах и белых рубках теплоходов, что всюду стояли на якорях, змеились длинные отсветы. На палубе синего крейсера выстраивалась команда.

Все это было интересно и красиво, но Гая уже всерьез грызла тревога, что он опоздает. И тогда...

Хотя что будет тогда? Толик его сроду не ругал. Они оба уважали равноправие. Конечно, Толик мог что-нибудь не разрешить (например, лезть в старую

минную галерею у Четвертого бастиона или нырять с камней в незнакомом месте за Хрустальным мысом), но это было не обидно. Толик всегда объяснял, почему нельзя. Слегка насмешливо, но терпеливо. Лишь один раз рассердился. Выдал Гаю напрямик:

— Ты говоришь «хочется». Мало ли кому что хочется! Мне сегодня, например, хотелось засесть с приятелями на весь вечер в «Волне». Там знаешь какие чебуреки! А я с вашим сиятельством гуляю, достопримечательности показываю.

Да, это было один раз, в самом начале. С той поры Гай вел себя умнее. Понял, какой груз взвалил на себя молодой дядюшка, согласившись взять с собой беспокойного племянника.

Было даже удивительно, что так легко согласился.

Конечно, они с Толиком и раньше неплохо знали друг друга. Толик приезжал в Среднекамск часто. А в прошлом году Гай с мамой жил у него целый месяц в Москве. Но именно поэтому Толик не мог не знать, что племянничек его (или брат, если хотите) не из породы тихих мальчиков.

Гай вспомнил разговор Толика и мамы незадолго до отъезда. Он слышал его сквозь приоткрытую дверь. Толик смеялся:

— Да ладно, Варь, управлюсь. Надо привыкать. Глядишь, когда-нибудь своих заведу.

Мама, кажется, сказала, что пора бы. А Толик вздохнул:

— Все на свете повторяется. Опять старшая сестра, которой некогда, опять мама, которой надо ехать, а мальчишку некуда девать... Помнишь, это было в сорок восьмом году, в Новотуринске? Меня тогда в лагерь сплавили...

— Сейчас путевку не достать,— сказала мама.— Да и попробуй уговорить этого паршивца поехать в лагерь. Для него режим и дисциплина страшней всех казней... Ты тоже был обормот, но как-то рассудительнее.

— Всякое бывало,— усмехнулся Толик.— А Мишка-то чем плох? Он же добрый, только поскакать любит... Знаешь, есть такое слово, не очень современное, но для Мишки подходящее: «пострелёнок».

Мама, помолчав, сказала:

— Вполне современное. И подходящее, конечно.

Хотя, видишь ли, Толик, он пострелёнок, но... не так все это просто. Вот идем мы, например, по улице, он густую консервную банку гонит по асфальту, гремит. «Перестань сейчас же»,— говорю. «Ага, мама...» И еще пуще. И вдруг — тихо. Смотрю — стоит. «Что с тобой?» А он банку ногой чуть-чуть пошевеливает, и от нее — зайчик на заборе. От золотистого донышка. «Смотри,— говорит,— будто невидимка мне желтой ладошкой машет...» И потом целых полчаса ходил тихий...

Гай не помнил случая с банкой. Но, с другой стороны, что особенного? Сказки и в самом деле иногда придумываются на ходу. Так придумался однажды и остров.

...На острове, у самых стен старой крепости,— желтые широкие пляжи. На песке лениво и безбоязненно греются каретты. Смотрят карими понимающими глазами на загорелых пацанов, когда те прибегают на пляж из соседней школы. На острове круглый год — лето. Мальчишки не в серой суконной форме, а в разноцветных рубашках, сшитых из шелковых сигнальных флагов, которые подарили им отцы — капитаны и смотрители маяков...

Ребята бросают на песок сумки и прыгают на добрых послушных черепах. Те возят их по песку и мелководью. Брызги и смех...

Но бывает, что мальчишки не тревожат каретт. Это если у тех вылупляются из зарытых в песок яиц детеныши — юркие твердые черепашата. «Пострелята». Они роют в песке норы, забираются на камни, с веселым стуком падают друг на друга, а потом вереницей бегут к морю...

Веселая черепашья ребятня... Только... что-то немного не так. Словно тень пробежала по золотистым пескам. Может, оттого, что панцири черепашьих пацанят напомнили Гаю половинки гранат-лимонок? Но при чем здесь это?

Гай сердито встал. Игла опять ощутимо кольнула ступню, но он не сел, подошел к борту. Грудью лег на планшир...

Если сравнивать совесть с фаянсовой чашкой, то она никогда не была у Гая как после бабушкиного мытья. Случались на ней пятнышки и крошки, похожие на прилипшие чаинки. Были и трещинки — их не смоешь, сколько ни оттирай Например, тот случай с Ду-

няевым или история с дедушкиными книгами. Или с сигаретами в четвертом классе... Ну да ладно. Трещинки эти иногда щипало, или почесывались они, как зарастающие царапины, вот и все. А теперь на дне белой чашки каталась черная дробина. И у дробины, если приглядеться, была форма рубчатой гранаты.

«Но я же не взял! Я ее до последнего дня, до самого отъезда трогать не буду, вот!.. Ну... может быть, я ее совсем не возьму! Пускай так и лежит, наплевать...»

Дробина перестала кататься. То ли исчезла совсем, то ли притаилась. Гай прислушался к себе, словно качнул чашку: не покатится ли железное зернышко снова?

Вроде бы не катается, но...

Но сразу забылось все. Гай поднял глаза и то, что он увидел, было чудесно и неправдоподобно. Почти как его остров.

Катер отошел от причала Голландии и развернулся левым бортом к Инкерману. И на фоне оранжевых, освещенных последними лучами обрывов перед Гаем возник парусник.

Парусов не было, но тем не менее любой мог понять, что это именно парусник. Корабль из книг о кругосветных путешествиях. Мачты его, пересеченные строгими горизонталями реев и паутина тросов создавали волнующий рисунок, знакомый по картинкам из Станюковича и Жюля Верна. До сих пор Гай смутно чувствовал, что в здешней чудесной морской жизни чего-то все-таки не хватает, и теперь понял: не хватало вот такого корабля. И сейчас он возник — вздымал свои мачты над притихшими от зависти сухогрузами, танкерами и лесовозами.

Корабль стоял носом к морю. К плавучей бочке тянулись из клюзов провисшие швартовы. Белый корпус делался все ближе, Гай прочитал на борту черное название:

КРУЗЕНШТЕРН

Про такой парусник Гай и не слыхал. Знал, что есть «Седов», «Товарищ», немагнитная шхуна «Заря» Слышал, что в фильме «Алые паруса» недавно снималась трехмачтовая «Альфа». А оказывается, еще и вон какой есть на свете!

Гай ехидно сказал себе: «А воображал, будто в морских делах разбираешься.. »

Катер шел недалеко от борта с крупным пунктиром иллюминаторов. Корпус «Крузенштерна» был громаден — не меньше, чем у лайнера «Россия», который Гай недавно видел у пассажирского причала рядом с Графской пристанью. А мачты вообще уходили в поднебесье.

Катер прошел. «Крузенштерн» стал удаляться, словно тихо скользил в сторону открытого моря. Теперь он четко чернел на красно-лимонном закате во всей красе своих мачт и снастей.

Гай вздохнул — со смесью радости, зависти и тоски.

— Что? Хорош? — услышал он мужской голос.

Рядом оказался пожилой моряк в мятой торгфлотовской фуражке и кофейной куртке с черными погончиками штурмана.

— Откуда такой? — выдохнул Гай.

— С Балтики. Рейс делает с курсантами.

— Счастливые,— сказал Гай.

— Это правильно,— согласился штурман.— Не каждому повезет, чтоб на паруснике. Да еще на четырехмачтовом барке... Знаешь, что такое барк?

— Ага. Я в судомодельном занимался...

Моряк искоса глянул на Гая:

— А сейчас? Значит, уже не занимаешься?

— Руководитель уволился.

— Бывает...— Штурман придвинулся к Гаю.— А я курсантом на «Товарище» ходил. Не на нынешнем, а на довоенном. Очень он похож был на «Крузенштерна»... Ну, правда, этот из другого семейства. Слыхал про «Летающих «П»?

— Не...

— Были такие... В Германии, у судовладельца Фридриха Лаеша. Все они назывались на букву «П». В начале века много их было. Возили через океаны шерсть, руду, уголь...

— А «летающие», потому что быстрые?

— Именно.

— Клиперы?

— Нет. Большинство их построили уже после клиперов. Это были последние океанские парусники, стальные винджаммеры — выжиматели ветра. Этот вот назывался «Падуя». Спустили его на воду сорок лет назад, даже раньше. В двадцать шестом, на верфи в Бремерхафене. А в сорок шестом году, когда мы с союзниками

делили трофейный флот, «Падуя» перешла к нам. И стала «Крузенштерном»... Про такого капитана слышал?

Гай не то чтобы обиделся, но счел нужным сказать:

— Что я, совсем дремучий, что ли?

Моряк посмеялся. Гай объяснил:

— Я книжку «Водители фрегатов» читал. Там про Крузенштерна и Лисянского целая повесть... А этот «Крузенштерн» быстрее клиперов ходит?

— Рекорды клиперов никакие большие парусники перекрыть не могли. Но винджаммеры ходили почти так же, а грузу брали гораздо больше. И обходили мыс Горн при любых ветрах. Их иногда так и звали — «капгорнеры».

«Летающие «П», «винджаммеры», «капгорнеры» — это как из какой-то морской баллады. И рассказывает о них настоящий моряк, такой, что сам под парусами ходил! Это уже само собой как приключение. Гай млел от ощущения небывалого подарка судьбы. Чтобы не угас разговор, он торопливо спросил:

— А много еще на свете «Летающих «П»?

— Да нет, дружок. Это последний.

— Жалко...

— Да... Десять лет назад погиб его собрат «Памир», учебное судно Западной Германии. Опрокинулся во время урагана...

Гай вопросительно вскинул глаза.

— Говорят, капитан распорядился взять в трюмы сыпучий груз,— сказал моряк.— А переборки убрали, чтобы выгадать объем. Ну, а при крене груз вроде бы сместился к борту... Но надо сказать, что в эту версию не все верят. Трудно представить, чтобы опытные моряки сделали такой просчет...

— А тогда... почему?

— Возможно, необычная, непредвиденно большая волна. Такие иногда возникают в океане, явление это еще не изучено...

— А люди спаслись?

— Всего семь человек...

Гай оглянулся на «Крузенштерн». Барк был уже далеко, но виделся четко. Стройный, гордый, он казался в то же время и печальным. Черный на закате... Может, в этот вечерний час он грустил о погибших братьях? Невесело быть последним...

Но вдруг на корме «Крузенштерна» белой звездочкой мигнул огонь. Яркий, неунывающий. Живем, мол...

«МЕСЯЦ ЗВОНКИЙ И РОГАТЫЙ...»

Все было не так просто, как думалось Гаю. Инженер-конструктор Анатолий Нечаев решился взять с собой племянника не сразу. Были всякие сомнения. Но понимал Толик, что сестре Варваре очень надо повидаться с мужем, который застрял на строительстве где-то в африканских песках. Бывает в жизни, когда человеку что-то о ч е н ь надо. Иначе бы Варя и не решилась отпустить своего Мишку с братом за три тыщи верст от дома.

Позволить, чтобы Мишкина бабушка — и его, Толика, мама — отказалась от санатория, он тоже не мог. Мама много лет маялась с печенью, да и вообще здоровье было неважное. Возраст-то уже за шесть десят...

«Вот видишь, никуда не денешься»,— сказал себе Толик, чтобы убедить себя окончательно. Потому что с точки зрения здравомыслящего человека это была явная авантюра: тащить с собой непоседливого мальчишку, когда едешь работать.

Но помимо всяких объективных причин для этой «авантюры» была еще одна причина — лично его, Толика.

Как многие взрослые люди, запоздавшие с устройством семейной жизни, он с глубоко спрятанной завистливой ласковостью смотрел на чужих детей. Особенно на мальчишек. Потому что в каждом мужчине живет мечта: чтобы у него был сын. Может быть, мечта эта не всегда и осознанная, дремлющая под пластами повседневных забот и жизненных сложностей, но она есть, она теплится и порой обжигает душу вспыхнувшим ревнивым огоньком — при виде растрепанной голосистой вольницы, гоняющей мяч на пустыре, или отчаянных велосипедистов, обогнавших тебя по поребрику тротуара (один на седле, другой на багажнике — ноги вразлет, зацепил, обормот, пыльным кедом по брючине), или при встрече с деловитым семилетним музыкантом, который несет по улице большущий, с себя ростом, футляр...

Сыновья — надежда, радость и гордость мужчин. Мечта о сыне — голос природы. И пока нет своего, смотришь на чужих пацанов с тайным вздохом нерастраченного отцовского чувства.

А Мишка-то не был чужим. Сын любимой сестры. И мудрено ли, что привязанность Толика к «белобрысому черкесу» была хотя и сдержанной, но прочной. Гораздо прочнее, чем можно было заметить со стороны. Правда, самому ему эта привязанность казалась не отцовской, а скорее как к младшему братишке. Но это, наверно, потому, что и себя-то инженер Нечаев не всегда ощущал взрослым.

В прошлом году, когда Варя с сыном гостила у брата, Толик с удовольствием возил Мишку по Москве, лазил с ним по крутым склонам Ленинских гор, по заросшим оврагам в Коломенском и купался на пляже в Химках. Мишка был непоседлив, неутомим, изредка капризничал, но в общем-то они жили душа в душу. И видимо, поэтому Варя сейчас решилась без особых страхов отправить Мишку с Толиком.

Конечно, не предполагалось, что Гай будет болтаться один, пока Толик занят в лаборатории. Зимой Толик познакомился с молодым штурманом Васей Калюжным. Вася в то время только что списался с гидрографического судна «Шокальский» и поступил преподавателем в детскую морскую флотилию. Такой невыгодный для зарплаты и биографии шаг он сделал ради того, чтобы каждый день быть вместе с молодой супругой, ибо праздновал медовый месяц. У молодых были две комнаты в трехкомнатной квартире плюс кладовка-боковушка. Толик созвонился с Васей, и счастливый штурман охотно согласился пустить на месяц в боковушку Толика и Гая. Мало того, они договорились, что, когда Толик будет занят, Гай сможет с пользой проводить время с ребятами во флотилии. А со стороны Васиной супруги ожидался кой-какой «женский присмотр» за Гаем.

Увы, все складывалось настолько удачно, что на самом деле и быть не могло. Пока Толик и Гай готовились к путешествию, пока добирались до Севастополя с трехдневной остановкой в Москве, у супругов Калюжных произошла стремительная, но не редкая в наши дни драма. Недовольная тем, что муж теперь не ходит в выгодные заграничные рейсы, Васина жена

вывезла на грузовике вещи и уехала с ними к маме. Было неясно, куда она денет мебель и телевизор в тесном мамином домишке, но скоро выяснилось, что у «мамы» черные усы, погоны старшего лейтенанта и должность начальника вещевого склада.

Штурман Калюжный с горя тут же уволился из флотилии и ушел третьим помощником на траулере, промышлявшем у кавказских берегов. А Толику оставил ключ и записку:

«Анатоль!

Такова жизнь, счастье недолговечно. Комнаты в твоем распоряжении. С этой стервой, если придет выскребать последнее имущество, обходись в соответствии с обстановкой, но лучше всего гони в шею. Одеяла, подушки и простыни — внутри дивана. Соседка — Агния Леонтьевна — покажет, где посуда, и сообщит подробности. Она (соседка) мрачна снаружи, но добра душой.

Привет тебе и племяннику, будь здоров. Не женись.

Базиль»

Толик беспомощно выругал несчастного Базиля и его супругу, выслушал о деталях супружеской драмы от Агнии Леонтьевны — высокой полной тетки с суровым лицом и печальным голосом — и задумался. Но думай не думай, а не отправлять же Мишку обратно. Так и стали жить. Самостоятельно.

Конечно, Толик за Гая тревожился. С неугомонным мальчишкой случиться может всякое: тут море, скалы, пещеры и все такое. Слышал Толик и рассказы, как ребята нет-нет да и откопают что-нибудь взрывчатое... Но, с другой стороны, Гай поклялся в ненужные места не соваться и непонятные штуки в руки не брать. А Толик знал, что, если Гай обещает, верить можно... И в конце концов, живут же нормальной вольной жизнью здешние пацаны.

Кроме того, у Толика была в душе необъяснимая теплая уверенность, что этот город ни ему, ни Гаю никакой беды не принесет. С первого приезда сюда, еще в шестидесятом году, Толика не оставляло чувство, что здесь люди по-особому добрые, море — самое теплое, улицы — ласковее и красивее, чем в других городах. Может быть, потому, что за этот город дрался

и погиб здесь отец? Погиб — и своей жизнью, своей кровью защитил от будущих бед сына и внука...

Севастополь был для Толика городом удач. Всякая работа шла здесь у него «со знаком плюс». И сейчас аппарат оказался готов к спуску раньше, чем можно было ожидать.

...Это, конечно, великая удача, что упрямый Тасманов согласился наконец на изменения в схеме. Толик мог бы, как руководитель проектной группы, настоять на этом и вопреки Тасманову, но тогда возникла бы в группе та напряженная разобщенность, которая вызывает суеверное предчувствие неудачи. А сейчас у всех на душе праздник и ощущение каникул. Праздник — потому что вся логика, все расчеты, вся интуиция говорят, что испытания пройдут удачно. А каникулы — потому что все готово, и остается ждать, когда начальство даст капитану «Стрельца» добро на выход. Едва ли даст раньше десятого сентября — срока, назначенного в соответствии с графиком.

Теперь пара дней отладки, последнее «нырянье» в бассейне, и пойдут дни относительно свободные и беззаботные. Толик еще вчера пообещал Гаю, что теперь они чаще будут вдвоем.

— Потому что выкинули этот ваш блок ДЗД? — спросил Гай.

— Угу...

— А что это такое? Объяснил бы хоть...

— Дополнительная защита двигателя. Идея ненаглядного Гришеньки Тасманова. Нужна как рыбе зонтик... Нет, в самом деле! Это все равно что в подводной лодке укутывать моторы в полиэтилен, а экипаж одевать на всякий случай в водолазные скафандры...

Гай вспомнил этот разговор, когда от причала ГРЭС карабкался по тропинкам к верхним улицам поселка.

Уже сгущались сумерки. Вода в бухте была еще светлая (и силуэт «Крузенштерна», видимый с высоты, четко рисовался на ней), но кусты, в которых петляли тропинки, окутались мохнатой темнотой. Гай продирался по ним наугад. Любая тропинка приведет к верхней улице. А там еще немного по лестнице, и дом — вот он.

Этот двухэтажный белый дом был уже привычный, почти свой. И одно было плохо: далеко от города. И высоко. Вечером приезжаешь с гудящими ногами, с пустым желудком, а тут еще восхождение...

Ну, ничего. Вот уже и улица, и двор в акациях... Почему-то света нет в окне на втором этаже. А Толик, наверно, на кухне...

Гай поднялся по кряхтящим ступенькам и оказался в коридорчике, где пахло керосином и копченой рыбой. Дернул дверь с в о е й комнаты. Заперта! Он сунулся на кухню:

— Агния Леонтьевна! А где Толик?

— Не приходил еще, Мишенька... Ты голодный небось? Хочешь, супчику налью?

— Не... спасибо...

С упавшим сердцем Гай шагнул назад. Постоял. Нашарил в кармане ключ, отпер дверь. Нащупал выключатель.

Голая лампочка загорелась ярко, но сиротливо. Почти пустая побеленная комната (диван, раскладушка, табурет вместо стола) впервые показалась Гаю неуютной

Гай потерянно сел на застеленный одеялом диван. Потом лег — затылком на валик...

День побежал в памяти, как запущенная с конца в начало кинолента: тропинки, катер, «Крузенштерн», каретта, Ася, дракончик, нора под камнем, купанье, пулеметчик... А перед этим — утро на причале. Толик:

— Если меня не будет, добирайся один. Значит, я уже дома, ужин готовлю...

Раньше Толик никогда не опаздывал. От Гая требовал точности, но и сам — если скажет, можно не сомневаться. А сейчас что? Беда какая-то?

Гай сказал себе, что никакой беды, конечно, нет. Толик застрял в лаборатории, споря с Тасмановым. Или просто опоздал к катеру на несколько минут. Приедет на следующем. Но это Гай умом понимал. А беспокойство никуда не девалось. Такое, что даже тоска брала.

Гай лежал, слушая, не простучат ли на улице шаги по ракушечной плитке. Иногда стучали, но не его, не Толика. Да и бессмысленно было ждать сейчас. Катера ходят через сорок минут.

«А если и тогда его не будет?» — заранее ужаснулся Гай.

Так или иначе, эти тоскливые минуты надо было пережить. Гай велел себе не раскисать и потянулся рукой назад, за изголовье. Там лежала на полу стопа книжек и журналов.

Под руку попало несколько «Огоньков», прошлогодние, за разные месяцы. Гай полистал... Повесть о шпионах (без начала, без конца — неинтересно). Мягкая посадка автоматической станции на Луну. Встреча Л. И. Брежнева с Иосипом Броз Тито... Рассказ о Ташкентском землетрясении...

Как там, в Ташкенте, Галка?

И как дела дома?

Мама должна в эти дни уже вернуться...

Гай зажмурился и представил свой дом на Староречeнской улице. Родной, привычный, с запахом вымытых половиц, с поскрипыванием тяжелых дверей. Будто прошелся по всем комнатам, полным книг и позванивания старых, еще прабабушкиных люстр... Но легче от этого не стало. Наоборот, почувствовал Гай, как далеко он от дома и какой он одинокий. И какой усталый до чертиков, и голодный. И нога, оказывается, все еще болит...

И за что на него все это свалилось?

А может, есть за что? Может, так ему и надо? Судьба?.. Однако Гай прогнал эту мысль. В конце концов, если он заслужил наказание, то мало, что ли, дракончика?.. И вообще это чушь. Никакой судьбы не бывает.

«А там, когда граната закатилась, говорил: судьба...»

«Ну, закатилась, и черт с ней. Я про нее уже и не думаю...»

Гай сбросил на пол журналы и снова пошарил за изголовьем. Под руку попалась толстая книга в мягкой обложке. Оказалось — «Морской астрономический ежегодник» на 1965 год. Гай обиженно вздохнул и все же открыл книгу. На середине.

Цифры, цифры. Скучнейшие столбики чисел. Из слов — только названия месяцев, дней недели и небесных тел. Да еще какая-то «точка Овна»... Рядом с именами планет — особые значки. Потому что для каждой планеты астрономы придумали эмблему. Но и эти эмблемы были сухими, как математические знаки.

Лишь один значок — у Луны — нарушал неумолимую строгость. В страну сплошных цифр забрела еле заметная сказка. Это был крошечный полумесяц с глазом,

носом и улыбающимся ртом. Вроде тех картонажных серебряных месяцев, что вешают на елки.

Гай вспомнил запах елки, который смешивается с запахом печи, истопленной березовыми дровами, лиловый вечер за морозными стеклами, позванивание шариков, ощущение спокойного праздника и уюта в старом, но крепком доме, где ничего плохого не может случиться, потому что каждому здесь хорошо и вся семья вместе... И маленький месяц подмигнул Гаю. Дружески так подмигнул, как прибежавший с улицы Юрка...

Гаю стало капельку легче. Однако тревога не уходила, притаилась рядышком. Гай сквозь дремоту продолжал слушать шаги на улице... И вздрогнул, испуганно сел: за стенкой, у Агнии Леонтьевны, пискнуло радио — девять часов.

Да что же это такое? Куда Толик провалился?

Может, пойти на причал, подождать там? Все же не так одиноко... Но при мысли о крутых тропинках беспомощно заболело все тело... Или позвонить с ближнего автомата в лабораторию? Телефонистки на заводском коммутаторе не очень-то охотно соединяют, но можно попробовать... Двушку надо...

Гай привстал, шаря по карманам... и внизу хлопнула дверь.

И шаги на ступенях!

И веселый голос е г о:

— Добрый вечер, Агния Леонтьевна! А этот пират уже дома?

Гай бухнулся навзничь и сделал вид, что внимательно читает «Ежегодник».

— Привет, Майк!

Он никогда не называл его Гаем. Говорил «Мишка», просто «Миш», а чаще полушутливо: «Майкл», «Мишель», «Майк»...

— Привет,— гробовым голосом сказал Гай.

— А чего валяешься? Меланхолия?

Он еще спрашивает!

Гай перевернул страницу. Толик постоял посреди комнаты. Проворчал, явно пряча за недовольством виноватость:

— Не ужинал, конечно... Мог бы и сготовить что-нибудь. Яичницу соорудить — дело нехитрое. Не маленький...

Это было уже слишком.

— Я приготовил бы яичницу,— стеклянным голосом сказал Гай из-за книги.— Если бы ты не провалился куда-то!

— Ох ты, господи! — Толик сел на табурет.— Мишель! Ну что такого случилось?

— Сам обещал, а сам... Если обещал, надо по-честному, а не врать...— Гай поперхнулся. Во-первых, ему что-то шепнуло, что про честность сегодня особенно-то не надо. Во-вторых, он прилагал старания, чтобы не разреветься.

— Ну, опоздал на катер. Обстоятельства всякие... Бывает же! — сказал Толик.

Гай старательно перевернул лист.

— Миш...

— Сам только и знаешь: «Я за тебя беспокоюсь, я за тебя волнуюсь...» — выдохнул Гай.— Думаешь, ты один умеешь беспокоиться?

— Ну, всего-то несчастные сорок минут...

— Почти час! А если бы я на столько опоздал?

— Ладно,— вздохнул Толик.— Ты уж меня прости...

А он и так простил! Сразу же! Внутри у Гая булькало ликованье, что все в порядке и вот он, Толик! Прямо хоть на шею ему кидайся! Но Гай не кидался и даже не смотрел. Словно рядом с ним уселся на диван другой мальчишка — с упрямой обидой и зажатыми слезами.

— Хлеба-то мы не купили,— деловито размышлял вслух Толик.— Ладно, займем у доброй тетушки Агаши. И что-нибудь наскребем в холодильнике...

Гай безмолвствовал. Толик шагнул к нему:

— Что читаешь? — Глянул на обложку.— Батюшки, да что ты здесь нашел?

Гай слегка потеснил с дивана своего насупленного двойника. Хотя и суховато, но ответил:

— Нашел...

— Что?

— Вот...— Он показал на месяц.— Кругом математика, а он, как с елки...

— А ведь правда! — Толик нагнулся, разглядывая месяц-малютку. И вдруг сказал доверительно (видимо, подлизываясь): — А он для меня старый знакомый. Тоже с елкой это связано... Я про него стихи сочинил, когда был такой, как ты.

— Ну? — с хмурой требовательностью сказал Гай.

— Что?

— Какие стихи-то?

Толик смущенно покряхтел.

— Такие вот...

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой
Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот...

«Наоборот» — это потому, что перед Новым годом всякие чудеса случаются... Ну как?

— Ничего,— сказал Гай. Только похоже на другое:

Рыжий, рыжий, конопатый,
Убил дедушку лопатой...

Толик захохотал, схватил Гая за плечи.

— Ну, критик!.. За такую непочтительность к талантливому дядюшке — наряд на кухню!.. Пошли готовить глазунью.

Но Гай выскользнул из его ладоней. Пальцами притянул к носу рукав Толика.

— Та-ак... «Красная Москва», да? У нашей Галки такие же духи.

— Ну... и что? Не выдумывай давай.

— У меня, между прочим, нос как у охотничьей собаки...

— А у нас в лаборатории, между прочим, такими духами старушка машинистка Наталья Петровна себя опрыскивает. А я рядом с ней сидел, письмо диктовал гидрографам...

— Я пошутил,— деревянным голосом сообщил Гай.— Нету помады то есть, «Красной...»

— Знаешь ли, дорогой...— Толик встал.— Я не думал, что ты такой провокатор.

— Еще и обзывается,— буркнул Гай, чувствуя, что перегнул.

Толик стал перебирать на подоконнике тарелки. Гай сказал ему в спину:

— А стихи сочинять — это хорошо. Вот когда если гуляешь с кем-нибудь по парку или вообще... Девушкам нравится, когда им стихи читают.

— Ты-то откуда это знаешь? — осведомился Толик.

— Из книжек.

— Я стихи не сочиняю... Я в жизни всего два стихотворения написал. Про месяц да еще про Крузенштерна...

— Про кого? — Гай спустил с дивана ноги.

— Про Крузенштерна. Тоже в давнем розовом детстве... Я бы и не вспомнил, если бы не ты...

— А я-то при чем? Ты про Крузенштерна вспомнил, потому что корабль увидал...

— Какой еще корабль?

— Ой, будто ты не видел! Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» стоит на бочке у Голландии. Такая громадина!

— Честное слово, не видел! Я внутри, в салоне, ехал, задумался... Возьми в холодильнике помидоры, помой на кухне

Гай взял и помыл. Вернулся и сообщил:

— Я сегодня, между прочим, тоже познакомился с девч... с девочкой одной.— Он хотел сказать «с девчонкой», потому что термин «девочка» среди среднекамских друзей-приятелей считался излишне благопристойным и сентиментальным. Но слово «девчонка» Асе совершенно не подходило.

— Вот видишь! — обрадовался Толик.— А я, по-твоему, не имею права на личную жизнь?

— Имеешь, имеешь,— хмыкнул Гай.— Только не надо опаздывать. И не надо голову терять. А то даже океанский парусник на рейде не заметил! Куда уж дальше...

Толик разрезал на сковороде помидоры, вытер полотенцем нож и миролюбиво попросил:

— Чадо мое, хватит меня пилить. Лучше расскажи, что делал днем.

— Я сегодня на дракончика наступил. Наверно, помер бы, если бы не та... девочка. Она меня спасла.

Толик со звяканьем бросил нож:

— На кого наступил? Где?.. Какой ногой?

Гай дурашливо дрыгнул незашнурованным кедом, сбросил его. Качнул ступней (уже не болела). Толик стремительно присел, взял его за щиколотку.

— А-а-а! — Гай отлетел, спиной шмякнулся на диван.

— Что?! Так болит?!

— Да не болит! Я же щекотки боюсь!

— Дубина! — в сердцах сказал Толик.

— Тебя бы так за ногу..

— Когда девочка бралась, ты так же орал?

— Она лечила, а ты хватаешь.

— Сам хуже девочки. Цаца капризная,— буркнул Толик.

Рядом с Гаем опять уселся упрямый и обиженный мальчишка. Даже не рядом, а внутри Гая. Гай взял «Ежегодник».

Толик один поджарил яичницу и сказал из кухни:

— Иди лопать.

Гай лежал.

Толик подошел:

— Мишка, ты чего?

А чего он? Гай и сам не знал. В глазах и в горле словно жгучая соль. Он быстро лег на бок — лицом к диванной спинке.

— Ну, Майк,— осторожно сказал Толик.— Миш...

Гай подтянул к животу колени и прерывисто сопел. Толик сел рядом. Спутанные волосы Гая пахли водорослями. А сам он был пыльный, исцарапанный и несчастный.

Коротко вздохнув от виноватости и жалости, от резкого толчка нежности, Толик сказал:

— Гай...

Тот полежал тихо секунды три, рывком обернулся, метнулся к Толику. Облапил его, прижался лицом к рубашке.

Толик молча гладил его вихры...

Через полминуты Гай прошептал:

— А стихи прочитаешь?

— Какие?

— Про Крузенштерна.

— Может, сперва поедим все-таки?

— Ага...

— Иди умойся. Дитя портовых улиц...

ПРОПАВШАЯ РУКОПИСЬ

Они молча поужинали. Толик отскреб сковородку, а Гай вымыл тарелки. Из кухни в комнату Гай вернулся первым. Прилег на диван. Пришел и Толик, стал возиться в углу над чемоданом: выбирал себе чистую рубашку.

Гай смотрел на Толика и думал, что он совсем не похож на ученого. Похож на Галкиных однокурсников: по-мальчишечьи курносый, с короткой ершистой прической. Щуплый такой...

Щуплый-то щуплый, а дубовый стул крутит за переднюю ножку одной рукой. А если они с Гаем борются — кто чью ладонь прижмет к столу,— Гай давит на левую

руку Толика двумя да еще пузом помогает, и никакого проку: Толик шевельнет рукой — и Гай весь припечатан к столешнице. А поглядишь — у Толика и мускулов-то вроде бы нет...

Мама сказала перед отъездом: «Толька, от тебя одни глаза остались. Вы там постарайтесь отдохнуть, ешьте как следует, фрукты покупайте...» — «Обязательно»,— сказал Толик.

Первые вечера он приходил из лаборатории просто черный. Что-то не ладилось с этим ДЗД, какие-то неясности возникали в плане испытаний.

— Ты же говорил, что все отлажено, все в порядке,— сказал однажды Гай.

— Это у н а с отлажено. А там...— Толик возвел глаза к потолку.

— В Москве? — понял Гай.

— Не все зависит от Москвы...

— А от кого?

Толик посмотрел на него без улыбки.

— От Байконура.

Гай вытаращил глаза.

— Да? Ай, да ты смеешься...

— Отнюдь...— вздохнул Толик.

— А... при чем тут ваши аппараты?

— Все связано. Это раньше мы были сами по себе, а теперь комплексная программа исследований.

— Секретная? — прошептал Гай.

— Не секретная... Но и не такая, чтобы идти на площадь, вставать у памятника Нахимову и громко вещать всем туристам...

— Я и не собираюсь,— обиделся Гай.

— Вот и молодец,— серьезно сказал Толик.

...В последние три дня он повеселел: дела наладились. Но все равно забот полно — руководитель конструкторско-исследовательской группы, или как там еще... В общем, командир, хотя и моложе всех. «Ох, несладко ему приходится. А тут еще я...» — не первый уже раз подумал Гай. И вздохнул:

— Ладно уж, не читай.

— Что «не читай»?

— Стихи. Которые обещал...

Толик отложил рубаху, сел рядом с Гаем.

— Я ведь понимаю,— сказал Гай.— Ты со мной и так замучился.

Толик притянул его к себе. Гай потерся облупленным ухом о майку Толика.

— Ладно уж, слушай,— сказал Толик.— Это было, когда мы с мамой жили в Новотуринске. Я тогда такой, как ты, был... Нет, поменьше, в четвертом классе... Под Новый год мама подарила мне книжку «Русские кругосветные мореплаватели». Там как раз все с Крузенштерна начинается. Я, конечно, зачитался... И вот в те же дни познакомился я с одним человеком. По фамилии Курганов... Пожилой он был, одинокий и, видимо, неудачливый в жизни. Но было у него дело, которое помогало ему жить: он писал повесть про Крузенштерна... Помню, он в новогоднюю ночь мне отрывки из этой повести читал; так получилось, что мы вместе сорок восьмой год встречали... Мы с ним, с Арсением Викторовичем, даже подружились, хотя я мальчишка был, а ему пятьдесят стукнуло... Вот как раз к его дню рождения я стихи и написал. В подарок. Неумелые стихи, конечно...

Толик повозился, покашлял и с таким выражением, что, мол, куда деваться-то, начал:

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Далеких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина,
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна...

И буду я всегда завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь..

— А говорил «неумелые»,— сказал Гай.— Нормальные стихи, как у поэта. Хорошие... А говорил «не помню»...

— Начал читать и вспомнил... А вот еще:

Теперь Земля уже почти что вся открыта
Остались тайны только в синей глубине
Они — как старый клад, на острове зарытый
Но, может быть, одна откроется и мне

Но это я уже потом сочинил, эти строчки в эпиграф не вошли.

— Куда не вошли?

— В эпиграф... Ну, это такое как бы вступление маленькое к книге или рассказу...

Да знаю я, что такое эпиграф! А к какой книге-то?!

— Я разве не сказал? Курганов стихи эти взял для своей повести «Острова в океане».

— И значит, их в ней напечатали?!

— Да нет, ничего не напечатали... Курганов неожиданно умер, а рукопись пропала. У него был всего один экземпляр, после смерти его не нашли... У меня только эпилог остался. Тут так получилось: мама перепечатывала Курганову рукопись, а я копирку раскладывал и на последних страницах перепутал, не той стороной положил. Мама этого не заметила, а я начал потом разбирать готовые экземпляры и ахнул: первый-то отпечатан, и не только с лицевой стороны, но и сзади, по-зеркальному, второй — одна «зеркалка», а третий лист вовсе пустой... Ну и с перепугу сел перепечатывать сам. Умел немного... Напечатал заново, а те листы, с первой отпечаткой, сунул в подставку машинки, там вроде тайника было... А потом и эти страницы пропали вместе с машинкой.

— Почему?

— Мама ничего про тайник не знала, это мой секрет был... Когда приехали в Среднекамск, маме купили новую машинку, а эту она отдала ребятам в школьный музей Мальчишки ходили по домам, выпрашивали разные предметы старого быта, а машинка-то была просто древняя, «Ундервуд». Мама и пожертвовала... Я понять не мог, как она решилась на такое. «Ундервуд» этот у нас был с довоенных времен, мама его так любила...

— И все-таки отдала!

— Я уж после догадался: потому и отдала, что любила. Машинка-то сломанная была, рассыпалась. Вроде бы бесполезная вещь, место занимает, а выбросить жалко... И видно, стеснялась мама этой привязанности. И подумала: в музее машинку сберегут, там она даже в почете будет... В общем, пришел я с уроков и вижу — машинки нет. Я в крик: что ты наделала!

— А вернуть нельзя было?

— Я ходил по школам, спрашивал, да не очень-то с мальчишкой разговаривали... К тому же, я думаю, те пацаны могли машинку в музей и не отдать. Может, она им так понравилась, что решили оставить себе. Там кое-какие клавиши еще работали, для игры годилась...

«Вот уж свинство-то!» — едва не сказал Гай, но вспомнил нору под камнем в Херсонесе и сердито засопел. И спросил:

— Если повесть с копиркой перепечатывали, почему у Курганова один экземпляр оказался? Остальные-то где?

— Это особая история... Курганов сжег два экземпляра. Прочитал после перепечатки, расстроился: показалось, что повесть никуда не годится. А нервы у него были, видимо, так себе. Вот и бросил в камин все: черновики и два отпечатанных экземпляра... А третий был у меня. Я, по правде говоря, хотел его замылить, Курганов о нем не знал...

От того, что и Толик в детстве мог что-нибудь «замылить», Гай почувствовал облегчение. Толик сказал:

— Мама про это узнала, мне, естественно, влетело... Но потом оказалось, что все к лучшему. Отдал я третий экземпляр, Курганов ожил...

— Но все равно потом и третий пропал,— вздохнул Гай.

— Да, но все-таки с Кургановым повесть была до конца. Ему было легче... Хотя в одном издательстве рукопись уже тогда раскритиковали и отказались печатать.

— Почему? Разве она плохая была?

— Да нет... Скорее, непривычная. Не столько описание подвигов и открытий, сколько разбор всякого... ну, характеров, отношений. С Крузенштерном плыл посланником в Японию Николай Петрович Резанов, человек с капризным характером, вельможа. Они часто ссорились. Резанов даже обвинил Крузенштерна в бунте. Почти все офицеры поддерживали своего капитана, а молодой лейтенант Головачев встал на сторону Резанова...

— Почему?

— Ну, это надо всю повесть пересказывать.

— Толик... еще ведь и одиннадцати нет.

— Да я и до утра не кончу, если про все...

— Ну, ты хотя бы коротко... Толик, ведь человек-то писал, старался, а книга пропала. Пускай хоть кто-то про нее будет знать! Пока только вы с бабой Людой эту повесть знаете, а теперь и я буду. Получится, будто еще читатель прибавился.

— Уговаривать ты умеешь...— Толик опять притянул Гая к себе.— Ну, слушай...

Гаю было ясно, что рассказал Толик не все. Только основные эпизоды. Но и этого хватило, чтобы задуматься.

Особенно о горькой судьбе Головачева, которого бросил и забыл Резанов.

— Зря он застрелился...

— Это мы понимаем. А он не понимал. Думал, что единственный выход,— сказал Толик.

— И никто не остановил...

— Не успели... Об этом и речь... Конечно, в повести хватало и приключений, и бурь, но главная мысль, по-моему, о человеческой вине.

— Как это?

— Вот так... Часто люди виноваты в несчастьях других людей. Не по закону виноваты, а перед своей совестью. И никуда от этого не денешься. И рад бы исправить вину, да поздно.

— И что тогда делать? — испуганно спросил Гай.

— Жить... Это, собственно, и была повесть о жизни и смерти. О том, что жить надо по-человечески, если даже тяжело. А если умирать, то и тогда думать о других... Мне кажется, Курганов хотел сказать, что Головачев умер просто ради смерти, а капитан Алабышев — ради жизни.

— Алабышев?

— Ох, я же эпилог-то еще не рассказал!.. Помнишь, в самом начале я говорил о кадетике Егоре Алабышеве? В эпилоге он — капитан-лейтенант. Крымская война, он приехал в Севастополь...

«Совпадения какие,— подумал Гай.— Алабышев был здесь, «Крузенштерн» здесь, мы здесь...» И Толик понял его:

— Все в жизни переплетается... Я, когда читал про Алабышева, думал, что он похож на отца. То есть отец на него. Так казалось. Я ведь отца почти не помнил...

Гай виновато подумал, что, размышляя о совпадениях, забыл о дедушке.

— А разве Алабышев тоже погиб?.. Ах да, ты же сказал...

— Он погиб не на бастионе, а на улице, спасал ребятишек. Они играли в снежной крепости, Алабышев случайно там оказался, а в крепость влетела английская бомба. Точнее, артиллерийская граната. Крепость была замкнутая, выход узкий, деваться некуда. Алабышев на гранату — грудью...

«Да что это такое? — подумал Гай.— Целый день про одно и то же, как нарочно!»

— А почему — граната? — сумрачно спросил он.

— Так небольшие круглые снаряды назывались. С запальными трубками...

Продолговато-круглый рубчатый снаряд с медной трубкой запала Гай словно ощутил в своей ладони. И сказал ему мысленно: «Чтоб ты провалился к чертовой бабушке! Знал бы, дак не связывался...» Но вспомнилась не только граната. Еще и ее хозяин — пулеметчик. Он — упрямый и жестко-неустрашимый — соединился в мыслях Гая с капитан-лейтенантом Алабышевым, хотя, казалось бы, ничего похожего не было. Нет, было... Бесстрашие.

И с горьким откровением, со злостью на себя Гай сказал:

— А я сегодня струсил. Вот.

— Да ну...— осторожно проговорил Толик. Видно, почувствовал, как задеревенело плечо Гая.

— Да! Вот так,— выговорил Гай. Хотелось очистить душу.— Мы играли в войну, а там, в камнях, залег пулеметчик. Я гранатами промазал. Все думали, что я сам кинусь на пулемет... а я не пошел. Надо бросаться вперед, а я лежу...

Толик помолчал. И медленно произнес:

— Наверно, ты не струсил, Гай. Ты задумался. Для всех была игра, а ты стал думать: а что, если бы это всерьез? Так?

— Ты откуда знаешь?!

— Знаю. Не с тобой одним это бывало.

— Нет, я не думал, что это всерьез,— вздохнул Гай. Но теперь он, кажется, понимал, что его остановило перед пулеметным гнездом. «Если бы кинулся — значит, будто обещание дал: когда по правде такое случится, сделаю так же»,— подумал Гай. И вспомнил — но ведь сколько раз в войну играли: «Тах-тах, ты убит! Ура, в атаку!.. Ты убит, я убит, все убиты!»

«Тогда просто не думал про такое,— сказал он себе.— А в этот раз пришло в голову...»

Почему пришло? Может, потому, что видел обкатанные морем осколки костей? Может, потому, что в глубине души все время он помнил о дедушке — даже тогда, когда казалось, что забыл?

— Я не знаю, смог бы на самом деле или нет,— хмуро сказал Гай.— Наверно, ни за что на свете не смог бы...

Толик негромко и словно нехотя проговорил:
— Этого никто не знает до решительного момента.

Решительные моменты в жизни будут, Гай это понимал.

Он еще не знал, кем станет. Может, вовсе и не моряком, хотя при виде кораблей и флотской формы сердце стукало от волнения. Думая о своем острове, Гай представлял себя капитаном. Но можно быть и просто путешественником. Можно археологом: раскапывать города вроде Херсонеса. Можно пограничником...

Осенью учительница литературы задала пятиклассникам сочинение: «Почему я хочу быть космонавтом?» Гай написал, что не хочет. Во-первых, берут в космонавты очень немногих; во-вторых, на Земле куча интересных дел (и под водой тоже, как у Толика); в-третьих, все пишут, что хотят быть космонавтами, потому что так полагается писать, а на самом деле еще и не думали, кем станут. Это «в-третьих» особенно раздосадовало Аллу Григорьевну. Была вызвана мама. Вместо мамы пришел папа. Спокойный тихий папа, глядя сквозь толстенные очки, вежливо спросил Аллу Григорьевну, действительно ли она уверена, что каждый мальчик должен идти в космонавты? Алла Григорьевна сказала, что пойдет не каждый, но мечтать об этом обязан всякий советский школьник. Папа поинтересовался, сильно ли наступил на горло своей мечте сын Аллы Григорьевны, когда пошел в медицинский институт — приобретать профессию зубного врача. Алла Григорьевна спросила, на что папа намекает. Папа ответил, что намекает на следующее обстоятельство: нельзя ставить человеку двойку за то, что он честно излагает свои мысли.

Алла Григорьевна сказала, что пусть папа тогда сам учит своего сына. Но она не уверена, что при таких взглядах папы из пятиклассника Гаймуратова выйдет толк. Неизвестно, кем он станет.

Тут Гая дернуло за язык:

— Да уж не зубным врачом.

За это ему попало от Аллы Григорьевны и от папы, который велел перед Аллой Григорьевной извиниться. Потом ему (и папе заодно) попало дома от мамы, от бабушки и даже от деда.

— Я, хотя и не зубной, но тоже врач,— сказал

дед.— Неужели медики — столь презренная профессия?

Гай так совсем не считал. Он высказался в учительской просто назло Аллушке... Но, с другой стороны, он и в самом деле не мог представить себя зубным врачом. Так же, как, скажем, бухгалтером или директором магазина. Он твердо знал, что его жизнь будет связана с путешествиями, открытиями, испытаниями и приключениями. Для этого совсем не обязательно быть мореплавателем или космонавтом. Вон, Толик – инженер, а разве жизнь его не приключения? Все время изобретает, ищет, в моря ходит... Или папа. Уж вроде бы совсем «кабинетный» человек (подойдешь к нему, а он, сидя за столом, обнимет тебя одной рукой, а другой все пишет, пишет свои формулы и конспекты), а ухитрился в Африке оказаться. Или дед. Таким врачом и Гай не отказался бы стать! В тридцатых годах хирург Гаймуратов прыгал с парашютом на зимовки к заболевшим полярникам. А в сорок первом, когда немцы пытались ворваться в село, где был полевой госпиталь, дед прямо из окна операционной палил из пистолета (хотя и говорит, что ни в одного немца не попал и вообще стрелял по-боевому единственный раз за всю войну)...

Да, Гай не знал еще, кем станет, но то, что в жизни будут решительные моменты, он чувствовал.

А если и такой — самый решительный — как сегодня? Только уже не в игре? Тогда что? Опять Гай прижмется к земле?

Гай сердито вздохнул, потому что ответа на вопрос не было. Вместо ответа лезли в голову всякие хмурые мысли. О том, что много в жизни у людей суровости и опасностей. Да к тому же и несправедливости! Как с Кургановым!

— Все-таки обидно...

— Что? — отозвался Толик.

— Курганов... Жил, книгу писал, а потом — ничего...

— Я об этом тоже думал... Я даже хотел назвать его именем свой первый аппарат, чтобы память о нем сохранилась. Об Арсении Викторовиче...

— Назвал?

— Не все так просто, как в детстве кажется...

— Не разрешили? — понял Гай.

— Но все-таки ту малютку группа и все испытатели называли «Толиком». Неофициально...

— А при чем Курганов?! — Гай даже возмутился.

— «Тайный океанский лазутчик имени Курганова». Это я еще когда маленький был, придумал...

— Все равно это не то,— непримиримо сказал Гай.— Все равно обидно.

— Что поделаешь...

— Толик, а Курганов моряк был?

— Вовсе нет. Типографский техник и немного журналист. Потом в конторе работал... Но, знаешь, Гай, он был моряк в душе. Когда я к нему приходил, казалось, будто в каюту к старому капитану попадаю... Я его комнату хорошо помню. Дома, когда хронометр стучит, закрою глаза и будто опять у Арсения Викторовича...

— А что за хронометр?

— Курганова. Он у меня остался, вроде как наследство.

— А почему я не видел?

— Когда вы с мамой приезжали, я его как раз отдавал в институт, для ремонта и проверки. Старенький уже... Но сейчас ничего, тикает исправно.

— Это морской хронометр?

— Да, корабельный. Его Курганову один капитан подарил. Старый морской волк, он в юности даже на клиперах ходил... Знаешь, что такое клипера?

— Здрасте, я ваша тетя,— обиделся Гай.— Я и про винджаммеры знаю. «Крузенштерн» был винджаммером. Он из серии «Летающие «П». Был такой судовладелец, у него все названия...

— Да известно мне про «Летающие «П»,— сказал Толик.— Тоже не лыком шит. Про все рекорды «Падуи» слышал: от Гамбурга до Талькауно в Чили, вокруг мыса Горн за восемьдесят дней. От Гамбурга же до Австралии, до Порт-Линкольна,— шестьдесят семь суток. Похлеще некоторых клиперов...

— А ты откуда это знаешь? — ревниво спросил Гай.

— Читал... Я вообще старался про все читать, что с именем Крузенштерна связано. Этим меня Курганов на всю жизнь заразил... А кроме того, мне штурман Морозов про «Летающие «П» рассказывал. Мы с ним в шестьдесят первом году познакомились. Он одно время на «Крузенштерне» служил...

— А сейчас он тоже там?

— Сейчас нет.

— А другие знакомые у тебя там есть?

— Н-нет... А что?

Гай посмотрел на Толика: «Ты еще спрашиваешь!»

— А вдруг все-таки есть, а? Мы бы подъехали к борту, ты бы спросил...

Желание оказаться на палубе «Крузенштерна» сотрясло Гая, как короткий озноб.

— Ну, ты придумал...— неуверенно сказал Толик. И в этой неуверенности Гай увидел зацепку.

— Толик! Ну, не съедят же! А вдруг пустят?!

— Вообще-то,— вздохнул Толик,— у меня были другие планы. Я думал, мы с тобой завтра полазим по пещерному городу в Инкермане, крепость Каламиту осмотрим...

— Значит, ты завтра свободен?! — возликовал Гай.

— Да. Но...

— То-лик...— шепотом сказал Гай. Отодвинулся и глянул из угла дивана умоляюще-восторженными глазами.

— Моя мама,— сказал Толик,— в подобных случаях говорила: «Мелкий авантюрист и вымогатель...»

— Ура! — Гай подскочил, будто в диване сорвались все пружины.— Завтра утром, да?!

— За что мне такое несчастье...— печально отозвался Толик.

— Ура!! Толик! Я за это... Я буду самый-самый-са...

— Брысь в постель. А то завтра тебя не поднимешь.

Демонстрируя сверхпослушание, Гай стремительно скинул шорты и майку и влетел на раскладушку. Вытянулся под простыней и затих. Потом одним глазом глянул на Толика.

— Что? — сказал Толик.

— А ты завтра совсем-совсем не занят?

— По крайней мере, до вечера.

— Ой... а вечером опять пропадешь?

— Слушай, ты что за хвост! Как трехлетнее дитя...

— Да ничуть. Просто интересно. На свидание пойдешь?

— Не ваше дело, сударь!

— Ну и пожалуйста... А ее как зовут?

— Стукну!

— Странное какое имя. Она иностранка?

Толик со зверским лицом стал подниматься с дивана.

— Сплю,— хихикнул Гай и натянул на голову простыню.



Вторая
часть

ПОД МАЧТАМИ «КРУЗЕНШТЕРНА»

ВСТРЕЧИ НА ПАЛУБЕ

Решили ехать в город, до Графской пристани, а там действовать по обстоятельствам. Вдруг встретятся курсанты или кто-то из экипажа «Крузенштерна»! Тогда можно будет завязать беседу и напроситься в гости. А есть и крайний вариант: зайти в диспетчерскую порта и выяснить, не пойдет ли к паруснику какой-нибудь служебный катер.

Но когда спустились от дома на причал ГРЭС, Толик придержал Гая за плечо.

— А ну, испытаем судьбу...— И громко сказал: — Дед! Напротив Голландии парусник стоит, знаешь? Подбрось, а?

В десятке метров от пирса на ялике с растопыренными по бортам удилищами сидел старичок с серебристой щетинкой на подбородке и в соломенной шляпе без донышка. Он отвечал Толику с ленивым непониманием, явно притворялся глуховатым. Но, услыхав, что платой за рейс будет трешка, проявил полную и даже несколько суетливую готовность...

Через две минуты ялик с Гаем и Толиком уже тутукал движком посреди бухты. Гай перегнулся через борт и, поддернув обшлаг новенькой желтой футболки, булты-

хал в воде ладонью. В зеленой глубине колыхались медузы. Утреннее солнце старательно грело Гаю спину. Вода казалась почти гладкой, но незаметная глазу, очень пологая зыбь медленно приподнимала и опускала ялик. И внутри у Гая что-то приподнималось и опускалось.

Но это не от качки, конечно! От собственного волнения, от какой-то праздничной тревоги.

Гай не выдержал:

— Толик... А если не пустят?

— Весьма возможно. Если бы я один был, другое дело. А так скажут: куда с таким обормотом?

— Почему это я обормот?! Я — вот...— Гай пошевелил плечами в футболке. Он считал, что новой майки вполне достаточно для парадного вида. По крайней мере, в данном случае.

— А космы-то... Целыми днями шландаешь, в парикмахерскую зайти не можешь... И ухи все облезлые, кожура висит. Что за привычка: с собственных ушей шкуру драть...

— Ты ко мне придираешься, потому что сам боишься, что не пустят на «Крузенштерн»,— проницательно сказал Гай.

— Боюсь. Потому что втравил ты меня в авантюру. Думаешь, на кораблях жалуют незваных гостей?

— А ты придумай что-нибудь...

Толик хмыкнул.

Утро было безоблачное. Рубки высоких теплоходов сияли такой белизной, что синева неба сгущалась вокруг них фиолетовым контуром. И даже старый тускло-сизый крейсер, ждущий ремонта, сегодня чисто и молодо голубел под солнцем.

«Крузенштерн» издали казался небольшим, как модель в музее. И приближался сперва медленно, незаметно. А потом вдруг стал расти, расти, взметнул опутанные такелажем мачты в бесконечную высоту и навис над Гаем громадой белого борта.

По борту косо опускался к воде трап — лесенка с леерным ограждением и площадкой внизу. Но, видимо, рассчитан был трап на катера с высокими палубами или просто приподнят. Когда ялик подошел, площадка оказалась на уровне груди у вставшего Толика. Толик прочно положил на нее ладони.

Недавно признавшись Гаю в робости, Толик теперь вел себя уверенно. Вполне по-флотски. Гаю понравилось.

Вскинув лицо, Толик решительно крикнул:

— На «Крузенштерне»!

Высоко вверху перегнулся через планшир смуглый мужчина в белой рубашке с погончиками.

— Слушаю вас!

— Я инженер Нечаев с морзавода,— заявил Толик.— Разрешите на борт? Есть дело!

В словах Толика была лишь капелька правды. К морзаводу он имел самое-самое маленькое отношение. Но Гай не осудил дядюшку за хитрость.

— Прошу! — сказал наверху моряк. И оглянулся: — Ребята, приспустите трап!

— Не надо! — Толик легко метнулся на площадку, ухватил за руки Гая и дернул его к себе из качнувшегося ялика. Гай, разумеется, зацепился коленом и зашипел.

Деду Толик сказал быстро и вполголоса:

— Все, папаша, спасибо. Теперь давай от трапа подальше...

Борт был ой-ей-ей какой высоты, и Гаю казалось, что поднимаются они по дрожащему трапу страшно долго. Цепляясь за канат-поручень, Гай шагал за Толиком. Он прихрамывал, но про боль в колене уже не думал. Он был торжественно-счастлив.

До сих пор Гай (сейчас-то он понимал это) жил здесь в ожидании какого-то необыкновенного случая. Все время шевелилось едва заметное предчувствие, что эти мелькающие приморские дни — предисловие к какому-то главному событию. К необыкновенному, похожему на сказку об острове.

И вот сейчас о н о наступило. Наверно, в самом деле сказка. И уж по крайней мере — п р и к л ю ч е н и е. Ну, в самом деле: не из обычных же дней, не из простой жизни пятиклассника Гаймуратова такое сверкающее утро, синева бухты и белый корабль-великан!

Гай чувствовал, что эти мгновения у него уже никто не отберет. Пускай хоть что будет потом! Пускай хоть через пять минут скажут: выметайтесь с судна!.. Впрочем, куда выметаться-то? Умница Толик — спровадил яличника!

Они шагнули на палубу. Смуглый моряк сказал с какой-то полувоенной вежливостью:

— Вахтенный штурман Радченко. Слушаю вас...

У штурмана была повязка — синяя с белой полосой.

Гай поймал себя на том, что ему хочется подтянуть

шорты и опустить по швам руки. Он так и сделал.

— Инженер Нечаев...— опять сказал Толик.— Я здесь в командировке. Узнав, что на рейде стоит барк «Крузенштерн», взял на себя смелость приехать, чтобы повидаться с давним знакомым — третьим помощником Морозовым...

Гаю вспомнился Станюкович — в его рассказах офицеры корветов и клиперов объяснялись с такой же суховатой, но безукоризненной учтивостью. И правильно. Здесь тоже парусник...

Но штурман Радченко не выдержал стиля беседы:

— Да как же так?! Третий помощник — я! А Морозова у нас нет!

— Но...

— А до меня был Бурцев! Он сейчас второй!

— Какая досада,— произнес Толик без всякой досады.— В шестьдесят первом году, после капремонта...

— А, так это было вон когда! — Радченко виновато заулыбался.— Я-то здесь всего год. Я познакомлю вас с первым помощником, он у нас давно. Вы подождите...

Штурман ушел. Толик подмигнул Гаю. Тот рассеянно улыбнулся и посмотрел вокруг и вверх с ощущением чудес и простора.

Казалось, он не просто на палубе, а в каком-то корабельном городе. На площади, где белые дома с чисто-синими стеклами и медью иллюминаторов, вышки с локаторами и прожекторами, перекинутые в воздухе мостики со спасательными кругами на поручнях. А еще — громадные, повисшие на изогнутых балках шлюпки, наклонные грузовые стрелы, какие-то белые бочки, кольца толстенных тросов... Но «площадь», выложенная чистыми желтыми досками, не казалась загроможденной. Она была просторна, и десятки людей на ней были словно редкие прохожие.

Курсанты в робах с форменными флотскими воротниками и матросы без всякой формы возились с бухтой троса, красили борт у спущенного на палубу баркаса, сновали туда-сюда. Два растрепанных бородатых человека, не похожие ни на курсантов, ни на матросов, пронесли странное зеркало — обтянутый фольгой громадный щит в прямоугольной раме... В общем, корабль-город жил своей, непонятной для посторонних жизнью...

А над этой жизнью, над простором корабельной площади возносился окутанный переплетением тросов,

лестниц, тонких концов с блоками и украшенных какими-то мохнатыми муфтами канатов мачтовый лес.

Мачт было всего четыре, но Гай все равно ощущал себя в лесу. Густота снастей создавала впечатление чащи. Сбегавшийся к верхушкам такелаж делал мачты похожими на острые, чудовищной высоты ели. Двадцатипятиметровая парашютная вышка в парке Среднекамска была малюткой по сравнению с ними. Чайка, севшая на клотик, с палубы казалась тополиной пушинкой.

Но эта громадность была не страшной. В ней чудился радостный размах — под стать синим ветрам и солнечным океанам. И Гай прерывисто, толчками, вздохнул, вбирая в себя эту высоту, этот простор, это счастливое великанское чудо.

...— Первый помощник капитана Ауниньш.

Гай вздрогнул и опять опустил руки по швам.

У подошедшего высокого моряка было твердое лицо с чуть раздвоенным подбородком и очень светлые глаза.

— Чем могу служить? — спросил он. Его едва заметный прибалтийский акцент понравился Гаю. Так же, как нравилось тут все остальное.

— Инженер Нечаев,— уже третий раз сказал Толик и покосился на Гая.— А это мой племянник... м... Михаил.

Ауниньш наклонил гладко причесанную голову, сказал Гаю:

— Станислав Янович...— И снова вопросительно взглянул на Толика. Тот вздохнул:

— Ваш коллега уже сообщил мне, что штурман Морозов на «Крузенштерне» больше не служит...

— Да. Он ушел два года назад.

— Понятно. Я познакомился с ним гораздо раньше...

— Значит, вы уже не первый раз у нас на барке? — осведомился Станислав Янович.

— Первый. С Морозовым мы встречались на «Сатурне», он был туда на время откомандирован... Проект «Дина». Слышали?

— О,— сказал первый помощник и глянул внимательно.

— Да...— кивнул Толик, и Гай почуял, что он слегка расслабился.— Это было славное время.

— Значит, вы тоже гидрограф? — спросил Ауниньш Как-то незаметно получилось, что они уже не стояли, а втроем неторопливо шли вдоль борта.

— Я не гидрограф... Точнее — не совсем гидрограф. Я был в группе технического обеспечения.

Ауниньш глянул так, словно снова хотел сказать «о». Но сказал другое:

— А мы вот превратились в плавучую школу. К Министерству рыбного хозяйства приписаны.

— Жалеете? — с пониманием спросил Толик.

— Дело нужное. Но трудно перестраиваться, привык под синим флагом...— И он объяснил уже специально для Гая: — До недавнего времени мы были гидрографическим судном военного флота. У гидрографов флаг синий. Только в углу на нем — военно-морской флажок.

— Почти как флаг вспомогательных судов,— слегка гордясь своим знанием, сказал Гай.

— Так. Но на нашем флаге еще белый круг с маяком.

— Я знаю. В Южной бухте много таких...

— Да... А теперь у нас в каждом рейсе больше полутора сотен практикантов. Масса хлопот...

— Можно представить,— посочувствовал Толик.

— Да... Но не это самое опасное. Вы, наверно, слышали уже: нас взяли на абордаж две киностудии, «Ленфильм» и «Молдова-фильм». Кому-то пришла фантазия снимать на учебном судне художественную кинокартину. Можете полюбоваться.

Навстречу шли три густо-бородатых матроса в широченных штанах, атласных блузах и шапочках с помпонами. Они серьезно приложили к шапочкам пальцы.

— Самые бестолковые курсанты — ангелы по сравнению с ними,— отчетливо сказал Станислав Янович.— Где кино — там порядка нет вообще. Эти понятия несовместимы.

Толик сочувственно кивнул. И спросил:

— А что за фильм-то?

— «Корабли в Лиссе». По Александру Грину.

— Да? Ну и... как у них получается?

— Я не знаток,— ответил Ауниньш, тоном давая понять, что не одобряет легкомысленного интереса инженера Нечаева.— Не могу судить... Но, по-моему, слишком много пустой экзотики.

Толик, видимо, не удержался:

— Наверно, вы не любите Грина?

Станислав Янович сбоку медленно посмотрел на Толика:

— Как ни странно, я люблю Грина... Хотя есть мнение,

что латыши — люди излишне хладнокровные и не склонные к романтике... Но я считаю, что Грина облепили розовыми слюнями: ах мечты, порывы души к несбывшемуся, ах зов блистающего мира... А потом — кафе «Алые паруса», косметический набор «Ассоль» и на том же уровне — пошлые статейки о «кудеснике из Зурбагана».

— Но есть и другое. Например, у вас на Балтике — траулер «Зурбаган». Название гриновского города на борту судна — чем плохо?

— Так. Это хорошо. Но это не кино, а флот... Кино с флотом надо держать подальше друг от друга. Для обоюдной пользы... Кстати; поэтому я не одобряю вашего товарища, Морозова, если правда то, что про него говорят.

— А что говорят?

— Будто бы он ушел консультантом на Ялтинскую киностудию. Там строят шхуну для «Острова сокровищ», искали специалиста для проводки бегучего такелажа. Морозов якобы согласился.

Толик помолчал. Потом сказал с коротким смешком:

— Станислав Янович, не хочу дальнейшее знакомство омрачать хитростью. Во-первых, Морозов не товарищ мой, а почти случайный знакомый. Во-вторых, я знал, что он уже не на «Крузенштерне». Я просто придумал повод, чтобы попасть на судно. Мой племянник так страстно мечтал об этом, что я не устоял.

Они оба глянули на Гая, и он засопел, опустив голову. И мысленно сказал Толику: «Вот попрут сейчас, будешь знать».

Ауниньш помолчал и суховато улыбнулся:

— Я подозревал что-то похожее. В командировку не ездят с племянниками...

— Нет, здесь я не хитрил...— Толик был, видимо, уязвлен.— Я и правда приехал по делу. А Михаила пришлось взять с собой по семейным обстоятельствам. Днем я на работе, а он свищет по окрестностям. К счастью, сегодня я оказался свободен... Мы просим извинить за вторжение.

— Ага,— сказал Гай и постарался глянуть на первого помощника ясно и доверчиво. Тот усмехнулся:

— Причина, я думаю, все равно уважительная... Но я, к сожалению, должен оставить вас: дела... Я дам практиканта потолковее, он будет для вас экскурсоводом. Только...— Ауниньш посмотрел на Гая.

— Я понял,— кивнул Толик.— Не спущу глаз.

Ауниньш окликнул пробегавшего паренька в форме и попросил показать экскурсантам судно. Слово «экскурсанты» досадливо царапнуло Гая, но он тут же забыл об этом.

Курсант Лебедев, угловатый, с пушком на губе, на ходу сбивчиво начал лекцию. Сообщил, что «Крузенштерн» неправильно называть кораблем и надо говорить «барк» или «судно», потому что кораблями именуют лишь суда с парусным вооружением фрегатов, то есть с реями на всех мачтах, а здесь бизань — «сухая», с гафелями и гиком... Потом он перепутал год постройки и парусность, и Толик опасливо глянул на Гая: не вмешивайся.

А Гай и не вмешивался. И почти не слушал уже известные сведения. Корабельная сказка опять взяла его в плен. Так, что Гай казался себе легким, будто чайка. Весело кружилась голова.

...— Лебедев! — гаркнули из темного дверного проема рубки. — Тебя где носит? Сейчас консультация по прокладке!

— А мне первый велел гостей водить!

— Вот пускай тебе первый и ставит зачет!

Лебедев беспомощно глянул на Толика.

— А вы идите,— улыбнулся Толик.— Про барк я кое-что знаю, мы тут сами... сориентируемся.

Лебедев с облегчением исчез.

— Хватит голову задирать,— сказал Толик Гаю.— Позвонки свихнешь. Смотри лучше, какой табор...

На кормовой палубе, у подножья необъятной бизань-мачты и у громадного двойного штурвала расположились разноцветные матросы — вроде тех, что недавно повстречались у борта. Живописная компания беседовала, закусывала и, судя по смеху, травила анекдоты. Среди пиратов (а это были явно пираты, не просто моряки) сновали озабоченные люди в обычной одежде. Сияли несколько матовых зеркал (одно такое Гай недавно уже видел). Возвышался помост на колесах, на нем — тренога с камерой. С помоста прыгнул тощий лысый дядька в мятых шортах и распахнутой рубахе. Закричал тонко:

— Александр Яковлевич, я так не могу! Через час начало, а троих еще нет! Это не работа, это моя родная мама не скажет, что это такое!

— Это кино! — ответствовал курчавый невысокий



парень. Он поддернул парусиновые брюки, ловко завязал узлом на животе расстегнутую ковбойку и с удовольствием зашлепал босыми ногами по теплой палубе.

— Александр Яковлевич! — кинулась ему вслед квадратная, увешанная фотоаппаратами девица с мужской прической.

Тот, не оглядываясь, помахал рукой:

— Сейчас, сейчас! Берегите творческий запал для съемки!— И помчался куда-то. Проскочил мимо Гая и Толика.

Толик сжал Гаю плечо.

— Постой-ка, Майк...— и смотрел вслед курчавому Александру Яковлевичу непонятно.

— Что? — недовольно сказал Гай. Он не хотел отвлекаться.

— Сейчас... подожди.

Толик оставил Гая и шагнул к девице с аппаратами.

— Простите. Этот кудрявый молодой человек... он кто?

— Этот кудрявый молодой человек — второй режиссер,— сумрачно сказала она.— Общий мучитель. Скоро я его убью.

— Не раньше, чем скажете его фамилию,— попросил Толик.

Девица-фотограф возвела на Толика волоокие, не подходящие ее мужскому лицу глаза.

— О боже. Есть люди, которые не знают Ревского?

— Мерси,— задумчиво сказал Толик. Вернулся к Гаю. Таинственный Ревский уже стремительно шагал обратно и размахивал над рыжеватой шевелюрой мятыми листами. Радостно голосил:

— Если кто-то скажет, что такого эпизода нет в сценарии, я этого человека...

Он промчался мимо Толика и Гая, скользнув по ним веселым, но нелюбопытным взглядом. И вдруг замедлил шаги, встал. Обернулся. Глянул странно: и пристально, и нерешительно.

— Шурка...— негромко сказал Толик.

Тот мигнул, наклонил голову («Похоже на Пушкина»,— мельком подумал Гай).

— Толик... Нечаев?

С точки зрения Гая, они повели себя непонятно. Сперва шагнули друг к другу, будто обняться хотели.

Не обнялись, но крепко взяли друг друга за локти. Потом словно застеснялись, расцепили руки. Подумав, обменялись медленным рукопожатием.

Толик стоял к Гаю спиной, лица не было видно А Ревский улыбался — не сильно, а словно о чем-то спрашивал. Потом он сказал:

— Вот черт... Все какие-то затертые фразы вертятся. «Гора с горой не сходятся, а человек...»

— Или «как тесен мир»,— со смехом вставил Толик.

— Да, неисповедимы пути морские... Ты теперь здесь живешь, в Севастополе?

— Мы в командировке...— Толик оглянулся и притянул к себе Гая.

— Сын? — спросил Ревский.

— Племянник. Михаил...

Гай негромко, но внятно сказал:

— Если еще раз обзовешь Михаилом, я прыгну за борт.

Толик растрепал ему волосы.

— Уличная братия кличет его Гаем. Потому как потомок князей Гаймуратовых.

Ревский сдвинул босые пятки и протянул руку:

— Рад познакомиться, князь. Позвольте представиться. Александр Ревский, давний знакомый вашего дядюшки. Я сказал бы...— Ревский запнулся, и Гай почуял, что он прячет за улыбкой какую-то виноватость.— Я сказал бы, друг детства... если бы не боялся, что...

— А ты не бойся,— тихо произнес Толик.— Хватит тебе бояться.

ПИТОМЕЦ ФЛИБУСТЬЕРОВ

Ревский, сложив рупором ладони, крикнул киношной братии, чтобы ни одна живая душа (если хочет и впредь оставаться живой) не звала и не искала его в течение получаса.

Затем он увлек Толика и Гая на другой конец судна, к фок-мачте. Здесь они в тени этой мачты в относительной тишине и безлюдье продолжили разговор. Потрепав Гая по плечу, Ревский спросил Толика:

— Своих-то нет еще?

— Женитьба — как лотерея,— вздохнул Толик.— Раз попробовал — обжегся.

— Извини...

— Да что ты, дело житейское.

— А у меня семейство в Ленинграде. Два пацана, близнецы-первоклассники.

— Такие же кучерявые?

— Нет, в жену. Белобрысые...

— А ты и сам еще как пацан,— сказал Толик чуть дурашливо и ласково.— Все такой же, лишь в параметрах увеличился.

— Да и тебе не дашь тридцати... Тридцать ведь, да? В сорок восьмом тебе шел двенадцатый?

— Угу... Шурка, вот посмотри: ведь ничего особенного вроде и не было тогда. Ну, бегали, играли. Ну, ссорились. А потом в жизни столько всего случалось серьезного, важного. Но вот запомнилось — лето сорок восьмого...

— Толик,— тихо и серьезно сказал Ревский.— Ты, по-моему, не прав. Особенное было. Я не из тех, что смотрит на детство со снисходительной улыбкой.

— Да и я не смотрю. Наоборот... Почти двадцать лет прошло, а нет-нет да и царапнет душу: как расстались тогда...

— Ты, Толик, хорошо расстался. Правильно. Это я был такой... максималист.

— Да нет, ты был тоже прав.

— Наверно. С тогдашних позиций... Толик, а я ведь прибегал к поезду... Ну, когда ты уезжал...

— Да? — быстро спросил Толик.— И что, опоздал?

— Нет, я тебя видел... Я за киоском на перроне прятался.

— И не подошел... Почему, Шурик?

— Все потому же. Думал, если подойду, значит изменю ему.

— Да-а... Ну, а он-то где сейчас?

— А ты не слыхал? Товарищ Наклонов стали писателем. Сперва даже поэтом. Вышла не то в Среднекамске, не то в Свердловске книжечка его стихов. «Первоцвет» называется... Он факультет журналистики закончил, потом с геологами ходил, жил на Сахалине. Очерки печатал. В каком-то областном журнале была его повесть про рыбаков. Говорят, новую книжку готовит.

Толик осторожно сказал:

— Что-то не слышу в твоих словах прежнего обожания...

— Ты не думай, мы не ссорились... Он был, конечно, деспот, но я ему за многое благодарен. Все-таки именно он научил меня быть мальчишкой... Ну, а стали постарше и как-то разошлись потихоньку. У каждого оказалось свое.

— Встречаетесь?

— А как же! И весьма по-дружески. Он мне свой «Первоцвет» подарил... Последний раз два года назад виделись, в Одессе. Я был там в командировке, а он на Одесскую студию сценарий привез.

— Хороший?

— Н-ну... Кстати, в кино есть свои парадоксы. Хорошие сценарии, бывает, лежат, а те, что так себе, глядишь — уже в работе.

— У него в работе?

— Нет пока. Но приняли...

Толик сказал с ехидцей:

— А то, что вы сейчас снимаете, значит, тоже «так себе»?

— А вот и нет! — Ревский вдохновенно взъерошил шевелюру.— Это будет блеск! Но каких трудов стоило пробить!.. Знаешь, о чем?

— Говорят, по рассказу Грина. «Корабли в Лиссе»?

— От рассказа только название. А вообще это фильм о юности Грина. Но со вставными сюжетами из его книг... Грин как бы сливается иногда с героями своих рассказов. Например, с капитаном корсарского фрегата. То есть сначала он просто молодой матрос на этом корабле, но капитан — такой замшелый морской волк — умирает, а этого парня экипаж выбирает командиром... Сегодня как раз снимаем похороны капитана.

— И можно посмотреть? — ввернулся Гай.

— О чем разговор!

— Экзюпери сказал: «Все мы родом из детства»,— вздохнул Толик.— Помнишь свой «фотокор» на треноге?

— Он говорит «помнишь»! Эта штука и сейчас у меня в сохранности! Реликвия...

— А у меня снимок сохранился. Ты после концерта в саду всех нас щелкнул. Помнишь?

...Это было, конечно, прекрасно. Встреча двух друзей, воспоминания давних лет и так далее. Но это касалось Толика и его друга. А Гаю так и переминаться с ноги на ногу рядышком?

Заметив, что Гай потихоньку «линяет» в сторону, Толик рассеянно показал ему кулак. Гай жестами дал понять, что будет образцом благоразумия.

С минуту Гай ходил вокруг фок-мачты, потом вверх по трапу скользнул на бак. То есть на носовую палубу.

Широкая треугольная палуба светилась желтизной и дышала запахом чистого дерева. Гай постоял на носу, полюбовался громадным стволом бушприта с тросами и сетью, восхищенно подышал у сияющего колокола с надписью «Paduja» и подавил в себе преступное желание щелкнуть по медному краю ногтем. Потом оглянулся и радостно охнул: увидел пятиметровый адмиралтейский якорь. Видимо, запасной. Он был закреплен на палубе.

Гай присел рядом с якорем на корточки. Стал гладить теплое от солнца тело якоря, как добродушного дремлющего великана. За этим занятием застал Гая пожилой усатый моряк (наверно, боцман). Он посмотрел на Гая молча, но так внимательно, что тот без звука и почти на цыпочках поспешил с бака.

Толик и Ревский продолжали свои «а помнишь».

— Кудымовы куда-то уехали, ничего о них не знаю,— рассказывал Ревский.— Витек стал военным, капитан сейчас, а Рафик — он почти мой коллега, тоже в кино.

— Режиссер? — удивился Толик по поводу какого-то Рафика.

— Художник-мультипликатор.

— А, ну он к тому и шел! А Мишка Гельман где? Не знаешь?

— Мишка в шестнадцать лет сел за банальное дело — групповое ограбление киоска. Через год выпустили по амнистии. Он взялся за ум, окончил физкультурный техникум, работал учителем в интернате, женился, мотоцикл купил. А потом сел снова.

— За что? Опять за то же?

— Нет. Он ударил на уроке мальчика. Да не рассчитал, видать, тот головой о батарею. Травма... Ну и пошел Миша в знакомые места...

— За это стоит,— сказал Толик.

— А мальчик? — спросил Гай.

— Что? — глянул на него Ревский.

— Его вылечили?

— Да, конечно...

Гай снова осторожно отошел. Шажок, еще шажок...

Вот и поручни. А рядом — могучие тросы вант... Про такие моменты в жизни Гая мама говорила: «Ему бес пятки щекочет». Гай оглянулся, взялся за трос. Встал на нижний прут поручней. На верхний... На перекладину вант. Еще на одну. Тросы и ступеньки еле ощутимо дрогнули под легоньким Гаем...

Как бы ни щекотал пятки бес, а у Гая хватило ума не увлекаться. Поднялся на десяток ступенек — и стоп. И так вон какая высота! От воды до палубы метров пять, да от нее еще столько же. Как на крыше трехэтажного дома.

Севастополь раскинулся по обрывистым слоисто-желтым берегам, по высоким склонам. Белые дома, спуски, лестницы, пыльная зелень пустырей, меловые срезы скал, путаница старых кварталов на откосах. Груды деревьев — как выплеснувшаяся через гребни домов малахитовая пена...

Городу тесно на холмах и берегах, он сбегает к бухте переплетением эстакад. И здесь — будто продолжение улиц: теплоходы, танкеры, крейсера с их многоэтажными рубками-домами, с башнями, мачтами и праздничным трепетаньем флагов.

А за кораблями, за белым нагромождением береговых зданий, за плоским Константиновским мысом с его старинной крепостью — бескрайность открытого моря. И там, приподнявшись над горизонтом, опять туманно обрисовывался остров.

Гай вздохнул, покрепче взялся за ванты. Они еле заметно дрожали. А точнее — неслышно гудели, отзывались то ли на внутреннюю жизнь населенного сотнями людей гиганта-барка, то ли на касание соленого ветерка, что летел с открытого моря.

Это был совсем легкий, «шелковый» ветер, но он обмахивал свежестью лицо, шевелил волосы, и Гай не чувствовал жары, хотя солнце крепко припекало плечи и темя.

Ветер шел с моря, рябь на воде бежала оттуда же, и казалось, что «Крузенштерн» движется к выходу из бухты. Остров плавно вырастал над горизонтом. Чайки восторженно орали, приветствуя капитана Гая...

У совершенно счастливых минут есть одно плохое свойство — они коротки. Гай услышал на палубе стук официальных шагов.

Он увидел под собой аккуратный пробор первого помощника и его черные погончики с квадратными вензелями.

Станислав Янович сказал Ревскому:

— Александр Яковлевич. Ваши коллеги сейчас, забыв о природной интеллигентности, разнесут ют, спардек и шканцы. Они ведут себя возбужденно и все требуют вас.

— О боже! Ну почему все я да я? Там есть Карбенёв!

— Режиссер-постановщик сказал, что занят творческим процессом, а за оргвопросы отвечаете вы.

— А вы скажите ему...

— Нет, это уж вы скажите ему все, что считаете нужным,— перебил Ауниньш учтиво, но, кажется, с легким злорадством.

— Девятнадцать лет не виделся с человеком! — рыдающе произнес Ревский.— И поговорить не дают, изуверы!

Толик попытался «смягчить напряженность»:

— Представляете, какая неожиданность, Станислав Янович! Случайно оказался на судне и вдруг встретил друга детства...

— Поздравляю вас,— Ауниньш наклонил голову с пробором.— Если только это не новый повод для пребывания на борту...

Он, кажется, хотел придать словам оттенок шутки. Но Толик глянул на него в упор и спросил тонко и задиристо:

— Следует ли думать, что я здесь кому-то помешал?

— Ни в малейшей степени. Но вы обещали присматривать за племянником.

Ауниньш ни разу не посмотрел, но Гай ощутил, что первый помощник видит его как облупленного. Будто на темени Станислава Яновича третий глаз.

Гай пристыженно полез вниз. Толик проследил за ним обещающим взглядом. Ауниньш, так и не взглянув на Гая, сказал:

— Впрочем, гости не знают судовых правил. Но вы-то, Александр Яковлевич, могли объяснить мальчику...

— Я и объяснил,— невозмутимо сообщил Ревский.— Велел соблюдать осторожность. Это я послал мальчика на ванты: тренировка для съемки.

Гай, который переминался в стороне, приоткрыл рот.

Ауниньш не сдержал удивления:

— Он что, уже ваш артист? Так быстро?

— Товарищ первый помощник,— назидательно проговорил Ревский.— Вы привыкли считать деятелей кино неорганизованными людьми, и в этом суждении есть доля горькой правды. Но иногда мы действуем оперативно.

— А вы уверены, что съемка ребенка на вантах находится в соответствии с техникой безопасности?

Ревский сказал печально:

— Станислав Янович. Кино ни с чем не находится в соответствии. Даже с самим собой. Оно как религия, искать в нем логику бессмысленно. Можно только или отрицать его, или верить в него со всем пылом преданной души.

— Я не склонен к религиозному экстазу,— сумрачно возразил Ауниньш.— У меня масса земных проблем. Кстати, вынужден вас опечалить. С берега сообщили, что днем катера не будет, только после двадцати часов. Так что готовьтесь кормить правоверных служителей киноискусства здесь... Гости наши тоже оказались нежиданными пленниками.

Гай тихо возликовал. А Ревский взвыл:

— О боги! Чем кормить-то?! Это диверсия!..

— Ну, только не с моей стороны,— усмехнулся Ауниньш.— Я попросил изыскать возможности на камбузе... Но остатки курсантского рациона — это не меню ресторана «Приморский».

— Мы всегда обедаем в «Волне»,— вздохнул Ревский.— Но я прощаю вам неосведомленность. И неверие в магическую власть кинематографа. Несмотря на ваш унылый педантизм, в вас все же мелькает порой нечто человеческое.

— Я тронут.— Ауниньш кивнул и зашагал прочь. И лишь тогда глянул на отскочившего с пути Гая. В лице у первого помощника появилось что-то необычное. И он украдкой (совсем непохоже на себя и очень похоже на Толика) показал Гаю кулак.

Гай мигнул и... среагировал: сделал дурашливо-послушное лицо и встал по стойке смирно.

Толик ничего этого не заметил. Виновато посмотрев на Ревского, он сказал Гаю злым полушепотом:

— Башка дырявая. Из-за тебя Шурику... Александру Яковлевичу пришлось врать.

— А я не врал! — живо отозвался Ревский.— Я его в самом деле возьму в работу.

— Ой! Как?! — подскочил Гай.

— Ты что? Вправду? — не поверил Толик.

— Есть идея! Славка Карбенёв завоет от радости! Понимаете, мы ломали головы: что-то не получается с пиратским экипажем, пресный он какой-то. Чего-то человеческого нет. Не всерьез, а будто оперетта... А тут пацан в экипаже! Юнга, воспитанник. Представляете, какая деталь, а?

— Но для съемок-то время надо,— попытался возражать Толик.— Не говоря уж о таланте...

— Какое время? Один-два эпизода! Сейчас и начнем! А талант — что? В этом возрасте все талантливы, вспомни, как в Новотуринске шпионскую пьесу ставили!.. Гай, ты не бойся, будешь сам собой, вот и все!

Режиссер-постановщик «Славка» Карбенёв оказался молодым высоким мужчиной со впалыми щеками и скорбным взглядом. Он выслушал идею Ревского и без восторга произнес:

— Хуже не будет. Давай...

Затем он поставил Гая между колен и толково разъяснил, что он, Гай, вместе со взрослыми флибустьерами будет стоять в шеренге, мимо которой понесут умершего капитана. Юнга этого капитана не то чтобы любил, но крепко уважал и теперь, конечно, печалится.

— Ты только не пытайся что-то нарочно изображать, притворяться,— наставлял Карбенёв.— Представь, что это по правде. Ну и... в общем, смотри сам.

Потом он сказал Ревскому:

— Ты давай преобрази его слегка. В одиннадцать начнем...

В тени кормовой рубки стояли фанерные сундуки с трафаретными названиями «Молдова-филм» (без мягкого знака). На сундуках ворохами лежали разноцветные плащи, кружевные рубахи и драные тельняшки. Среди этого хозяйства сердито хлопотала симпатичная темноволосая девушка. Увидев ее, Ревский присмирел.

— Настенька, тут такое дело. Надо этого отрока превратить в пиратского юнгу... А?

— А где вы раньше были, Александр Яковлевич? Откуда мальчик? Я знала, что на него нужен костюм? Как на охоту ехать, так собак...— Настенька замолчала, зацепившись глазами за обаятельную улыбку Толика.

— Мадмуазель,— бархатисто сказал Толик.— Позвольте представиться. Анатолий Нечаев, инженер-конструктор, давний друг вашего беспутного второго режиссера и дядюшка этого юнги. Не гневайтесь за нарушение графика. Здесь стихийные обстоятельства, «форс-мажор», как говорят моряки...

Настенька хмыкнула, пряча улыбку, и скрылась в рубке.

— Волшебник,— шепотом сказал Ревский.— Иди в помрежи, а? По линии укрощения строптивых костюмерш...

Настя появилась опять, и не одна, а с пухлой белокурой тетенькой. За ними шагнул старый толстый дядька с седой шевелюрой. Он, словно быстрыми пальцами, ощупал Гая веселыми голубыми глазами. Так, что захотелось хихикнуть, будто от щекотки.

— Прекрасно!..— пророкотал дядька.— Шурик, это вы добыли пиратское дитя?.. Хорош. Настенька, добудь юному джентльмену какое-нибудь рубище с матросского плеча. Питомцу флибустьеров совсем не обязательно выглядеть инфантом.

— Игорь Васильич, это годится? — Настя извлекла из тряпичных ворохов драную легкую фуфайку крупной вязки. Фуфайка была похожа на тельняшку, только полосы — шириной в ладонь. Гаю велели надеть ее на голое тело, чтобы не просвечивала современная майка. «Рубище» повисло на нем крупными складками.

— Вполне,— сказал Игорь Васильевич.

— А штаны не слишком современные? — подала голос Настя.

— Сойдут,— решил Игорь Васильевич.— Все равно их почти не видать. А голые ноги и ободранные колени суть признаки мальчишек всех времен и народов... Меня смущают только кеды. Они явно несовместимы с парусной эпохой...

— А можно босиком! — Гай раздернул шнурки и дрыгнул ногами, кеды разлетелись по палубе. Гай трепетал от счастливого возбуждения и полон был желания делать все как можно лучше.

— Гм...— Игорь Васильевич огорченно взялся за мясистый подбородок.— Вы, сударь мой, как все нынешние дети, мало ходите босиком. Ваши нежные ступни весьма контрастируют...

— Покрасим, Игорь Васильич,— деловито сказала белокурая тетенька по имени Рая.— Крем номер пять, средний загар...

Гай опасливо хихикнул, заранее боясь щекочущих пальцев.

— Нет, нужны башмаки,— сказал Ревский.— Иначе ступеньки на вантах будут ноги резать.

— Как на вантах? — заволновался Толик.— Шурка, ты что, по правде решил его на верхотуру загонять?

— Не бойся. Есть идея, потом объясню...

— Мы в самом деле попали в плен к пиратам,— печально сказал Толик.— Живыми не выпустят... Еще немного, и ты, Шурик, заставишь сниматься и меня.

— А что? Вполне подходящий типаж. Молодой матрос, попавший в пираты из интеллигентов. Волею обстоятельств...

— Сам ты пират из интеллигентов! Джек-потрошитель с дипломом!

— Да ты подожди! Я серьезно! Мужиков-то в массовке не хватает! Двое заболели, один где-то загулял. Пиратская шеренга как картечью повыбита... Давай, Толик!

— Толик, давай! — подскочил Гай.

— Да идите вы! Какой я артист!

— Не артист, а статист,— разъяснил режиссер Ревский.— Мы тебя вместе с Гаем в ведомость запишем. Гонорар получишь. Лишний он тебе, что ли?

— Толик, давай, а? — попросил Гай.— А то я один боюсь.

— Надо же! Он б о и т с я.

Ревский сдвинул брови, сморщил веснушчатую переносицу и с кавказским акцентом закричал на Толика:

— Ты, дорогой, сюда зачем приехал, а?! Катера до вечера не будет, ты здесь что делать будешь? Просто так будешь, да?! Кушать захочешь, думаешь тебя тут даром кормить будут, да?! Ты спроси, кино когда кого кормило даром, а?

— Грубый шантаж,— сказал Толик.— Экономиче-

ский нажим и выкручивание рук... Но чтобы никакого грима. Не терплю косметики.

— Только припудрим,— сказала тетя Рая.

Гаю тоже припудрили лоб и нос.

— Чтобы не бликовали,— объяснила тетя Рая. Гай дурашливо морщился и смотрел на Толика.

Толик был теперь в узких серых штанах, в сапогах с отворотами и белой рубашке с кружевами. Талию обматывала пунцовая шаль с бахромой. Поверх рубашки — замшевая безрукавка.

Освободившись от гримерши тети Раи, Гай восхищенно обошел вокруг Толика.

— Ух ты-ы... Ходи так всегда! Это тебе к лицу! «Причина», из-за которой ты вчера застрял в городе, будет без ума.

Толик ухватил хохочущего Гая за полосатый подол и вляпал ему ладонью по синему квадрату на месте оторванного кармана. Гай вырвался, отскочил, загремев твердыми башмаками с медными пряжками (эти маленькие, но вполне пиратские туфли отыскала для него Настя). Толик прыгнул следом.

— Стоп! Сохраняйте энергию для съемки! — цыкнул на них Ревский.— Толик, дай гляну на тебя... Тебе для полноты облика нужно оружие. Скажем, пистоль за пояс.

— А мне? — подскочил Гай.

— А вам, князь, ни к чему. Это выглядело бы опереточно. К тому же у вас нет паспорта... Толик, у тебя есть какой-нибудь документ?.. Прекрасно. Пошли!

В тени бизань-мачты на кованом (явно пиратском) сундуке прочно сидел круглолицый парень в плоском беретике и брезентовой куртке (в такую-то жару!) У парня были озабоченные глаза.

— Это Костя,— сказал Ревский.— Толик, дай этому человеку паспорт, и тогда он выдаст тебе кремневую пушку или какой-нибудь смит-вессон. Но без документа к нему не подходи.

Костя нехотя поднялся с горбатой крышки. И сказал не Ревскому и не Толику, а почему-то Гаю:

— Если всем давать без документов, я бы уже заработал себе приговоров в общей сумме на девяносто девять лет, как в Америке...

Он взял у Толика паспорт и поднял тяжелую крышку. Батюшки, чего только не было в сундуке! Кинжалы, шпаги с витыми рукоятями, короткие римские мечи, длинные пистолеты с узорными замками, мушкеты с граненными стволами...

Костя дал Толику двухствольный пистолет с медными завитушками и большущим курком-собачкой. У Гая, конечно, руки сами умоляюще потянулись к этой штуке. Костя глянул на Гая и вдруг протянул ему длинный матово-серебристый револьвер.

— На, пощелкай. Кольт, сорок четвертый калибр. Одна тысяча восемьсот девяностый год... Только в людей не целься, не полагается.

— Кому-то, значит, можно и без документа,— подцел Костю Ревский.

— Пацаны — они люди аккуратные, Александр Яковлевич. Я с ними хлопот никогда не имел. А ваш Витя Храпченко вчера толедский кинжал семнадцатого века за борт булькнул. Теперь пускай расплачивается, вещь уникальная...

Кольт был увесистый и прохладный. Курок у него взводился с упругой легкостью, барабан при этом поворачивался. Гай щелкал курком, пока Толик не сказал шепотом, что надо иметь совесть. Гай со вздохом протянул револьвер Косте:

— Спасибо.

Костя подмигнул Гаю. На Костином брезентовом рукаве шевелилась нашивка — синий квадрат с черным шариком посредине и язычком пламени над ним. Гай тронул нашивку мизинцем:

— Это что означает?

— Означает, что я оружейник и пиротехник на «Ленфильме». Видишь, бомба с горящим фитилем. Точнее, старинная граната...

Как одно слово может все изменить!

Воспоминание о гранате, спрятанной в норе под камнем, сделало радостное утро тусклым и неуютным. Гай отошел и зябко обхватил себя за плечи (левое плечо торчало из прорехи).

«Ну, чего ты!» — сердито и жалобно сказал себе Гай. Однако черная дробина уже забегала по белому фаянсовому дну. Видимо, она-то и шепнула Гаю:

«Сам знаешь чего...»

«Но я же не взял эту проклятую гранату!»

«А хотел...»

«Но я же не взял!»

«А спрятал...»

«Ну, я достану и отдам! — отчаянно поклялся Гай.— Завтра же! Скажу, что нашел, и отдам! — Ему страшно стало, что это утро со всеми радостями и чудесами пропадет совсем! И чтобы умилостивить судьбу и убедить совесть, он добавил с сердитой плаксивостью: — Мне вчера за это и так досталось».

«Не выкручивайся,— пробурчала совесть, но уже без прежней непримиримости.— На дракончика ты наступил случайно, с гранатой это никак не связано...»

«Нет, связано,— возразил Гай.— Если бы не граната, я бы в тот раз не вернулся в Херсонес. И не наступил бы...»

«Не выкручивайся, тебе говорят».

«Но я же сказал, что отдам!»

«Смотри...» — Совесть неохотно припрятала дробину в каком-то незаметном уголке, и Гай с облегчением вздохнул. Но прежняя искристая радость к нему уже не вернулась. Он словно избавился от опасности, но опасность эта была еще недалеко...

Ревский хлопнул его по голому плечу:

— Что, князь, невесел, что призадумался? Или входишь в образ?

Гай осторожно пожал плечом.

КАК ХОРОНЯТ КАПИТАНОВ

Хотя Станислав Янович Ауниньш и утверждал, что кино и порядок несовместимы, в одиннадцать все было готово для съемки.

Часть палубы между первой и второй грот-мачтами покрасили водным раствором охры, чтобы не бликовала (как Гаев нос!). Расставили матовые зеркала. Гай изумился: неужели без них мало света? Оказалось, что для цветной пленки — и с зеркалами мало. Включили еще и кинопрожекторы.

Курсанты приспустили с нижних реев оба грота, и парусина повисла красивыми фестонами, как на старинных фрегатах.

Карбенёв и темный, как мулат, оператор в полосатых

плавках и белой кепочке устроились на высокой площадке у камеры. На мостик взбежал тонкий паренек в белой рубашке с распахнутым воротом, встал у поручней, на которых висел круг с надписью «FELIZATA». Сейчас «Крузенштерн» изображал пиратскую «Фелицату», а паренек был главный герой — юный Александр Грин.

У мачты, взявшись за толстенный канат, остановился старик в берете с помпоном и в полосатой, как у Гая, фуфайке. Ревский на ходу шепнул Гаю и Толику, что это знаменитый Симонов, который еще до войны играл Петра Первого в известном фильме. А здесь он играет старого боцмана. У знаменитого артиста было хмурое складчатое лицо. Может, он «вживался в образ»?

А Гай в грустную роль вжиться не мог. Прежней радостной прыгучести в нем не было, но ощущение праздника вернулось. И с веселым любопытством он вертел головой.

Ревский выстроил экипаж «Фелицаты» между мачтами, лицом к борту. Пираты были всякие — молодые и старые, бритые и бородатые, франтоватые и в лохмотьях. В треуголках, беретах, косынках. С пистолетами за широкими поясами. В тельняшках и безрукавках. Но больше всего — в атласных широких голландках с большими воротниками и галстуками, как у детских матросок.

Толик оказался рядом с лысым чернобородым дядькой в драном камзоле. На глазу у дядьки чернела повязка.

— Я вместе с Толиком,— быстро сказал Гай. Ревский кивнул. И торопливо предупредил:

— В камеру только не зыркай, смотри на процессию..

Он вскочил на помост к Карбенёву и оператору. И сразу откуда-то сверху громкий голос динамика властно произнес:

— Эпизод «Похороны капитана». Все готовы? Внимание... Дубль первый. Мотор!

Упруго и очень громко ударили из динамика печальные аккорды. Толик положил Гаю руку на плечо. Гай быстро сделал грустное лицо и задеревенел. Но музыка тут же выключилась.

— Сто-оп! — сердито завопил динамик.— Какого черта? Локатор в кадре торчит! Замотайте его хотя бы!

Девица-фотограф полезла по скобам к площадке

судового локатора, начала обвешивать поручни золотистой фольгой.

Одноглазый пират сказал:

— Так и будем маяться. Не могли с деревянной баркентиной договориться, вроде «Альфы». Здесь не парусник, а «Титаник».

Гай понимал, что локатор на пиратском судне — штука лишняя. Но все равно было досадно, что на «Крузенштерне» кому-то что-то не нравится. Он даже подумал: не сказать ли что-нибудь одноглазому? Но опять прозвучала команда: «Мотор!»

И снова — музыка.

Нет, это был не похоронный марш. Это было вступление к песне, и вот сама песня тяжело растеклась над палубой, над бухтой. Все пространство заполнили сумрачные мужские голоса:

Опускается ночь — все чернее и злей,—
Но звезду в тучах выбрал секстан.
После жизни на твердой и грешной земле
Нас не может пугать океан.

Гай опять застыл, помня, что надо быть печальным. Песня неожиданно надавила на нервы, сердце толкнулось невпопад.

Не ворчи, океан, ты не так уж суров,
Для вражды нам причин не найти.
Милосердный владыка морей и ветров
Да хранит нас на зыбком пути...

Шестеро матросов «Фелицаты» — в одинаковых алых блузах и с непокрытыми головами — вышли из-за кормовой рубки. На плечах они держали носилки из шлюпочных весел. Длинный серый тюк на них вызвал у Гая толчок суеверной тревоги. Особенно торчащие, туго обтянутые парусиной ступни. Гай понимал, что там чучело, но легче от этого не было.

Моряки шли медленно и мерно, лишь один споткнулся о протянутый на палубных досках трос — и носилки косо качнулись.

...Тот светло-коричневый, как мебель, длинный гроб совсем не похож был на эти носилки с парусиновым коконом. Но качнулся он в точности так же, когда солдаты споткнулись в воротах. Мертво и беспомощно качнулся... Это было год назад, когда хоронили отставного летчика, жившего в соседнем доме. Сосед был старый, летать кончил еще в тридцатых годах, во время

войны служил в каком-то штабе, а потом вернулся в родной Среднекамск. Он был дедушкин товарищ.

У дедушки в те дни тяжко разболелась нога, и он с трудом стоял на тротуаре, опираясь на палку и на плечо Гая. Когда отрыдал оркестр и печальная вереница автобусов скрылась за углом, дедушка тихо выдохнул над Гаем:

— Всё... Отвоевался наш капитан.

Рука деда больно давила плечо. Гай хмуро спросил:

— Почему капитан? Он же полковник.

— Он для нас был капитан. Когда мы мальчишками морские бои на пруду устраивали. И потом... Капитан, Мишенька, это такое звание... Иногда главнее полковника и генерала...

Гай плохо знал соседа и не чувствовал большой печали. Он тревожился за деда.

— Дедушка, пойдем, тебе вредно стоять...

Потом ногу деду вылечили. Сейчас он ходит бодро, хотя ему семьдесят пять... «Но ведь у ж е семьдесят пять,— вдруг подумалось Гаю.— И если...»

(А матросы все шли, шли — почему-то очень долго, и Гай уже не разбирал слов песни.)

...Если только ничего не случится с ним, с Гаем, тогда... не очень уж много времени пройдет, и ему придется провожать дедушку... как того капитана...

А потом... Гай в семье самый маленький. Все, кого он любит, старше его. Значит, и они... тоже? И папа, и мама?

Но тогда зачем на свете всё хорошее? Зачем солнце, море?..

В Гае не было страха за себя. Но печаль будущих расставаний поднялась к его сердцу как холодная вода. Печаль и жалость к людям, которым судьба предназначила уйти с земли раньше него...

От тебя, океан, мы не прячем лица,
Подымай хоть какую волну.
Но того, кто тебя не пройдет до конца,
Без упрека прими в глубину...

«Ну, что ты! — перепуганно сказал себе Гай, стараясь унять дрожь подбородка.— Перестань, дурак!»

Что же это будет сейчас! Скандал какой, съемка сорвется! Но не было сил сдержаться, и Гай, мотнув головой, уткнул лицо в локоть Толику.

Он всхлипывал, чудовищно стыдясь этих слез и ожи-



дая, что музыку оборвет гневный радиоголос: «Что там случилось с мальчишкой? Уберите его!» Но песня все звучала в своем рокочущем ритме раскатистой волны. А еще Гай слышал тихие слова. Даже не слышал, а будто чувствовал их сквозь прочную и теплую ладонь Толика, которая прижималась к дрожащему плечу: «Гай... Успокойся, Гай. Ну, перестань, малыш. Не горюй, я с тобой...»

Песня стихла, и голос прозвучал, но совсем не сердито:

— Отлично, ребята! Через десять минут повторим, а пока — все как надо!

Пиратская шеренга распалась, все запереговаривались. Гай стыдливо глянул из-под мокрых ресниц. Но никто на него не смотрел. Лишь Толик сказал вполголоса:

— Ты что расстроился? Представилось, что все всерьез?

Гай не знал, как объяснить, и только дернул плечом.

Подошел Ревский.

— Молодчина, Гай. Врубился. Так и держись.

Это было уже чересчур. Гай ощетинился, готовый сказать, что никуда он не «врубался» и кино здесь ни при чем! Надо вырезать эти кадры из ленты!.. Но он увидел зеленовато-желтые глаза Ревского. Понимающие были глаза и говорили совсем не то, что слова. Гай засопел и уперся взглядом в свои башмаки.

Сняли еще два дубля, и больше Гай, конечно, не плакал. Только с боязливой хмуростью следил исподлобья, как шагают матросы с носилками. Толик, тревожась за него, сказал шепотом:

— Ничего, Гай. Все хорошо...

А что хорошего?

Но настоящей печали теперь не было. Уже пришла успокоительная мысль, что дедушка еще крепок, а здоровые люди живут иногда и до ста пятидесяти лет. И вообще, если что-то когда-то будет в жизни грустное, то очень нескоро... А в парусину зашит легкий пустотелый манекен. Кино — это ведь игра. И Гай теперь старательно играл опечаленного пиратского юнгу.

Играл, видимо, неплохо, потому что Ревский в перерыве снова сказал, что Гай молодец. Серьезно так сказал. И Гай наконец нерешительно улыбнулся.

После съемок обедали. Операторы, режиссеры, помрежи, осветители и гримеры вперемешку с актерами расположились группами кто где (лишь бы тень была). Толика и Гая Ревский позвал в компанию, где оказались знакомые: художник-постановщик Игорь Васильевич, оружейник Костя и одноглазый пират, что стоял во время съемок рядом с Толиком.

Гай поглядывал смущенно и виновато. Стыд за неожиданные слезы все еще сидел в нем. Но, впрочем, в стыде этом не было тяжести, потому что в слезах не было вины. Гай хотел только, чтобы никто не вспоминал про это и не расспрашивал.

Никто ничего и не сказал. Многие, наверно, и не заметили того случая. Другие, возможно, решили, что так и полагалось. А если кто-то о чем-то догадался, то, спасибо ему, не подал вида.

Изнемогшая от жары тетя Рая принесла бачок с курсантским рассольником, но на нее замахали руками: никому не хотелось горячего. Появились откуда-то помидоры, булки, вывалянная в укропе вареная картошка, копченая скумбрия, бутерброды и бутылки с минеральной водой (Гай взял одну и вздрогнул от удовольствия: какая холодная; где, интересно, хранили?).

Рыбьего хвоста, картофелины и двух помидоров Гаю хватило, чтобы осоловеть от сытости. Но тут Костя выкатил на брезент арбуз. И показал Гаю нож с зеркальным волнистым лезвием:

— «Человека-амфибию» смотрел? Это нож Ихтиандра.

— Ух ты-ы...— Гай понял, что чудеса продолжаются и день по-прежнему хорош.

После арбуза Гай в поисках заведения, именуемого флотским термином «гальюн», заблудился внутри «Крузенштерна» среди коридоров и трапов. Повстречались два курсанта, узнали, что Гай из киногруппы, а не просто так болтается по судну, и со смесью покровительства и уважения показали все, что нужно. Устроили Гаю экскурсию по длинным кубрикам с двухъярусными койками и подвесными столами, заглянули с ним в кают-компанию и на камбуз и даже, испросивши разрешения у механика, стаскали Гая в «машину». Здесь, среди гладкой блестящей меди, изогнутых труб и запахов смазки, тоже было интересно. Только о парусах уже ничего не напоминало. И Гай наконец с удовольствием выбрался к солнцу, под гигантские мачты.

Перепуганный и злой Толик ухватил его за шиворот.

— Где тебя носило?

Гай, вертя шеей, объяснил. Толик дал ему легкого леща, велел быть рядом и спросил подошедшего Ревского, нельзя ли вставить в фильм сцену, где беспутного юнгу дерут линьками.

Ревский улыбнулся Гаю и сказал, что, к сожалению, нельзя: не позволяет лимит пленки. Юнгу еще придется снимать на вантах, под распущенными парусами, когда он кричит матросам долгожданную весть: «Остров! Вижу остров!» Это будет во какой финал фильма! С Карбенёвым уже договорились.

Слово «остров» отозвалось в Гае сладким и тревожным эхом. И он не подскочил, не завопил от радости, а спросил тихо:

— Сегодня?

— Ну, что ты, дорогой, где сегодня? Это надо снимать на ходу, в плавании. Дня через три...

— Шурик, ты спятил? — возмутился Толик.— Я, между прочим, в этом городе на работе!

Но Ревский сказал, что снимать будет не Толика. Его роль уже сыграна и, безусловно, войдет в историю мирового кино. А Гаю на сутки придется выйти с киногруппой в море. Ничего с ним, с Гаем, не случится, смотреть будут в десять глаз. А Толик пускай спокойно сидит в лаборатории и конструирует свои хитрые аппараты во славу отечественной науки...

— Ага, буду я сидеть спокойно, когда он шастает по вантам!

— Разве лучше, когда князь Гаймуратов один шастает по окрестностям? — ехидно спросил Ревский. Толик вздохнул.

При мысли о плавании под парусами радость Гая стала настолько громадной, что даже как-то придавила. Он отошел к фальшборту и сел в узкой тени. И с полчаса был такой — съежившийся и присмиревший. Боялся: не захочет ли судьба уравновесить его счастье каким-нибудь печальным случаем? Потому что в жизни всегда все перемешано, а сегодня что-то слишком много навалилось на Гая одних только счастливых неожиданностей.

Хотя нет, не только. Мысли его о горьких расставаниях и слезы — это, может быть, и есть та черная гирька, чтобы уравнять на весах радость и печаль? А воспоминание о гранате!

«Ну, чего ты? Чего ты опять?» — сказал себе Гай. Все-таки радостей было не в пример больше. Гай привалился к фальшборту, вытянул на горячее солнце ноги и закрыл глаза. Кричали чайки...

В четыре часа опять началась съемка. Но уже без Гая, без шеренги пиратов. Снимали только тех шестерых. Как они подходят к борту и зашитый в парусину капитан с привязанным к ногам ядром скользит с носилок, чтобы скрыться в пучине.

На самом деле в пучине он не скрывался. Внизу у борта стояла шлюпка с курсантами, они ловили манекен. Сцену снимали трижды, и всякий раз из шлюпки долетали сердитые вопли: чучело было увесистым, ядро, хотя и деревянное,— крепким.

Теперь Гай смотрел на похоронный обряд спокойно. Прежняя печаль еле заметным осадком еще лежала на душе, но грустных мыслей не было. И Гай наконец разобрал последние строки песни:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова.
Беззаботен и смел там мальчишечий смех,
Там по плечи густая трава.

Мы останемся жить навсегда-навсегда
В этой лучшей из найденных стран.
А пока среди туч нам сияет звезда —
Та, которую выбрал секстан.

«Опять про острова»,— подумал Гай. В этих совпадениях с его собственной сказкой чудилась счастливая примета...

Пираты сдавали Косте оружие. Гаю довелось подержать две кривые сабли и пощелкать курками трех пистолетов. Девица-фотограф по имени Иза (то есть Изольда) сняла его одним из многочисленных аппаратов, когда он стоял с саблей под мышкой и кольтами навскидку. Обещала карточку.

Подошел одноглазый пират. Оказалось, что это и есть Витя Храпченко, утопивший толедский кинжал. Витя отцепил бороду, сдвинул на лоб повязку и сказал, что кинжал вот он. Витя его не топил, а только сделал вид. По просьбе курсантов. Они надеялись, что начальство

разрешит понырять за пропажей, но старпом даже думать об этом запретил: глубина-то больше пятнадцати метров. Костя сказал, что за такие шуточки Вите следует «выставить глаз всерьез». Витя заржал...

День, словно спохватившись, что был длиннее всяких пределов, поспешно сменился вечером. Солнце светилось красной медью и быстро съезжало к сизой облачной полоске над морем у Константиновского равелина. С топотом выбегали и выстраивались курсанты. Когда солнце совсем утонуло в дымке, на военных кораблях негромко и слегка печально заиграли трубачи — сигнал «спуск флага». Красный флаг «Крузенштерна», хотя и без сигнала, тоже пополз с кормового флагштока. Гай торопливо встал прямо. Конечно, он стоял в стороне от курсантского строя, но флаг «Крузенштерна» был теперь немного и его флаг.

Гая окликнула Настя. Велела сдавать казенное имущество: башмаки и фуфайку. Гай с сожалением переоделся. А катер все не приходил. Небо стало совсем ночным. Круглая луна, которая недавно была почти незаметной и розовой от смущенья, засияла, как прожектор. Палуба отливала желтым светом, рубки волшебно белели. От мачт и снастей падали четкие тени.

Гай вдохнул посвежевший воздух с запахом моря и корабля, с лунным светом, и на миг показалось, что все ему снится. Он подошел к Толику и Ревскому, которые беседовали у фальшборта. Толик молча притянул Гая к себе. Ревский сказал:

— Накладок сегодня кошмарное количество. Но с Гаем получилось здорово. Лучшие кадры.

Гай съежил плечи.

— Не надо эти кадры. Выключите их из картины...

— Да ты что! Зачем?

— Ну...— Гай ощутил, как опять царапнулись в горле слезинки.— Потому что это не так...

— Что не так, Гай? — осторожно спросил Ревский.

— Потому что... нечестно. Я не про этого капитана думал...

— Я понял,— мягко проговорил Ревский.— Конечно, ты думал не про эту куклу на носилках. Про что-то свое.. Но ведь горе-то не бывает нечестным. Люди будут смотреть этот фильм, и, может, каждый вспомнит какую-то свою печаль. На то, брат ты мой, искусство и существует. Согласен?

— Не знаю,— вздохнул Гай.

Толик сказал:

— У меня, по правде говоря, тогда тоже в горле заскребло.

Гай поднял глаза: правда?

— Вспомнил, как в детстве про лейтенанта Головачева читал,— задумчиво объяснил Толик.— Как его хоронили на острове Святой Елены. А потом про Курганова...

— Ты о чем это? — спросил Шурик.

— А помнишь ту папку, с которой вы меня поймали? Ну, в первый день знакомства... Я тащил рукопись для перепечатки...

Толик стал рассказывать Ревскому то, что Гай уже знал (знал, а все равно интересно слушать). Гай стоял рядом, и ему было хорошо, только слегка покачивало на гудящих от усталости ногах. Вдруг заныл в ступне вчерашний ядовитый укол. Гай сбросил незашнурованный кед и поставил ногу на теплую черную тень на досках палубы. Боль угасла.

— ...Такие вот совпадения: и тогда Крузенштерн, и сейчас. И снова встреча...— сказал Толик.

— Это хорошо, что снова,— тихо отозвался Ревский.— Это даже представить невозможно, как здорово... А то ведь...

— Да... А знаешь, Шурик, эта рукопись была для меня тогда не просто повесть. Она... ну, как бы часть жизни. Я все, что читал в ней, на себя прикидывал. И она помогла мне в те дни... Ну, после той истории, когда я сбежал от вас в походе... Как вспомню этот случай, тошно становится. До сих пор...

Шурик спрятал серьезность под шутливым полувопросом:

— Наверно, сейчас инженер-конструктор Нечаев уже не боится гроз...

Гай почувствовал невидимую в тени улыбку Толика.

— Да и ты, Шурка, не тот. Внешне все такой же, а характер... Посмотрел я, как ты тут командуешь, подумал: «Где тот мальчик в матроске?»

— В нашем деле иначе нельзя, пропадешь... Но мальчик во мне, внутри,— без улыбки сказал Ревский.— Я с ним иногда советуюсь, если трудно.

Подошел Женя Корнилов — тот паренек, что играл Грина.

— Почему это катера до сих пор нет? Потонул?

— Не ворчи, старик,— сказал Ревский.— Я заметил, что ты сегодня вообще не в ударе. Крупные планы придется переснимать. Не оставишь свою меланхолию — разжалуем в юнги. А в новые капитаны выберем вот его,— он хлопнул Гая по спине.

Женя ответил как-то излишне серьезно:

— Не выйдет. Его время еще не пришло. Сперва пришлось бы похоронить меня, а до этого далеко... Вон катер стучит...

До причала ГРЭС было ближе, чем до города, но ведь не станешь просить, чтобы ради двух пассажиров катер делал крюк почти в три мили. Пришлось ехать с киногруппой до Графской пристани, а оттуда уже рейсовым инкерманским катером домой.

Толик и Гай сидели на корме. Гай почти спал, прислонившись к твердой спинке скамьи. Но когда опять проходили мимо «Крузенштерна», он подскочил и шагнул к борту.

Парусник, черный на фоне лунного неба, казался безлюдным и таинственным. Луна без остановки прокатилась через его четыре мачты и густой такелаж. Это был как бы еще один кадр в бесконечном фильме сегодняшнего дня. Гай вздохнул устало и благодарно.

Толик встал рядом.

— Все хорошо, Гай, да?

Гай кивнул. Толик сказал неуверенно:

— Немного обидно только, что не повидал я нынче одного человека... Ну, он знает, что сегодня я мог и не прийти.

— А эту... человека как зовут? — сонно пошутил Гай

Толик молча взъерошил ему затылок.

— Зато ты с Шуриком своим повстречался,— сказал Гай.

— Это самое главное. Подарок судьбы... Мы и знали-то друг друга с ним недолго, одно лето, а вот осталось это на всю жизнь... А расстались тогда мы по-обидному, чуть до драки дело не дошло.

— Из-за чего?

— Не умели до конца стать друзьями. Третий мешал..

— Не умели, а говоришь «друг детства»...

— Сейчас-то ясно, что друг. И знаешь — будто камень у меня с души...

— По-моему, и у него,— сказал Гай.

— Наверно... Некоторые считают, что в детстве все будто игрушки. Беды, мол, ненастоящие, обиды пустяковые. И вообще будто детство — время несерьезное. Ты этим дуракам не верь.

Гай пожал плечами. Верить дуракам он не собирался. Как он мог считать несерьезной всю свою жизнь?

ПЕСТРЫЕ ДНИ

Следующие сутки показались Гаю длинными, как целое лето.

Утром Толик сказал:

— Мишель! Я сдаю тебя на поруки режиссеру Ревскому. Мы договорились вчера. Днем у меня совещание с моряками, а вечером...

— Личная жизнь.

— Именно. Я иду в театр и вернусь только ночью. Чтобы ты не изводился и не дрожал от страха в одиночестве, переночуешь у Шурика в гостинице.

Ликуя в душе, Гай все же яростно возмутился:

— Кто дрожит от страха в одиночестве? Да я за тебя боюсь, когда ты где-то болтаешься допоздна!

— За меня?! А что может случиться со мной?

— А со мной? Ты за меня все время трясешься, а я за тебя не должен?

— Ну...— сказал Толик потише.— Я уже большой мальчик.

— Думаешь, с большими никогда ничего не случается?

— Со мной ничего не случится,— пообещал Толик.— А ты на судне не болтайся в неположенных местах и старайся не мозолить глаза Станиславу Яновичу.

— Хм...— сказал Гай.

День Гай провел чудесно. Сначала он помогал чистить тонкие трехгранные шпаги оружейнику Косте и между делом щелкал курками мушкетов и пистолетов всех систем. Потом смотрел, как снимается эпизод «Спор о капитане». Дело в том, что на «Фелицате» после смерти старого капитана команда разделилась на две враждебные группы. Одна — со штурманом Дженнером, другая — с лейтенантом Реджем. Шел отчаянный спор: кого ставить новым капитаном. Казалось, дело вот-вот дойдет до ножей и пистолетов (они уже поблескивали в руках

матросов). Но Женька (тот, что юный Грин и он же юнга Аян) бросил свой пистолет на палубу и заговорил — о том, что корабль один, путь в океане длинный, и если люди всерьез хотят бросить неверное и бесчестное пиратское ремесло и отыскать дальний желанный остров, надо не волками смотреть друг на друга, а помнить о морском товариществе. Иначе — лучше уж сразу спуститься в трюм и пробить в днище дыры.

В трюм никто не пошел, а смелого Аяна обе группы выбрали капитаном.

...Потом фотокорреспондент «Ленфильма» Иза попросила Гая помочь ей отпечатать снимки. Печатали в железной кладовке, где у стен лежали спасательные жилеты. Там стояла жара от горячего глянцевателя и от солнца, которое снаружи разогрело стену рубки. Но снимки были интересные — с разными сценами из фильма, с «Крузенштерном» на якоре, с картинками из корабельной жизни. Гай увидел и себя. Сначала — как он развлекается пистолетами, а затем — в шеренге с матросами, рядом с Толиком (слава богу, еще до той минуты со слезами). А потом — на палубе, с громадным ломтем арбуза у рта. Иза сказала, что подберет Гаю на память целую пачку карточек. Благодарный Гай старался вовсю — выхватывал из воды мокрые фотографии и лихо накатывал их на горячую жесть глянцевателя. А Иза мурлыкала:

Вне цивилизации,
Вне культурных зон
Без жены, без рации
Жил-был Робинзон.
Не имея сведений
О людских делах,
Проживал безбедно он,
Но однажды — ах!..

Напевала Иза только этот куплет. Проявит снимок, со словом «ах» кинет его в фиксаж и начинает песенку снова. Гай наконец собрался спросить: что же случилось с простодушным Робинзоном? Но открылась дверь, и под негодующие Изины вопли о засвеченной бумаге Ревский сказал:

— Мон шер принц! Адмиральская гичка у трапа. Окажите честь своим участием в общем скромном обеде... Изольдушка, ты едешь с нами? Оревуар...— И нагнулся, уклоняясь от пущенного в него резинового валика.

Ну, это было зрелище! Чтобы не тратить время на переодевание, актеры поехали обедать прямо в пиратских костюмах. Бородатые, в косынках, в пестрых фуфайках и блузах. Да и те, кто сегодня в съемках не участвовал, выглядели не менее живописно. Гай шел между братьями Карповыми — Володей и Сашей. Оба еще совсем молодые, как Толик, но для съемок отрастили волосы до плеч и густые бороды — настоящие, не то что у Вити Храпченко. Карповы шли в мятых белых шортах и расписных рубахах, завязанных узлами на животе. Когда шагали от Графской пристани к ресторану-веранде «Волна» на Приморском бульваре, прохожие открывали рты, и Гай мучительно досадовал, что не попросил у Насти свою полосатую фуфайку.

Две седые интеллигентные старушки печально посмотрели на братьев Карповых, и одна внятно сказала:

— До чего дошло. Священнослужители, а одеты как дети малые. Срам...

— Вас приняли за дьяконов,— хихикнул Толик.

— Старая женщина недалека от истины,— солидно сказал Володя.— Мы почти что священнослужители. Жрецы искусства...

Второй «жрец» довольно погладил бороду.

После обеда Гай притерся к группе курсантов, которая на баке занималась с морскими инструментами. Сперва скромно стоял поодаль, но ему подмигнули, и он осмелел. Здесь Гай увидел наяву, что такое секстан, о котором он раньше читал в книжках и слышал во вчерашней песне. Молодой штурман-преподаватель и курсант Алик дали Гаю заглянуть в окуляр секстана, посмотреть на солнце. Сквозь коричневый фильтр солнце казалось вишневым шаром. Вдруг оно раскололось вдоль, и одна половинка поползла вниз: это Гай двинул рычаг с зеркалом — алидаду...

Потом Гай увидел капитана. Первый раз. Коренастый мужчина с седыми висками и коричневым лицом, в кремовой тужурке с орденскими планками, в тяжелой фуражке с золотыми листьями на козырьке прошел вдоль борта и спустился по трапу на катер. Проходя, он задержал взгляд на Гае, и тому захотелось, как вчера перед вахтенным штурманом, встать по стойке смирно.



Затем Гай встретил Станислава Яновича — когда с курсантами Аликом и Федей ходил в учебную рубку, чтобы посмотреть морские карты. Весело поздоровался.

— Осваиваешься? — спросил первый помощник.

— Так точно... Но, куда нельзя, я уже не суюсь,— с насмешливой скромностью сообщил Гай.

— Зато суешься куда только можно. Так? — усмехнулся Станислав Янович.

...Вечером поужинали в «Волне» и пошли купаться на городской пляж — здесь же, на набережной. Были уже сумерки, стало прохладно, и вода оказалась гораздо теплее воздуха. Когда раздеваешься — зябко, а нырнешь — как в теплое молоко...

В гостинице Гая устроили на выпрошенной у горничных раскладушке, в номере, где жили Ревский и оператор по имени Сергей. Гай уснул стремительно, спал без всяких снов и утром поднялся только после ощутимых толчков Ревского.

К причалу они с Ревским пришли, когда вся группа была уже там. Ждали катер, который, естественно, запаздывал. Карбенёв ходил к диспетчеру и ругался. Иза тренькала на гитаре. Гай опять хотел спросить о судьбе Робинзона, но почуял чей-то взгляд. Затылком ощутил. Обернулся.

Шагах в пяти от него, прислонившись к трубчатому поручню пирса, стояла девочка. У Гая затеплели уши — от радости, смущенья и виноватости. Это была Ася.

Гай быстро подошел и потупился.

— Здравствуй...

Она тоже сказала «здравствуй». Тихонько.

— Ты здесь... чего? — осипнув от неловкости, глупо спросил Гай.— Так просто?

— Так просто. А ты позавчера... не поехал в город?

Гай со всей полнотой ощутил, какая он свинья. Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня, закрученный корабельной радостной жизнью, он не вспомнил об Асе. То есть воспоминания мелькали, только без всякой связи с их разговором: «Вы каким катером приезжаете?» — «Обычно в восемь сорок пять...»

А разве это не договоренность о встрече была? Ася, конечно, и позавчера, и вчера приходила на пристань. А он...

— От меня ничего не зависело,— беспомощно пробормотал Гай.— Потому что так получилось. Я на «Крузенштерне»...

— Где?

Она совсем не сердилась. Только радовалась, что встретила его, и немного смущалась. Гай приободрился. Отодрал от облупленного уха лоскут кожи и объяснил, хмуро усмехаясь:

— В артисты записали. Вон к ним...

Он рассказал все, что случилось за эти два дня. И все в рассказе было правдой, только невольно получалось, что он, Гай, и рад был бы оказаться на берегу в нужное время, да не было никакой возможности. Впрочем, сейчас Гай верил в это сам.

— Ты счастливый,— вздохнула Ася.— Я всю жизнь у моря живу, а на паруснике никогда не была.

Гай решительно взял ее за руку и повел к Ревскому.

— Александр Яковлевич, это Ася.

— Вижу,— вздохнул Ревский,— что не Петя и не Гриша. Здравствуйте, мадмуазель...

Ася стояла перед ним тоненькая, прямая и серьезная.

Гай смотрел Ревскому в глаза.

— Я понял,— печально сказал Ревский.— Если я отвечу «нет», то что? Ты заявишь мне, что в таком случае и ты остаешься на берегу. Так?

— Ага! — весело согласился Гай.

— А я до четырнадцати ноль-ноль отвечаю за тебя головой и, естественно, оставить не могу. Пользуясь этим обстоятельством, ты меня вынуждаешь идти на уступки и зарабатывать себе новые неприятности. Это недостойный прием. Единственно, что тебя оправдывает, это некоторое благородство цели...

— Значит, можно?! — возликовал Гай.

— Но мадмуазель Ася должна иметь в виду, что обратный катер будет лишь в обед.

— Это ничего,— сказала Ася.

Когда шли к «Крузенштерну», Гай успел рассказать Асе про «Летающих «П», а затем о Крузенштерне, о рукописи Курганова и о капитан-лейтенанте Алабышеве. Наверно, не очень толково он рассказывал, сбивчиво, но Ася не перебивала. Гаю нравилось, как она слушает, и вообще он был счастлив, что случилась такая встреча

и что они вместе едут на «Крузенштерн». С запоздалым испугом он думал, что могли ведь и не встретиться. Но испуг быстро проходил, и оставалось только радостное возбуждение. И он говорил, говорил — бестолково, но весело.

А Ревский, сидевший неподалеку, вдруг сказал:

— Прямо роман.

— Это вы о чем? — подозрительно спросил Гай.

— Это я о пропавшей рукописи. Вчера, когда Толик рассказывал, я как-то не особенно вник. А сейчас...

Полдня промелькнули в пестроте, солнце, суете съемок и путешествии по громадному барку. Гай смело «совался, куда только можно», и таскал за собой Асю. И везде их встречали по-хорошему. И он почти не выпускал Асину руку...

В половине второго киношно-пиратская компания погрузилась на катер и отправилась обедать. На пирсе Гай увидел Толика.

— Толик, это Ася... Ну, как погулял?

Толик щелкнул его по носу.

Подошел Ревский.

— Толик! Такое дело. Хочешь выступить в роли миротворца крупного масштаба?

— С Гаем поссорились? — испугался Толик.

— Бог с тобой! Дело в другом. Ты заметил, наверно, что наши отношения с моряками несколько шероховаты. А?

— Еще бы...

— Вообще-то моряков понять можно. График, рейсы, курсанты, а тут еще на их головы свалилось кино...

— Шурик, я-то при чем?

— Выступи перед курсантами с лекцией, а? Мы проведем это как мероприятие, организованное киногруппой. Умаслим Ауниньша, отвечающего за воспитательную работу...

— Шурик, ты рехнулся?

— Да нет, ты меня послушай...

— Вы — артисты. Почему вам самим не выступить?

— Да мы уже всем там глаза намозолили. А твоя лекция...

— О, аллах! Какая м о я л е к ц и я?

— О Крузенштерне, о той рукописи. Понимаешь,

это связано с названием судна, с историей. Это для курсантов было бы самое подходящее... Толик! Две студии — «Молдова» и «Ленфильм» — поставят тебе на своей территории гипсовые бюсты.

— Иди ты...

— Мраморные... Бронзовые, черт побери!

— Шурик, ты за эти годы поглупел. Я тебе кто? Лектор общества «Знание»? Я понятия не имею, как выступают перед людьми!

Ревский наклонил набок курчавую голову.

— Он «не имеет»... На всяких симпозиумах выступать может, на конгрессе в Монако (знаю, знаю!) сумел. А здесь, видите ли...

— Там я о д е л е говорил. О своей работе. К тому же у меня текст был читаный-перечитаный и многократно утвержденный, если хочешь знать. Я готовился месяц!

— Здесь тоже подготовишься. У тебя целых два дня.

ЛЕКЦИЯ ПОД ГРОТ-МАРСЕЛЕМ

Вечер был темный, теплый и тихий. На барке, посреди бухты, слышно было, как трещат на берегу цикады.

На нижнем марса-рее второй грот-мачты распустили парус. Два прожектора уперлись в него широкими лучами. Марсель сделался похож на громадный киноэкран и отразил на палубу мягкий свет.

Между грот-мачтами, на верхней палубе, которую здесь называли спардеком, собралось человек сто пятьдесят. В основном курсанты, но были и актеры, и матросы, и штурманы. Большинство село прямо на доски, кое-кто устроился на планшире ограждения, а иные — даже на спасательных шлюпках.

Ася и Гай примостились на поручнях, где начинался ходовой мостик. Рядом уселись Иза и Ревский. Толик вышел к нактоузу главного компаса. Перед этим он сказал Ревскому:

— Ну, Шурочка, втравил в историю... Я тебе припомню.

— Держитесь, юноша,— ответствовал Ревский.— Вспомните концерт в саду на Ямской. Там было страшнее.

— А что за концерт? — сунулся Гай.

— Будущий исследователь океанов читал там свои стихи.

— Про Крузенштерна?

— А! Ты знаешь... Ну вот, будем считать, что сейчас продолжение той же программы.— Шурик говорил шутливо, но, кажется, тоже волновался.

Выступление начал не Толик, а Станислав Янович.

— Товарищи, я хочу представить нашего гостя. Это инженер-конструктор Анатолий Сергеевич Нечаев. Кандидат технических наук. Специалист по аппаратам для глубоководных исследований. Он здесь, в этом городе, в связи с испытаниями новой техники... Анатолий Сергеевич — руководитель группы, которая ведет испытания. Как мне объяснили...— Ауниньш глянул на Толика,— в научном мире такое явление — почти уникальное. Это все равно что вы видели бы перед собой тридцатилетнего адмирала...— Он заметил движение Толика и торопливо сказал: — Но речь не об этом. О своей работе Анатолий Сергеевич расскажет в другой раз. Сегодня мы попросили товарища Нечаева рассказать о Крузенштерне. О знаменитом адмирале, чье имя носит наше учебно-парусное судно. Анатолий Сергеевич с детства интересовался биографией мореплавателя и знает много интересного...— Толик опять сделал нетерпеливое движение, и Ауниньш быстро закончил: — Впрочем, слово нашему гостю!

Все зааплодировали, и Толик, съежив плечи, дождался, когда стихнут хлопки. Потом кашлянул и сказал негромко:

— Тут определенная путаница...

— Погромче, пожалуйста! — сразу крикнули с дальней шлюпки.

Толик оглядел всех, кто сидел близко и поодаль. И вдруг заговорил уже иначе — звучно и слегка сердито:

— Видимо, придется начать с разбора путаницы!.. Станислав Янович сравнил меня с адмиралом. Это не так. Если сравнивать научные чины с военными, должность моя нѐ больше, чем капитанская. И далеко не первого ранга... Впрочем, Иван Федорович Крузенштерн, когда совершал кругосветное плавание, тоже был не адмиралом, а капитан-лейтенантом... Нет, я это не для сравнения говорю, а так, для связи, что ли. Чтобы перейти к Крузенштерну...

Но тут опять недоразумение. Получилось, что я вроде бы какой-то исследователь биографии мореплавателя. Ничего подобного. Конечно, я интересовался, читал,

но многого не знаю до сих пор... Вот, например, известно, что Крузенштерн, когда его назначили начальником экспедиции, вовсе этому не радовался. Потому что недавно женился и жена ждала ребенка. Про это во многих книжках написано. А дальше о его семейных делах — никаких сведений. Кто родился тогда — сын или дочь? Как звали, какая судьба? И вообще, сколько детей у него было, кем стали?.. Неожиданно наткнулся я у Жюля Верна: он в своем трехтомном труде «Открытие земли» описывает плавание Отто Коцебу на шлюпе «Предприятие» и сообщает, что с ним шел старший сын Крузенштерна. Откопал я эту книгу (она почти полтора века назад выпущена), в ней список участников экспедиции, но никакого Крузенштерна в списке нет. Есть Головнин — видимо, сын другого знаменитого капитана. Скорее всего, Жюль Верн перепутал...

Да, но, кажется, я начал не с того. Начать, пожалуй, надо с города. С Севастополя... У меня с Севастополем связано в жизни очень многое. В августе сорок второго здесь погиб мой отец, ротный политрук Нечаев. Приморская армия тогда из последних сил отбивалась от немцев на Херсонесском полуострове. Рота должна была идти в контратаку, в это время в одном взводе убило командира. Говорят, командир роты попросил политрука заменить взводного. Ну, отец побежал к тому взводу через открытую площадку, а ему под ноги — мина... Вот такая история. Обычная для той войны и для Севастопольской обороны...

Толик замолчал, было слышно, как дышат люди, жужжат прожекторы и стучит движок рейсового катера. Толик сказал:

— Конечно, отец мог погибнуть и в другом месте, война есть война. Но такая уж судьба. А потом пришлось приехать сюда мне... Но меня привязала к Севастополю не только память об отце и работа. Еще и Крузенштерн, хотя он никогда не бывал здесь. То есть не сам Крузенштерн, а повесть о нем... В общем, так. В сорок восьмом году в городке Новотуринске жил-был человек...

И дальше Толик стал рассказывать то, что Гай уже знал: о Курганове, о Российско-Американской компании, о Крузенштерне и Резанове. О Головачеве. Об истории с машинкой. Гай слушал уже не очень внимательно. То есть слушал, но и кругом смотрел — вбирал в себя этот вечер: смутно-черные громады мачт, уходящие

к звездам; огоньки на берегах; светящиеся складки грот-марселя; доносящееся с мыса Голландия цвирканье цикад, ровные шумы рейда, запах морской соли и палубных досок. Дыхание Аси... И голос Толика был частью этого *всего*.

Гай встряхнулся и стал слушать внимательней, когда из заднего ряда сидящих поднялся высокий курсант.

— Скажите,— ломким и дерзким голосом начал он,— а зачем все это надо было писать? Про историю с Головачевым, про ссоры? Какое это имеет значение?

— Значение — для кого? — напряженно спросил Толик.

— Вообще! Для всех нас! Мы знаем, что Крузенштерн и Лисянский обошли вокруг света, первые из русских. Это важно. А не все ли равно, что там у них было, какие подробности жизни!

Гай опять услышал в тишине жужжанье прожекторов.

Толик отчетливо и неторопливо сказал:

— Иногда бывает невозможно на один короткий вопрос дать столь же лаконичный и однозначный ответ...

— Ага! Одному дураку иногда сто мудрецов не ответят! — донесся со шлюпки веселый, совсем мальчишечий голос.

— Нет,— сказал Толик,— я не хотел никого обидеть. Вопрос действительно сложный... Зачем об этом писать?.. Зачем нам вообще детали прошлой жизни? Сразу и не скажешь. Ну, наверно, для того, чтобы знать всю правду. Чтобы знать не только, *что* было, но и *как* было. Какой ценой, какими путями... Наверно, для того, чтобы ошибок не повторять... Вот про последнюю войну сколько книг написано? Наверно, тысячи. Вся ли правда в этих книгах? Я помню, мы еще студентами об этом спорили. Одни кричат: «Зачем писать об ошибках? Главное, что победили, до рейхстага дошли, этим все сказано!» А другие: «А сколько времени шли! А сколько миллионов полегло! Почему сперва «шли» до Москвы, а потом уже обратно? А если снова начнется, опять, что ли, так же будем?! Кто виноват?...» Вот и здесь, в Севастополе... Тут про каждого человека, который дрался, можно, наверно, книгу писать. Каждый был героем. Но разве не лучше было бы, если бы этих героев больше осталось в живых? Когда фашисты прижали их к Херсонесским обрывам, сколько погибло потому, что не продуман был

план эвакуации?.. Не кашляйте, Станислав Янович, это грустные факты, но это факты, и ребята должны их тоже знать...

— Я кашляю не из-за грустных фактов и считаю, что вы все говорите правильно,— отозвался первый помощник.— Но меня беспокоит курсант Коровин, который вон там, сзади, тянет руку. Курсант Коровин имеет привычку задавать вопросы с единственной целью — поставить говорящего в тупик и развлечь слушателей.

— Ничего, пусть спрашивает! — запальчиво разрешил Толик.

— Я никого не хочу развлекать,— сообщил Коровин унылым баском.— У меня серьезный вопрос. О Головачеве. Чего его дернуло стреляться-то? Наверно, у него любимой девушки не было...

По слушателям побежали смешки. Но Коровин повысил голос:

— Чего сразу «ха-ха»? Ждала бы любовь его на берегу, он бы прежде всего про нее думал, а не хватался бы за пистолет. Ну, подумаешь, с офицерами у него нелады пошли! Ну, Резанов его забыл! А больше, что ли, никого у него на свете не было?

Смешки опять пробежали и сразу угасли. Толик сказал:

— Смешного ничего нет. Курсант Коровин прав...

— У него опыт! — выкрикнул кто-то, и послышалась короткая возня. Зашикали.

— Ну и хорошо, что опыт,— усмехнулся Толик.— А была ли у лейтенанта Головачева любимая девушка, я не знаю. И наверно, никто на свете сейчас не знает... Но если даже не было девушки, были родители, братья. Они — тоже любимые люди, родные. И думать о них Головачев был обязан... Видимо, у Головачева беда вытеснила из души все остальное — в этом его вина... Но Арсений Викторович Курганов писал свою повесть не для того, чтобы на ком-то поставить штамп: «Виноват». Он, по-моему, просто хотел разобраться и понять...

— Значит, он и Резанова не обвинял? — послышался вопрос.

— Он вовсе не показывал его злодеем... Наверно, если бы Резанов предвидел гибель Головачева, он бы ужаснулся. Наверно, сделал бы все, чтобы его спасти...

Поднялся кто-то из артистов (Гай не знал его имени).

— Анатолий Сергеевич! А вы уверены, что лейтенант

Головачев покончил с собой, потому что его бросил Резанов?

Толик помолчал.

— Я-то уверен,— сказал он медленно.— Когда я читал повесть, я был в этом убежден... Другое дело, что я не смог пересказать вам ее убедительно. Это моя вина, а не Курганова.

— Ну, допустим, это было написано убедительно,— возразил актер.— Но т а к л и это было на самом деле? Может быть, это лишь точка зрения автора?

— Ну... возможно...— Толик, кажется, пожал плечами.— Тут уж, видимо, законы искусства действуют, вы в них больше разбираетесь... Например, историки говорят, что Сальери вовсе не травил Моцарта. Но Пушкин написал, и миллионы людей это приняли за истину...

— А какое право он имел зря на человека писать? — раздался звонкий голос.

— Это уж вы Пушкина спросите,— ответил Толик довольно резко. Потом объяснил помягче, словно извиняясь: — Он же не сам все это придумал, отталкивался от какой-то версии, легенды... Пушкину главное было показать, что зависть и злодейство с гением несовместимы... Так, кажется, эту трагедию объясняют?.. А Курганов, по-моему, хотел в случае с Резановым и Головачевым показать, как губительно равнодушие. И как равнодушие переходит в измену... И должен сказать, что линия отношений Головачева и Резанова, как она была описана у Курганова, кажется мне убедительной с исторической точки зрения. Например, эпизод с бюстом строго документален. Головачев действительно заказал свой бюст у резчика-китайца и завещал этот деревянный портрет Резанову. «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Тут и прощание, и упрек, и намек на то, что он, Головачев, именно Резанова, а не Крузенштерна считал начальником экспедиции и потому теперь пьет свою горькую чашу... Конечно, с этой версией можно спорить. Но она, по крайней мере, больше подтверждена свидетелями, чем спор Сальери и Моцарта у Пушкина...

— Но Курганов — это все-таки не Пушкин,— сказали из толпы. Без насмешки, даже сочувственно.

— Разумеется,— согласился Толик.— И вообще, я сейчас не могу судить, какой был литературный талант у Арсения Викторовича. Я был мальчишкой. Но тогда

повесть меня захватила. И это несмотря на то, что не так уж много в ней было приключений... Я, можно сказать, жил внутри этой повести, в ее мире. И она меня в трудные минуты многому учила... Вот, кстати, еще один ответ на вопрос «зачем все это писать». Связь с людьми ощущается — с теми, кто жил раньше. Начинаешь понимать, что твоя жизнь — это частичка общей жизни — тех, кто был до тебя, и тех, кто будет после... Конечно, это я с е й ч а с так связно излагаю. А может, и бессвязно... А тогда не излагал, а просто чувствовал. И жил этим.

«У него тоже был свой остров»,— подумал Гай.

— ...Гай, а куда потом девался бюст Головачева? — прошептала Ася.

— Не знаю. Толик не говорил.

А Толик в это время продолжал:

— Сейчас можно только гадать, что было бы с повестью Курганова, если бы ее напечатали. Может быть, она осталась бы незамеченной, так с тысячами книг бывает... Но я думаю, что кто-нибудь эту книгу все равно прочитал бы. И уверен, что хоть кого-то она научила бы чему-то хорошему, как меня... Но этого не случилось. От повести остался только эпилог...

— Вы же сказали, что он пропал вместе с машинкой! — раздался знакомый мальчишечий голос.

— Пропал... Но ведь я сам перепечатывал его, а потом, после смерти Курганова, много раз перечитывал. Я помнил его почти слово в слово. И когда машинка исчезла, я сел и записал его в тетрадку... Я и сейчас его помню почти наизусть.

— Прочитайте! — сказали сразу несколько голосов.

— Хорошо. Если есть у вас терпение на полчаса, я прочитаю... Повесть «Острова в океане» читали всего три человека: моя мама, я и редактор в издательстве — тот, который ее забраковал. Мне его не хочется принимать в расчет... Вчера мой племянник — вы его многие тут знаете — мне сказал: «Ты мне расскажи эту историю, и получится, что появился еще один читатель...» Судьба была несправедлива к Арсению Викторовичу Курганову. Я хочу хоть на самую малость исправить эту несправедливость. Пусть у автора «Островов» появится полторы сотни читателей. Ну, не читателей, а слушателей, и не всей повести, а только эпилога, но все-таки... Тем более что действие эпилога происходит как раз здесь, в Севастополе...

Толик помолчал секунды три и заговорил ровно и ясно, будто читая по бумаге:

— «Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...»

Когда шли на катере к городу, Ревский сказал:

— Толик, исправь еще одну несправедливость судьбы...

— Ну? — подозрительно отозвался Толик.

— Еще не поздно. Плюнь на свои подводные дела и иди в артисты. Так держать внимание аудитории может лишь истинный талант.

— Надо поразмыслить... Нет, у вас зарплата маленькая. А я, чего доброго, жениться надумаю...

— К тому идет,— подал голос Гай.

— Что — зарплата! Звание заслуженного получишь — прибавят. Зато — искусство.

— Нет уж... Мне хватит сегодняшнего выступления.

— Какой талант гибнет,— скорбно сказал Ревский.

— Пускай за меня Гай отдувается перед киношной музой... Кстати, когда съемка? Ему двадцать восьмого домой...

— Скоро, скоро съемка.

Они сидели в тесном кормовом салоне катера: Ревский рядом с Толиком, а Гай и Ася — напротив. Желтый свет плафона и равномерный стук движка нагоняли дремоту. Но Гай встряхнулся, чтобы упрекнуть Толика:

— А мне ничего не говорил, что помнишь наизусть эпилог.

— Конечно. Ты бы тут же и начал: рассказывай, мол...

— Анатолий Сергеевич,— вдруг спросила Ася,— а что стало с бюстом Головачева? Не знаете?

— Не знаю. К Резанову он явно не попал... Скорее всего, передали родственникам.

— Родственники — они ведь тоже моряки были?

— Братья — да... А что?

— Я подумала... Может, они этот бюст с собой на кораблях возили и в Севастополь завезли?.. У одной нашей знакомой есть деревянный бюст офицера. Старый такой...

Гая словно током прошило·

— Правда?!

— Ну-ну,— сказал Толик.— Сейчас нашему Гаю

взбредет масса фантазий... А впрочем... Ася, а что это за знакомая?

— Старая уже, баба Ксана ее зовут. Она всю жизнь в Севастополе прожила, и бюст этот у нее, кажется, еще до войны был... Но я точно не знаю. Мы с дедушкой к ним как-то заходили, он дяде Алеше помогал мотор чинить, а я так... Ну и увидела в комнате у бабы Ксаны...

— А ты можешь узнать все точно? — дернулся Гай.

— Я попробую... А если хочешь, вместе сходим.

— Завтра!.. А может, сегодня не поздно?

— Дитя спятило,— сказал Толик.— Двенадцатый час ночи... Кстати, Ася, тебе не влетит за позднее возвращение?

— Мне-то? — тихонько засмеялась Ася.— Не от кого. Мама в Симферополе, дедушка с Котькой спят, я им сказала, что поздно вернусь... Да за меня вообще никогда не волнуются, говорят, что самостоятельная.

— Мне бы такое демократичное детство,— заметил Ревский.

— Но самостоятельного товарища мы все же проводим до дома,— решил Толик.

— Да не надо, мне совсем недалеко. На троллейбусе до рынка, а там по лестнице — и дом почти рядом.

— Вот и поглядим, где живешь,— бодро сказал Гай.

— Вам же еще на ГРЭС ехать... И зачем вы в такую даль забрались?

— Так получилось,— виновато сказал Толик. Он вроде бы робел перед этой девочкой.— Сперва — обстоятельства, потом не до того было, чтобы квартиру менять.

Ася посмотрела на Гая, на Толика.

— Знаете что? У нас соседка комнату приезжим сдает. Катерина Степановна. Гай, помнишь, та контролерша, что нас в аквариум пустила? У нее всем нравится... Спросить? Она и постирать, и приготовить может, если надо...

Гай обрадованно поглядел на Толика.

Но Ася вдруг огорчилась:

— Хотя у вас там бесплатно, а она по рублю с человека берет...

— Да бог с ними, с рублями,— торопливо сказал Толик.— Зато на катерах не мотаться. Мне эти челночные рейсы уже во как поперек горла... А это, значит, недалеко от центра?

— Конечно. Артиллерийская слободка...



Третья
часть

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ СЛОБОДКА

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ

Ночью стало прохладно. Гай, спавший у открытого окна, кутался в простыню с головой. Проснулся он рано. Утро было серенькое, пахло дождем. Гай босиком вышел на влажное дощатое крыльцо. Воздух во дворе, спл шь укрытом сырыми виноградными листьями, казался зеленоватым. Гай с удовольствием потянулся и вздохнул. Он понял, как утомила его многодневная жара и какая это хорошая штука — дождик.

Двор был полон нехитрой дождевой музыкой. Капли рассыпчато щелкали в листьях и шуршали в них. Где-то звучало равномерное жестяное «дон-дон-дон». А время от времени: «бом-дзинь-зинь-зиннь...» — это с большого виноградного листа срывалась на перевернутое корыто накопившаяся вода...

Из раскрытого окна кухни долетало звяканье ложки о стакан — тоже вплеталось в мелодию дождя.

Потом в окно выглянула хозяйка:

— Мишенька! Встал уже?.. Я вам чайник горячий в телогрейку заверну, оставлю на табурете. А заварка на столе...

— Ага! Спасибо, Катерина Степановна...

Они приехали сюда вчера. На эту старую одноэтаж-

ную улицу Гусева, в дом, словно наспех составленный из больших белых кубов, крытых оранжевыми лотками черепицы. В заросшем дворе висел на каменной побеленной стенке эмалированный рукомойник, а в фанерном курятнике обитало семейство хохлаток с мирным приветливым петухом.

Катерина Степановна оказалась доброй, хотя и немного шумной теткой. Сказала, что с постояльцев она будет брать по рублю за сутки («как везде») и что днем «живите, как знаете, а уж вечером буду кормить вас сама, а то оба вон до чего тощие, шпангоуты сквозь обшивку торчат». Сравнив ребра со шпангоутами, Катерина Степановна выдала свою принадлежность к флоту. Оказалось, что в прежние годы, «пока не знала, с какой стороны сердце», ходила она судовым поваром на сейнерах. А теперь у нее уже младшая дочь замужем, внук есть, да и с хозяйством полно забот — вот и осела Катерина Степановна на берегу.

— От мужика какая польза? С утра до вечера в своих мастерских. А как придет, все одно: пузо в потолок да разговоры про иностранную политику да про космос...

Потом она по-свойски отругала Толика за то, что «запустил ребенка», в тазу с горячей водой вымыла Гаю голову с пропыленными и слипшимися от соли волосами, забрала в стирку белье и дала новым жильцам две тарелки вареников с творогом.

Толик сказал, сглотнув последний вареник:

— Об одном жалею: что не поселились здесь сразу.

— Ага,— согласился Гай. Но тут же сообразил: тогда не ходил бы он на катере по всей Северной бухте, не увидел бы вблизи столько разных кораблей. И скорее всего, не попал на «Крузенштерн». Все это Гай изложил Толику и добавил: — И ты со своим Шуриком не встретился бы.

— Значит, все к лучшему,— заключил Толик.— Не будем роптать на судьбу.

После завтрака Толик сказал:

— Надолго не исчезай. Я наведаюсь в лабораторию и скоро вернусь. Поедем на Северную...

Гай кивнул и снова выскочил во двор. Забрался на шаткий курятник (хохлатки заволновались). Лег животом на плоский верх каменного забора, глянул

в Асин двор. Ася стояла уже у калитки. Держала за руку братишку: четырехлетнего смирного Костика, которого надо было отвести в детский сад.

Гай тихонько свистнул и помахал рукой. Ася улыбнулась:

— Ну что, идем?

И они пошли по низким белым улицам, мимо крытых черепицей, беспорядочно слепленных домиков и каменных изгородей с тесными калитками, по стертым ракушечным лесенкам, кремнистым тропинкам и площадкам, где среди голой земли островками возвышались густые кусты с пушистыми бордовыми шариками и высокая трава с желтыми соцветиями. У калиток распускали перья растения, похожие на маленькие пальмы. Над заборами, на крышах сараев горбились темные перевернутые лодки. С веселым повизгиванием крутились на шестах деревянные вертушки...

Дождик уже кончился, проглядывало солнце, мокрые камни быстро высыхали. Пахло теплой травой и морем...

Костик, знавший дорогу, резво шагал впереди. Ася и Гай — бок о бок. Гай вертел головой.

— Пошли, пошли,— сказала Ася.— А то Котька в садик опоздает.

Гай сказал:

— Ну почему ты не хочешь пойти со мной к этой бабе Ксане?

— Я же тебе объяснила: она при знакомых стесняется разговаривать. Память слабая у нее, вот она и боится, что будет повторять то, что много раз говорила. Понимаешь, ей кажется, будто про нее подумают: «Совсем старая, ум потеряла...»

— А с чего ты взяла, что мне она все расскажет?

— Вот увидишь.

— Лучше бы все-таки с тобой,— вздохнул Гай.

Ася покачала головой:

— И кто это придумал, что мальчишки смелее девочек?

— Смелее,— вдруг обернулся Костик.— У нас в садике, когда уколы, девочки все визжат. А мальчики — нет.

— А у нас в классе наоборот,— сказала Ася.

По каменному спуску они вышли на улочку с солидным названием 8 Марта. У двухоконного маленького дома, перед которым дремали в палисаднике рыжие георгины, Ася сказала:

— Здесь.— И толкнула зеленую калитку.

По двору — от сарайчика к дому — неспешно шла старуха.

Гай раньше думал, что такие старухи бывают лишь на картинках и в кино. Высокая, сутулая, с жилистыми руками и худым коричневым лицом. С отполированным ладонями узловатым посохом.

— Баба Ксана, здрасте! До вас мальчик пришел!— громко сообщила Ася. Подтолкнула Гая: — Иди...— И закрыла за ним калитку. Вот и все. Не убегать же...

Старуха глянула на Гая темно-синими глазами, утонувшими в тени глубоких впадин.

— Здрасте...— потерянно выдохнул Гай.

Баба Ксана вдруг заулыбалась, показав редкие желтые зубы. И стала словно меньше ростом.

— Здравствуй. Ты до Сергийки? Та он же уехал в Феодосию с мамой. Теперь он к самой школе только и вернется...

— Нет, я к вам,— все еще робея, сказал Гай.

— Ох ты, лышенько,— встревожилась старуха.— А я и не чуяла, что с утра будут гости... Та заходи же, дитятко, шо у тебе за дило до старой бабки? — Она говорила с мягкой примесью украинского языка и одесского акцента. Этот ласковый говор Гай слышал уже на рынке у пожилых теток.

Бодро стукая посохом и улыбчиво оглядываясь, баба Ксана пошла к двери. Там пропустила Гая перед собой.

Они оказались в кухне с побеленной плитой, со связками лука и трав на стенах, с грудой помидоров на подоконнике. Баба Ксана села у непокрытого стола, оперлась о посох.

— Сидай, дитятко. Та говори, я послухаю...

Гай присел на высокий табурет. Подумал: с чего бы начать? Не придумал, решительно качнул ногой и выдал напрямик:

— А правда, что у вас есть деревянный бюст?

Баба Ксана смотрела с лаской и непониманием. Гаю вдруг показалось, что она может не знать такого слова — «бюст». Вдруг здесь это как-то по-другому называется?

— Ну, вроде портрета такого, из дерева.

Баба Ксана покивала:

— Я чую... Та я же говорила вашей вожатой и хлопчикам тем говóрила: не могу я его в музей... Вот уж помру, тогда ладно. А пока я живая, он уж со мной...



— Да я не для музея! — испуганно сказал Гай.— Что вы! Я просто узнать... Я даже не из здешней школы.

Баба Ксана молча улыбалась. Будто опять не понимала.

— Это старинная история,— начал объяснять Гай без уверенности, что баба Ксана уловит суть.— Давным-давно один офицер плавал вокруг света и заказал себе такой бюст... такой портрет за границей. Ему китаец его вырезал. А потом этот бюст неизвестно куда девался... Вот я и подумал, что вдруг...

Он увидел, что баба Ксана мелко смеется и покачивает головой:

— Та ни, дитятко... Его не китаец зробыл, а Маркуша Вайнштейн. Хлопчик такой жил тут. С Гришенькой моим были дружки... Гришенька-то постарше был, а тот зовсим невылычкий, а все вместе они с Гришею... Рисовал карандашиком да красками. Похоже так: море, да берег, да хаты наши. А еще ножиком резал с дерева игрушки всякие да куколок... А потом говорит: «Тетечка Ксана, я кусок дерева нашел, теперь такого героя зроблю...»

Она замолчала, передохнула.

— Какого героя? — шепотом спросил Гай.

— А пойдем, покажу...

Баба Ксана тяжело встала. Следом за ней Гай вошел в тесную, с двумя оконцами белую комнату. Мельком увидел на стенах блеклые фотографии под стеклами. На узкой черной кровати спала серо-полосатая кошка.

С комода, уставленного коробочками, аптечными пузырьками и узкими стеклянными вазами с пучками ковыля, баба Ксана взяла небольшой, высотой сантиметров пятнадцать, бюст.

Это было уверенно вырезанное изображение молодого офицера в мундире с маленькими эполетами. Офицер слегка насупленно смотрел из-под сведенных бровей. У него были твердые скулы, крупный нос, широкие губы — пухлые, но сжатые упрямо. Что-то знакомое почудилось Гаю. Попробовал вспомнить, не смог...

Дерево оказалось серо-коричневым, старым, кое-где в трещинках. А одна трещина была большая, шла через грудь от нижнего среза до ворота. Местами бюст покрывали похожие на лишаи темные пятна. Левое плечо с эполетом почернело. Гай понял, что когда-то оно обуглилось, а потом его оттирали, но полностью отчистить не смогли.

— Посмотри, посмотри,— вздохнула баба Ксана.

Гай осторожно покачал увесистый бюст в ладонях, вглядываясь в строгое лицо. Потом поставил на край комода. Но продолжал смотреть...

— А ты сядь,— сказала баба Ксана.— Сядь, я тебя инжиром угощу. Вот я зараз...

Она ушла. Гай оглянулся, стульев не было. Он осторожно сел на край кровати под черным одеялом. Погладил кошку. Она, не просыпаясь, муркнула.

Баба Ксана вернулась без посоха — в одной руке табурет, в другой тарелка с какими-то лиловыми не то ягодами, не то лепешками, обсыпанными крупой. Поставила тарелку на табурет.

— Кушай, дитятко...

— Это что? — неуверенно сказал Гай.

— Та инжир же. Разве не пробовал?

— Не... У нас не растет.— Гай сунул мягкую инжирину в рот. Она была сладкой, как мармелад, зернышки похрустывали. Гай жевал, но по-прежнему смотрел на бюст.

— Баба Ксана, а он кто?

Она села на другом конце кровати.

— Не помню, дитятко... Севастопольский он... Маркуша говорил, что герой. Еще с той обороны, при адмирале Нахимове... Маркуша его с картинки делал, положит картинку на лавочку, а сам сидит рядом и быстро так ножиком... А после и говорит Гришеньке моему... «Я,— говорит,— не с портрета, а с тебя, Гриша, его делать буду, вы похожие, а у тебя лицо даже лучше, живое оно...» Я побачила, а он и правда похож...

Гай увидел, что баба Ксана тихонько раскачивается и на него не глядит, смотрит лишь на бюст. О Гае она словно забыла.

— А как ночью забомбили, да как потом сказали, что германци на нас идуть, Сашко, старший мой, сразу ушел. Иванко, брат мой, сразу ушел... А Гришеньку сперва не брали, годков было мало, только школу кончил. Я говорю: ну и добре. Отца-то давно не было, еще в тридцать пятом помер. Гришеньке говорю: хоть ты с нами будешь... А он все одно: пойду и я... Ну и пийшов с комсомольцами, як вороги до городу подступыли...

Баба Ксана говорила все тише, и украинские слова мешались с русскими все чаще.

— Любушка, жинка Сашкова, с внучком моим Олесем

уихалы на Большую землю, на «Ташкенте» их увезли прямо с-под огня. У меня полгоря с плеч... Маркуша с мамой своей уихав. Мама его все боялась, что нимци прийдут, они евреев-то всех под корень губыли... А Маркуша не хотел, говорил: воевать пойду... А куда же воевать, он Гришеньки на три года младше был... Ну, уихалы та и сгинули. Пароход их разбомбили... От Сашка́ одно письмо было с-под Одессы, а потом сюда же он вернулся с Приморской армией, повидались еще, а потом его у Фиолента убило... А где Гришенька мий косточки сложив, нихто мене не оповидае...

Гай положил на край тарелки надкушенную лепешку инжира и не дышал. Тихое горе расходилось от бабы Ксáны, как круги по темной воде...

— А як нимцы ворвалысь да стали наших хватать, на мене хто-то и донес, що актывистка... А яка я актывистка була? Щели рыла, молоко носыла у госпиталь, робыла, що могла, як уси люди... Ну, взяли мене, и в лагерь. Надывылась горюшка... В Унгарии була, в Романештии була та в самой Германии лютой... А потом прийшлы наши, да такое щастье — серед командиров один севастопольский, с Иванком, братом моим, до войны работал. «Оксана Ондриевна, да то ж вы!» И сразу мене дорогу домой схлопоталы, спасибо добрым людям...

Гай понимал, что баба Ксана в мыслях сейчас далеко-далеко, в другом времени. Она все качалась тихонько, глядела то ли на бюст, то ли на что-то давнее, Гаю неведомое...

— А дома что? Камни одни, полхаты погорело... Стали строить... Иван вернулся, хоть без ноги, да с руками, все же работник... Любушка с Олесем вернулись. Да она скоро подорвалась на снаряде, когда развалины разбирали на Корабельной... Олесь тогда остался такой, як Сергийко сейчас. Сергийко-то сынок его, правнучек мой... Олесь хоть и малый был, а помощник. Мы с ним камни до хаты на тачке возили. Подберем, где получше да поближе, и везем... Мне тогда уже шестой десяток шел, да и хворая была после плену, да все ж не такая... Я бы и зараз робыла еще, у меня бабка до восьми десятков сама воду из крыницы носила, а мене того меньше. Та согнула мене война раньше сроку... А хату все ж достроила... Один раз камни подбирала неподалеку, где Вайншейнов двор был, гляжу, а он лежит под

черепицей...— Баба Ксана неожиданно быстро поднялась, шагнула к комоду. Коричневую, перевитую шнурами вен руку положила рядом с бюстом на вязаную салфетку. Пальцем коснулась обугленного эполета.

— Пролежал столько, ничего. Земля у нас сухая... Увидала я да и себя не помню от слез... Карточек-то Гришиных не осталось, все сгорели, а тут он будто сам на меня глянул... Ой, лышенько, не дождалась я тебя, ридный мий...

Баба Ксана вдруг глянула на Гая синими влажными глазами из коричневых впадин. Сказала тихо, но ясно:

— Не дам я его никому. Шо мне все говорят: герой, герой? Он мне Гришенька мой... Глазыньки его на эту головку глядели, рученьки его ее трогали...— Темные пальцы бабы Ксаны дрожали и суетливо гладили обожженное плечо и деревянные пряди прически. Голос ее угасал, переходил в бормотанье: — Не помню я ничого, сожгли память вороги лютые. Гришеньку помню... Ой, лышенько, як же на свете жить можно после того... Ой, лышенько, не приведи господи людям такого... Рученьки его головку эту трогали... Гришеньки... его...

Она замолчала, глядя мимо Гая.

— Я пойду...— шепотом сказал он и встал.

Сказать «до свиданья» или «спасибо» не решился.

Когда Гай вернулся, Аси дома еще не было: наверно, пошла на рынок. Пришел Толик. И отправились они вдвоем на песчаный пляж Учкуевку, где давно собирались побывать.

Сначала — катером на Северную сторону, потом автобусом до «Катькиной версты» — каменного столба, что поставлен в давние времена в память побывавшей в Крыму Екатерины Второй. Затем — пешком, к распахнувшемуся за посадками кипарисов морю.

Пока ехали, Гай молчал. Ответит одним словом на какой-нибудь вопрос Толика и опять будто на замок заперся.

— Да что с тобой? — не выдержал Толик.— С Асей, что ли, поссорились?

— Ну вот еще... Просто думаю.

И когда шли от остановки до Укчуевских обрывов, Гай сумрачно рассказал про бабу Ксану. Про бюст с обгорелым плечом.

— Да...— проговорил Толик.— Вот тебе и бюст лейтенанта Головачева...

Гай глянул удивленно и досадливо: при чем тут Головачев?

Толик вдруг сказал:

— Я знаю, про что ты подумал. Головачев, мол, это прежнее время, о нем печалиться нечего, а здесь живая баба Ксана горюет... Да только горе — это все равно горе. Если матери Головачева бюст отдали, думаешь, ей легче было, чем бабе Ксане?

Гай от неловкости, что Толик угадал его мысли, буркнул:

— Гриша на войне погиб. А Головачеву кто велел стреляться?

— Трудно сказать. Может быть, честь велела, а может быть, тоски не выдержал... Война — это ведь не только когда бомбы кругом. Иногда человек так воюет, что другим и незаметно. Бывает, что сам с собой...

«Бывает...» — вздохнул про себя Гай.

Толик вдруг спросил:

— А ты не сказал, что дедушка под Севастополем погиб?

Гай помотал головой. Толик все-таки чего-то не понимал. Он не видел бабы Ксаны... Дедушка погиб, это верно. Однако Гай дедушку не знал и горя, по правде говоря, не чувствовал. Гордость была, это да. Но ни разу не схватывало горло так, как при рассказе бабы Ксаны... «Рученьки его головку эту трогали...» Если бы Гай там начал говорить про дедушку, получилось бы, что он хочет как-то и себя причислить к севастопольцам. В разговоре с мальчишками или с Асей это еще можно, а с бабой Ксаной... Да она в те минуты и не услышала бы Гая.

От утреннего дождика не осталось и воспоминанья. Опять небо стало высоким, и желтые облака не закрывали солнца. Ровный ветер с моря усмирял жару и гнал на пески ровные валы с шипучими гребешками. Гай сперва робел перед большими волнами, но быстро освоился. Дождавшись самого высокого — «девятого» — вала, нырял под гребень, «съезжал» на животе по водяному склону или мчался на верхушке волны к пляжу Раза два его, зазевавшегося, волны сшибали у берега

с ног, катили по песку и галечнику, который обдирал на ребрах кожу. Но царапины не огорчали Гая. Все равно волны были друзьями. И солнце зажигало на мокрых ресницах салюты радужных звезд...

А то, что было утром, спряталось на донышке памяти...

На обратном пути Толик сказал, что пусть Гай топает домой и до вечера ведет самостоятельную жизнь. А он, Толик, сегодня вернется к девяти часам.

— Ну и гуляй,— хмыкнул Гай. И добавил: — Хоть бы познакомил...

Толик важно сказал, что всему свое время.

Гай пришел к Асе. Она, конечно, захотела узнать про разговор с бабой Ксаной. Гай неохотно рассказал. И нахмурился:

— Ты сама-то разве про это не знала?

— Вообще-то знала. Кое-что. Но не точно. Мы ведь не так уж хорошо знакомы... А еще я подумала...

— Что?

— Ну... пускай ты от бабы Ксаны сам все узнаешь. Это ведь лучше, чем от меня.

— Она не помнит, что за герой это... А может, ты знаешь?

Ася качнула головой.

— Но ты же сразу знала, что никакой это не Головачев!

Ася порозовела и кивнула.

— А чего тогда было сочинять...— неловко сказал Гай.

Ася быстро глянула на него светлыми глазами и опять потупилась. Проговорила тихо, но твердо:

— Я, конечно, виновата. Я хотела, чтобы ты поближе переехал. Теперь сердись, если хочешь.

Гай почувствовал, как теплеют уши.

— Чё мне сердиться-то... Пойдем погуляем.

— Куда? — шепотом спросила она.

— Ну, так просто... Здесь такие улицы...

Они долго бродили по запутанным переулкам, лестницам-трапам и крошечным площадям. В просветах между каменными заборами или над черепицей крыш, за узкими темными тополями открывался то городской холм с многоэтажными домами и сверкающим крестом над полуразрушенным куполом Владимирского собора,

то бухты с толчеей кораблей, то далекие развалины Херсонеса на фоне темного, слегка взъерошенного моря. Было солнечно и пусто. Артиллерийская слободка лежала на хребте и склонах длинного холма — как старинный остров среди большого города. Ветер, летевший над крышами, словно только что касался парусов нахимовских линейных кораблей.

...И Гаю стало казаться, что он попал на свой придуманный остров — туда, где много негромких праздников и где в каждом закоулке прячутся начала таинственных историй.

Особенно понравился Гаю узкий переулок, наклонно бегущий с улицы Гусева на улицу Киянченко. Даже не переулок, а метровой ширины проход между высоченным, сложенным из серого камня забором и такой же бугристой стеной дома. В стене на высоте второго этажа виднелось единственное окошко. Посреди прохода тянулся каменистый желоб водостока. Гулко отдавались шаги.

«И правда, будто в крепости на острове»,— подумал Гай..

Настоящей крепости здесь не было, но небольшая старинная башня все-таки нашлась — на углу Шестой Бастионной и Катерной. Приземистая, из нетесаных камней, с узкими бойницами.

— Это что? — удивился и обрадовался Гай.

— Здесь был Шестой бастион. В Первую оборону... А дальше, где лестница к рынку, сохранилась стена Седьмого бастиона... А вон там была батарея Шемякина, только от нее ничего не осталось...

— Ты все здесь знаешь,— с завистью сказал Гай.

— У меня же мама экскурсоводом работает, в туристическом бюро. Я сколько раз с ней на экскурсиях была, многое прямо наизусть выучила... Но я не только потому, что мама. Самой интересно.— И она взглянула, словно спросила: «А тебе?»

«Еще бы!» — посмотрел на нее Гай.

— А если хочешь, я маму попрошу, она тебя хоть в какую экскурсию возьмет, по всему Крыму.

— Хорошо бы,— вздохнул Гай.— Только мне нельзя уезжать. Каждый день может случиться, что на съемки позовут.

— Ну, тогда... если хочешь, я сама покажу, что знаю. Здесь, в городе...

— В городе — это самое главное,— сказал Гай.
...Бродили они до заката.

ВЕЧЕРНЯЯ ВСТРЕЧА

Дома Катерина Степановна покормила Гая ужином и поворчала, что «братец твой — старший, но непутевый — ходит где-то голодный».

В девять часов Толик не пришел.

Гай понимал, что «дело житейское» и причин для беспокойства нет. Но затосковал. И еще через двадцать минут со смесью тревоги и привычной злости на Толика пошел его встречать.

Переулком Гай вышел на Шестую Бастионную. Фонарей на улице не было, окошки светились неярко. За шторками мерцали телевизоры. Чужой уют еще сильнее растравлял одиночество и тревогу Гая. Неумолчно и с какой-то скрытой угрозой сверлили сумрак трели цикад.

Никого не встретив, Гай дотопал до Крепостного переулка, что у бастионной стены. Встал на верхней площадке лестницы.

Он видел с высоты холма город и рейд. На улицах и кораблях переливалась электрическая россыпь. Мигали огоньки на сигнальных буях, вспыхивал на чьем-то мостике прожектор. Змеились отражения. Алой звездочкой горел выше других огней первый маяк Инкерманского створа.

Шептались пирамидальные тополя. С Приморского бульвара доносилась музыка духового оркестра. Гай подумал, как все было бы прекрасно, если бы рядом сейчас стоял Толик...

Прошло минут десять. Несколько прохожих поднялись по лестнице, не обратив внимания на мальчишку, съежившегося на бетонном парапете под неяркой лампочкой.

Потом что-то беспокойно и радостно толкнулось в Гае. Словно сработал чуткий локатор. Гай еще вроде бы никого не видел и не слышал, но соскочил с парапета, всмотрелся в темную глубину, куда убегала лестница.

На нижней площадке возникли две фигуры. Мужчина и женщина. Они торопливо шагали вверх и о чем-то весело и сбивчиво говорили. Мужчина был несомненно Толик.



Гай сжал губы и опять уселся на бетонном уступе

— О! — сказал Толик.— Это ты? Ты тут... чего?

— Любуюсь ночным городом,— официально ответствовал Гай, надавив на слово «ночным».

— Меня, что ли, ждешь?

— А кого?! — взвинтился Гай.— Может, адмирала Крузенштерна?! — И подумал: «Не зареветь бы...»

— Я же говорил: попадет мне,— сказал Толик спутнице.

Она коротко и как-то бархатисто рассмеялась. Гай покосился. Девушка была рослая, плотная, с тяжелой черной косой. При свете лампочки Гаю показалось, что у нее очень красный большой рот и похожие на сливы глаза.

— Гай, познакомься,— сказал Толик.— Это Алина... Для полноты информации — Алина Михаевна.

— Очень приятно,— с предельной ядовитостью отозвался Гай. Он смотрел на Инкерманский маяк.

— Гай, будь к ней снисходителен — это как-никак твоя будущая тетя.

Гай резко обернулся.

— Алина — моя невеста,— церемонно сказал Толик.— И без сомненья, станет моей женой.

Гай, не вставая с парапета, поклонился:

— Очень рад.

Эти два слова можно было перевести длинной фразой, смысл которой сводился к тому, что тетушка нужна Гаю, как дельфину брюки, и что забывать из-за будущей родственницы — даже невесты — других родственников (не будущих, а настоящих) — потрясающее свинство, и что Толик поступает так не первый раз, и поэтому Гай забывать свои обиды легко и скоро не собирается.

— Толик,— глубоким грудным голосом произнесла Алина.— Мальчик думает, что ты задержался из-за меня.

— Придется перейти на язык документов,— со вздохом произнес Толик и протянул Гаю бумажку. Это были два билета в кино.

— Ну и что? — сумрачно спросил Гай.

— Доказательство. Видишь, контроль не оторван? Мы собирались чинно-благородно в кинотеатр «Приморский» на семь часов. В девять я был бы дома перед вашими строгими очами. Но экстремальные обстоятель-

ства помешали тому и другому. То есть кино и своевременному возвращению...

— На него хулиганы напали,— сказала Алина.

Толик взял Гая за плечо:

— Пойдем.

Когда прошли шагов двадцать, Гай неловко спросил:

— Правда, что ли?

— Что?

— Ну... хулиганы...

Толик неловко хихикнул.

— Главное, день еще белый, солнце не зашло, а они подходят на бульваре, два пижона. Обычный диалог: «Дай закурить».— «Не курю».— «Жалко, да?» — «Гуляйте, мальчики...» – «Ах, мы мальчики, а ты — дядя?» — И ручкой на дядю...

— Ну и что? — нервно спросил Гай.

— Ну, что... Я одного посадил на время под акацию, а другому стал разъяснять, что он неправ, он обмяк как-то сразу... Я думал, слегка постукаю их по очереди, с педагогической целью, и отпущу. Но не тут-то было. Алина Михаевна проявила излишнюю инициативу. Куда-то кинулась, тут же явилась с морским патрулем, а те милиционера кликнули... Ну и пришлось «Лимонадного Джо» поменять на визит в отделение.. Интересно, что сперва чуть-чуть сам не оказался виноватым: побил, мол, мирных прохожих. Хорошо, умный капитан подошел, разобрался... У одного свинчатку из кармана выудили...

— Даже не верится,— вздохнул Гай.

— Что? То, что свинчатку нашли?

— Вообще... Что в таком городе такие гады...

— Всякое бывает... Хотя они, кажется, ялтинские.. А этот «Лимонадный Джо» для меня какой-то заколдованный. В Москве, помню, купил билеты — и срочно в институт вызвали. Был в Ленинграде, увидел афишу, побежал в кассу — ногу подвернул, вместо кино в травмапункт попал... Тьфу... А так хотелось посмотреть, говорят, веселая штука.

— Мура,— сказал Гай.— Все думают, что это про правдашних ковбоев, а это чушь. Одно издевательство...

— Это же комедия!

— Не комедия, а чепуха. Я смотрел и плевался..

— А где ты сумел? Дети до шестнадцати не допускаются!

— Ох уж! Где не допускаются, а у нас в ДК судостроителей — пожалуйста... Толик...

— Что?

— А они тебя... ничего?

— Да ну... хлипкие личности,— бодро сказал Толик

— Все-таки двое...

— Я так перепугалась,— сказала Алина.

— Ну и я тоже,— засмеялся Толик.— В том-то и дело. Мне с перепугу как раз все и удается в самом лучшем виде... Я и диссертацию раньше срока защитил тоже с перепугу. Потому что прихожу однажды к шефу, а он говорит...

— Да знаю, знаю,— сказал Гай.— Я эту историю четыре раза слышал.

— Ох уж, четыре...

— Да. Один раз ты папе рассказывал, два раза мне и маме и один раз кому-то по телефону...

— Вот такой у меня братец-племянничек,— сказал Толик.

— Хороший,— отозвалась Алина и наклонилась к Гаю (он учуял запах «Красной Москвы»).— А Толик в самом деле все делает с перепугу. Он в любви мне так признался. Со страху...

— Да,— вздохнул Толик.— Было...

— Как это? — недовольно спросил Гай.

Алина бархатисто смеялась в темноте, платье ее шуршало.

— А вот так... Идем мы по Синопскому спуску, он молчит, я спрашиваю: «Толик, о чем ты думаешь?» А он... я в точности запомнила: «О принципе прямого преобразования направленного электромагнитного излучения в акустическую волну». Я чуть на ступени не села.

— Это единственно реальная возможность прямой связи космоса с глубиной,— доверительно объяснил Толик Гаю.— Женщинам этого не понять... хотя Алина и работает в пресс-бюро при лаборатории.

— Не перебивай,— сказала Алина.— Я ему и говорю: «Ты не мог найти для девушки более подходящих слов?» А он: «Я это... мог бы... Будь моей женой...»

— А вы? — холодновато спросил Гай.

— А что я? — засмеялась Алина.— Сразу и согла-

силась. Потому что я эгоистка. Люблю счастливых людей, у их счастья можно греться, как у печки.

— Разве Толик такой уж счастливый?

— Конечно,— серьезно ответила Алина.— Он счастливый в самом главном, он свое дело нашел. И удач у него в этом деле — выше головы.

— Тьфу-тьфу-тьфу...— суеверно плюнул Толик.

— Ничего не «тьфу»... Про него за границей пишут. В сорок лет он станет академиком, а я толстой и важной супругой академика... Разве плохо?

— Не знаю,— сказал Гай и повернулся к Толику.— Лишь бы ты сам не сделался толстым и важным.

— Ни за что на свете... Гай, давай проводим Алину, а потом уж домой...

— А где живет... Алина Михайловна?

— Недалеко, за площадью Коммунаров... Только не Михайловна, а Михаевна.

— У меня папа был молдаванин,— сказала она.

— Михай... так румынского короля звали,— бряк-нул Гай.

Алина засмеялась:

— В отцовском селе чуть не каждого второго так зовут. Это все равно что русское имя Михаил. Как у тебя.

Гай поморщился. Толик быстро объяснил:

— Князь Гаймуратов свое имя терпеть не могут-с

— Хватит обзываться-то,— сказал Гай.

— Виноват-с... Кстати, сегодня получил от твоей мамы письмо. Одно на двоих. Пишет, что съездила прекрасно, соскучилась по ненаглядному Гаю и ждет не дождется, когда он явится домой Еще пишет, что Галина уже отстроила пол-Ташкента и приедет в сентябре...

— Получил и молчит! — возмутился Гай.— Что еще пишет?

— Сообщает, что некий Юра Веденеев извелся по Гаю, все спрашивает, когда приедет.

Гай вздохнул радостно и виновато.

— Соскучился? — ласково спросила Алина.— Хочется домой-то?

— Хочется... и уезжать не хочется.

— Душа пополам. Диалектика жизни,— заметил Толик.— Ничего, тебе осталась еще неделя. Догуляешь — и к родным пенатам...

— Толик, а от Ревского ничего не слышно? Вдруг не успею отсняться?

— Он обещал завтра со мной связаться. Успеешь, выход назначен, кажется, через два дня.

— Ура...

— А завтра у меня свободный день и у Алины отгул. Может, втроем закатимся куда-нибудь, а?

— А вот и нет,— сказал Гай.

— Что так?

— У тебя своя личная жизнь, у меня своя. Завтра мы с Асей пойдем по городу. По всей линии Обороны...

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Гай натянул прохладную чистую рубашку — васильковую с латунными пуговками. Со дна чемодана вытащил новенькие, ни разу не надетые шорты «военно-полевого» цвета. Закинул под кровать пыльные растоптанные кеды и застегнул блестящие пряжки скрипучих лаковых сандалий. С удовольствием потоптался.

— Расчеши космы,— предложил Толик,— и будешь совсем лондонский дэнди на брегах Тавриды.

Гай, сопя от натуги, расчесал.

— Я буду дома от четырех до шести,— сказал Толик.— Постарайся возникнуть в этом промежутке. Возможно, поступит информация от Шурика...

— Есть, товарищ главный конструктор Атлантиды!

— Сгинь...

Ася ждала Гая у калитки. Тоже принаряженная, серьезная, в белом платьице с якорями и синей лентой на волосах. Помахивала голубой пластмассовой сумкой — на ней тоже якорь.

— Ну? Топаем? — излишне бодро спросил Гай.

— Пошли...— Ася нерешительно посмотрела на его сандалии.— Ноги не натрешь ремешками? Дорога будет длинная.

— Все нормально...— Гай упруго попрыгал.

По улице Генерала Петрова они бодро дошагали до гостиницы «Севастополь» и сели на троллейбус.

— Поедем на Корабельную,— сказала Ася.— Начинать надо с Первого бастиона, по порядку. А потом все ближе и ближе к дому, до Седьмого. К дому идти — всегда легче...

Но сразу к Первому бастиону они не попали. Вышли на улице Розы Люксембург, и Ася потащила Гая на горку у железнодорожной насыпи. Горка была, как игрушечный городок, с белыми домиками, лестницами, закоулками и двориками на крутых склонах. Похоже на Артиллерийскую слободку, только все уменьшено и словно собрано в горсть. Как на сцене для приключенческой сказки.

Ася сказала, что это знаменитая Аполлоновка.

Аполлоновка была горячей от солнца.

Ася и Гай через заросли дрока спустились к старым каменным аркам.

— Это бывший водопровод,— объяснила Ася.— Его еще адмирал Ушаков строил...

Под аркой они прошли на берег Аполлоновой бухты. На громадных бетонных блоках, в беспорядке сваленных на берегу, загорали мальчишки. И прыгали с этих кубических глыб в очень синюю воду. Гай им позавидовал, и Ася тут же сказала:

— Давай искупаемся. А то нам шагать и шагать, а моря на пути уже не будет.

Они нашли на теплом бетоне свободное местечко. Мальчишка лет десяти — конопатый и с ободранным подбородком — сказал:

— Чего пришли? Это наших, аполлоновских пацанов камни...

Гаю стало неуютно. Он знал ревнивую непримиримость мальчишечьих компаний к чужакам. Но Ася ответила, не повышая голоса:

— Сиди, аполлоновский. А то и на носу царапины будут.

И никто больше не придирался...

Они ныряли и плавали минут пятнадцать. Потом Ася сбегала куда-то, чтобы выжать купальник, вернулась уже одетая и сказала между прочим:

— А вон в том домике родился Папанин. Помнишь, который на Северном полюсе?

Гай, конечно, помнил. Недавно читал в «Пионере» о высадке папанинской четверки на полюс — как раз отмечалось тридцатилетие этой экспедиции. Но он не знал, что Папанин родился в Севастополе. Гаю казалось, что полярный исследователь должен быть уроженцем каких-то северных мест.

...После купанья жизнь стала еще лучезарнее, хотя

дорога была совсем не ровная. Спустились по откосу широкого, заросшего, как сад, оврага и поднялись по другому склону. Гай часто дышал. Ася сказала, что они пересекли Ушакову балку.

Через несколько минут они оказались на обрыве — над небольшой, полной кораблей и катеров бухтой.

— Это Килен-бухта. А вот памятник.

Над обрывом Гай увидел гранитную открытую беседку и серый, грубо отесанный камень с надписью

1-й бастіонъ

— Вот отсюда и начиналась линия Первой обороны,— объяснила Ася.— Когда французы и англичане подошли, бастионов и батарей почти не было, адмирал Корнилов весь город поднял на строительство. Даже арестантов освободил... Ну, пошли.

Гаю эта дорога запомнилась как солнечная круговерть улиц с белыми домами, спусков, тропок и заваленных ползучими кустами каменных изгородей. И заросших высокой жесткой травой балок-оврагов. В этой траве прятались сложенные из пористого камня стенки с нагретыми солнцем чугунными плитами. На плитах — выпуклые буквы с названиями и номерами батарей.

Было жарко и хотелось пить. Гай и Ася пили у водонапорных колонок, дурачась и осыпая брызгами друг друга.

Они постояли у глыбы-памятника Второму бастиону и зашагали к Малахову кургану.

На перекрестке Второй Бастионной и какого-то переулка, на заросшей колючками и сурепкой площадке, гоняла красно-синий мяч ребячья компания. Мальчишка лет семи стоял в стороне, плаксиво вытирал подолом полосатой майки нос и косился на игроков. Потом глянул сырыми глазами на Асю и Гая.

— Ты чего? — спросила Ася.

— А чего они...— буркнул мальчишка.

— Не берут играть?

Он засопел.

— Пошли.— Ася взяла его за руку. Гай — что делать — двинулся следом. Сунул руки в карманы и постарался придать лицу решительное выражение.

Игра остановилась. Ася сказала длинному голубо-

глазому мальчишке, который был, кажется, главным:

— Вы чего маленького не берете?

Тихо сказала, спокойно.

Мальчишка удивленно возвел выгоревшие брови:

— Тебе-то что?

— Мне-то ничего. А ему плохо.

Подошли другие ребята. Крепыш с бинтами на обеих коленках объяснил:

— Он пищит и под ногами путается.

— Вы поставьте его на край и пасуйте иногда, вот и не будет путаться,— разъяснила Ася.— А если прогонять, он когда играть научится?

Длинный поглядел на Асю, на Гая, сказал пацаненку:

— Иди на тот край. И пинай, когда мячик подадут, а сам не лезь.

Малыш ускакал.

Ребята, оглядываясь на Асю, снова начали игру.

— Ну, ты даешь...— с тихим восхищением сказал Гай.

— Что?

— Ну... ты просто как хозяйка. Везде. Хозяйка Севастополя.

— Смеешься, да?

— Я правду говорю. Все тебя слушаются. Такая решительная.

— Вовсе я не решительная, а трусиха... Я тебе признаться хочу...

— В чем? — встревожился и смутился Гай.

— Ох... не обижайся, ладно? Я тебя нарочно одного к бабе Ксане отправила. Потому что я боюсь ее слушать. Просто реветь хочется.

— Это я понимаю,— сказал Гай.

На Малаховом кургане Гай уже бывал. Но сейчас они поднялись не по главной лестнице, а боковой тропинкой. И вышли прямо к оборонительной башне, где над черной чашей факела металось пламя вечного огня — оранжевое, яркое, несмотря на солнце.

Вокруг площади перед башней толпились зрители, а на открытом пространстве выстроились артековцы. Гай и Ася ввинтились между взрослыми и просочились вперед.

Перед пионерским строем стоял и говорил что-то

седой моряк в белом кителе со множеством сияющих медалей. Когда Гай и Ася оказались близко, он уже кончил речь. Девочка в синей пилотке и громадных, как аэростаты, бантах повязала моряку пионерский галстук. Уверенно и красиво застучали барабаны, мелодично запела фанфара (сразу ясно, что трубач знает свое дело — не какой-нибудь неумелый школьный дударь, выбранный в горнисты за хорошие отметки). Счастливчики-артековцы вскинули в салюте руки. И Гай пожалел, что не надел пионерский галстук,— тогда бы он тоже имел право салютовать барабанщикам, знамени, что алело на правом фланге строя, и этому моряку, который наверняка воевал в здешних местах (может быть, рядом с дедушкой?).

Артековцы четким строем ушли с площади по главной аллее. А Гай и Ася мимо развалин памятника адмиралу Корнилову, который разбили немцы, мимо старинных пушек батареи Жерве спустились по склону Докового оврага.

И опять — кружение солнца на белых улочках, сухой шелест акаций, блеск твердых кремнистых тропинок, тишина, которую разгоняют иногда мальчишки на звонких велосипедах...

Неужели здесь когда-то гремели взрывы?

— Вон там недавно саперы два снаряда выкопали,— сказала Ася.— Невзорвавшиеся. Прямо из-под дома. Хорошо, что успели. Бывает, что не успевают...

От солнца и усталости у Гая немного кружилась голова. К тому же Ася оказалась права: ремешок сандалии натирал ногу — левую, когда-то уколотую дракончиком... И все же Гай был рад, в глубине души жила догадка: стертая нога заживет, усталость улетучится, а этот солнечный день останется в памяти навсегда. Может быть, потом, через годы, среди синих зимних сумерек вспомнится все: и теплые камни бастионов, и блестки в белой пыли, и седой моряк перед артековцами, и спокойная девочка с якорями на платье...

Когда от обелиска на месте Третьего бастиона они запутанными переулками спускались к Лабораторной балке, Ася сказала:

— Вот это все и есть Корабельная сторона. Здесь самые отчаянные бои были в Первую оборону...

— А во Вторую?

— Тоже,— вздохнула Ася.

Гай понимал, что между Первой и Второй оборонами лежал почти век. Но все равно эти времена в голове смешивались, и казалось, что Севастополь сражался непрерывно много-много лет подряд. Что рядом с нахимовскими матросами дрались на Малаховом кургане морские пехотинцы, пришедшие сюда с эсминцев и крейсеров, и вместе с усатыми солдатами старинных полков — Якутского и Тобольского, Минского и Модлинского, Одесского и Тарутинского и многих-многих других — бросались в атаки на врага красноармейцы и командиры в белых от солнца и пота гимнастерках и пилотках — бойцы Приморской армии, в которой воевал и политрук Нечаев...

Гай уже не раз — с Толиком и один — побывал в Музее флота, на Сапун-горе, в Панораме, слышал много рассказов о боях и подвигах севастопольцев. Да и раньше читал об этом — «Севастопольского мальчика» Станюковича, «Морскую душу» Соболева и даже «Севастопольские рассказы» Толстого (у дедушки была такая большая плоская книга с похожими на фотоснимки иллюстрациями). Но никогда Гай не мог (да, по правде говоря, и не пытался) разобраться в том, что по-научному называется «обилием информации». Имена адмиралов и командиров, названия люнетов и редутов, подвиг Тридцатой батареи в сорок втором году и Балаклавское сражение в прошлом веке вспоминались вперемешку. Наверно, так все бывает перемешано в дыму, грохоте и сумятице большого боя...

Когда Ася предложила пойти по линии Первой обороны, Гай подумал, что теперь в его знаниях появится хоть какой-то порядок. И правда, номера бастионов, наименования батарей, названия бухт и балок нанизывались, словно бусины, на одну нитку...

На улицах по-прежнему лежала солнечная тишина, и все сражения казались бесконечно давними и далекими. Так, наверно, и должно быть. Затем и защищают в боях люди свои города, чтобы потом был вот такой тихий, безоблачный и неколебимый мир. Чтобы мальчик и девочка могли беззаботно идти по старым бастионам, а на заросшем сурепкой перекрестке мальчишки весело гоняли красно-синий мяч...

— Ася... А ведь где-то в этих местах был снежный бастион, да? Ну, в котором погиб Алабышев.



— Да. Скорее всего, вон там,— Ася махнула легкой пластмассовой сумкой с якорем,— где ребята в мячик играли.

— Я про них и подумал... И вспомнил...

Но, подумав о снежном бастионе, о мальчишках в нем, Гай, конечно, вспомнил и гранату, которую закрыл собой Алабышев. И другую гранату... И других мальчишек — в Херсонесе,— к которым так и не собрался в эти дни. И опять покатилась у него внутри черная дробинка.

— Ах ты черт...— в сердцах сказал Гай.

— Что? Трет ногу? — встревожилась Ася. (Они уже останавливались из-за этого, и Ася положила Гаю в носок прохладный мягкий листик.)

— Да нет... Просто вспомнил. Надо, в конце концов, съездить в Херсонес, того пацана разыскать. Который был пулеметчик с гранатой...

Они спускались по каменному трапу среди заросших двориков на склоне Лабораторной балки. Ася удивленно остановилась.

— Сержика разыскать?

— Ну да...

— А зачем в Херсонес-то ехать?

— Ребят спросить, я же его не знаю... Ой, а ты знаешь?!

Ася помолчала, что-то соображая. Тихонько засмеялась:

— Ты бы сразу меня спросил. Это же внук бабы Ксаны. То есть правнук, сын ее внука, дяди Алеши.

— Вот это да...— выдохнул Гай.

— Разве ты не знал?.. Ну да, ты не спрашивал, я не говорила... А разве ты его у бабы Ксаны не встретил?

— Не... Она сказала, что какой-то Сергийко уехал в Феодосию. Только к школе вернется.

— Он и есть.

— Здесь просто чудеса какие-то, в этом городе. Сплошные совпадения...

— Да какие совпадения? Просто он в тот день за мной в Херсонес увязался. А там я к дедушке пошла, а он с вами остался играть, вот и все...

Сперва Гай обрадовался. Но тут же расстроился:

— Значит, я его не увижу. Я двадцать восьмого домой улечу.

— Жалко...— вздохнула Ася. Непонятно было, что «жалко». Что улетит или что не увидится с Сержиком?

— Еще бы,— сказал Гай. Тоже непонятно.

— А какое у тебя к нему дело? Может, я помогу?

— Помоги... Помнишь, он тогда гранату потерял? Я знаю, где она... Ну, потом сообразил. Завалилась она там в одно место. Я достану, а ты ему отдашь.

— Еще чего. Я ее тут же в море выкину.

— С ума сошла?

— Это вы, мальчишки, все с ума посходили. Нашли себе игрушки...

— Она же ненастоящая!

— Баба Ксана от этой «ненастоящей» себе нервы извела... А знаешь сколько было случаев? Сперва — ненастоящая, а потом и настоящую откопают...

— Ася...

— Выкину,— сказала она. И Гай подумал, что даже с самыми хорошими девчонками можно разговаривать не о всех делах.

— Получается что? — озабоченно сказал Гай.— Он не знает, где она лежит, а я знаю. Выходит, я будто ее стащил...

Ася быстро глянула на него, и Гай почувствовал, что краснеет.

— Не ты же ее туда спрятал,— сказала Ася.

— Все равно... Эх, жалко, что его нет.— Гаю теперь хотелось увести разговор от гранаты.— Мне еще и поговорить с ним надо. Про бюст... Ты вот не знаешь, что это за герой, а он, наверно, знает... А вдруг это капитан-лейтенант Алабышев, а?

Такая догадка лишь сейчас мелькнула у Гая и в первую секунду показалась невероятной. Но ведь в этом городе, где столько удивительных совпадений и встреч, все возможно.

— Наверно, и дядя Алеша знает,— рассудила Ася.— Ох, я забыла: он же в рейсе... Гай...

— Что?

— Гай...— тихо сказала Ася и махнула сумкой по головкам чертополоха.— А может, тебе не улетать двадцать восьмого?

— А... как?

— Ну, поживи здесь еще... Сержика дождешься. И вообще... У нас в сентябре знаешь как хорошо.

— А школа? — озадаченно спросил Гай.

— Поучился бы в нашей... Кто отдыхает здесь осенью с ребятами, часто устраивают их в здешние школы... Я могу с нашей Мариной Викторовной поговорить, она знаешь какая хорошая...

— Ха! А Толик? С ним кто поговорит? Он со мной тут и так замаялся,— самокритично высказался Гай.— И билет на самолет уже давно взят. Билет в кассе менять — думаешь, это легко? Там не протолкнешься...

— А зато...— начала Ася и замолчала.

— Что?

— Ну... когда еще потом приедешь-то...

«Это верно»,— подумал Гай. И тоскливое предчувствие скорого расставания с морем, с Севастополем, со всей этой полной удивительных событий жизнью уже не первый раз толкнуло его.

Домой, конечно, хотелось (особенно когда о маме думал; и Юрка вот, мама пишет, все спрашивает: когда Гай приедет?). Но он все равно скоро приедет! И будет дома всегда. На долгие годы. А здесь — словно что-то не закончено. Словно все еще не случилось главного события. Словно ступил на неведомый остров, успел полюбить его, а узнать до конца не успел...

Если бы еще десяток дней такой жизни, а? Неожиданный подарок, прибавление к той короткой неделе каникул, которая здесь осталась Гаю! Он бы со всеми ребятами еще раз встретился, облазил бы напоследок все полюбившиеся места, искупался на всех пляжах, обошел берега над всеми бухтами... И с Пулеметчиком бы решил дело как надо. И... вот и Ася хочет, чтобы он остался...

Конечно, потом все равно придет день расставания, но будет уже легче. Потому что он, Гай, все успеет.

Гай понимал, что в чем-то он обманывает себя. Проще и легче, наверно, не будет. Но, по крайней мере, печаль прощания отодвинулась бы еще на какие-то дни. И дни эти были бы, наверно, тоже радостные и разноцветные...

— Толик не разрешит,— грустно сказал Гай.

— Попроси изо всех сил.

— А школа... У меня и формы-то нет. Только лыжный костюм на всякий случай, если холод...

— А это чем не форма? — Ася прошлась по Гаю глазами.— У нас многие мальчишки так всю первую четверть ходят, до самых холодов.

— Ну да? — Сентябрь в понятии Гая был прочно увязан с плотным серым сукном школьной униформы, без которой и не думай явиться на уроки, пусть хоть какая жара на улице.

— Здесь же юг,— сказала Ася.

— А учебники? Где я возьму?

— Что нам, моих не хватит?

«А зачем т е б е надо, чтобы я задержался?» — подумал Гай. Но понял, что спросить это не решится ни за что в жизни.

— Ох... я попробую с Толиком поговорить,— сказал Гай.

— Конечно! Попробуй...

— А Пулеметчик... Сержик этот в твоей школе учится?

— Да. Он в пятый перешел.

— Ну? Я думал, он меньше. На вид такой... октябренок.

Они пересекли Лабораторную балку, и Ася объяснила, что от линии Обороны отклонились. Зато поднимутся на Зеленую гору, с которой виден весь город.

И они стали подниматься. Ноги у Гая ныли и гудели, и он думал, что Ася — просто железный человек. Иногда хотелось плюнуть на гордость и сказать: «Слушай, давай посидим, а?»

Зато с горы Гай увидел Севастополь во всем его праздничном сверкании. А за ним — громадное пространство моря. Там уверенно двигались корабли.

Радостно и беспокойно толкнулось сердце: не хочу уезжать!

Если бы Гаю предложили остаться здесь навсегда, он бы не согласился. Даже если бы вместе со всеми здесь жить — с мамой и отцом, с Галкой, дедушкой и бабушкой — все равно не захотел бы. Он любил Среднекамск и свой дом. Там была — вся его жизнь. А здесь — праздник, хотя и не лишенный печалей.

Не может вся жизнь быть праздником. Но так хочется, чтобы его было больше...

Сошли по тропинке к зеленому Т-34 на каменном постаменте — памятнику героям-танкистам. Постояли у него. Потом по извилистой лестнице, сквозь рощу дубов и акаций, мимо белой школы спустились к вокзалу. Ася предупредила:

— Скоро последний подъем... Я тебя замучила?

— Ты не девочка, а какой-то... землепроходец,— сказал Гай. Но он уже не чувствовал прежней усталости. Ноги, правда, гудели, как и раньше, но пришло какое-то пружинистое веселье. Немного нервное, с примесью тревоги: «А что скажет Толик?»

Поднимались опять среди старых, увитых виноградом двориков, где орали петухи и ходили деловитые кошки. Одна такая улочка-тропинка-лесенка называлась Лагерный переулок. Интересно, когда и какой лагерь здесь был? На этом месте, где только и гляди, чтобы не загреметь под откос...

Поднялись к Четвертому бастиону с его черными пушками и брустверами из корзин и мешков (мешки и корзины были отлиты из бетона, но очень походили на настоящие). Потом прошли мимо Панорамы. Здесь толпились экскурсии, к дверям тянулась бесконечная очередь. Гай посмотрел на нее снисходительно: ему не надо стоять, он был здесь дважды.

В парке у Панорамы стояла парашютная вышка, вверху колыхался шелковый купол.

— Прыгнешь? — спросила Ася.

— А пустят?.. У нас в Среднекамске тоже есть такая, там ребят не пускают... Но у нас там инструктор знакомый, он пацанов, которых знает, пускал, я четыре раза прыгал... Первый раз жуть такая, второй раз еще страшнее, а потом ничего...— Гай говорил весело и беззаботно, потому что все было полной правдой.— А здесь ребят пускают?

— Нет,— вздохнула Ася.— Я хотела, сказали: маленькая...

Они пообедали в полупустом кафе на Историческом бульваре. Взяли по полтарелки теплой окрошки и по блинчику с мясом. Пока шли, Гаю казалось, что он голодный, но сейчас аппетит вдруг пропал. Наверно, от растущего беспокойства: «Что же все-таки скажет Толик?»

Теплый ветер колыхал парусиновый навес, по пластмассовым столам прыгали воробьи. Ноги у Гая отдохнули, даже натертая пятка не болела. Но росло тревожное нетерпение.

Когда они мимо памятника Тотлебену спустились с

бульвара на площадь Ушакова, куранты на башне Матросского клуба пробили три часа. Торжественные колокола сыграли «Легендарный Севастополь». Гай сказал:

— Ася, на Пятом бастионе я уже был. Это ведь на кладбище Коммунаров, где могила лейтенанта Шмидта, да?.. А мимо Шестого и Седьмого и так каждый день ходим...

— Устал? — спросила она спокойно и ничуть не обидно.

— Нет... Не в этом дело. Скоро Толик придет домой. Я хочу, чтобы уж сразу разговор...

Четырех еще не было, но Толик оказался дома. Гладил белые брюки: брызгал на них, раздувая щеки, и лихо водил шипучим утюгом. Весело глянул на Гая.

Гай сел у стола, положил подбородок на локти.

— Толик...

— А?.. Пфу... Что, дитя мое?

— Толик... Хочешь увидеть необыкновенное? Самое-самое...

— Что... пфу... именно?

— Самого образцового на свете пятиклассника... то есть шестиклассника. Самого-самого послушного, дисциплинированного и всякого-всякого... Хочешь, я таким сделаюсь?

— В обмен на что? — проницательно спросил Толик.

— Ох...— тихонько простонал Гай.

— Что «ох»? Какая идея возникла в твоей кудлатой голове?..— Толик выключил утюг, пальчиками поднял брюки и полюбовался.— Ну? Слушаю вас, сударь...

— Ага, «слушаю»... А потом скажешь «нет».

— Скорее всего.

— Ты только не говори сразу «нет», а? Ты сперва послушай, потом... ну, потом отругай меня. И скажи «ладно»... А?

— Выкладывай...— Толик уже слегка встревожился.

— Ох...— опять сказал Гай. Зажмурился и выпалил: — Не отправляй меня двадцать восьмого! Можно, я еще немножко здесь поживу?

Толик молчал. Гай приоткрыл один глаз. Толик смотрел, словно говорил: «Лю-бо-пытно... Что еще придумаешь?»

— Ну, вот...— уныло произнес Гай. Открыл второй глаз и стал безнадежно смотреть на Толика. Тот в самом деле сказал:

— Лю-бо-пытно... Давно придумал?

— Сегодня,— скорбно отозвался Гай. И вдруг в молчании Толика ощутил нерешительность. И капелька надежды сверкнула, как дождинка на солнышке...— Толик... Я тебе, конечно, надоел, я понимаю. Но вот если бы ты согласился... не надолго ведь, еще деньков на десять, а? Я бы тогда...

— Школу прогуливать? — хмыкнул Толик.

— Нет! — Гай подскочил.— Ни за что на свете! Ася договорится со своей классной! Толик... я бы одни пятерки здесь...

Надежда уже не искоркой сверкала, а горела ярким фонариком. Гай даже позволил себе слегка дурашливый тон:

— Я бы стал образцом успеваемости... и этой... кротости.

— Неужели не соскучился по дому?

— Ох, соскучился. Иногда даже... хоть пешком беги. Но все равно! Толик, мне здесь надо еще! У меня причины...

— Кое о каких догадываюсь...

— Ты думаешь, я из-за Аси? — в упор спросил Гай.— Ну и... Но не только. Много всего... Одного мальчишку надо встретить, внука бабы Ксаны. Он лишь к первому сентября приедет.

— А он-то тебе зачем?

— Наверно, он про бюст знает... Ну, кто там изображен.

— Но ведь ясно же, что не Головачев.

— А может... вдруг Алабышев?

— Ну и фантазия у ребенка,— сказал в пространство Толик.

— А что! Бывают же всякие совпадения, сам говорил. Ты вот, например, здесь своего Шурика встретил. Разве не чудо?

Толик усмехнулся и медленно проговорил:

— Да, встретил... Шурика и благодари.

— За что?! — подскочил Гай.

— У них, видите ли, выход в море на съемку задерживается до начала сентября... «Ах, как мы без Гая? Ах, уже со сценаристом согласовали этот эпизод! Не

губите гениальный финал фильма...» Даже билет сам переоформить обещает...

Встав на голову, Гай зацепил ногами стол и сшиб утюг.

— Это и есть образец кротости,— печально сказал Толик. И огрел Гая глаженными брюками.

К Асе Гай прибежал только около семи часов.

— Ты где пропадал?

— С Толиком на почтамт ходили, Среднекамск по срочному тарифу вызывали... Ох, Аська, досталось нам от мамы!

— Значит, остаешься? — расцвела она.

— Ты думаешь, это легко было?.. А мама потом даже всхлипывать начала по телефону. Я уж совсем решил, что, ладно, поеду домой. А потом вспомнил: фильм-то...

— А что — фильм?

Гай поведал про удачу с задержкой киносъемки.

— Теперь, даже если в школу не возьмут, все равно придется остаться.

— Возьмут, не радуйся...

Марина Викторовна жила в двухэтажном доме на углу Бакинской, Ася и Гай нашли ее во дворе. Асина «классная» развешивала выстиранное белье. Была она молодая, коротко стриженная и в своем спортивном костюме походила на учительницу физкультуры, а не истории. Асе она обрадовалась, а заодно и Гаю. Они помогли ей развесить на веревке тяжелую клетчатую скатерть.

Насчет занятий в школе Марина Викторовна сказала, что пусть старший брат Миши Гаймуратова напишет заявление. А когда Миша будет уезжать, ему заверят дневник с оценками, вот и все. И улыбнулась:

— Надеюсь, оценки будут приличные.

Гай сказал, что он тоже надеется. И спросил:

— А правда, что можно без формы, вот так?

— Ну, совсем «так», наверно, не стóит. Галстук надо бы надеть. Пионер ведь? Вот... И конечно подстричься. У нашего директора отношение к прическам строгое.

— Ой, а стричься как раз нельзя,— встревожился

Гай.— Режиссер не велел. Я им там с волосами нужен.

— Да? Ну, решим как-нибудь и этот вопрос... Пойдемте ко мне ужинать, а? Я сегодня одна, муж на репетиции в оркестре, Витька у мамы... Блинчиков с медом хотите? Вижу, что хотите, пошли, пошли. Только жарить будем вместе.

Толик предупредил Гая, что вернется поздно и что «пусть впечатлительный ребенок не изводится, а спокойно дрыхнет».

— На здоровье,— согласился счастливый Гай.— Гуляй хоть до утра. Только не связывайся больше с хулиганами.

— Это пусть они со мной не связываются...

— Привет Алине Михаевне,— сказал Гай и слегка покривил душой: — Она мне о ч е н ь понравилась.

На самом деле он не знал, понравилась ли ему невеста Толика. Что тут скажешь, если и разглядеть-то не сумел как следует? Впрочем, Толику виднее...

Вечером Гай не тревожился, но и не спал. Дождался, когда Толик вернулся.

— Что не спишь?

— Думаю,— сказал Гай.

— О чем, не секрет?

— Так, обо всем... Толик, а почему ты считаешь, что это не может быть бюст Алабышева?

— А почему — его? Во-первых, в Севастополе были тысячи героев...

— Ну, а вдруг в с е-т а к и?

— ...А во-вторых, Алабышев, скорее всего, вымышленный герой. Курганов его просто придумал.

— Значит, ничего не было? — огорчился Гай.

— Чего «не было»?

— Ну... как он ребят спас...

Толик сел на край скрипучей раскладушки Гая.

— Такое-то как раз было. И люди вроде Алабышева были. На гранаты кидались, ребятишек прикрывали и товарищей своих... Я когда в первом классе учился, в соседней школе был случай. На уроке военного дела граната оказалась не учебная, а боевая. И военрук, фронтовик-инвалид, тоже грудью на нее... Ребята кругом были...

Гаю стало зябко, и он сказал с непонятной виноватостью:

— Это, наверно, не всякий может. Только герой...

— Наверно,— сказал Толик.

— Даже представить нельзя, что человек думает, когда вот так... последние секунды...

— Этого никто не знает,— сумрачно сказал Толик.— С кем такое случается, тот потом не расскажет... И вообще, спал бы ты. Что за мысли на ночь...

— Это потому, что мы сегодня с Асей были, где снежный бастион стоял...

— Нагулялся за день-то? Небось ноги отваливаются?

— Ага... Даже пятку натер. Вот...— Гай выставил из-под простыни ногу.

— Ну-ка покажи. Может, пластырем залепить? Дай, гляну...

— Ай! — Гай спрятал ногу.— Щекотно же будет!

— Какая зануда,— сказал Толик.

ВЕТЕР

Ася дала Гаю потрепанный, но прочный портфель. А про учебники снова сказала: «Хватит нам с тобой моих». Гай купил в «Детском мире» у рынка десяток тетрадей и дневник. Погладил старенький пионерский галстук (он его прихватил в поездку на всякий случай). На этом и кончилась подготовка к школе.

В классе Гая встретили без особого любопытства, но по-хорошему. Председатель совета отряда Костик Блинов сказал:

— Жалко, что ты к нам ненадолго. В классе у женской половины перевес, нас затюкали совсем...

Девчонки с радостными воплями погнались за Костиком по партам и слегка поколотили в углу. Двое мальчишек выхватили из сумок пистолеты-брызгалки и атаковали девчонок с тыла.

— И в этом сумасшедшем доме я староста,— сказала Гаю Ася.— Ну-ка, тихо вы...

Ощущение веселья не покидало Гая с первого школьного часа. Во всем было такое беззаботно-праздничное настроение, что школа даже казалась ненастоящей. Мельтешило солнце, врываясь в распахнутые окна сквозь листву каштанов; задиристо трезвонил колокольчик, вызывая всех на перемену; уроки казались корот-

кими, а перемены с беготней во дворе, с перебросной мячами, с лазаньем по каштанам — длиннее уроков. Радостная пестрота была в смехе и перекличке, в топоте по аллеям и коридорным половицам, в мелькании разноцветных рубашек... Кое-кто из мальчишек пришел и в форме, но форма эта оказалась совсем не похожей на суконные серые костюмы, к которым привык в Среднекамске Гай. Она лишь добавила зеленовато-голубые блики в красочную круговерть первого школьного дня...

В этой круговерти Гай не сразу вспомнил о Пулеметчике. И лишь после четвертого урока прошелся у дверей пятого «Б». Потом заглянул в класс.

Он увидел и узнал Сержика, но не сразу. Пятиклассник Снежко мало походил на Пулеметчика в Херсонесе. И не в том дело, что оказался Сержик аккуратно подстрижен и не было на нем пыли и ржавчины. Главное, что не было кинжальной ощетиненности, которая больше всего запомнилась Гаю.

Но смелость в этом мальчишке ощущалась попрежнему. Этакая веселая независимость. Он стоял в кругу ребят и что-то рассказывал им и молодой учительнице (волосы ее сияли в потоке солнца). Сине-зеленый форменный пиджачок был надет на Сержике, как гусарский ментик: левый рукав — на руке, правое плечо — внакидку. Правой ладонью Сержик чертил в воздухе какие-то знаки. И смеялся. И ребята смеялись, и учительница.

На миг Сержик встретился глазами с Гаем. Не узнал, конечно. А Гай почему-то испугался. Будто его поймали на подглядывании. Быстро шагнул от порога. Но издалека он успел заметить в открытую дверь, как все вдруг расхохотались, а учительница — высокая, гибкая — взъерошила Сержику волосы, схватила его под мышки и сильно закружила по воздуху. Сержик тоже хохотал, стриг воздух похожими на коричневые карандаши ногами, а слетевший с плеча пиджачок развевался над ним, как флаг...

Было понятно, что Сержика Снежко здесь любят за ясность характера, за веселость и смелость, хотя ростом он, кажется, меньше всех в классе — щуплый, тонкоугловатый, похожий на третьеклассника... И Гай не решился подойти. Показалось, что пятиклассники глянут ревниво и недовольно: «Что тебе надо от нашего Сержика?»

Можно было, конечно, забежать после школы к Сержику домой. Но тогда могло случиться, что Ася захотела бы пойти с Гаем. А ему надо было поговорить с Пулеметчиком один на один...

«Успеется,— успокоил себя Гай.— Не последний же день». Он хитрил с собой. Во-первых, не хотелось терять оставшуюся капельку надежды, что бюст как-то связан с повестью Курганова (а то, что надежда рассыплется при разговоре, Гай отчетливо понимал). Во-вторых, будущий разговор о гранате тоже беспокоил. Казалось бы, чего тревожиться? Сержик обрадуется, еще спасибо скажет... Но когда Гай думал об этом, опять начинала кататься в душе черная дробинка.

«Ладно, завтра»,— сказал себе Гай.

Но завтра оказалось, что у шестиклассников пять уроков, а у пятого «Б» всего три, и Сержик Снежко ушел из школы рано.

А третьего числа было воскресенье. И Гай — с Толиком, Алиной и Ревским — поехал в Ялту. На «Комете» с подводными крыльями.

Поездка Гаю не понравилась. «Комета» ехала по морю, как автобус, это быстро надоело. Ялта с курортной суетой и переполненными пляжами показалась утомительной и скучной. Стоило ли уезжать из прекрасного Севастополя ради бесцельного болтанья по забитым людьми улицам, кафе и магазинам?

Хотели сходить в дом Чехова, но он оказался закрыт.

Толик, Алина и Ревский болтали о своих делах, вспоминали детство, а Гай томился. Нет, он не вредничал и не ворчал, но в нем нарастало раздражение...

В Севастополь Гай вернулся, будто домой из дальней поездки. По-родному светились окна Артиллерийской слободки. Радостно трещали цикады...

При прощании Ревский сказал:

— Приношу свои извинения за беспокойство, князь, но завтра вам надлежит быть на судне. Долг зовет вас под флаги «Фелицаты». В два часа жду на причале...

И опять не оказалось времени для Сержика.

На «Крузенштерне» Гая встретили шумными приветствиями, хлопаньем по плечу и упреками, что «забыл своих коллег по пиратскому ремеслу». Гай весело

отбивался: я, мол, не только пират, но и ученик, сейчас даже для джентльменов удачи обязательное восьмилетнее образование...

Прикинули, на каких вантах и на какой высоте будет стоять Гай во время съемки. Карбенёв решил, что оператора придется «выносить» за борт — на специальной стреле. Игорь Васильевич сказал, что для финальных кадров драная полосатая фуфайка Гая не годится. Финал — праздничный: «Фелицата» подходит к заветному острову, поэтому вся команда принаряжена. Значит, и юнге оставаться оборванцем негоже. Костюмерша Настя сняла с Гая мерку и уже через час прикинула на него сметанную блузу из алого атласа. Широкую, легкую, с летучим квадратным воротником, похожим на белый с голубыми полосками флаг.

— Но стричься — ни-ни,— сказал Игорь Васильевич.— Волосы должны живописно разлетаться на ветру.

— Пускай разлетаются,— вздохнул Гай.— Хотя сегодня дежурные уже два раза придирались.

— Терпи,— сказал Ревский.— Не так уж долго тебе осталось подрывать основы педагогики. Съемка через четыре дня...

— Ура! — подскочил Гай.

— Если не испортится погода,— вставил «пират» Витя Храпченко.— Чегой-то задувает, братцы. А?

И правда, с моря дул не ветерок — ветер. Когда шли на «Крузенштерн», портовый катер ощутимо болтало, и он не сразу ошвартовался у трапа. А на обратном пути встречная волна «дала прикурить», как выразился Витя Храпченко. Катер то зарывался по палубу, то взлетал носом на гребни. Брызги летели над палубой и рубкой от форштевня до кормы. Все укрылись внизу, но Гай все время высовывался из маленького люка впереди рубки по пояс, а то и по колени. Несмотря на ветер, небо оставалось ясным, и крылья взлетающей пены были просвечены янтарными и оранжевыми вспышками...

Чем ближе к городу, тем сильнее делались волны. Оглядываясь, Гай видел вверху, за мокрыми стеклами рубки, молодое скуластое лицо капитана. Скулы были напряжены. Но Гай не ощущал никакой тревоги. Только восторг.

Наконец качнуло так, что он не удержался и загремел вниз, ободрав ногу на окованной ступеньке трапа.

— Сударь, вы доигрались,— сказал Ревский.

— Пфе...— ответил Гай и опять рванулся наверх.

— Куда ты! И так мокрый насквозь! — Ревский схватил его за щиколотку. Гай заорал, испугавшись щекотки. Ревский с перепугу отпустил его. Гай высунулся, подставил под брызги руки, мокрой ладонью стер с ноги кровь и вцепился в комингс люка — навстречу летел такой пенный гребень! Хлестко ударило в лицо, солью заполнило рот. Гай отплевывался и хохотал.

Его стянули вниз, капитан спохватился и велел задраить люк. Гай смеялся и отлеплял от живота мокрую рубашку.

— Передай Толику, что я просил его применить к тебе педагогические санкции,— сказал Ревский.— Искренне сочувствую дядюшке такого племянника.

Гай весело сопел...

Утром ветер продувал город насквозь и устраивал на улицах кутерьму. Летели с платанов и акаций листья. Сыпались на головы прохожих и лопались спелые каштаны. Словно узкие марсели клиперов, надувались натянутые поперек улиц лозунги: «Севастопольцы! Городу нужны ваши руки, ваши сердца, ваши улыбки!», «Город и флот! Пятидесятилетию Октября — наш ударный труд!». Лозунги были написаны голубыми буквами на серой, как суровая парусина, материи.

На улице и площадке перед школой кружилась разноцветная метель. Это носилась по асфальту пестрая октябрятская малышня в трепещущих рубашках, летели с голов белые, голубые и алые испанки, реяли галстуки. У кого-то вырвалась и, как перепуганная курица, умчалась по воздуху тетрадь... И все это вперемешку с летящими листьями и проблесками солнца. Солнце среди рваных и очень быстрых облаков — серых и белых — словно махало желтыми крыльями...

Было похоже, что ветер растрепал и школьный распорядок. По крайней мере, Гай и Ася услыхали от дежурной учительницы, что сегодня и завтра шестиклассники будут учиться со второй смены. «Из-за сложностей с расписанием».

— Ну и ладно,— обрадовалась Ася.— У нас с мамой дел всяких по хозяйству... Надо комнату белить. Сейчас и займемся.

— Может, помочь? — нерешительно предложил Гай.

— Ну да! Тебя там и не хватало...

— Тогда скажи Толику, что я погуляю до школы. В Музей флота еще раз схожу...

— Только не суйся к воде.

— Я что, из ума выжил?

Даже вот здесь, у школы, был слышен штормовой прибой.

...Но все же он сунулся к воде. Обошел Артиллерийскую бухту и через Хрустальный мыс, по слоистым уступам песчаника, мимо строящегося наверху похожего на корабль здания спустился к наветренным скалам.

Ух, что тут делалось! Гай, наверно, два часа смотрел, как вздымается море у желтых обвалившихся глыб, как встают многоэтажные стены из пены и брызг. Когда стены падали, видно было зеленовато-сизое пространство, по которому шли от горизонта неторопливые валы с белыми гребнями, и Константиновский мыс, где прибой штурмовал старинную крепость. А потом опять вырастали пенные взрывы... Редкие травинки прижимались к камням.

Гай наконец продрог от ветра и брызг. Но пока он шагал к Музею флота, взмахи солнечных крыльев согрели его, а ветер высушил рубашку и волосы.

«Ну и пусть шторм! — весело думал Гай.— Ну и пусть задержится съемка! Куда спешить-то?»

Потом он долго и неторопливо ходил по прохладным залам музея с моделями фрегатов и крейсеров, с портретами адмиралов и картинами сражений. Наконец он в витрине с оружием последней войны, среди касок, автоматов с круглыми магазинами и пулеметных лент увидел несколько гранат-лимонок.

И тревожно насупился.

И со злостью на себя подумал, что хватит уже тянуть резину и себе самому портить настроение. Все так хорошо в жизни, и лишь чертова граната — как болячка на душе.

«А сегодня Сержика опять не встречу,— с досадой понял Гай.— Из-за этой дурацкой второй смены...»

Когда Гай вернулся к школе, уже тренькал колокольчик. Дежурная учительница — худая, остроносая

и, видимо, всем недовольная, кричала с порога, чтобы торопились, а не плелись.

Заторопился и Гай. Но учительница ухватила его за рукав:

— А для тебя школьные порядки не существуют?

— А... чего? — растерялся Гай.

— А «того». Космы твои! Не знаешь распоряжения?

— Дак я же с киносъемки! Спросите хоть кого! Я...

— А мне хоть из-за границы! Здесь школа, а не кино!

— Но как же сниматься-то? Да все уже в школе знают...

— А я не знаю! Фамилия? Класс?

— Пожалуйста! Гаймуратов, шестой «А»... Ну, я же...

— Он еще и «пожалуйста»! Марш в парикмахерскую, а потом пойдешь к директору! Вместе с родителями.

— Да где я их возьму вам, родителей? — не выдержал Гай.

— Ты мне еще погруби! — Она уже не слушала, держала за воротник какого-то несчастного второклассника.

Гай вытянул шею, надеясь разглядеть в вестибюле знакомых ребят или Марину Викторовну.

— Ты еще здесь?

— Ну и на здоровье! — сказал Гай. Ушел и сел на скамейку против школьного крыльца. По темени стукнул его колючий каштан. Это рассмешило Гая, и он подумал, что злиться не стоит.

Все равно все было хорошо: и город, и «Крузенштерн», и школа. И не станет белый свет хуже оттого, что встретилась одна... такая вот... Ей же потом Марина Викторовна нахлобучку даст за бестолковость, когда узнает про этот случай...

Гай решил дождаться перемены. Может быть, тогда он сумеет проскочить в школу или через ребят передаст Марине Викторовне «СОС». Он сидел, потирая вчерашнюю «штормовую» ссадину и щурясь на проблески солнца. Школьная дверь скрипуче запела, приоткрылась, выпустила на ступени стайку мальчишек. И среди них был Сержик.

Гай заволновался, будто должно было случиться что-то важное.

А что? Ну, пойдет сейчас пятиклассник Снежко с приятелями от школы, ребята один за другим начнут отставать, сворачивать к своим улицам, подъездам и калиткам. Наконец Сержик окажется один, и Гай окликнет его...

Сержик остался один даже раньше, чем рассчитывал Гай. Мальчишки дошли вместе до угла и весело разбежались кто куда. Сержик зашагал сам по себе. Но не домой. Он свернул к Артиллерийской бухте и двинулся по набережной.

Даже здесь, в бухте, защищенной от моря высоким Хрустальным мысом, волны разгулялись вовсю. Пена и брызги летели на ракушечные плиты. Сержик то подходил к самому краю, то отскакивал, увидев крупный гребень. И кажется, смеялся. Его расстегнутый поджачок трепыхался на ветру, а волосы вставали торчком.

Гай шел шагах в двадцати.

Теперь никто не мешал окликнуть Сержика, но Гай ощущал боязливую неуверенность. Робость перед щуплым независимым мальчишкой. И злился на себя.

Бухта кончилась, мыс перестал прикрывать набережную от идущих с моря волн. Пришлось подняться на бульвар. Там прошагали они еще минут пять. Потом, пройдя мимо театра, Сержик остановился у каменной балюстрады, рядом с лестницей. Лестница вела на площадку, что лежала между высокой набережной и морем. Даже не площадку, а площадь — широкую, выложенную плитами.

По плитам скакала мокрая веселая малышня. Пятеро мальчишек — по виду первоклассники. Они побросали у гранитного отвеса набережной ранцы и обувь и дразнили штормовой прибой. В секунды затишья подбирались к самому краю площадки и ждали, когда с гулким ударом встанут над плитами многометровые водяные взрывы. И прибой вставал. Великанские гребни замирали на секунду и рушились на площадку могучей тяжестью зеленой воды, сокрушительным градом брызг. Мальчишки радостно верещали и удирали из-под водопадов. А вода, грянувшись на плиты, бурлила и устремлялась назад к морю. Заливала бесшабашным пацанятам ноги по колени, старалась утянуть мальчишек с собой...

«А ведь и утянет!» — вдруг понял Гай. Потому что увидел, как один из ребят еле устоял в бурлящем потоке, а второй сел на корточки, цепляясь за щель между плитами,— вода накрыла его по плечи

Пойти да разогнать, что ли?

Сержик в этот миг что-то звонко, но неразборчиво крикнул. Его не услышали. Трое мальчишек вели вымокшего приятеля подальше от волн, к стене. Он вздрагивал и что-то весело говорил... Сержик вдруг метнулся вниз по лестнице! Потом по плитам. Куда? И Гай увидел, что пятый мальчишка в беде.

На площадке был желоб водостока. Сперва почти незаметный, он ближе к морю углублялся, а у самого края нырял под плиту. За эту плиту сейчас и цеплялся светлоголовый пацаненок. Шумная вода утянула его под каменный козырек почти по грудь. И затягивала дальше. Мальчишка беспомощно дергался. Застрял.

Новый удар прибоя тряхнул берег, и опять обрушились каскады, бурлящая вода накрыла мальчишку до ушей. Но, кажется, он засел в желобе прочно, и это на сей раз спасло его.

А в следующую секунду его спас Сержик Снежко. Пулеметчик.

Он ухватил мальчишку за плечи, оттащил вверх по желобу, рывком поставил на ноги. Прибой снова обрушился и раскатился по площадке. Сержик прижал мальчишку к себе. Вода закрутила у их ног шумные водовороты и сошла. Сержик оторвал от себя перепуганного малыша, дал ему подзатыльник и отвесил пинка — такого, что от мокрых штанов разлетелись брызги.

...И все это случилось быстро. И все это Гай видел, когда отчаянно мчался сперва вдоль балюстрады, потом по ступеням. А когда прыгнул на плиты, помощь его была не нужна.

Сержик посмотрел на Гая, улыбнулся и сказал виновато:

— Я его не сильно. Просто, чтоб в себя пришел...

— Это что вы здесь делаете, а? Кто разрешил?! — Грозный голос донесся с лестницы, и Гай увидел молодого милиционера. Тот скачками спускался по ступеням. Его белая рубашка была обтянута ветром, ремешок фуражки охватывал подбородок.

— Что за игра?! Жить надоело?!

Малыши подхватили свои ранцы, носки и сандалет-

ки и дунули вдоль гранитного отвеса к другой лестнице.

— А ну, стойте!

Ага, такие дурни они, что ли? Спасенный из водостока пацаненок улепетывал впереди всех.

Старшина милиции подступил к Сержику и Гаю:

— Ну, они-то несмышленыши! А вы? Мозги имеются? Или баловство дороже головы?

Вода шипучим языком издалека подползла к их ногам. Милиционер переступил начищенными ботинками. Сделал вдох, чтобы продолжить воспитательную речь. Гай сказал, кивнув на Сержика:

— Он человека спас, а вы кричите.

— Разговорчики... Кто кого спас?

— Вот он... Вон оттуда вытащил маленького. Его чуть в море не стащило...

— Сперва лезете черту в зубы, а потом спасаете,— буркнул милиционер.— Кто вас сюда звал?

— Он что, баловался? — обиженно сказал Гай. Подбородком показал на промокшие вельветовые полуботинки Сержика.— Кто же обутый нарочно по воде бегает?

Старшина недоверчиво глянул на Сержика и расстегнул сумку. Достал блокнот.

— А тех обормотов как зовут? Вот сообщим родителям, чтобы взгрели...

— Я откуда знаю? — усмехнулся Сержик.

— Понятно. Сам помирай, а товарища не выдавай... А если товарищи голову сломят по своей дурости?

Сержик бесстрашно пожал плечами.

— Уже не сложат, удрали... Если бы я знал, я, конечно, все равно не сказал бы. Но я правда не знаю.

— Какой герой! Отведу в отделение, там все скажешь.

— Что, по-вашему, мы должны всех мальчишек в городе знать? — огрызнулся Гай. Он хотел часть милицейского гнева отвести на себя.

Но гнева уже не было. Старшина проворчал:

— Вам игрушки, а за вас отвечай потом!

— А зачем вам за нас отвечать? — спросил Сержик.

— А затем, что я на посту.

Сержик поднял глаза — насмешливые и дерзкие:

— Правда? А почему вы тогда не здесь, а все около нашей школы ходите? Особенно когда учительница физкультуры во дворе урок ведет? Все ребята заметили...

Старшина помигал и спросил казенным голосом:

— Фамилия?

— Учительницы?

— Тво-я.

— Снежко Сергей, пятый «Б», сорок четвертая школа.

— Гаймуратов Михаил,— сказал Гай с веселым страхом.— Шестой «А».

Старшина записал. Сержик объяснил ему:

— За то, что мы какого-то первоклассника из водослива вытащили, нам двойки за поведение не поставят.

— Это он вытащил,— сказал Гай.

— То, что вытащил, дело особое. А вот то, что грубишь старшему, который к тому же при исполнении, доложу вашему директору.

— А к а к я грубил, тоже доло́жите? — поинтересовался Сержик.

Старшина спрятал блокнот и вздохнул:

— Не буду я докладывать. Я тебе просто уши накручу.

— А вот это нельзя,— серьезно сказал Сержик.— Вам от начальства попадет. За нарушение закона. «При исполнении»...

— Начальство не поверит. Я у него на хорошем счету.

— А я свидетель,— сказал Гай.

— А ты помолчи, лохматый. А то накручу обоим. Будет два пострадавших и ни одного свидетеля. Тогда доказывайте.

Сержик отпрыгнул, как кузнечик. Засмеялся:

— Двоих еще поймать надо.

— Катитесь отсюда,— печально сказал милиционер.

Сержик и Гай пошли вверх по лестнице.

— Стойте! — окликнул милиционер. Они оглянулись. Старшина деловито спросил: — В порядке уточнения. У той учительницы физкультуры как имя-отчество?

— Нина Андреевна,— вежливо разъяснил Сержик.— Очень хорошая... учительница. Но она замужем, товарищ старшина.

Милиционер поправил фуражку и быстрыми шагами двинулся к лестнице. Сержик подхватил у балюстрады свой портфель, и они с Гаем помчались по аллее. Оглядываясь и хохоча...

Бежали, пока не запыхались. Потом сели на скамейку позади длинного пластмассового киоска. Киоск заслонил их от ветра, в окруженном кустами закутке было тепло и тихо.

Гай спросил (просто так, чтобы затеять разговор):

— А этот старшина правда пасется у школы?

— Я его три раза видел. И ребята говорят...— Сержик сбросил раскисшие башмаки и, кряхтя, стягивал тугие мокрые гольфы. Словно кожу сдирал: гольфы были одного цвета с загорелыми ногами Пулеметчика.

— А что, если он накапает на нас в школе? — сказал Гай и сразу испугался: вдруг Сержик решит, что он боится?

— Не накапает...— выдохнул Сержик, выкручивая гольфы.— Что он, совсем глупый? Ему же и попадет, что не был на посту.

Гай торопливо объяснил:

— Мне-то все равно, я скоро уеду. А вот тебе...

Сержик удивленно глянул на Гая. Видно, подумал: что за странный мальчишка? Зачем увязался следом? Чего хочет?

Гай опустил глаза.

— Ты меня, наверно, забыл. Мы один раз вместе играли. Когда ты был пулеметчик...

Сержик мигнул... Улыбнулся... Вспомнил:

— А, ты на пулемет с гранатами лез! А потом пропал куда-то. А тут эти с арканом... Я тогда так разозлился!

«Я помню»,— подумал Гай.

— Так обидно стало,— вздохнул Пулеметчик.— Если бы гранатами закидали, тогда еще понятно. А то веревка... Хорошо, что у меня была граната.— Он с веселым недоумением взглянул на Гая.— Куда она потом подевалась? Пропала, будто по правде взорвалась — на мелкие пылинки...

Гай тихо сказал:

— Если бы по правде, тогда никого бы из нас не было.

— Ну да...— Сержик понимающе кивнул.— Знаешь, я как-то даже испугался. На одну секунду...

— Чего... испугался? — осторожно спросил Гай.

— Ну...— Сержик смотрел доверчиво. Может, видел в Гае товарища по суровой игре, который его поймет. Может, вообще был у Сержика Снежко такой вот открытый характер.— Я так разозлился, что взяли хитростью... Показалось, будто в самом деле на войне. Ка-ак дерну кольцо... А потом уж смотрю — это же наши ребята кругом.

«Значит, если бы не ребята, а враги, ты бы и правда дернул? Настоящую?» — едва не спросил Гай. Но не решился.

Да и чего было спрашивать? Он вспомнил тот кинжальный взгляд Пулеметчика. А сегодня! Риск там, у водостока, был, может, и не смертельный, но и не шуточный...

Сержик тоже вспомнил спасенного малыша и его приятелей.

— До чего бестолковые... Сушись теперь из-за них. Если с мокрыми ногами приду, бабка сразу в оборот возьмет...

— За что? Ты же человека спас!.. Ты объясни!

— Ага, будет она слушать! Сразу за шиворот и получ-чай, милый внучек...— Сержик хлопнул мокрыми гольфами по скамейке и засмеялся: — Знаешь, какая решительная бабушка...

— Баба Ксана? Я думал, она прабабушка.

Сержик очень удивился:

— Ты ее знаешь?

— Я...— смешался Гай.— Случайно. То есть не случайно, но... В общем, я когда с ней познакомился, я не знал, что ты ее внук... или правнук. Мне уж потом Ася Новицкая сказала.

Сержик молчал и смотрел вопросительно. Гай объяснил:

— Про бабу Ксану мне тоже Ася сказала. Потому что мы про бюст заговорили. Ну, про тот деревянный портрет офицера, что у нее стоит. Знаешь?

— Знаю, конечно...— Сержик по-прежнему смотрел недоуменно. И кажется, слегка насторожился. Может, решил, как и баба Ксана, что речь пойдет о музее? — А чего он тебе, этот бюст?..

— Да он как раз не «этот»,— вздохнул Гай.— Я думал, что он с «Надежды», которой Крузенштерн командовал... Это давняя история, про одного лейтенанта и

его бюст... Я подумал: а вдруг это тот самый? А баба Ксана говорит, что нет. Что это какой-то севастопольский герой... И что его друг ее сына вырезал...

— Ну да,— сказал Сержик, словно спрашивал: «Что здесь удивительного?»

— А кто этот офицер? Не знаешь?

— Знаю, конечно. Лев Толстой.

Гай изумленно заморгал. Сержик засмеялся:

— Это не тогда Лев Толстой, когда он с бородой, старый, а раньше. Когда он здесь на бастионах воевал. Ты, что ли, не слышал про это?

Гай, конечно, слышал и читал. И памятник Толстому видел на Четвертом бастионе — черный камень с белым барельефом. И сейчас понял, что барельеф и бюст похожи. И еще вспомнил портрет молодого Толстого в книге «Севастопольские рассказы». Можно было бы сразу догадаться...

«Или что? Ты все-таки надеялся, что это по правде Алабышев?» — с хмурым ехидством спросил себя Гай.

Сержик сказал, словно извиняясь:

— Вообще-то сходство там, наверно, не очень хорошее. Не художник ведь делал.

— Нет, хорошее. Теперь я понял,— вздохнул Гай.— Просто до этого я о другом думал... А баба Ксана почему не знает, что это Лев Толстой?

— Ей говорили, да она не помнит. Старая ведь уже... А потом и говорить не стали. Пусть думает, что Гриша...

«Конечно, пусть...» — мысленно согласился Гай. И сказал:

— А она мне совсем не показалась злой... баба Ксана... Наоборот...

Сержик тихо улыбнулся:

— А она и есть наоборот. Просто она притворяется сердитой. Чтобы судьбу обмануть.

— Зачем?

Сержик опять глянул доверчиво.

— Ну, понимаешь, она же суеверная. Потому что возраст... Ей кажется, будто за ней кто-то невидимый следит, навредить хочет. И если она кого-то сильно полюбит, этот невидимка может тому человеку зло сделать... Или совсем погубить, как Гришу.

— Кто? Бог, что ли? — смущенно спросил Гай.

— Да нет. Она говорит, что бог-то как раз добрый...

Пока церковь на Большой Морской работала, она туда каждую неделю ходила. А сейчас в другую ходит, на кладбище... Но она говорит, что бог не может каждого от злой судьбы защитить, людей-то вон сколько... Вот она и притворяется, чтобы горе отвести. Чуть что — сразу меня веником или рушником: «Ах ты злодий, я ж тебя зáраз!..» — Сержик засмеялся, но сразу замолчал и вдруг сказал полушепотом: — А если думает, что сплю, сядет рядом и волосы мои трогает. Шепчет что-то... Мне тогда ее жалко...

Гай робко кивнул: «Понимаю...»

Сержик негромко проговорил:

— Что прабабушка, что бабушка, не все ли равно? Отец ее мамой зовет, хотя на самом деле внук. Она его вырастила...

— Ага, она говорила...

Разговор угас на печальной ноте, и Сержик, видимо, ощутил неловкость. Встряхнулся, сказал весело:

— А иногда она и в самом деле так рассердится, что ой-ей! Тогда из-за гранаты на меня вон как напустилась: «Чтоб тебя с этой страхилатиной поганой дома не было!» Я и пошел куда глаза глядят... Аську встретил — и с ней в Херсонес: она к деду, а я так... А там Руслан, мы с ним раньше вместе учились...

— Рыжий такой?

— Да... Говорит: «Играть с нами будешь? Иди в засаду». Граната сперва в сумке у Аськи была, потом я ее с собой в укрытие взял, незаметно... А потом она — фью! — бабе Ксане на радость... И куда провалилась? — Сержик забавно развел руками.

Вот и настал наконец этот момент. Гай коротко вздохнул и сказал решительно:

— Я знаю, где твоя граната.

Сержик удивился. Так же, как в тот раз, когда услышал о «прабабушке». Смешно замигал, рот округлил.

— Ее не там искали,— сказал Гай.— Она попала под большой камень, там такая яма, вроде норы... Выше по склону...

— А сейчас она где?

— Наверно, и сейчас там. Куда она денется? — хмуро сказал Гай.— Там незаметно...

— А почему ты не достал?

— Ну, а куда я с ней?.. Я ее не сразу нашел, ребят уже не было... А больше я туда не ездил, закрутился...

Сержик рассеянно кивнул.

Гай виновато проговорил:

— Я тебя потом искал, чтобы сказать. А ты уехал.

Сержик ничего не ответил. В его молчании Гаю почудилось недоверие. Гай предложил торопливо:

— Давай съездим, я покажу, где она... Или сам привезу, если хочешь.

Сержик с сопеньем натягивал подсохшие гольфы. И вдруг сказал:

— Да ну ее... Пусть лежит.

— Как? — удивился и не поверил Гай.

— Да ну ее... Это сперва с ней интересно, а потом не знаешь, что делать.

— Как что... Играть,— неуверенно сказал Гай.

Сержик мотнул головой.

— С ней трудно играется. Она почти настоящая. У всех оружие деревянное, а она такая... все только на нее и смотрят. Получается, будто ты сильнее всех, если такая граната...

Он сказал то, что Гай чувствовал еще в Херсонесе. Но Гай тогда и подумать не мог, что у Пулеметчика такие же мысли.

Сержик нехотя объяснил:

— Если настоящая война, там все настоящее. А если игра, все должно быть игрушечное, а то нечестно...

— Значит, тебе ее совсем не надо? — недоверчиво спросил Гай.

— Пусть лежит... Бабе Ксане спокойнее... А если хочешь, бери ее себе!

— Нет! — быстро сказал Гай.

Сержик не удивился.

— Ну, нет так нет.— И повторил: — Пусть лежит...

— Но ты же говорил, что это подарок,— напомнил Гай.

— Ну и что? Это такой подарок... просто довесок. Андрей мне вообще-то самострел подарил с резиной, а про нее сказал: «Ладно, забирай и ее заодно, если надо...»

Сержик обулся, встал, весело потопал.

— Сырые еще. Ладно, сойдет...

«Вот и все»,— сказал себе Гай. Глупая история с гранатой кончилась.

Но облегчения Гай не почувствовал. Черная дробина по-прежнему шевелилась в нем. И Гай знал почему.

Этому городу, морю, «Крузенштерну» — всему, что было вокруг,— нужен был другой Гай. Острову капитана Гая нужен был другой Гай. И самому Гаю нужен был другой Гай. Честный до конца.

А если есть в душе хоть капля обмана, так и будешь смотреть на всех с тайной опаской, со скрытой виноватостью. И остров будет исчезать или тонуть за горизонтом раньше, чем к нему подплывешь.

«Но не все ли теперь равно? Ведь главное-то я сказал!» — огрызнулся на себя Гай.

— Ты где живешь? — спросил Сержик.

— Рядом с Асей...

— Я и не знал. Тогда пошли? Нам по пути.

— Мне в школу надо...

Гай скомканно рассказал о стычке с учительницей, а заодно и почему нельзя стричься, и откуда он приехал; и что сейчас надо попасть в школу, потому что Ася, наверно, беспокоится: куда он девался? И два ее учебника у него в портфеле...

— Вот это да...— выдохнул Сержик.— Значит, мы тебя в кино увидим?

— Ну... наверно. Если получится.

— Жалко,— вдруг сказал он.

— Что жалко? — испуганно спросил Гай.

— Да я не про кино. Жалко, что скоро уедешь.— Сержик посмотрел на Гая ясно и улыбчиво.

И тогда, словно шагая с высокого берега, Гай сказал:

— Сержик, ты меня прости...

Глаза у Сержика сделались большими от изумления.

— Я наврал, что случайно нашел гранату,— выдавил Гай, глядя в землю.— Я сразу видел, куда она упала... Я думал: никто не знает, ну и я... в общем, думал: возьму себе потом...

Гай понимал, какой он сейчас жалкий, растрепанный, красный, несмотря на загар. Чувствовал себя пришибленным и маленьким перед пятиклассником Сер-

жиком, который ему чуть выше плеча, но у которого бесстрашная и чистая душа.

Ох как тошно... И все-таки вместе с этой мукой он испытывал облегчение. Словно разбил стекло в душной комнате.

Гай заставил себя поднять глаза. Сержик смотрел растерянно. Так, словно это он, а не Гай виноват. И сказал скомканно:

— Да чего... Да это хоть с кем бывает. Я один раз тоже, когда моторчик у Андрея увидел... А после...— Он тряхнул головой, сделался спокойнее и строже. Утешил Гая: — Не надо про нее... Ты же не взял.

Щеки у Гая все еще горели. Но вздохнул он так, словно вынырнул из глубины. Прошептал:

— Не взял, конечно... Это я сперва...

Сержик вдруг обрадованно взметнул ресницы:

— Послушай! Но раз тебе ее надо, то возьми! Все равно она там без дела валяется.

— Да нет же! Я тогда... ну, просто дурак был Не надо мне ее сейчас.

Сейчас ему надо было другое: чтобы Сержик не затаил обиды.

Однако Сержик теперь смотрел непонятно. И сказал нехотя:

— Не надо так не надо... Я пойду тогда... А ты тоже иди, второй урок уже, наверно, кончается.

Отчуждение прошло между ними, как тень пасмурного облака.

— Ага... Пока...— потерянно отозвался Гай.

И они разошлись.

Гай медленно шел к школе и нес в себе ощущение потери, нес свою печаль. И все-таки он ни о чем не жалел. Он знал, что похожая на крошечную гранату дробина больше не станет его тревожить.

И еще одно грело Гая. Легонько грело, как солнечный зайчик. Воспоминание, как он мчался на помощь Сержику к водостоку. Гай не успел, но это не его вина. Он ни одного мига не сдерживал себя, рвался изо всех сил. И если бы смыло Сержика или того пацаненка, он, Гай, ни секунды не думая, ринулся бы в прибой. Он знал это тогда и помнил теперь. И шаги его понемногу делались крепче...

...— Эй!

Гай не оглянулся. Мало ли кого окликают на улице

Сзади нарастал частый топот.

— Подожди! Миша!.. Гаймуратов!

Сержик догонял его, трепеща своим летучим пиджачком.

Откуда он знает имя? Ах, да! Из разговора с милиционером...

Сержик остановился, часто дыша.

— Я... забыл спросить... У тебя сколько уроков?

— Да кто их знает! — поспешно сказал Гай.— Такое бестолковое расписание...

— А ты... может, придешь к нам вечером, а?

— Я? Ладно!.. Если хочешь...

Ветер все шумел, гнал по стенам, по асфальту летучие солнечные лоскутья. Веселый такой ветер. Просто смеяться хотелось.

Сержик пнул подкатившийся под ногу каштан, и они с Гаем смотрели, как колючий шарик прыгает по тротуару.

Потом Сержик посмотрел на Гая:

— Та история... про лейтенанта и про бюст... Я так ничего и не понял. Расскажешь?

ОСТРОВ

Голос Карбенёва:

— Внимание — камера!

Голос Ревского:

— Гай... давай!

Гай взлетает на планшир, прыгает на первую ступеньку вант. И пошел наверх! Легкий, радостный, дождавшийся своего часа...

Гай босиком. В башмаках с пряжками оказалось тяжело и неловко. А широкие планки вовсе и не режут ноги. Правда, пришлось утром подставить гримерше тете Рае свои ступни для крема номер пять, но, взвизгивая и обмирая от щекотки, Гай выдержал эту пытку. Ради искусства...

На двенадцатой ступеньке Гай останавливается. Ветер дует ему в затылок и правую щеку, треплет и путает волосы, полощет алую голландку, закидывает на голову белый воротник.

Паруса — над Гаем и вокруг него. Всюду. Громадные. Золотисто-белые на солнце и голубые в тени. Туго

и круто выгнутые, они кажутся твердыми, как фарфор: щелкни пальцем — и зазвенят.

Судно идет с креном на левый борт. Сзади и сбоку его пытаются догнать зеленовато-синие волны, кое-где на них вспыхивает пена. Волны не очень большие, стальную четырехмачтовую громаду им не раскачать. Но, рассекая воду, гулкий стометровый корпус винджаммера ровно вздрагивает и ощутимо звенит. Басовито-струнным гудением отзывается такелаж. Плетеная сталь вантовых тросов дрожит, как натянутые мышцы, и это напряженно-радостное дрожание передается Гаю...

С борта вынесена ажурная стрела крана с площадкой для оператора. У камеры сам Карбенёв. Темно-синий выпуклый объектив издалека нацелен на Гая.

— Гай — давай!

Держась за трос одной рукой, Гай вытягивается вперед (ух и ветер!). В синеве и солнце встают далекие желтые берега. На них — блестки белых домов.

— Остров!

Гай оборачивается. Ветер откидывает назад волосы, хлопает воротником. И Гай кричит опять — тем, кто на палубе:

— Вижу остров!

...В море они ушли накануне, под вечер. Когда махина «Крузенштерна», постукивая машиной, выбралась за боны, солнце уже скатывалось к горизонту. Слева тянулся изрезанный бухтами Каркинитский берег. Издалека его желто-полосатые обрывы казались невысокими. Оранжевыми маячками вспыхивали от закатных лучей стекла. Медленно двигались красные огоньки Лукуллъского створа. Если свернуть на них, когда они окажутся друг над другом, выйдешь прямо к центру Херсонеса... Но «Крузенштерн», конечно, никуда не сворачивал, шел в открытое море.

Закат разукрасил море разноцветными зигзагами. Носились темные чайки. Наступал «режим» — короткое время ясных сумерек, в которых операторы снимают ночные сцены. Зашипели, засияли голубым светом юпитеры. Началась съемка сцены «Рассказ Битт-Боя». Лоцман Битт-Бой по прозвищу Приносящий Счастье рассказывал морякам о далеком счастливом острове. Он взялся привести «Фелицату» к этому острову. И никто не

знал — какой ценой! Никто пока не ведал, что Битт-Бой смертельно болен и самому ему на этом острове не жить...

В толпе матросов, окружавших Битт-Боя, снялся и Гай...

Когда почти стемнело, «Крузенштерн» ошвартовался у пятимильной бочки — громадной плавучей цистерны, поставленной на мертвый якорь в пяти милях от Херсонесского мыса. Курсанты шепотом поговаривали, что капитан нервничал: боялся, что в темноте бочку не отыщут и придется всю ночь лежать в дрейфе. Ну, ничего, нашли. Стали. «Крузенштерн» засветил якорные огни.

Молодой месяц (звонкий и рогатый) повис над морем и отразился неяркой желтой цепочкой. Далекий Севастополь сквозь дымку светил переливчатыми огоньками — уличными, корабельными, маячными. Они дрожали на горизонте, как блестки, как светлая пыль. А в южной части темного моря разгоралась, затухала и вспыхивала опять электрическая звезда Херсонесского маяка.

Включили магнитофон. Знакомая песня — «Опускается ночь все чернее и злей, но звезду в тучах выбрал секстан» — разнеслась из динамика над тихим морем. Хорошая песня, сурово-печальная и смелая. Гай ее запомнит навсегда. Но сейчас ночь была совсем не зловещая, звезды светили ясно и по-доброму. И наверно, поэтому песня угасла, словно кто-то плавно повернул до нуля регулятор громкости.

Большая компания молодых актеров и курсантов собралась на корме. Светил фонарь. Иза взяла гитару. Кто-то попросил:

— Давай «Апрельскую»...

Иза тронула струны и запела задумчиво и чисто:

...А по Москве горят костры —
Сжигают старый мусор.
И дым плывет по пустырям
Такой же, как в лесу...
Я дом ищу, где он живет —
Мальчишка темнорусый.
Он не пришел — и я ношу
Тревогу на весу...

Песня была, наверно, хорошая, мотив красивый. Но Гай слушал с досадой: тут ночь в почти открытом море, палуба, дальний маяк, огни проходящего теплохода — и вдруг поют совсем не о том. Костры какие-то, улицы сухопутные, свидания...

А гитара неторопливо пересыпáла звонкие аккорды, Иза пела:

Скатилось солнце за дома,
Поднялся месяц светлый —
Глядит на улицы с высот
Светло и озорно.
И вот мальчишка тот идет —
Спокоен он и весел,
Как будто в душу не ронял
Тревожное зерно.

Месяц и сейчас был такой — светлый и немного озорной. И это примирило Гая с песней. Слова про «тревожное зерно» напомнили ему о черной дробинке, но в напоминании не было упрека: Гай с облегчением еще раз подумал, что развязался с этой историей навсегда.

А последний куплет был совсем хороший.

И будет песенка его —
Как огонек в ладонях:
Про корабли, про острова,
Про синий блеск морей...
И летний запах костровой
По переулкам гонит
Врасплох застигнувший Москву
Безоблачный апрель...

Гай понял, что, когда он услышит эту песню снова, будет думать не о Москве, не об апреле и кострах, а вспомнит эту ночь и палубу «Крузенштерна». И мальчишка с огоньком в ладонях, с песенкой о синем блеске морей и островах показался ему похожим не то на Сержика, не то на Юрку Веденеева, хотя Юрка и Сержик друг на́ друга нисколько не были похожи... А слово «костровой» послышалось Гаю как «островой», хотя такого прилагательного в русском языке, кажется, нет.

...С этими мыслями Гай и пошел спать в курсантский кубрик — там нашли для него свободную койку.

Утро было без единого облачка. У курсантов начались учения. Боцмана́ кричали в мегафоны раскатистые команды. Ребята умело разбегались по вантам и реям. Гай, заломив назад голову, завороженно следил, как распускаются и обвисают тяжелыми складками паруса... Но складки были неподвижны. Карбенёв и Ревский нервничали. Однако второй штурман Бурцев сказал:

— Спокойствие, товарищи, к полудню задует. У нас все по графику.

В самом деле — после одиннадцати часов море взъерошилось, потянул ветер. И не с норд-веста, как ждали, а с зюйд-веста. Лучшего и желать было невозможно. Именно при этом ветре «Крузенштерн» мог идти курсом крутой бакштаг, лучшим для такого парусника, и так, чтобы и солнце оказалось с нужной стороны.

— Брасы и шкоты на левую! Отдать носовой!..

— Гай — давай!

Он снова пружинисто взлетает по вантам. В кино эпизод займет несколько секунд, но надо, чтобы эти секунды запомнились зрителям надолго. Чтобы на экране было все как можно лучше: и высвеченные солнцем ярусы парусины, и мальчишка с разметавшимися на ветру волосами. И радость этого мальчишки, первым заметившего долгожданную землю.

И Гай опять, вцепившись правой рукой в гудящий трос, левую выкидывает вперед:

— Остров! Вижу остров!

Он кричит это друзьям-морякам, себе, небу, морю, желтым берегам, которые вырастают из синевы, распахиваются, как крылья. Городу кричит, который встает над берегами!

Это и есть его остров! Не надо его придумывать! Оказалось, что он — на самом деле. Такой, о котором Гай мечтал: со скалистыми обрывами, старыми крепостями, запутанными улицами и лестницами, со старинными пушками на бастионах. С тайнами оборонительных башен и подземелий. С суровыми легендами о героях...

Он, этот остров, складывался в сознании Гая, как складывается постепенно из рассыпанных кубиков целая картина. И теперь — вот он, весь! И крик Гая — не для кино. Это его настоящая радость, его открытие:

— Остров! Вижу остров!

Берега все круче, город все ближе — сверкающий, радостный...

Нет, не только радостный. Справа тянется берег, где перемешаны с камнями и землей кровь и кости. Впереди, на дальнем склоне, различимы хатки и заборы Артиллерийской слободки, и в одном из домов живет

баба Ксана, не дождавшаяся с войны сыновей... Сколько их было — тех, кто здесь полег... Сколько сейчас горя у тех, кто не дождался...

Но город все равно встает светлый, веселый, уверенный в своем праве на радость. И как стальное подтверждение этого права — синеют в глубине Большой бухты эсминцы и крейсера с их ступенчатыми башнями, стволами и решетчатыми парусами локаторов...

Парусник мчится к входу на Северный рейд, и Гай летит над морем. Навстречу городу, навстречу своему Острову.

Навстречу друзьям.

...Они нырнули со скользких, обросших зеленью свай в Артбухте. Разом, втроем. Гай вынырнул первым. Почти сразу за ним — Ася. И лишь через полминуты — Сержик. Он помахал рукой с добычей — большой раковиной-рапаной.

На берегу Сержик ловко подрезал ножичком спайки моллюска, ударил зажатой в ладонях раковиной о колено и вытряхнул мякоть. Выдул из ракушки капли. Прижал к уху:

— Шумит?.. Шумит. Бери, Гай.

Потом нашли еще несколько рапан — в основном Сержик, но и Гай нащупал на дне одну, маленькую. Но та, первая, от Сержика,— дороже всех.

...Когда проводили Сержика до калитки и шли по улице Киянченко, Гай снова приложил большую раковину к уху. И вдруг спросил Асю:

— Ты тогда, в Херсонесе, когда я на дракончика наступил, случайно меня увидела?

Ася помолчала. Сказала шепотом:

— Нет...

Гай больше ничего спросить не посмел.

Ася проговорила с запинкой:

— Я еще там... наверху... Вижу: ты немножко не такой, как все... Мне интересно стало...

— Почему «не такой»?

— Ну, все бегают, гранату ищут, а ты стоишь задумчивый...

Гай стиснул раковину двумя ладонями. Сказал сипло:

— Ася... Я не задумчивый, а скотина был. Я с самого начала знал, где лежит граната. И молчал.

— Ну и правильно молчал.

— Нет, я не потому, что правильно. Я... в общем, я Сержику уже сказал про это... Я думал тогда: раз никто не знает, я ее потом... ну, забрал себе и все...

Он искоса глянул на Асю. Она шла, опустив голову.

— Я свинья, верно? — тихо сказал Гай.

— Не...— вздохнула Ася.— Вы, мальчишки, просто иногда какие-то глупые. Все запутаете и сами мучаетесь. И уж потом только: трах, трах!..

— Что «трах»? — удивился Гай.

— Ну, как тот Сережка... Из книжки «Судьба барабанщика».

— А... при чем тут я-то? — испуганно изумился Гай.— Я же в шпионов не стрелял.

— Все равно... Ты мне сразу показался на него похожим.

— На Барабанщика? Ну, ты даешь...

Негромко, но строго Ася сказала:

— Ты меня спросил, я ответила. Честно. Не смейся...

— Я смеюсь, что ли...— пробормотал он.

— ...А потом я иду по берегу, вижу — ты сидишь, за ногу держишься...

— Ага, «сидишь»,— усмехнулся Гай.— Катался и корчился... Если бы не ты, наверно, помер бы.

— Ну уж...— усмехнулась Ася.

Гай сказал:

— Так я и не собрался в Херсонес. А сейчас той компании, наверно, уже нет. Кто разъехался, кому просто некогда — уроки... Хотя бы Артура встретить.

...С Артуром он так и не встретился. Зато однажды они увидели «ушастого воробышка» Вовку.

Гай, Сержик и Ася шли по Матросскому бульвару. За памятником Казарскому — каменной пирамидой с бронзовым древнегреческим кораблем — аллея вела к фонтану. На краю круглого бассейна и сидел Вовка. Он смотрел на каменного мальчишку в бескозырке. Мальчишка стоял на валуне посреди бассейна и, наклонившись, собирался пустить в воду модель крейсера.

— Вовчик! — обрадовался Гай.

Воробышек не удивился. Коричневыми круглыми глазами глянул на всех троих по очереди. Спросил:

— Как вы думаете, они кусачие? — И показал на воду. Среди плоских плавучих листьев видны были золо-

тисто-красные рыбки. Даже не рыбки — рыбы. Они двигались медленно и уверенно.

— С чего им кусаться? Не пираньи ведь какие-нибудь,— сказал Сержик.— А тебе-то что?

Вовка кивнул на каменного мальчика:

— Мне к нему надо.

— Зачем? — удивился Гай.

Вовка подумал и показал маленький пластмассовый компас.

— Хочу ему вот это... на руку...

— Зачем? — удивился теперь Сержик.

Вовка насупился. Спрятал компас в кулаке.

Гай стряхнул сандалеты.

— Садись.

Воробышек молча и благодарно уселся ему на закорки. И Гай понес его к центру бассейна. Мысль о том, что рыбы могут противно ткнуться губастыми мордами в ноги, заставляла поеживаться. Но все-таки Гай решительно шагал, раздвигая коленями листья. Потому что ушастому воробышку Вовке, видимо, очень нужно было подарить каменному мальчишке свой компас. Может быть, Вовка знал, что этот мальчик — заколдованный и по ночам оживает и пускает свой кораблик в бассейн. Может, это был Вовкин друг. Может — житель какой-то сказочной страны или Вовкиного острова. Потому что очень даже возможно, что у Вовки тоже есть свой остров.

...Наверно, у всякого человека есть Остров. У каждого свой. У одного настоящий, у другого придуманный, но все равно он есть. У кого-то — целый город, а у кого-то — просто уголок в душе или лужайка в городском сквере за непролазными кустами акации. Или прочитанная в детстве книжка. Или сказка, которую сочинил сам...

Остров — это место, где человек может быть радостен и тревожен, счастлив и несчастен, но даже в тревогах и печали на Острове все честно и ясно. И самому хочется быть чистым душой, чтобы Остров, который ты открыл, принял тебя...

И у Аси есть Остров... Может быть, это книжка «Судьба барабанщика»?

И у Сержика есть... Какой? Гай не знает. На чужой Остров не высадишься непрошеным гостем. И не всякого позовешь на свой. А может быть, и не надо? Вот

шагают рядом Ася и Сержик и не знают, что они — жители Острова капитана Гая. Ну и пусть не знают. Главное, что они есть.

И может, для Юрки Веденеева Гай — тоже островитянин. Может быть, речной обрыв с кривым тополем и подвешенным к нему канатом с обручем — это берег Острова, лежащего в дальнем море? Там, на обрыве, Гай и познакомился с Юркой. Юрка ложился грудью внутри обруча, отталкивался и летел по широкой дуге в пустоте, над рекой, которая глубоко внизу кружила желтую воду. Летел, пока сила тяжести не приносила его назад на кромку берега... Гай вышел из-за другого тополя и смотрел с завистью и удовольствием на отчаянного мальчишку в разодранной на боку ковбойке. А тот, растрепанный и веселый, приземлился рядом и не оттолкнул Гая взглядом, не насупился, не сказал «чё зыришь?». Улыбнулся как знакомому:

— Хочешь полетать?

И Гай выдохнул испуганно и благодарно:

— Хочу...

...Юрке Гай все-таки расскажет про свой Остров. Не так, как в прошлый раз — стесняясь и глупо хихикая, а серьезно и подробно. Про нынешний Остров расскажет, про все, что здесь было. Про то, как перемешиваются иногда жизнь и сказка, радость и печаль, прошлое и теперешнее время. Про синие от моря и горячие от солнца дни. И может быть, Юрка почувствует все это. Даже обязательно почувствует. И они словно возьмутся за руки и вместе прыгнут на твердый песок из подошедшей к Острову шлюпки...

— Вижу Остров!

Потом Гай будет кричать это с тысяч экранов...

Когда-нибудь зимой в Среднекамске появятся разноцветные афиши — «Корабли в Лиссе». И мальчишки в классе будут хлопать Гая по плечу, пряча зависть за насмешливым одобрением, а девчонки переглядываться и таращить на него глаза. И Алла Григорьевна, учительница по литературе, проговорит медовым голосом (она умеет так, если хочет): «Я думаю, Гаймуратов расскажет нам на классном часе об участии в съемках этого замечательного фильма...» И Гай, наверно, расска-

жет. О «Крузенштерне», об артистах, об оружейнике Косте. Но расскажет, конечно, не как об Острове. О нем — только Юрке. В хорошую минуту...

Барк вышел на Инкерманский створ и убрал паруса. Начал вдвигаться, стуча машиной, в бухту. Казалось, весь город смотрит, как движется мимо высоких берегов, белых зданий, маяков и старых фортов винджаммер с поднебесными мачтами.

Через полчаса «Крузенштерн» встал у бочки против Голландии. Еще не закончили швартовку, как подлетел к борту взмыленный катерок под гидрографическим флагом. С него что-то решительно прокричали в рупор. И понеслось по палубам:

— Гай!.. За Гаем приехали!.. Мишу Гаймуратова к трапу!

На борт поднялся незнакомый парень в морской куртке без нашивок. Гай подбежал — весь в тревоге: что случилось?

— Письмо тебе от Нечаева. Собирайся.

Гай развернул сложенный вчетверо листок.

«Гай! Переменились планы. Завтра выходим на испытания. Это неожиданно и срочно. Тебе — сегодня вечером на самолет, иначе нельзя. Гай, торопись...»

Он не удивился. В глубине души он даже предчувствовал что-то такое... На Острове не живут долго. К нему долго плывут, а когда он открыт — сказка быстро катится к концу.

Потом будешь вспоминать Остров всю жизнь, будешь снова стремиться к нему и, может быть, приплывешь еще не раз. Но это если и будет — потом. С радостью, но без прежнего счастья открытия. Грустная эта догадка тоже шевельнулась у Гая.

«А может, и хорошо, что так сразу, без лишней печали»,— мелькнула мысль. И все же Гай растерянно оглянулся на Ревского.

Тот взял письмо.

— Я поеду...— прошептал Гай.

— Да... Нет, подожди! — И Ревский сказал посланцу Толика: — Всего две минуты, прошу вас...

Он отошел, и скоро из динамика разнесся его голос:

— Съемочной группе собраться на спардеке! Михаилу Гаймуратову — на спардек!

...Еще не переодевшихся после съемок артистов Ревский выстроил в шеренгу. Не всех, конечно, а тех, кто оказался поближе. Тех, с кем Гай был уже хорошо знаком. Здесь же оказались Иза, оружейник Костя, Настя и тетя Рая. И сам Карбенёв.

— Друзья,— сказал Ревский.— Сегодня Гай улетает домой, так повернулась судьба. Слава богу, мы успели снять все, что хотели... Гай нас не забудет, мы его тоже...

— Гип-гип-ура! — гаркнул Витя Храпченко, оттянув на подбородке искусственную бороду.

— ...Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Ура! Ура! — дружно, вполне по-матросски грянула пестрая шеренга. И Ревский повел Гая вдоль строя, и каждый пожимал Гаю руку, и у него перехватило горло и намокли глаза.

Когда подошли к Насте, Гай шепотом сказал:

— Ох, надо ведь сдать...— Он потянул через голову алую блузу.

— Оставь,— сказала Настя.— Как-нибудь спишем. Пускай будет на память.

Иза дала Гаю сверток с фотоснимками и так хлопнула по плечу, что в ушах словно струны отозвались! «А по Москве горят костры...» — почему-то вспомнил Гай и слабо улыбнулся...

Уже у трапа Гая остановил Ауниньш. Протянул папку.

— Здесь вымпел и снимки «Крузенштерна». От команды... Может, когда-нибудь придешь на «Крузенштерн» капитаном. А? — Он строго пожал Гаю руку, а потом по-мальчишечьи подмигнул.

Катер помчался не к Графской пристани, а свернул в Южную бухту. Она, как улица домами, была с обеих сторон заставлена судами всех размеров, типов и расцветок. Проскочив у кормы с названием «Стрелец» и синим флагом гидрографов, катер закачался у белого борта

На палубе Гая встретил Толик. Слегка насупленный, весь в своих заботах, для которых Гай был только помехой. Однако улыбнулся:

— Какой ты живописный... Ну вот, Майк, так получилось, мы сами не ждали... Знаешь, каких трудов

стоило сменить опять твой билет! Пришлось просить броню в горкоме...

Гай сумрачно сказал:

— Если самолет вечером, чё уж так горячку-то гнать...

— Вылет в двадцать ноль-ноль, за час надо быть на регистрации, два часа ехать до аэропорта. Билет на автобус еле-еле достал, везде очереди. Автобус отходит без десяти пять. Сейчас пойдем собираться... А ночью будешь уже дома. Я и маме позвонил, чтобы встретила.

А ведь правда — совсем скоро он будет дома!

И Гай коротко и шумно вздохнул — от радости. Он понял, как отчаянно соскучился по маме, по деду, по бабушке, по Галке (и по отцу, конечно, тоже, но до него так просто не долетишь). И просто по дому соскучился, по своей улице, где сейчас пахнет палым тополиным листом. По своей школе с ее веселой толкотней, с запахом мокрых от дождя курток в раздевалке, с окликами: «Гай, привет! Гай, тебя Веденеев искал!» По сентябрьскому ветру с реки, по сизым облакам над заречными горизонтами, по ярким гроздьям рябин в скверах и палисадниках...

По Юрке...

Они поднялись по головокружительной лестнице, ведущей от пирса к площади Ушакова. Толик все поглядывал на Гая и наконец спросил:

— Ты так и будешь ходить? В этой романтической хламиде?

— А что? — огрызнулся Гай. Он по-прежнему был в алой матросской блузе, а его рубашка вместе с полотенцем, зубной пастой и прочим имуществом лежала в портфеле. В Асином портфеле, с которым Гай ходил в школу и с которым вчера отправился на «Крузенштерн». Там же лежали и подаренные фотоснимки.

— Да ничего,— сдержанно сказал Толик.— Просто привлекаешь внимание...

— Жалко, что ли?

— Не жалко... Гай, ты будто считаешь, что это я виноват, что у нас завтра срочный выход...

— Не считаю. Даже хорошо, что так получилось. Сразу...

— Вот и я думаю, что хорошо.

— Но я не успел,— сказал Гай.

— Что? Сняться?

— Нет... Вообще... Толик, отпусти меня на два часа! К четырем я буду дома как штык! Честное слово!

Он теперь понимал, чего ему не хватило. Попрощаться с Херсонесом! Ведь именно с тех мест началась его любовь к этой земле, к этому городу. Будто именно там он впервые высадился на Остров.

— Толик, я съезжу в Херсонес... А?

— Ох, не нравится мне это,— честно сказал Толик.

— Я знаю. Ты будешь смотреть на часы и нервничать. Будешь думать: не случилось ли чего в последний момент. Да?

— Видишь, ты понимаешь...

— Но ты ведь тоже понимаешь. Мне правда надо. Чтобы последний раз... Когда я еще здесь окажусь?

Гай все больше чувствовал, как отчаянно ему это надо. Чтобы потом не тосковать, не чувствовать себя так, словно кого-то забыл или обидел.

Гай хотел даже сказать: «Ты же знаешь, там дедушка». Но это было бы нечестно. Во-первых, не только в дедушке дело. Во-вторых, вообще нельзя об этом, когда что-то просишь.

Но Толик понял и так.

— Я поехал бы с тобой, но у меня прорва дел,— неуверенно сказал он.

— Не надо. Один-то я — бегом!.. Толик, я там никуда не полезу. И даже купаться не буду...

— Давай. Но смотри...

Гай дернул с себя алую голландку, выхватил из портфеля и натянул рубашку. Портфель и блузу сунул в руки Толику.

— Я — точно к четырем!

ГРАНАТА

Гай рассчитал, что для Херсонеса у него не меньше часа. Он попрощался со здешними местами без суеты. От остатков башни на мысу у Песочной бухты он прошел через весь заповедник — то галечными пляжами и обрывами, то среди развалин.

Ветер стих, день стоял нежаркий, но солнечный, летали бабочки. Было пустынно. Никого из ребят Гай, ко-

нечно, не встретил и, по правде говоря, не жалел об этом: что, кроме грусти, принес бы короткий разговор перед расставанием?

Гай гладил пористые камни крепостных стен, теплый мрамор колонн. Сунул в нагрудный карман желтое созвездие сурепки и пыльно-синий цветок цикория — чтобы засушить потом в книжке. У одинокой колонны среди низкорослого терновника Гай стоял минуты три — смотрел, как бегает вверх-вниз по отвесному мрамору ящерка-геккон, и не первый раз удивлялся: как она держится на гладкой вертикали?

У полукруглого гнезда берегового орудия Гай стоял дольше. Винтовые штыри, на которых когда-то крепился орудийный станок, ржаво темнели на бетонном дне. Из трещин росла трава. Гай подумал, что в сорок втором году это гнездо на скальной круче (из которого торчал тогда длинный ствол корабельной пушки) видел, наверно, не раз политрук Нечаев.

В гнезде на темном бетоне стенки темнели ровные крупные буквы: «Прощай, дружище Севастополь! Мы дети «Потемкина», внуки Петра. Ревком «Краб». Это написали коричневой масляной краской студенты-археологи еще в позапрошлом году (Славка, сын профессора, тогда тоже был с ними). Гай видел надпись не первый раз. Раньше он всегда испытывал досаду: мало ли кто чей внук, зачем краской-то ляпать там, где люди воевали? И Севастополь никакой не «дружище», он просто С е в а с т о п о л ь. Чего его по плечу похлопывать?.. Но сейчас Гаю почудилась в словах на бетоне ласковая грусть прощания...

Гай дошагал до западного мыса Карантинной бухты, прошел по ее обрывистому берегу и вернулся к колоколу. Гладким камешком бросил в зелено-черный узорчатый обод. Побитый осколками колокол прощально погудел...

Гай вздохнул и спустился на пляж, где когда-то наступил на дракончика и познакомился с Асей. Мелкая волна с шорохом накатывалась на гальку, оставляя пузырчатую пену. Гай вобрал в себя запах влажных скал и водорослей, сел на корточки, пересыпáл из ладони в ладонь мокрые камешки и осторожно положил всю горсть...

Потом он скинул сандалеты. Скользя по камням и усмехаясь собственной робости (а вдруг опять дракон-

чик?), он по щиколотку вошел в воду. Он обещал не купаться, но вот так-то можно попрощаться с морем...

Вода плавно подкатила, поднялась до колен и, отступая, потянула Гая за собой. Не уезжай, мол, останься.

«Нельзя»,— вздохнул Гай. Вышел на берег. Надел сандалеты на мокрые ступни. Поднялся по бетонной лестнице на обрыв. И... сделал то, чего не хотел. О чем старался даже не думать. Пошел на бугор у серой развалленной стенки, встал на колени у кубического камня, сунул руку в темную щель...

Граната была, конечно, там. Тяжелая, рубчатая, прохладная, она легла в ладонь так ловко, будто все дни ждала Гая.

Он достал ее. Была граната все такая же — новенькая, черно-блестящая, словно только что с военного склада. Гай дернул кольцо, послушал шипящее дребезжание пружинки. Поставил чеку на место, покачал гранату — словно побаюкал.

И понял, что положить ее обратно — ну, просто выше сил.

Во-первых, словно сама граната просила: «Не надо! Не хочу туда, в темноту!» Во-вторых, Гай почувствовал, какая она уверенно-грозная, хотя и без начинки. Увесистая, почти настоящая, она вливала в ладонь ощущение боевой мощи. Была она... да, красивая! В смертельном оружии тоже есть своя красота.

Юрка ошалел бы от такого подарка...

Сержик прав, играть лимонкой не станешь. Но показать в классе... Все ребята губы развесили бы... А потом, когда она Юрке надоест, самое правильное дело — отдать ее в школьный музей. Положили бы под стекло, табличку бы сделали: «Дар ученика 6-го кл. «А» Михаила Гаймуратова». То есть «Михаила Гаймуратова и Юрия Веденеева»...

«Нет уж,— сказал себе Гай.— Ведь решили: пусть лежит...»

Но Сержик сказал еще: «Если хочешь — бери...» Он же сам это предложил!

«И я же не для себя. Я для Юрки...»

Совесть шепнула Гаю, что если для Юрки — это немного и для себя.

«Ну и что? Я же не без спросу! Сейчас зайду к Сержику и скажу: «Можно, я возьму, как ты говорил? Я ее подарить хочу... А если нельзя — вот она, делай с ней что хочешь...»

Гай понимал, что это беспроигрышный вариант. Конечно, Сержик скажет: «Бери». Будет, пожалуй, немного неловко, но зато — честно. И никакие щипки совести Гая тревожить не станут. Фиг ей. Он все сделает открыто, без капельки обмана!

И было непонятно, почему шевельнулось в душе сомнение. Словно шепоток на ухо: «Ох, Гай, не надо...» И почему он, выпрямляясь, оглянулся с опаской?

Наверно, это была просто память о прежней стыдливой боязни — той, что жила в Гае, пока он не признался Сержику.

А теперь-то что?

...Гай понимал — такую игрушку в автобусе открыто не повезешь. Среди камней он подобрал обрывок старой газеты, завернул лимонку в желтую ломкую бумагу.

Потом посмотрел на море. Оно было ясным и чисто-синим. И все вокруг было спокойно-ласковым. Ни в чем Гай не уловил упрека. И черная дробина, которой боялся Гай, не шевелилась в душе. Гай с облегчением расправил плечи. Торопливо пошел к главным воротам...

Чтобы заскочить к Сержику по пути, Гай вышел из автобуса на улице Галины Петровой. Переулки и дворики Артиллерийской слободки террасами громоздились на склоне холма. Гай тропинками и лесенками взбежал к «Восьмому марта».

И сразу увидел бабу Ксану.

Она шла, огибая растущие посреди каменистой дороги кусты с бордовыми головками. Высокая, сутулая, с длинным своим посохом. Смотрела прямо перед собой.

— Здрасте, баба Ксана...— Гай на всякий случай спрятал за спину завернутую лимонку.

Баба Ксана глянула из коричневых впадин синими глазами.

— Здравствуй, дитятко. К Сергийке бежишь?

— Ага! Он дома?

— Та ни... Они с школою на Максимову дачу поихалы, до вечеру...

— До свиданья...— растерянно сказал Гай. И подумал: «Ох ты черт...» Но под огорчением шевельнулась тайная радость. Оттого, что не надо объяснять Сержику, что взял гранату... Потом он про все напишет. Даже так напишет: «Если хочешь, я пришлю ее обратно». И в самом деле пришлет, если Сержик ее потребует...

А сейчас если не взять, то куда ее девать? Не отдавать же бабе Ксане!

Гай посмотрел Сержиковой прабабушке вслед. Она шла вниз по улице, все такая же сгорбленная, неторопливая, строгая. Даже сейчас Гай слышал, как постукивает посох: туп-туп-туп... Он вдруг подумал, что, скорее всего, видит бабу Ксану последний раз в жизни. Неизвестно, когда он приедет сюда снова. Приедет, конечно, только едва ли прабабушка Пулеметчика и тогда будет живая. Сколько ей осталось на этом свете с ее горем, с ее хитро спрятанной любовью к Сержику?..

Гай неожиданно почувствовал те же слезы, что на палубе при сцене «Похороны капитана». Мигая и перегла тывая, он смотрел бабе Ксане вслед, пока она не скрылась за угловым домом...

Гай встряхнулся. Надо было спешить. Даже бежать.

Он выскочил на улицу Киянченко, а затем свернул к улице Гусева, в проход с плоским желобом водостока — такой узкий, что разведи руки и упрешься в каменные стены.

Навстречу спускался Толик.

Гай удивленно затормозил.

— Вот это да! Ты здесь... что?

Толик тоже остановился. Шагах в пяти.

— Гуляю. Волнуюсь, тебя поджидаючи. Так и знал, что ты здесь пойдешь, эта щель полюбилась твоей романтической натуре...— Толик усмехнулся. Гаю показалось, что он сердится.

— Я же не опоздал.

— Да нет, все в порядке...— Толик взглянул на часы.— Это я так, нервы... Что это у тебя?

Гай откинул ненужную теперь бумагу, подбросил гранату:

— Вот...



Солнце светило Гаю в спину. Он увидел, как стремительно окаменело лицо Толика. Испугался:

— Да что ты! Она же...

— Не трогай и не шевелись! Замри!

Толик замер и сам — словно боялся, что неосторожным движением погубит Гая, даст ему смертельный толчок.

— Да что ты! — с виноватым смехом сказал Гай.— Она пустая — вот! — Он поднял лимонку за кольцо, чека вырвалась из трубки, граната упала Гаю в ладонь. Он бросил ее Толику: — На, смотри!

И все это было в одну секунду. А в следующую секунду Гай увидел, как освещенный желтым солнцем Толик ловит лимонку, прижимает ее к животу, складывается пополам и падает в желоб водостока. И словно вжимается в бетон...

...— Толик, ну сделай со мной что-нибудь,— всхлипывая, попросил Гай.

Они шли, забыв про время, по пустым улицам слободки неизвестно куда. И Толик молчал или неразборчиво говорил «отстань». Гранату он держал перед собой, крутил иногда трубку запала, трогал колечко. Пожимал плечами.

— Толик...

— Что тебе?

— Отлупи меня, а? — с отчаянием сказал Гай.— Хоть ремнем, хоть чем... Я даже не пикну. Меня никогда дома не лупили, а ты изо всех сил, ладно?

— Зачем?

— Ну... тебе легче будет.

— Дурак,— устало сказал Толик.— Оно и видно, что не лупили.

Гай брел за Толиком чуть в стороне и позади. Смотрел на его худую спину под желтой тенниской, на острые локти, на поросшую короткими волосками шею... Снова и снова вспоминал, как освещенный солнцем Толик в тесной щели прохода сгибается, валится, резко вытягивается в плоской бетонной канаве, закрывая собой лимонку. И снова содрогался, представляя, что пережил Толик за эти секунды... Гай заплакал в голос:

— Я же тебе крикнул, что она пустая!

— Еще и ревет... Он «крикнул». Будто я что-то слышал в такой момент... Поймал, а она шипит... Вот так! — Толик дернул кольцо и поднес лимонку к уху. Казалось, с каким-то болезненным удовольствием.

— Ну, а зачем под себя-то?! — захлебываясь слезами, крикнул Гай.— Кидал бы назад!

— Да? Там сзади, на улице, бабка и пацанята с трехколесным великом... А впереди ваше сиятельство... И ведь выбрал же место с-стервец. Как труба...

— Ну, откуда я знал, что ты подумаешь... Это же игрушка!

— Это — игрушка? — Толик повернул к Гаю такое лицо, что разом застыли слезы. Гай прошептал беспомощно:

— Я же крикнул... пустая...

— Сам ты... башка пустая,— вдруг вздохнул Толик.— Иди сюда! — Он выдернул из брючного кармана платок, начал сердито вытирать Гаю лицо.

Гай безнадежно сказал в платок:

— Теперь ты будешь меня ненавидеть всю жизнь.

— Больше мне делать нечего,— огрызнулся Толик. И Гай понял, что ненавидеть Толик не будет. Но и... вообще ничего не будет. Граната все-таки взорвалась, только бесшумно. Толика не убила, но убила его дружбу с Гаем. Развеяла взрывом в черную пыль все хорошее, что случилось в жизни Гая здесь, в Севастополе.

Отомстила.

И такая тоска взяла Гая, что все в нем выключилось. Не осталось ни капельки сил. Он сел, где стоял,— на плоскую глыбу ракушечника в пыльной траве у тротуара. Уткнулся лбом в колени. Умереть бы...

— ...Ну-ка встань! — вдруг крикнул Толик. Прежним голосом, тем, который был у него раньше, до гранаты. Он дернул Гая за воротник.

— Ты мальчишка или нервная барышня? — яростно сказал Толик. Но злость была не на него, не на Гая! Гай уловил это каждым нервом. Злость была, чтобы встряхнуть Гая. А может быть, и самого Толика. Гай вскочил. Украдкой, но уже с надеждой глянул Толику в лицо. Опустил голову и шепотом повторил все то же:

— Кричал ведь — пустая...— И опять всхлипнул.

Толик хлопнул его пальцами по затылку.

— Голова пустая...

— Ага...— выдохнул Гай.

— Где ты взял эту штуку?

Не скрывая ничего, Гай выложил историю с гранатой. От начала до конца. Будто наружу себя вывернул. Толик слушал и порой называл Гая то бестолочью, то олухом.

Они вышли на Катерную и теперь неторопливо шагали вниз. Толик завернул гранату в платок — попадались прохожие. Гай заметил, что кое-кто с удивлением поглядывает на его зареванное лицо, но ему было все равно. Один раз у Гая мелькнула мысль: а не опоздают ли на самолет? Но и это было не важно. Главное, что Толик делался такой, как раньше.

Когда Гай кончил рассказ (и по инерции еще раз всхлипнул), Толик сказал:

— Фокусник... Надавать бы тебе за такие дела..

— Да я же и говорю! — радостно вскинулся Гай

— Сегодня уже некогда. Приеду в Среднекамск — займусь.

— Ладно... Толик, а чего мы все идем да идем.. Нет, это хорошо, что идем, но мы не опоздаем в аэропорт?

— Думаешь, я такой глупый? Я нарочно сказал, что отлет в восемь. На всякий случай. А на самом деле в девять пятнадцать. И автобус не в пять, а в шесть.

— Хитрый...— слабо улыбнулся Гай.

Катерная, сделав плавный поворот, кончилась на восточном берегу Карантинной бухты. Дорога шла над обрывом. Внизу тянулся узкий пляж — маленький, известный лишь местным жителям.

Толик и Гай спустились на песок по головоломной тропинке. Поодаль купались мальчишки, а вблизи никого не было. Толик развернул гранату, сильно размахнулся и швырнул ее в море. Прежде чем плеснуть в тихой воде, лимонка черным зернышком зависла на миг в воздухе — словно точку поставила. Точку на всей этой истории.

Гай с облегчением вздохнул.

— Иди умойся,— сказал Толик.— Или лучше окунись.— Не купался ведь сегодня? Вот и давай на прощанье.

Гай обрадованно и суетливо разделся. Окунуться напоследок в море — это было счастье, хотя и с оттенком грусти. Но главное счастье (тоже с привкусом

печали) — было в прощении, полученном от Толика.

Гай с разбега врезался в глубину, выдохнул воздух и завис в невесомости. Он старался навсегда впитать в себя бархатисто-прохладное прикосновение морской воды, ее вкус, ее ласковую плотность... Потом он вынырнул, проплыл метров десять вразмашку, лег на спину, увидел над собой маленькое желтое облако, прошитое реактивным следом, вспомнил, что скоро будет там, в небе, на такой же высоте... Резко повернулся и поплыл к берегу.

Накинув рубашку, Гай быстро выжал плавки. Толик усмехнулся:

— Ох и обугленный ты. Я лишь сейчас заметил, по сравнению с... нормальным цветом кожи. Раньше еще лапы были светлые, а теперь и они загорели...

— Лапы крашеные,— хмуро объяснил Гай.— Все еще не отмылись...

— В аэропорту костюм надень. В Среднекамске всего семь градусов. Мама пальто к самолету принесет.

— Ага... Толик...

— Что?

— Толик... ты меня совсем простил?

— Совсем,— серьезно сказал Толик.— Хватит уж об этом.

— Да, «хватит»... Ты все еще вон какой..

— Какой, интересно?

— Ну... молчаливый.

— Здрасте! Веселиться прикажешь? После всего... И не вздумай никому рассказывать... про все про это.

— Что я, дурак, что ли? То есть дурак, конечно, но не такой уж...

— Это я не хочу выглядеть дураком.

— А ты-то при чем? — изумился Гай.— Ты же наоборот... это...— он оробел, но все же выговорил: — Подвиг совершил.

— Че-во? — сказал Толик.

Гай струхнул еще больше. Но пролепетал:

— А что ли, нет? Ты же не знал... что не по правде...

— Я сейчас, кажется, в самом деле дам тебе по шее.

— Ну, дай,— покорно вздохнул Гай.— А все равно...

— Пошли наверх!

Они молча поднялись по тропинке. С обрыва Гай еще раз глянул на море, на развалины Херсонесского храма на другом берегу. Воздух принимал уже неуло-

вимо-золотистый вечерний оттенок. А может, это золотились волоски непросохших ресниц. Гай видел все словно сквозь искристую дымку: сквозь виноватость, и прощение, и неуверенность в этом прощении, и сквозь надежду, что все случившееся — не так уж страшно. Море все-таки осталось е г о морем. Берег — е г о берегом. И Остров — остался...

— Пошли,— повторил Толик.

Они зашагали по обрыву, потом по Катерной, и Гай наконец набрался смелости:

— Я все же не понимаю... Почему ты говоришь, что ты дурак? Ты же не знал...

— Воображаю, как это выглядело со стороны.

Гай вспомнил, что выглядело это страшно. И сказать не посмел. Сказал другое:

— Зато ты единственный...

— Что — единственный?

— Ну... ты только не сердись... Помнишь, ты говорил?

— Не помню... Про что?

— Когда такое... Никто не знает, ч т о человек думает в последние секунды... Ты теперь знаешь.

Гай даже зажмурился, ожидая чего угодно. Однако не жалел о своих словах. Не сказать этого он почему-то не мог.

Толик не ответил. Гай покосился на него. Толик растерянно улыбался. Потом сказал удивленно:

— А я ни о чем не думал.

Гай опасливо и недоверчиво молчал.

— Нет, думал...— тихо проговорил Толик.— Вспомнил... Думал, скорей бы... Да, а потом еще: что же с этим дураком, с Гаем, теперь будет? В самом деле...

Гай втянул голову.

— Но никакая «вся жизнь» перед глазами не проносилась,— словно неторопливо размышляя вслух, сообщил Толик.— Вот еще что. Подумал: Тасманов же не знает, куда я положил коричневую папку с последней документацией... А! Потом вот что: черт, как обидно — перед самыми испытаниями...

— А говоришь «ни о чем»,— вздохнул Гай.

— Хм... А в самом деле, как много, оказывается, можно подумать... за такое время.

...Тех секунд — с тишиной и растерянностью — было две или три. А потом Гай со слезами тряс Толика за

плечо, тянул за рубашку, и тот медленно, с непонимающим лицом встал на колени. Потом вскочил...

Лучше не вспоминать...

А как — не вспоминать?

Толик сказал будто сам себе:

— Потом еще мысль: значит, судьба...

— Почему? — прошептал Гай.

— «Почему»... Отец — здесь. И про Алабышева сколько раз читал и думал... Все одно к одному... И забыл, дурак, простую истину: история повторяется дважды — сперва как трагедия, потом как фарс. Как пародия то есть...

— Что? — робко переспросил Гай.

— Это еще Маркс сказал...

— Не про тебя ведь он сказал,— буркнул Гай.

— Нет, но это, видимо, общая формула. Применима и к государствам, и к отдельным людям... Вообще-то он это про Наполеонов сказал. Один был великий, а другой пыжился и подражал ему. И кличка была Маленький. Хотя ростом он удался не в пример первому Бонапарту... Кстати, это он послал армию под Севастополь.

Гай с минуту шел молча, сердито размышлял о «великом» и «маленьком» Наполеонах. О битве под Бородино и о севастопольских бастионах. Наконец сумрачно возразил:

— Великого мы прогнали с треском. А Маленький-то... все-таки французы взяли тогда Малахов курган...

— Мало ли что... Наполеон Первый тоже сперва Москву взял. Важны не отдельные военные эпизоды, а вообще... Ты что, с Марксом решил поспорить?

— Не с ним, а с тобой... Ты же все сделал правильно, ты не знал... Зато теперь знаешь.

— Ты очень понятно изъясняешься: «Не знал, знаешь...»

Тихо, но упрямо Гай сказал:

— Ты знаешь, что можешь такое... если надо...

Толик посмотрел удивленно. Потом усмехнулся:

— Вряд ли... Наверно, каждый раз человек это решает заново... И послушай, дорогой, хватит об этом, а? Если без конца переживать, рехнуться можно. А у меня завтра дел — во! — Он ладонью провел над макушкой.

— Ладно,— неуверенно сказал Гай.

— И не терзайся, как старый грешник пред вратами ада. Мы оба хороши... Если хочешь знать, я тебе даже благодарен.

Это была, кажется, неправда. Но Гай обрадовался такой неправде — понял, что Толик опять прощает и жалеет его.

— Почему благодарен?

— Раз ты мне такое устроил... Я будто смерть обманул. Значит, буду теперь жить до ста лет.

— Да? — повеселел Гай.

— Да.

— Ну, смотри!

— Ну, смотрю...

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

Через четыре часа Гай сидел в ровно гудящем самолете. В темном иллюминаторе слабо светился серебристый край крыла. По нему равномерно пролетали отблески рубиновых сигнальных вспышек. Рядом с Гаем посапывал сосед — лысоватый добродушный инженер, которого Толик попросил в аэропорту «присмотреть за братцем». Ровно светились плафоны, бесшумно и с улыбкой двигалась между креслами стюардесса... Раньше, когда приходилось лететь, у Гая порой вертелась боязливая мысль: «Не случилось бы чего с самолетом...» Но сейчас было так уютно, что Гай чувствовал себя полностью спокойным и беззаботным.

Как всегда бывает в середине дороги, мысли ходили туда-сюда. То к дому, куда Гай мчался со скоростью звука, то назад — к Севастополю и «Крузенштерну». О доме думалось, конечно, с радостью, о Севастополе — с грустью. Радость была спокойная, потому что дом — это то, чего у Гая впереди будет много. Это — надолго. Печаль тоже была спокойная, потому что Гай знал: все, что было хорошего, с ним останется навсегда. Жить на Острове постоянно нельзя, но вспоминать его можно все время. И как вспомнишь — он словно опять рядом. А грустно — потому что все-таки не совсем рядом. Не перегнешься через каменный забор, не крикнешь в полуоткрытую дверь дома: «Ася!..»

...Асю перед отъездом он так и не увидел. Когда они с Толиком пришли домой, оказалось, что Ася от-

правилась за братишкой в детский сад. А ждать уже было нельзя. Времени оставалось, только чтобы подхватить чемодан — и на автостанцию.

«А может, и к лучшему»,— опять подумал Толик со смесью горечи и облегчения. Он боялся прощания. Догадывался, что оба станут неловко молчать или говорить неважные, ничего не значащие слова. «Может, и к лучшему...»

— Я ей все объясню,— пообещал Толик.— А ты потом напишешь.

— Ага.

На автостанции случилась неприятность. Толик растерянно зашарил по карманам:

— Черт... Этого еще не хватало...

— Что?

— Билеты...— Толик, роняя пятаки, расческу, записную книжку, вывернул карманы.

— Потерял? — испугался Гай.

Толик сердито сопел.

— У тебя дурацкая привычка таскать деньги и документы в карманах штанов,— в сердцах сказал Гай.

— В зубах мне их носить, если я без пиджака?.. Стой здесь.

Толик исчез и появился лишь через десять минут.

— Пошли! Я изловил такси.

— Ура! Это даже лучше!

— Для чего лучше? Для моего бюджета?.. И где я эти билеты посеял, дьявол их разнеси...

— Наверно, там, на улице. Когда платок доставал,— неловко сказал Гай. Он вспомнил, что в тот момент вроде бы вылетели у Толика из кармана какие-то кусочки бумаги или картона. Но тогда до бумажек ли было Гаю!

— Теперь обратно придется пилить на электричке.. — проворчал Толик.— Пошли.

— А у тебя что, был и обратный билет на автобус?

— Пошли, пошли...

На полпути к Симферополю спустило колесо (бывает же так — все одно к одному!). И водитель с Толиком, наверно, целый час возились с запаской. В аэропорт они успели «под самую завязку».

Попрощались коротко:

— Привет там всем дома...

— Ага. А ты — Алине привет.

— Ладно. Спасибо...
— Ни пуха ни пера на испытаниях...
— К черту! — И они обнялись.

Защипало в глазах, но Гай храбро улыбнулся. И уже в тамбуре, ведущем на поле, оглянулся еще раз. Увидел Толика в свете желтого плафона. Толик смотрел серьезно. Встал на цыпочки и помахал рукой над головами...

В теплом покое, почти в полудреме, Гай думал, как самолет сядет в среднекамском аэропорту «Крылово». Гай побежит навстречу маме, а она, смеясь и целуя его, станет натягивать на него пальто: «Стой, егоза, не крутись. Здесь тебе не Крым». И как он завтра наверняка проспит и в школу не пойдет, тем более что все равно суббота, а начинать все на свете, в том числе и учебу, лучше с понедельника. Но к Юрке он побежит сразу после уроков и узнает у него все новости о школе, о ребятах, о самом Юрке — как он жил тут без Гая целую вечность. И сам расскажет Юрке всё-всё...

Это «всё» ровно побежало перед глазами Гая: «Крузенштерн», съемки, Артиллерийская слободка, Ася, Сержик, баба Ксана, Херсонес, ребята, граната...

Нет, о гранате, наверно, не надо. Канула она в море — и точка. Есть и без нее о чем рассказать. Например, о рукописи Курганова, об Алабышеве, о лекции Толика на вечерней палубе...

Гай, тихо улыбаясь, стал думать о Толике.

«Наверно, сейчас дремлет в электричке... Или нет, не дремлет. Думает про завтра, про отплытие...»

Гай не мог, конечно, знать, что в электричку Толик не попал.

На вокзал Толик приехал, билет купил, но до поезда оставалось полчаса. Толик пошел по вокзальной площади: надеялся купить какой-нибудь журнал, почитать в дороге.

Киоски ярко светились, но все уже были закрыты. Не очень огорчившись, Толик пошел обратно — в проходе между тыльной стороной стоявших в ряд киосков и временным забором, который огораживал не то стройку, не то какую-то ремонтную площадку. Над забором горела в черном небе лампочка.

Толик услышал сзади торопливые шаги, но оглянулся не сразу. Потому что впереди увидел щуплую фигуру в длинном клетчатом пиджаке. Тип в пиджаке ухмылялся. Толик встал спиной к шаткому забору и лишь тогда посмотрел налево. Оттуда подходил смазливый чернявый парень.

«Как в том проходе,— вспомнилось Толику.— Ни туда, ни сюда...»

Он сказал с улыбкой:

— Знакомые все лица. Опять хотите прикурить?

— Да не...— гнусаво ответил белобрысый тип в пиджаке.— Мы же знаем, что не куришь. Поговорить решили. Должок у тебя...

Пробуя левой ступней асфальт — хорошо ли для толчка? — Толик спросил:

— И не лень было следить за мной?

— Да что ты, дядя. Случайная встреча...

— И что теперь «дядя» вам должен? «Кошелек или жизнь»?

— Видели мы твой кошелек в...

— А это видели? — быстро спросил Толик и поднял левую руку, держа пальцы щепоткой — словно хотел что-то посолить в воздухе. У клетчатого типа приоткрылся рот и машинально вскинулась для защиты ладонь. Толик ухватил его за рукав, дернул на себя, ударил гада головой под грудь и кинул его, согнувшегося, через плечо.

Кинул так, чтобы длинное обмякшее тело ударило сзади другого противника.

Наверно, тот все же успел отскочить. А Толика стукнула в щиколотку какая-то деревянная боль. «Неужели вывихнул? Ах ты черт...» Теперь оставалось развернуться и встретить смазливого сопляка прямым ударом в зубы. Придется мальчику походить к дантисту. Ну, сам винов...

Что-то колючее, длинное вошло Толику под левую лопатку, и боль была такая, что не осталось мыслей. Толик хрипло вскрикнул, рванулся вперед и снял себя с этой боли, как с гвоздя. Хватанул ртом воздух. «Достали все же, сволочи! Ну, погодите...» Он стал поворачиваться для удара. Боль мягко угасала, но не было зато и прежней пружинистой силы. Руки противно ослабели, и Толик с беспомощной злостью подумал, что, кажется, уже не свалит чернявого одним ударом... Са-

мому бы устоять... Ах как глупо... Перед самым выходом в море. Теперь, чего доброго, еще в больницу засунут, перевязки всякие...

Хорошо, что Гай улетел...

Странно, что асфальт мягкий, как губчатая резина: падаешь, а не больно. Будто во сне... Надо все-таки встать. Люди увидят, решат черт знает что...

Но лежать было хорошо. Шевельнешься — и колючая боль, а если не двигаться — обволакивает мягкое спокойствие. И Толик понял, что надо подождать несколько минут, набраться сил.

Лампочку он не видел — она или погасла, или горела с другой стороны. Те двое куда-то исчезли. Но Толик о них уже не думал. Сверху в просвет между киосками и забором смотрел тонкий месяц.

«Ты меня не бросай,— сказал ему Толик. И не удержался, ласково поддразнил: — Месяц тонкий и рогатый с неба звезды сгреб лопатой... Куда ты девался, а?.. Месяц звонкий и рогатый... Месяц...»

Ничего этого Гай знать не мог, и никаких предчувствий у него не было. Спокойный и счастливый летел он домой.

...Известие о Толике придет в Среднекамск лишь через четыре дня. Это потрясение, первое в жизни настоящее горе надолго обесцветит для Гая все, что есть вокруг, приглушит до хрипа и шепота все в мире звуки, а все мысли сведет к горькому вопросу: «Как же так: был — и нет? Почему? Откуда на свете *такое*?» Этот его вопрос навсегда свяжется в сознании с почерневшим сухим лицом бабушки — мамы Толика...

Дни пройдут, мама и бабушка вернутся *оттуда*, с похорон, и мама положит ему руку на лоб, а он тихо скажет, лишь бы что-то сказать:

— Вы быстро приехали...

— У нас были обратные билеты.

И тогда болью и страхом — сильнее всех других горьких мыслей — прошьет его мысль: «А у Толика тоже был *обратный* билет!»

Он был! Но Толик выронил его вместе с другими, когда доставал платок.

А доставал платок он, чтобы вытереть Гаю лицо и потом завернуть гранату.

Значит — все из-за гранаты!

Если бы билет остался, Толик поехал бы обратно на автобусе, не оказался бы на вокзале. Не встретился бы с теми.

...Какой прок, что их поймали и, скорее всего, расстреляют? Что с того, что друзья Толика написали куда-то письмо, чтобы новое гидрографическое судно назвали «Анатолий Нечаев»? Смертью бандитов не оживишь Толика. Имя не заменит живого человека, хоть весь флот назови этим именем! Гаю нужен живой Толик — который смеется, опаздывает со свиданий, рассказывает про Крузенштерна, дурачится, дразнит Гая за облупленные уши и рычит «брысь», когда тот надоедает... Толика не будет...

И все из-за гранаты...

Из-за того, что он, Гай, взял гранату из тайника!

Днем и ночью, даже во сне, Гай будет вести этот бесконечный, отчаянный и безнадежный спор с собой:

— Но я же не знал, что так случится!!

— А кому легче от того, что не знал? Все равно это из-за гранаты.

— Но я же не знал...

— А зачем ты ее взял? Ведь понимал же, что обман...

— Не обман!! Сержик сам говорил: хочешь — бери себе!

— Обман был раньше. Тогда, когда все искали, а ты молчал. С этого все и пошло...

— Но я же не взял тогда! Я же признался! Я — честно...

— Значит, не всякую беду можно исправить признанием... Ты не взял тогда, но она лежала, ждала своей поры. И отомстила.

— За что?! — в отчаянии будет кричать он себе.— За такой пустяк?! И кому отомстила?! Толик-то при чем?!

— А она не думает. Она — граната...

И когда уже не будет сил, когда сердце станет останавливаться от тоскливой вины, придет спасительная мысль:

«А откуда ты взял, что был обратный билет? Ты спросил, а Толик в ответ: поехали, поехали...»

«Но он же говорил: теперь обратно придется ехать на электричке...»

«Может, потому, что сперва хотел вернуться в Севастополь на такси, а денег не осталось — истратили на дорогу вперед...»

Может быть, и так... Но утешение будет приходить ненадолго. И ощущение неискупимой вины снова станет наваливаться глухой черной тяжестью. Такой вины, которая не менее страшна, чем само ощущение потери.

Через месяц Гай уже не станет спорить сам с собой. Зачем? Все сказано много раз. Не станет мучить себя вопросами: был ли билет? Ответить на вопрос мог бы один Толик. Но он не ответит — и вину с Гая не снимет никто.

Гай будет ходить в школу, учить уроки, получать отметки. Будет даже смотреть иногда телевизор, отвечать на мамины вопросы. Порой будет даже улыбаться. И всем, даже маме, станет казаться, что он понемногу успокоился и живет нормально.

И никто не узнает, как гонит от себя Гай память об августовских и сентябрьских днях. Память о всем, что раньше было для него Островом. Потому что горе и вина закрыли к Острову дорогу.

И так будет до того дня, когда Юрка (именно Юрка, а не кто-то другой) приведет его к себе домой и скажет угрюмо и жестко:

— Гай, ты так свихнешься. Или умрешь... Гай! Ты что?

— А что я? Я...

Слезы рванутся безудержно. Слезы — невыносимые, изматывающие душу, тяжкие, как рвота. До судорог в горле, до крика. И в этом крике прорвутся слова о Толике, о гранате, о билете... И Юрка захлопнет дверь и яростно, словно удерживая Гая от броска в пропасть, прижмет к себе.

— Гай... Гай!! Ну при чем здесь ты?! При чем здесь мы?! Не мы же придумали на свете гранаты!

Гай стихнет, вздрагивая. Юрка скажет:

— Так нельзя. Ты живи.

Гай то ли вздрогнет опять, то ли кивнет...

— Ты живи,— снова скажет Юрка.— Дерись.

— С кем?

— Вообще... дерись.

И Гай станет драться. Всю жизнь. За себя и за других. Драться с человеческими бедами и со своей виной — не зная до конца, была ли она. Драться за право изредка возвращаться на свой Остров.

Такой Остров есть у каждого, и потерять его — подобно смерти. Остров называется Детство.

Конец второй книги

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. ХРОНОМЕТР (ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ)
Пролог. Мышонок 5

Первая часть. **Медный стук часов** 23

Новогодние сюрпризы 23
Курганов 33
Шторм в Скагерраке 44
У горящего камина 56
Экватор 66
Медный стук часов 78
Полосное железо 90
Завести часы! 101
Портрет 115

Вторая часть. **Робингуды** 126

Пленный разведчик Липкин 126
Эпиграф 139
Клятва Шурки Ревского 147
Замечательная жизнь 154
Есть остров на том океане... 166
Самолет без крыльев 178
Бриг «Мария» уходит 189
Выстрел 204
Феникс 219

Третья часть. **Черная речка** 232

Т.О.Л.И.К. 232
Волчья яма 244
Часы должны идти! 255
Прощание 261
Черная речка 270
Эпилог. Капитан-лейтенант Алабышев 281

Книга вторая. ГРАНАТА (ОСТРОВ КАПИТАНА ГАЯ)

Первая часть. **Длинный день у моря** 299

Пулеметчик 299
Сомнения 315
Каретта 324
Последний из «Летающих «П» 334
«Месяц звонкий и рогатый...» 340

Пропавшая рукопись 350

Вторая часть. **Под мачтами «Крузенштерна»** . . . 361

Встречи на палубе 361
Питомец флибустьеров 371
Как хоронят капитанов 383
Пестрые дни 395
Лекция под грот-марселем 402

Третья часть. **Артиллерийская слободка** 411

Севастопольцы 411
Вечерняя встреча 423
Линия обороны 429
Ветер 445
«Пусть лежит...» 456
Остров 463
Граната 475
Обратный билет 487

Владислав Петрович
КРАПИВИН

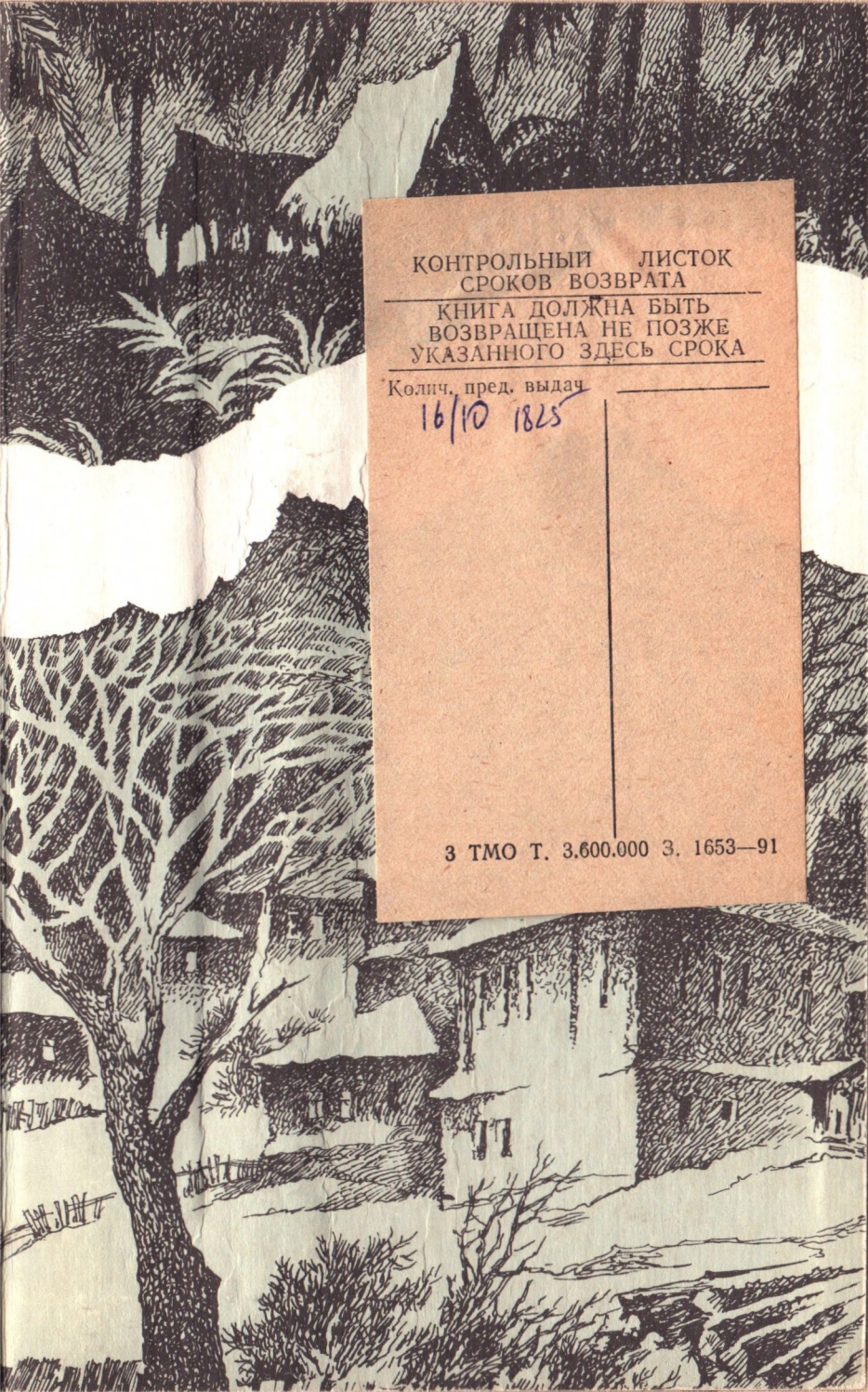
ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Художественный редактор М. М. Кошелева
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Т А. Дрябина, Н И. Тунгусова

ИБ № 1811
Сдано в набор 13.06.88. Подписано в печать 11.10.88. НС 19409
Формат 84×108 /32 Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная
Печать высокая Усл печ. л. 26,0. Усл кр.-отт 26,4 Уч.-изд. л. 27,1
Тираж 75 000 Заказ 224 Цена 1 р. 50 к

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, ул. Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач
16/10 1825

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91

1р.50к.

2Ер.

Владислав Крапивин

Острова и капитаны

1-2